Л. П. Якубинский

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА

Л. П. Якубинский

История древнерусского языка

С предисловием и под редакцией
акад. В. В. ВИНОГРАДОВА

Примечания
проф. П. С. КУЗНЕЦОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА
1953

Книга проф. Л. П. Якубинского „История древнерусского языка" (1941) представляет собой одно из изданий серии „Из лингвистического наследства".

Редактор *Н. М. Шанский.*
Художник *Б. С. Никифоров.*
Техн. редактор *Н. П. Цирульницкий.* Корректор *И. И. Бурджелян.*

Подписано к печати 25/XI 1952 г. А07287. Тираж 40 тыс. экз. Бумага $60\times92^{1}/_{16}=11^{1}/_{2}$ б. л.—23 печ. л. Учётно-издат. л. 26,62.
Цена без переплёта 5 р. 30 к., переплет коленкоровый 1 р. 50 к., переплет ледериновый 2 р.

Отпечатано с матриц Первой Образцовой тип. им. А. А. Жданова Главполиграфиздата в 20-й тип. Главполиграфиздата при Совете Министров СССР.
Москва, Ново-Алексеевская, 52. Зак. 976

В. В. ВИНОГРАДОВ

ПРОФ. Л. П. ЯКУБИНСКИЙ КАК ЛИНГВИСТ И ЕГО „ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА"

1.

Труд И. В. Сталина „Марксизм и вопросы языкознания" открыл новые пути исследования истории языка. В этом труде точно, глубоко и ясно раскрыта природа языка как общественного явления, определены его функции и его значение в истории человечества, установлены характерные признаки языка, его специфика, сущность его структуры, указаны законы его развития, намечены основные задачи его изучения, очерчена система языкознания и охарактеризованы специальные методы исследования языка. Под неотразимыми ударами сталинской критики рухнули немарксистские, антинаучные формулы и принципы теории акад. Марра и его учеников.

Труд И. В. Сталина „Марксизм и вопросы языкознания" вывел науку о языке на широкую и свободную дорогу марксистского изучения теории и истории языка. Выдвинув как главную задачу языкознания изучение внутренних законов развития языка, И. В. Сталин углубляет приёмы и задачи исследования процессов исторического движения языка. Изучая развитие языка в неразрывной связи с развитием общества, с историей народа — творца и носителя этого языка, лингвист должен учитывать специфику языка как общественного явления, своеобразия его развития, вытекающие из его структуры и общественной сущности, и стремиться к открытию самостоятельных внутренних законов развития как всех языков вообще, так и данного языка или группы родственных языков. И. В. Сталин указал на важность изучения родства языков; „...нельзя отрицать,— говорит И. В. Сталин,— что языковое родство, например, таких наций, как славянские, не подлежит сомнению, что изучение языкового родства этих наций могло бы принести языкознанию большую пользу в деле изучения законов развития языка" [1]. Согласно указанию И. В. Сталина, сравнительно-исторический метод, несмотря на его серьёзные недостатки, и вопросы изучения родства языков, а следовательно, и генеалоги-

[1] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1952 стр. 33—34.

ческая классификация языков должны оставаться в сфере научных интересов советского языкознания.

Вместе с тем И. В. Сталин ещё раз подчеркнул, что марксистская наука о языке не должна и не может отказываться от того поучительного и ценного, что содержится в лингвистических работах предшествующих поколений учёных.

Советские языковеды должны использовать в своих научных исследованиях и построениях всё то, что в лингвистической традиции является положительным, достоверным знанием, имеющим значение объективной истины. В связи с ликвидацией аракчеевского режима в языкознании в настоящее время особенно важно и целесообразно обратить внимание на такие лингвистические работы, которые остались под спудом, не увидели света в силу противодействия со стороны сторонников так называемого „нового учения" о языке. Одной из таких заживо похороненных учениками Н. Я. Марра работ являются лекции по истории русского языка покойного профессора Ленинградского государственного университета Л. П. Якубинского, объединённые им в книгу „История древнерусского языка". По обилию собранных и систематизированных фактов, по количеству затронутых вопросов исторического развития русского языка до XIII — XIV вв., по новизне подхода к разрешению некоторых из них работа Л. П. Якубинского представляет очень большой интерес для историков русского языка и вообще славяноведов. Но в свете сталинского учения о языке нам ясны теперь серьёзные методологические недостатки этой работы. В ней есть положительное, ценное и творческое, но много и ошибочного, идеалистического, устарелого. При всём богатстве талантливых, тонких наблюдений над древнерусским языком в его развитии, при множестве отдельных свежих мыслей и обобщений, книга Л. П. Якубинского содержит в себе элементы вульгарного социологизма и злоупотребления семантикой, несмотря на явную направленность многих её положений против теории Н. Я. Марра и его учеников. Сам автор, если бы он был жив, многое в настоящее время в своей работе изменил бы, многое изложил бы совсем по-другому.

Необходимо учитывать также и то обстоятельство, что советское языкознание и советская историческая наука ушли вперёд с того времени, когда работал над своими лекциями по истории русского языка Л. П. Якубинский.

2.

Проф. Л. П. Якубинский, автор предлагаемого вниманию читателей курса „Истории древнерусского языка", умер 23 августа 1945 г. Этот курс сложился на основе лекций, которые читались покойным лингвистом в высших учебных заведениях Ленинграда (в университете и педагогических институтах) в 30-х годах. Обработанные для печати лекции должны были выйти в свет в 1941 г. Таким образом, перед нами — труд, отделённый от нашего времени почти двенадцатилетним промежутком. За это время собраны и открыты новые материалы,

очень важные для изучения древнейшего периода истории русского языка. За это время советская историческая наука достигла значительных результатов в области изучения вопросов образования русского языка и народа, в области исследования истории культуры древней Руси, а также древнейших судеб восточных славян. Достаточно сослаться на работы акад. Б. Д. Грекова, посвящённые Киевской Руси, на исследование проф. Б. А. Рыбакова о древнерусских ремёслах, важное и для изучения грамотности в кругу простых ремесленников, и для изучения профессиональной терминологии в древнерусском языке, на многочисленные труды советских археологов, открытием новых материалов существенно изменившие, несмотря на теоретический уклон их к теории Марра, унаследованное от А. А. Шахматова понимание группировки восточнославянских племён и границ их распространения. Кроме того, в марксистской исторической науке были выдвинуты новые точки зрения на основные этапы истории „Русской земли", на процесс образования восточнославянской народности, на последующий её распад и формирование трёх восточнославянских народностей — великорусской, украинской и белорусской.

Новые исследования и новые точки зрения коснулись не только истории русского народа, но и захватили непосредственно процесс образования русского литературного языка, процессы возникновения и развития восточнославянской письменности. Сюда, между прочим, относятся: исследование акад. С. П. Обнорского „Очерки по истории русского литературного языка старшей поры" (1946), удостоенное Сталинской премии, целый ряд работ Д. С. Лихачёва по изучению языка раннего киевского и новгородского летописания, а также по изучению культуры устной речи в древней Руси, по изучению стиля „Слова о полку Игореве", труды члена-корреспондента Академии наук СССР В. П. Адриановой-Перетц по стилистике древнерусской литературы, надпись первой четверти X в., обнаруженная Д. А. Авдусиным на обломках глиняного сосуда из Гнездовских курганов под Смоленском [1], новейшие новгородские находки проф. А. В. Арциховского, открывшего грамоты и бытовые письма XI — XIV вв. на бересте.

В свете новых исторических и филологических исследований высокая и самобытная культура древней Руси раскрылась во всём своём блеске. Оказалось, что многие стороны культуры древней Руси, считавшиеся ранее плодом „прививки" византийского, а также византийско-болгарского просвещения, в действительности имеют свою глубокую восточнославянскую доисторию [2]. По-новому разрешается и вопрос о возникновении письма и письменности у восточных славян.

Свидетельства русских и иностранных источников неоспоримо доказывают тот факт, что у восточных славян письменность нашла

[1] См. Д. Авдусин и М. Тихомиров, Древнейшая русская надпись. „Вестник Академии наук СССР", вып. 4, 1950; П. Черных, Две заметки по истории русского языка. „Известия Академии наук СССР", Отделение литературы и языка, 1950, № 15.

[2] См. „Историю культуры древней Руси", т. II, 1951, гл. 8, 10, 12, а также 4.

себе широкое и разнообразное применение задолго до того, как она начала к нам проникать в изобилии через Болгарию, после введения христианской религии. Бытовое послание на бересте, найденное проф. А. В. Арциховским в Новгороде и относящееся к XI в., надпись на сосуде начала X в., надписи XI в. на шиферных пряслицах, на кирпичах и других изделиях ремесла и т. п.— всё это говорит о широком распространении грамотности на Руси среди простых людей — торговых, промысловых и ремесленных — ещё в IX — X вв. Дальнейшие раскопки в Новгороде, несомненно, приведут к открытиям новых памятников ранней восточнославянской письменности. Об этом так пишет проф. А. В. Арциховский: „Культурный слой данного городского участка равномерно насыщен грамотами, которые и сейчас лежат в тех местах, где они были утеряны или выброшены древними новгородцами, подобно тому как теперь теряются или выбрасываются бумаги. Чем больше будет раскопок, тем больше они дадут драгоценных свитков берёзовой коры“ [1]. Ставить это широкое общественное применение письменной речи у восточных славян в непосредственную связь с влиянием старославянского языка и старославянской письменности совершенно невозможно. Таким образом, отпадает упорно защищавшееся историками древнерусского языка, древнерусской литературы и культуры со времён акад. И. И. Срезневского (т. е. с середины XIX в.) вплоть до середины 30-х годов XX в. и считавшееся незыблемым и общепринятым положение о том, что „древнерусская письменность не возникла постепенно из основ, заложенных в самой русской народности, а явилась вдруг, будучи занесена от родственного народа“ [2].

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что Л. П. Якубинский в своих лекциях по истории русского языка, наряду с акад. С. П. Обнорским и вслед за акад. В. И. Ламанским и акад. Н. К. Никольским, одним из первых выступил против традиционной точки зрения, связывавшей и зарождение древнерусской письменности, и возникновение русского литературного языка с культурным влиянием Болгарии. Правда, в концепции Л. П. Якубинского есть некоторая уступка старой точке зрения, нашедшей наиболее талантливого и непреклонного защитника в лице акад. А. А. Шахматова,— Якубинский выдвинул гипотезу о том, что государственным языком Киевской Руси в X и в начале XI в.— до предполагаемой им, в связи с усилением роли веча и развитием городского быта, культурно-языковой революции — был язык старославянский. То, что мы теперь знаем о Киевском государстве, его культуре, его языке и письменности, делает эту гипотезу совсем невероятной. Проф. Д. С. Лихачёв в статье „Предпосылки возникновения русской письменности и русской литературы“, подводя итоги русским и иностранным свидетельствам о

---

[1] А. Арциховский, Новые открытия в Новгороде, „Вопросы истории“, 1951, № 12, стр. 79.

[2] Акад. В. М. Истрин, Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода, Петроград, 1922, стр. 65.

наличии письма у восточных славян, пишет о восточнославянской письменности IX — X вв.: „Потребности в письменности обнаруживаются... в государственной жизни — в договорах и сношениях с иноземными государствами (договоры, сопроводительные грамоты), в крупной торговле (надписи на сосудах о содержимом), в новых имущественных отношениях (письменные завещания, надписи, удостоверяющие собственность), в развитом ремесле (подписи имени мастера, заменившие прежние родовые знаки собственности), в общественном почитании знатных умерших (надпись на могиле руса), в развитом языческом культе (пророчество, написанное в храме).

Многообразное применение письменности свидетельствует, что к X в. письменность прошла уже сравнительно долгий путь развития. Должно было пройти, по крайней мере, не менее века, а всего вероятнее и значительно больше, чтобы письменность смогла получить столь разнообразное применение“ [1].

Отсюда вытекают новые выводы и по вопросу о том, кто первый „ввёл“ письменность на Руси, откуда проник в неё славянский алфавит и каким был первоначально этот алфавит.

По этому вопросу высказано в последнее время несколько догадок, которые, к сожалению, пока ещё не могут считаться обоснованными [2]. Так, акад. С. П. Обнорский полагает, что „отнюдь не являлось бы смелым предположение о принадлежности каких-то форм письменности уже русам антского периода“ [3], т. е. VI — VII вв. Согласно заявлению П. Я. Черных, „в настоящее время уже не приходится сомневаться в том, что глаголическое письмо возникло где-то в северном Причерноморье в результате длительного процесса разви-

---

[1] Д. С. Лихачёв, Предпосылки возникновения русской письменности и русской литературы. „Вопросы истории“, 1951, № 12, стр. 34.

[2] Для интересующихся вопросами, связанными с возникновением письма у восточных славян, необходимо привести некоторые библиографические указания: В. Городцов, Заметки о глиняном сосуде с загадочными знаками. „Археологические известия и заметки“, т. V, 1897, № 12; т. VI, 1898, № 11—12; ср. его же „Древнее население Рязанской области“. „Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук“, 1908, кн. 4; В. Лецеевский, Рунические надписи на Алекановских рунах. „Древности“, „Труды Московского археологического общества“, т. 19, вып. 2 (1901); А. Арциховский, Введение в археологию, М., 1941, стр. 112; М. Артамонов, Средневековые поселения на Нижнем Дону, М.— Л., 1935, стр. 90 и сл.; Н. Макаренко, Археологические исследования 1907—1909 гг., вып. 43, стр. 23, изд. Имп. археолог. ком. и др. Свод данных до 1948 г. см. в статье Е. Эпштейна „К вопросу о времени происхождения русской письменности“. „Учёные записки Ленинградского государственного университета“. Серия исторических наук, вып. 15, Л., 1948; см. также П. Я. Черных, Происхождение русского литературного языка и письма, Учпедгиз, 1950; его же статью „Язык и письмо“ во II т. „Истории культуры древней Руси“ (1951); А. С. Львов, К вопросу о происхождении русской письменности. „Русский язык в школе“, 1951, № 6. Проф. д-р Емил Георгиев, Славянская письменность до Кирилла и Мефодия, София, 1952. См. также статьи В. И. Борковского и Ф. Ф. Кузьмина в журнале „Вопросы языкознания“, 1952, № 3 и статью Ф. Мареша в Slavia, XX, s. 4, 1951.

[3] Акад. С. П. Обнорский, Культура русского языка, 1948, стр. 3.

тия из „черт и резов“ [1]. В качестве доказательства приводится то обстоятельство, что с некоторыми глаголическими буквами сходны загадочные письменные знаки на памятниках материальной культуры, в разное время найденных на территории бывших греческих колоний (Ольвия, Феодосия, Херсонес и др.) и „относящихся, вероятно, к сарматской эпохе (около III в. нашей эры), но, может быть, и к более поздней“. „Отчасти эти письменные знаки (например, Ольвийские надписи) восходят к греческим буквам, а частью представляют собой какие-то „черты и резы“, письменные знаки неизвестного происхождения, напоминающие другие такие же загадочные знаки, так называемые „тамги“ (тавро, клейма), сохранившиеся до сих пор у некоторых северокавказских народов (кабардинцев и др.)“ [2]. Для подкрепления мысли о восточнославянском изобретении глаголицы ссылаются также на сходство начертаний некоторых глаголических букв с армянскими и грузинскими письменами. Таким образом, родиной глаголического славянского письма некоторые наши филологи, находя себе предшественников в лице В. И. Григоровича — одного из первых русских славистов, а также акад. Н. К. Никольского [3], готовы признать восточнославянскую Русь. Впрочем, эта теория восходит ещё к XV в. В одной рукописи этого века, напечатанной О. М. Бодянским в 1863 г., есть такая фраза: „А грамота русская явилась богом дана в Корсуне русину, от нея же научился философ Константин“ [4]. По мнению П. Я. Черных, „нет оснований сомневаться в этом и в настоящее время“ [5].

Русский книжник XV в., говоря о русине, т. е. восточном славянине, научившем русской грамоте Константина Философа, имел в виду сообщение „Жития Константина Философа“ (гл. VIII). Здесь рассказывается, что во время путешествия в Хазарию (около 860 г.) Константин Философ, учёный византиец, родом из македонской Болгарии (из Солуня), с именем которого обычно связывается изобретение славянского алфавита, задержался со своими спутниками на некоторое время в Крыму. В городе Корсуне (Херсонесе) он „обрёл“ евангелие и псалтырь, написанные русскими буквами („русьскыми письмены“). Константин, знавший много языков, научился читать эти книги так скоро, что спутники его — греки — увидели в этом великое чудо. Если предположить, что эти книги были писаны глаголическим письмом на древнерусском языке, то чудо объясняется с необыкновенной лёгкостью: македонцу Константину, прекрасно владевшему македонским наречием, близким к болгарскому языку, нетрудно было понять то, что

---

[1] П. Я. Черных, Происхождение русского литературного языка и письма, Учпедгиз, 1950, стр. 12—13.

[2] Там же.

[3] Н. К. Никольский, К вопросу о русских письменах, упоминаемых в „Житии Константина Философа“. „Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР“, т. I, кн. 1, 1928.

[4] „Чтения Общества истории и древностей Российских“, кн. 2, 1863, стр. 31.

[5] П. Я. Черных, Язык и письмо, гл. 4. „История культуры древней Руси“, т. II, 1951, стр. 131.

было написано на русском, восточнославянском языке, так как славянские языки в IX в. были ещё ближе друг к другу, чем теперь.

Вывод отсюда делается простой: письменность у восточных славян в середине IX в., несомненно, существовала, к тому времени уже укрепилось буквенное глаголическое письмо. Следовательно, если Константин и создал письмо для славян, отправляясь в 863 или 864 г. в Моравию и Паннонию для проповеди христианства [1], то таким письмом могла быть только кириллица, которая получила вскоре широкое распространение в разных славянских странах, между прочим, и на территории древней Руси после введения христианской религии.

Таким образом, картина возникновения и распространения буквенного письма у славян, нарисованная Л. П. Якубинским, не может претендовать на всеобщее признание. В ней много традиционного и даже устарелого [2]. Между тем некоторые наши филологи из юных энтузиастов идут гораздо дальше, чем акад. С. П. Обнорский и проф. П. Я. Черных.

Так, А. С. Львов прямо утверждает: «...появление церковных книг у Константина перед „изобретением" им письмен и поездкой в Моравию станет понятным только при наличии русских церковных книг, о чём ясно свидетельствовало *до этого* (? — *В. В.*) его же „Житие"» [3]. Мало того: А. С. Львов считает, что в середине IX в. у восточных славян существовала не только церковная, но и светская повествовательная литература, зафиксированная в письменной самобытно славянской, глаголической форме. „Русское летописание,— по его словам, — началось где-то в середине IX в., по крайней мере не позднее 60-х годов этого столетия" [4]. Начиная с 859 г., особенно с 862 г., „летописец начинает излагать события из русской жизни систематически и точно" [5]. По мнению А. С. Львова, „на Руси, начиная с X в., происходила замена глаголицы кириллицей", хотя глаголица ещё долго бытовала на Руси, вплоть до XIV в. [6]. Не менее смел и решителен А. С. Львов и в вопросе о генезисе графических основах глаголицы: „Глаголица имеет прямое отношение к клинописи, а также она находилась в генетической связи с нерасшифрованными письменными знаками северного Причерноморья I — VII вв. нашей эры" [7].

Конечно, очень многое в этих гипотезах не может быть в настоящее время отнесено к числу бесспорных, т. е. научно доказанных дости-

---

[1] См. А. М. Селищев, Старославянский язык, Учпедгиз, 1951, стр. 9 и сл.

[2] Ср., впрочем, работу Fr. Altheim, Literatur und Gesellschaft im ausgehendem Altertum, Berlin, 1948. Здесь доказывается, что до начала X в. употреблялась только глаголица, изобретение которой приписывается Кириллу, а составление кириллицы связывается с деятельностью Мефодия и относится ко времени между 906 и 916 годами (Seit. 212—213).

[3] А. С. Львов, К вопросу о происхождении русской письменности, „Русский язык в школе", 1951, № 6, стр. 20.

[4] Там же, стр. 21.

[5] Там же.

[6] Там же, стр. 23.

[7] Там же.

жений советской филологии. Но нельзя не признать, что некоторые из этих гипотез многим вполне зрелым учёным кажутся очень соблазнительными.

Показательны с этой точки зрения следующие утверждения проф. Д. С. Лихачёва в статье „Предпосылки возникновения русской письменности и русской литературы": „Весьма возможно, что единого начала письменности (у восточных славян.— *В. В.*) и не существовало, что различные алфавиты употреблялись в различных местах восточнославянской территории. Письменность, как мы можем предполагать, возникла ещё до образования относительно единого древнерусского государства. В пору, когда отсутствовало политическое единство, и самое происхождение письменности на Руси могло быть отнюдь не единым... вполне могло быть и так, что письменность возникла в двух-трёх восточнославянских центрах независимо друг от друга, допустим, в Киеве, в Новгороде и на северных берегах Чёрного моря" [1]. Д. С. Лихачёв — вслед за археологами — отмечает существование промежуточных ступеней между бесписьменным и письменным периодами в развитии восточнославянской культуры и считает остатками подобного рода промежуточных ступеней „те знаки собственности, о существовании которых вплоть до татаро-монгольского нашествия мы знаем и по археологическим данным, и по упоминаниям в „Русской правде" [2]. Из всех этих фактов, соображений, предположений и догадок Д. С. Лихачёв делает следующий вывод: „...при историческом подходе к проблеме возникновения письменности вопросы о том, кто, где и когда „изобрёл" письменность, была ли она первоначально глаголической или кирилловской, должны быть, по существу, поставлены совершенно иначе. Письменность явилась не результатом индивидуального изобретательства, а следствием возникших в ней потребностей, появившихся в классовом обществе, хотя самая письменность и не носила классового характера. Этим потребностям могли ответить и индивидуальные изобретения собственных алфавитов и алфавиты соседей, обладавших уже развитой письменностью... Таким образом, к вопросу о начале русской письменности следует подойти исторически, как к необходимому этапу во внутреннем развитии восточных славян" [3].

Впрочем, невозможность замкнуться в кругу этих общих рассуждений и наставлений, необходимость углублённого исследования и исторического сопоставления уже добытых, имеющихся материалов — исторических, археологических, филологических — и тех, которые ещё предстоит открыть учёным труженикам, достаточно ясна из тех противоречий, которые имеются в статье Д. С. Лихачёва. Так, с одной стороны, Д. С. Лихачёв — в соответствии с господствующей в на-

---

[1] „Вопросы истории", 1951, № 12, стр. 34.

[2] „Вопросы истории", 1951, № 12, стр. 35. Ср. также Б. Рыбаков, Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси. „Советская археология", 1940, № 3. См. также статьи 70, 71, 73 „Пространной правды".

[3] „Вопросы истории", 1951, № 12, стр. 36.

стоящее время точкой зрения — готов допустить первичность глаголицы — по сравнению с кириллицей, но тут же он без всяких доказательств и новых данных связывает изобретение того и другого алфавита с русским языком. Он пишет: „Древним алфавитом могла быть глаголица, но это не значит, что рядом с глаголицей русское население северного Причерноморья, тесно соприкасавшееся с греческими колониями, не могло употреблять буквы греческого алфавита для письма на русском языке. Именно эти буквы могли дать начало позднейшей кириллице“ [1]. Вслед за этим делается целый ряд внутренне противоречивых предположений относительно того, какими письменами были написаны книги, виденные Константином Философом у некоего русского в Корсуне. С другой стороны, Д. С. Лихачёв начинает доказывать, что „многоалфавитность древнейшей стадии письменности у восточных славян не подлежит сомнению“ и что, следовательно, нет оснований считать глаголицу старше кириллицы. „Чем старше памятники русской письменности, тем вероятнее наличие в них обоих алфавитов. Исторически нет оснований думать, что эта древнейшая двуалфавитность — явление вторичное, сменившее первоначальную одноалфавитность. Потребность в письменности при отсутствии достаточных государственных связей могла породить в различных частях восточнославянского общества различные же попытки ответить этой потребности“ [2].

Всё это показывает, как ещё много в этих вопросах спорного, гадательного, субъективно произвольного, противоречивого, научно не доказанного. Но несомненно одно. Есть новые факты, новые археологические открытия, существенно изменяющие традиционный взгляд на зарождение и распространение буквенного письма у восточных славян, на роль письменной восточнославянской речи в быту, в общественной жизни и государственной практике восточного славянства. И Л. П. Якубинскому пришлось бы посчитаться с новыми историко-археологическими открытиями и соответственно изменить свои историко-лингвистические построения.

Можно указать и на то, что в изображении развития стилей древнерусского литературного языка, а также развития его словарного состава Л. П. Якубинский не воспользовался так широко, как это следовало бы, языковым материалом древнерусских летописей и житий. Между тем совершенно правильно отмечается современными советскими историками древнерусской литературы высокая культура устного русского языка даже в период, предшествующий широкому распространению письменности. „В фольклоре, как и в речах воинских, вечевых, посольских, судебных и т. д., создался устный литературный язык, который лёг затем в основу письменной литературы и продолжал оказывать на неё воздействие в XI—XIII вв.“ [3].

---

[1] „Вопросы истории“, 1951, № 12, стр. 34.

[2] Там же, стр. 35.

[3] „История культуры древней Руси“, т. II, 1951. Статья Д. С. Лихачёва „Литература“, стр. 167.

„Судить об этом устном литературном языке мы можем по его отражению в русской письменности XI—XIII вв. Здесь в летописи, в житиях, отчасти в проповедях отчётливо дают себя чувствовать сложные культурные традиции русского ораторского искусства“ [1].

Можно было бы указать и на некоторые достижения славянского сравнительно-исторического языкознания за последние годы в освещении таких вопросов сравнительно-исторической грамматики славянских языков, как история глагольных форм времени и вида в разных славянских языках, в том числе и в русском, как история категорий лица и одушевлённости существительных, и некоторых других.

Но при всём том работа Л. П. Якубинского не утратила своего научного значения для советского языкознания и в отношении подбора лингвистического материала, и в характере его исторического объяснения.

Для того чтобы конкретнее представить и сильные, и слабые стороны работы Л. П. Якубинского по истории древнерусского языка, необходимо рассмотреть её место в общем научном творчестве этого разностороннего и очень сложного учёного. Целесообразно прежде всего кратко охарактеризовать предшествующую исследовательскую деятельность Л. П. Якубинского в области языкознания, описать творческий путь этого лингвиста.

3.

В научном творчестве Л. П. Якубинского нашли своеобразное отражение основные этапы развития русской науки о языке за период от 10-х до 40-х годов XX в. Л. П. Якубинский был не только одним из самых отзывчивых и восприимчивых деятелей этой науки, но вместе с тем и одним из её новаторов. Он беспокойно искал новых приёмов, новых путей лингвистического исследования и неустанно стремился проникнуть в новые функциональные области языка. Ученик Бодуэна-де-Куртенэ, Л. В. Щербы и А. А. Шахматова, он совмещал богатую эрудицию по вопросам общего языкознания и горячий интерес к научно-теоретическим проблемам с обширными знаниями и наблюдениями в области восточнославянских и южнославянских, а также других индоевропейских языков, соприкасавшихся с славянскими, например албанского и греческого. Человек боевого общественного темперамента, учёный с тревожными и страстными научными исканиями, он — после юношеских увлечений психологической эстетикой футуризма и его формальными ухищрениями, после работ по изучению поэтического, стихотворного языка, носивших явный отпечаток влияния идеалистической психологии,— стремился изучить и освоить марксизм и пользоваться им не как догмой, а как творческим методом в области новых лингвистических разысканий и построений. Однако Л. П. Якубинский в течение долгого времени — с середины 20-х годов — глубоко заблуждался, принимая теорию Н. Я. Марра за марксистское языкознание.

---

[1] „История культуры древней Руси“ т. II, 1951. Статья Д. С. Лихачёва „Литература“, стр. 164.

Изучение особенностей поэтического языка привело Л. П. Якубинского к общей лингвистической проблеме многообразия речевых деятельностей и речевых типов.

От изучения поэтической речи Л. П. Якубинский переходит к исследованию других функциональных разновидностей современного русского языка. Л. П. Якубинский выступает как борец за культуру речи, за культуру живого слова. Необходимым условием повышения культуры речи он считает построение прикладной технологической лингвистической дисциплины. Играя в середине 20-х и начале 30-х годов активную, иногда даже руководящую роль в научно-педагогической и научно-исследовательской деятельности ленинградских Института живого слова, Словесного разряда Института истории искусств и особенно Института речевой культуры, Л. П. Якубинский настойчиво подчёркивал необходимость сочетания лингвистической теории с практическими задачами культуры речи, необходимость „дать науке о языке уклон к прикладности, уклон технологический"[1].

По словам Л. П. Якубинского, „техника речи подразумевает технологию речи; технология речи — вот то, что должно родить из себя современное научное языкознание, что заставляет его родить действительность"[2]. В числе неотложных задач этой новой отрасли лингвистики, по мнению Л. П. Якубинского, необходимо, наряду с изучением поэтической и сценической речи, выдвинуть исследование „таких объективно существующих в быту и обусловленных им технических различных форм организованного речевого поведения человека, как устная публичная (так называемая „ораторская") речь или речь письменная публичная, в частности, публицистическая"[3]. „Эти — социально чрезвычайно важные речевые разновидности (и разновидности этих разновидностей) обладают каждая своей особой технической специфичностью", „они подразумевают своё особое оборудование, обращение с языковым материалом". Между тем они ещё „почти не затронуты наукой".

В более поздней статье „О работе начинающего писателя над языком своих произведений" Л. П. Якубинский писал: „Никогда и нигде в мире не стоял, например, так, как у нас, вопрос о создании доступной по языку для широчайших масс газеты; не менее актуально стоит и вопрос о массовой устной публичной речи, о речи докладчиков, агитаторов, пропагандистов, лекторов и т. п.; разве вставал когда-нибудь раньше вопрос о том, что язык наших законов, правительственных распоряжений, циркуляров и пр. должен быть рассчитан на то, чтобы его могли легко усваивать широчайшие массы? Разве раньше заботились сколько-нибудь о создании доступной для широких масс художественной литературы?" [4].

Весь этот цикл проблем для своего решения требовал создания новой широкой стилистической базы.

---

[1] Журнал „Леф", 1924, № 1, стр. 71.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Очерки по языку, Л.—М., 1932, стр. 8.

Прежде всего с этим кругом идей была связана проблема дифференциации и классификации разных типов речевой деятельности, иначе говоря, функциональных разновидностей речи или, что то же, разных целей и задач речевого общения.

Основные идеи и проблемы этой новой области лингвистических исследований с точки зрения субъективно-идеалистической психологии были намечены ещё в программе курса „Эволюция речи", читанного Л. П. Якубинским в Институте живого слова в 1919 г. „Цели речи. Речь как средство ежедневного общения; речь как средство выражения умозаключений; речь как самоценная деятельность (поэтическая речь). Автоматизм как признак обиходной речи... Предвосприятие и сфера интересов. Эволюция предвосприятия и социальная дифференциация: соединение и разделение труда (цехи). Предвосприятие и речевой автоматизм в их взаимоотношении" [1].

Развёрнутому исследованию этих проблем посвящена работа Л. П. Якубинского „О диалогической речи" (1922—1923) [2], которая, при всей порочности её методологической основы, содержит некоторые интересные конкретные наблюдения над строением диалога в русском языке.

В этой статье Л. П. Якубинский призывал лингвистов к изучению функциональных многообразий речи во всём их объёме и к коллективному собиранию материалов, необходимых для всестороннего и исчерпывающего освещения относящихся сюда проблем.

Из сферы изучения этих функциональных разновидностей литературного языка в последующих работах Л. П. Якубинского выделились, главным образом, проблемы ораторской — агитационной, общественно-политической, письменной — публицистической и научно-популярной речи.

4.

Пройдя строгую лингвистическую школу сравнительно-исторического исследования индоевропейских языков под руководством акад. А. А. Шахматова, Л. П. Якубинский параллельно с работами над современным русским языком, носившими преимущественно теоретический или стилистический характер — и притом с явным налётом идеалистической психологии, — занимался также исследованием вопросов сравнительно-исторической грамматики славянских и — шире — индоевропейских языков. Он много времени уделял изучению греческих, албанских и южнославянских языковых взаимоотношений. Но результаты этих работ так и не увидели света и, кажется, почти целиком погибли.

К области сравнительно-исторической грамматики славянских языков относится ценное исследование Л. П. Якубинского „Die Vertretung des

---

[1] „Записки Института живого слова", т. I, Петербург, 1919, стр. 85—86.
[2] „Русская речь". Сборник статей под редакцией Л. В. Щербы, вып. 1, Петроград, 1923.

urslavischen ě im čakavischen"[1]. Вопреки сербским учёным[2], объяснявшим двойственные замены общеславянского *ѣ* через *е* и *и* в чакавском диалекте Нови языковым смешением, Л. П. Якубинский доказал, что в этом чакавском говоре сербского языка переход *ѣ* в *е* и в *и* происходил по строгому закону, аналогичному тому, который действовал в польском языке: *е* на месте *ѣ* наблюдается перед твёрдыми переднеязычными (или зубными), а перед остальными согласными, а также перед мягкими переднеязычными и в конце слова *ѣ* переходит в *и*. Л. П. Якубинский очень убедительно объяснил все отклонения от этого процесса в новянском говоре, привлёкши значительный диалектологический и сравнительно-исторический материал, а также сделав ряд острых историко-этимологических сближений при объяснении уклонений от открытой им закономерности. Вместе с тем Л. П. Якубинскому удалось доказать, что соответствующая закономерность наблюдается и в сербских грамотах XIV — XV вв., отражающих тот же говор.

Это исследование Л. П. Якубинского бросало новый свет на процессы исторического выделения разных ветвей славянских языков из общеславянского языка-основы — и толкало к новым сравнительно-историческим исследованиям в области взаимоотношений славянских языков.

О широких исследовательских интересах Л. П. Якубинского в сфере сравнительно-исторического языкознания свидетельствует также его работа „Несколько замечаний о словарном заимствовании", относящаяся тоже к середине 20-х годов[3].

Здесь Л. П. Якубинский касается вопроса об устойчивых и неустойчивых категориях в словарном составе языка. По мысли Л. П. Якубинского, характер и состав словарных заимствований определяется лексическим строением языка, обусловлен лексической системой самого заимствующего языка. От таких лексических заимствований, которые являются результатом международного обмена предметами и понятиями, необходимо отличать другой тип заимствований, когда происходит з а м е н а своего слова чужим или возникновение наряду со своим словом другого — синонимичного или синонимообразного. Обычно изучается заимствование названия, вызванное заимствованием самой вещи. „Исследование здесь должно идти по формуле „Wörter und

---

[1] Zeitschrift für slav. Philologie, вып. 1, 1925, Heft 3—4, S. 381—396.

[2] Заметки по чакавским говорам, ИОРЯС, XIV, кн. 2. Ср. изложение однородного процесса у К. Мейера (M e y e r K., Untersuchungen zur čakavština der Jnsel Krk (Voglia) [Slavisch-Baltische Quellen und Forschungen herausgegeben von Reinhold Trautmann, Heft III], Leipzig, 1928) без ссылки на работу Л. П. Якубинского и вызванные этим упрёки и обвинения Грюненталя (O. G r ü n e n t h a l, Indogermanische Forschungen, XLVIII, 1930, Heft I, SS. 111—112). Ср. также: Indogermanische Forschungen, 1930, Heft 2, S. 222. Ср. ссылку на статью Л. П. Якубинского у Ван-Вейка: [Ein phonetisch-phonologisches Problem: die sogenannte Entpalatalisierung vor harten. Dentalen im Slavischen und im Niederländischen. Slavia, 1940, roč. XVII, seš 3].

[3] „Язык и литература", т. I, вып. 1—2, издание Научно-исследовательского института сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока при Ленинградском государственном университете, Л., 1926.

Sachen", причём его сложность зависит от того, насколько в руках исследователя имеется соответствующий культурно-исторический материал и насколько сложно его раздобывание и истолкование"[1]. Явления заимствований иного рода, мало исследованные и более трудные с теоретической точки зрения, тесно связаны с общим вопросом об изменениях словаря языка, о заменах одних слов другими, о возникновении синонимов, об обогащении словаря. Основным материалом для разрешения этих теоретических проблем лексикологии и семантики служат для Л. П. Якубинского балтийско-финские заимствования в русских говорах Архангельского и Олонецкого краёв.

Ссылаясь на Жильерона, Л. П. Якубинский выдвигает необходимость различения двух лексических категорий — устойчивых и неустойчивых слов. Устойчивы слова, относящиеся к самым жизненным и, так сказать, постоянным явлениям и проявлениям общественного существования. К неустойчивым элементам словаря, напротив, относятся термины, не имеющие непосредственного отношения к хозяйству и насущному, как бы типическому, быту или не являющиеся предметом широкого языкового обмена, а также, быть может, подробностные, т. е. названия частей или названия частные, осуществляющие детализацию. Тут царит особенная пестрота и разнообразие обозначений в пределах той или иной речевой среды. Эти неустойчивые словарные категории особенно легко поддаются заменам и подвергаются иноязычному вытеснению. „Замена-заимствование есть частный случай замены вообще"[2]. Таковы, например, олонецкие заимствования из финского для обозначения летучей мыши *(елак)*, бабочки *(липка)*, лягушки *(мутикашки)* и т. п. Свои выводы Л. П. Якубинский основывает на большом лексическом материале, относящемся к названиям животных и хозяйственных орудий, предметов домашнего обихода и кушаний.

Заимствование слов может быть обусловлено также мотивами экспрессивного подбора, эстетической выразительности, побуждениями эвфемистического или какофемистического (грубословного) порядка (ср. оленецк. *кярзя, турба* — о лице; первоначально — о морде разных животных). Заимствованию содействуют и суеверные табу.

Экспрессивные факторы ведут не только к заимствованию — замене, но и к заимствованию синонимических или синонимообразных групп слов. Так, в категории выразительных и изобразительных („картинных") слов, наряду с существующими словами, постоянно имеют тенденцию возникать новые слова, которые либо более энергично и свежо удовлетворяют выразительным эмоциональным заданиям речи, либо по-новому „изображают данное представление"[3]. „В этих категориях слов, — утверждает Л. П. Якубинский, — происходит перманентное обновление, которое может осуществляться и за счёт своего языкового материала, и в условиях взаимодействия с иноязычным населением, за счёт иноязычного"[4].

---

[1] „Язык и литература", т. I, вып. 1—2, стр. 2—3.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 15.
[4] Там же.

Заимствуются эмоциональные эпитеты, именные характеристики, глаголы, связанные с звуковой изобразительностью, со значением речи, понимания, еды, выразительные обозначения переживаний и разных эффективно окрашенных бытовых действий.

Такого рода заимствованные слова являются как бы „прозвищами". По словам Л. П. Якубинского, „как не всякое лицо вызывает возникновение прозвищ, и притом не в одинаковом количестве, так и не всякое значение обрастает синонимообразными словами, а также если обрастает, то не в одинаковом количестве"[1]. „Комплектование синонимообразных групп, возникающих в языке в связи с изобразительными и выразительными словами, может осуществляться не только путём использования своего материала, но и через словарное заимствование"[2].

Таким образом, в статье Л. П. Якубинского, не без влияния Д. К. Зеленина, сделана попытка установить внутренние закономерности заимствований слов из чужого языка — в тех случаях, когда заимствованные слова не приходят вместе с новыми вещами или понятиями, а также разграничить устойчивые и неустойчивые элементы лексики в народных говорах, выяснить социальные причины и мотивы непрерывной изменчивости некоторых разрядов слов.

5.

В работах Л. П. Якубинского по изучению современного русского языка и его жанровых разновидностей с середины 20-х годов начинают ярко обнаруживаться признаки вульгарного социологизма и вульгарного материализма. На этой почве развивается увлечение Л. П. Якубинского антимарксистской теорией акад. Н. Я. Марра, продолжавшееся до второй половины 30-х годов (приблизительно до 1937—1938 гг.). В эту полосу своей научно-общественной деятельности Л. П. Якубинский разделяет все основные положения так называемого „нового учения" о языке: отнесение языка к надстройке, взгляд на язык как на классовое образование, признание стадиальности развития языка и мышления, палеонтологический анализ по элементам, признание единства языкотворческого процесса и т. п. „История русского языка,— пишет Л. П. Якубинский,— есть частный случай единого мирового глоттогонического процесса, поэтому русский язык нельзя изучать изолированно, но в стадиальной увязке с другими языками мира, в частности с менее и наименее развитыми... Однако такое изучение не должно заменять специфического характера развития каждого языка"[3].

Дань этому увлечению „новым учением" о языке была отдана в статье Л. П. Якубинского «К палеонтологии названия для „половины"[4]». Сам Н. Я. Марр нашёл в этой статье яркое, хотя и слишком индивидуальное, проявление трактовки лингвистических вопросов по

[1] „Язык и литература" т. I, вып. 1—2, стр. 18.
[2] Там же, стр. 19.
[3] „Очерки по языку", ГИХЛ, 1932, стр. 41.
[4] „Языковедные проблемы по числительным". Сборник статей, Л., 1927.

яфетической теории со стороны индоевропеиста[1]. Исходя из предположенной Н. Я. Марром „палеонтологической" связи значения „половины" (*resp.* — „два") со значением „рука", Л. П. Якубинский отыскивал следы доисторической филиации пучка — „рука" — „половина" в немецком, древнеиндийском и других языках. При этих поисках применяется анализ по элементам. И всё же в этом исследовании Л. П. Якубинского нельзя не заметить тенденции к примирению или сближению палеонтологической мифологии, выдвинутой Н. Я. Марром, с более строгими навыками этимологического исследования, основанного на началах индоевропейского компаративизма. Правда, Л. П. Якубинский в это время ещё склонен был — под влиянием марровского учения о стадиях мышления — допускать качественное различие между исторической семантикой и семантикой доисторической, дологической.

Другая работа Л. П. Якубинского, написанная в этом же стиле, — „О словах, означающих неопределённое множество"[2] — так и не увидела света.

Но даже отказавшись от пресловутых четырёх элементов Н. Я. Марра, Л. П. Якубинский продолжал до середины 30-х годов пользоваться методами семантического анализа, основанного на идеалистическом признании разных стадий в развитии языка и мышления. Тут наблюдалось типичное для последователя Н. Я. Марра злоупотребление семантикой. В этом отношении характерно предложенное Л. П. Якубинским истолкование истории значений слова *звездануть* — нанести сильный удар по лбу (собственно — „лобануть"). В современном сербохорватском языке существует выражение *ударио га по звезди*, в буквальном переводе на русский язык это выражение значит: „ударил его по звезде", между тем как настоящее значение этого выражения — „ударил его по лбу"; в современном немецком языке слово „звезда" звучит *Stern*, слово „созвездие" — *Gestirn*, а слово „лоб" — *Stirn*. Эта связь неба и лба, по мнению Якубинского, из нашего современного мышления невыводима. Она отражает предшествующие „стадии мышления". В ту предполагаемую Леви-Брюлем и Марром эпоху, когда люди пользовались для обозначения частей тем же словом, что и для обозначения целого, они будто бы употребляли одно слово для обозначения головы и её частей: лба, затылка, черепа и т. п. В связь с этой гипотезой ставятся значения слова *лоб* в разных славянских языках: болгарское *лоб* значит „череп"; сербо-хорватское *лобона* — „череп"; греческое λόφος — „затылок"; польское *łeb* — „голова" и т. п. Затем мобилизуются фантастические марровские домыслы о космической семантике и космической стадии мышления.

«Таким образом, — заключает Л. П. Якубинский, — анализ значения слова „звезда" ведёт нас к значению „небо"»[3], потому что в определённую и достаточно древнюю эпоху звёзды, как и другие светила,

---

[1] „Языковедные проблемы по числительным". Сборник статей, Л., 1927, предисловие, стр. XIII.

[2] Там же, стр. VI.

[3] „Очерки по языку", стр. 44.

воспринимались как части неба: для неба и для небесных светил употреблялось одно и то же слово. Итак, мы имеем уже не связь „звезды" и „лба", а связь „неба" и „головы". В отдалённом прошлом для обозначения верхней части мира (неба) и верхней части человека (головы) употреблялось одно и то же слово (ср. значения греческ. λόφος — „затылок" и „холм"; ср. русск. *взлобок* — „подъём на гору", и др.).

Эта связь „звезды" и „лба" в позднейшие эпохи могла осознаваться на новой основе; так, например, в эпоху уже сравнительно развитого скотоводства белая отметина на лбу животного получает название „звезды" (отсюда и такие клички, как „звездун", „звездуха"); при убое скота старались ударить именно по „звезде" (т. е. по лбу); „звездануть" стало обозначать „нанести сильный удар по лбу", а потом и вообще „нанести сильный удар". Но, по мнению Л. П. Якубинского, было бы неправильно думать, что можно исходить именно от этой сравнительно поздней эпохи при объяснении связи „звезды" и „лба"; это будто бы опровергается данными языка древних индусов, у которых слово *bhalam* (бхалам) обозначало и „лоб", и „свет"; понятие „света" неразрывно связывалось и в древнейшие эпохи мышления с конкретными источниками света — светилом, солнцем, в конечном счёте... — с небом. У древних индусов мы имеем древнейшие источники связи этих значений, поддержанные в позднейшее время на иной основе, чем у русских [1]. Так, не без остроумия, но с типичным для „нового учения" о языке антиисторическим отношением к языковым фактам нанизываются на так называемые „семантические законы" Н. Я. Марра явления разных индоевропейских языков.

Развивая мысли акад. Марра, Л. П. Якубинский придавал особенное значение изучению „пережитков" в системе современного русского языка, исходя из мысли, что „актуальнейшие вопросы современной языковой политики упираются в древнейшие эпохи возникновения и развития человеческого языка" [2]. Перефразируя Баратынского, он говорил:

Пережиток — он обломок
Древней правды...

Признавая вслед за Н. Я. Марром революционные перевороты в языке, Л. П. Якубинский писал: «Мы строим новое здание языковой культуры; мы должны знать, что нам делать с обломками старых строений, а для этого мы должны понять, как в каждом конкретном случае „древняя правда" проделала свой путь к „обломку"» [3].

Метод стадиально-семантического исследования применяется Л. П. Якубинским и к анализу лексического гнезда *раб-роб* в его критических замечаниях на доклад акад. Б. Д. Грекова „Рабство и феодализм в Киевской Руси" [4]. Л. П. Якубинский полагает, что древнейшее значение восточнославянского корня *роб* было связано

[1] „Очерки по языку", стр. 44.
[2] Там же, стр. 46.
[3] Там же.
[4] „Известия Академии истории материальной культуры", вып. 86, 1934, стр. 127—129.

с земледельческим трудом. Оно отражается в народнообластном употреблении глагола *робить — робливать*, охватывающем огромную территорию русского языка—Архангельскую, Вологодскую, Пермскую, Олонецкую, Вятскую, Рязанскую, Калужскую, Смоленскую области и Сибирь, в значении „производить крестьянские земледельческие работы, страдовать, сеять, пахать" (см. в Словаре Даля, под словом *робить*). Это значение древнее значения „рабство, работорговля, рабский труд". Оно, по мнению Якубинского, отражается и в словах *робя — робята* — „молодое поколение", потомство *робы*, земледельствующей женщины. В отдалённую эпоху доклассового общества, когда в языке и мышлении, как предполагал Л. П. Якубинский, получила выражение дифференциация производственного процесса, произошло выделение земледельческой работы и притом первоначально как работы женской. Л. П. Якубинскому кажется не случайным, что ещё в „Русской правде", сохранившей древние пережитки в языке, словом корня *роб* оформляется только *раба — женщина* (*роба*), в то время как *раб мужчина* называется *холоп* (ср. отражение производственно-хозяйственной дифференциации: *боров — свинья*, *баран — овца*, *кобель — сука*, *петух — курица* и т. п.).

Лишь с зарождением рабства и именно в речи рабовладельцев эти слова получают своё позднейшее классовое содержание (ср. *робкий*). „Если для выражения понятия раба как представителя определённого класса было использовано слово, обозначавшее первоначально земледельческого работника, то только потому, что в самых истоках рабства на Руси земледельческая работа становящегося раба (resp.— рабы) была чем-то весьма существенным, чем-то основным" (стр. 127). Для обозначения раба как товара в древнерусском языке слово *раб* употреблялось в двух огласовках: русской *робъ* и болгарской *рабъ*.

По мнению Л. П. Якубинского, было бы ошибочно объяснять распространение в древнерусском языке слова *рабъ* только книжным влиянием церковнославянского, по происхождению древнеболгарского языка, хотя некоторые русские употребления слова *раб*, несомненно, продолжают традицию церковнославянского языка (ср. *раб божий* и др.). Однако в основе дело обстоит гораздо сложнее, как это обнаружил акад. А. А. Шахматов. Л. П. Якубинский доказывает, что появление на Руси слова *раб* в его болгарской форме относится к эпохе не позже середины X в., а то и раньше. Показательно летописное повествование о Святославе с его стремлением в Болгарию, в Переяславец, где „вся благая сходятся", в том числе и „челядь". Надо думать, что слово *раб* (так же, как *овощь*) проникло в русский язык из болгарского в процессе живых торговых сношений. „Наличие в русском языке слов *раб, рабство* в болгарской огласовке связано именно с работорговлей и её конкретными путями". Л. П. Якубинский обращает внимание на параллельные явления в болгарской и сербской лексике, где, наоборот, слова этого корня, относящиеся, собственно, к рабству, существуют в чужой русской огласовке (ср. в болгарск. *роб, робаня, робувам* — рабствую, в сербск. *роб, робити* — обращать в рабство, *робовати* — рабствовать, при болгарск. *работа* — работаю, *работа* –

работа, *работен* — работящий; сербск. *рабити* — работать на барщине, *работар* — крепостной, *работа* — барщина).

Легко заметить, что Л. П. Якубинский постепенно в своих историко-лексикологических изысканиях отходит от палеонтологической семантики „нового учения" о языке, хотя и считает язык идеологической надстройкой над базисом. Но даже, отказавшись от марровского палеонтологического анализа по элементам, Л. П. Якубинский продолжал относиться к языку как к классовому образованию, смешивая язык с идеологией. Он отождествлял основные этапы истории языка с социально-экономическими формациями. Об этом достаточно ярко свидетельствуют названия работ Л. П. Якубинского, относящихся к самому началу 30-х годов: „Язык крестьянства" („Литературная учёба", 1930, № 4 и 6), „Язык пролетариата" (там же, 1930, № 7), „Русский язык в эпоху диктатуры пролетариата" (там же, 1930, № 9, и 1931, № 3). Статьи этого характера были позднее объединены в книгу „Очерки по языку" (1932). Здесь теория классовости языка приводит к искажению учения В. И. Ленина и И. В. Сталина о национальных языках, об их образовании и развитии. Выдвигается такая схема развития языка, которая решительно противоречит марксистскому пониманию законов истории языка. Утверждается, что в период до образования национального языка, при феодализме, языковая общественность напоминала „мешок с диалектами"; никакого общенародного языка тогда будто бы не было. Категорией феодальной языковой общественности признаётся поместный диалект, замкнутый в себе и более или менее отграниченный от других диалектов. Общие языки при феодализме были, согласно этому ошибочному представлению, общими лишь для господствующего класса. Только национальный язык будто бы возникает и развивается как язык, претендующий на то, чтобы стать общим для всех классов общества, т. е. всеобщим, подобно тому как создающая национальный язык буржуазия возникает и развивается как класс, претендующий на отражение интересов всего общества. Однако и национальный язык, общий в тенденции для всех классов общества, по существу своему, как думал Л. П. Якубинский, является языком классово-буржуазным. В этой связи ставился вопрос об языке пролетариата как подлинно, действительно общем для всех членов социалистического общества. Антиисторизм и немарксистская сущность этой схемы развития языка после появления трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания вполне очевидны.

Влияние теории акад. Н. Я. Марра сказывалось на научно-популярной и учебно-педагогической деятельности Л. П. Якубинского в начале 30-х годов. Для „Учебника русского языка" (Л., 1932) им написаны в духе нового учения о языке статьи о происхождении языка, о некоторых особенностях звукового языка, о классовых языках. Помещённая здесь же „историческая справка о сложном предложении" отражает взгляды Л. П. Якубинского на процесс формирования национального языка. С этим процессом связывается „взрыв" в области синтаксической структуры языка, а именно: образование новых типов

сложного предложения. Эти идеи развивались Л. П. Якубинским в особом докладе на Ленинградской конференции педагогов-словесников: „Проблемы синтаксиса в свете нового учения о языке“ [1].

Особенно внимание Л. П. Якубинского привлекла проблема мнимого „стадиального“ развития сложного подчинения в русском языке — категории более новой сравнительно с сочинением. По мнению Л. Я. Якубинского, в древнерусском языке ещё не было развитой и дифференцированной системы подчинительных союзов. Подчинительные союзы были многозначны (например, *яко* — в изъяснительном, следственном, причинном, сравнительном и временном значениях, как показывают наблюдения Е. С. Истриной над „Синтаксическими явлениями в I Новгородской летописи по Синодальному списку“; ср. многозначность *что* — причинн., условн., сравнит., следств.; *как* и т. п).

Развитие сложноподчинённой конструкции, как полагал Л. П. Якубинский, шло двумя путями: или путём преобразования сложносочинённой конструкции (вводом союза, разными явлениями соотносительности форм глагольного времени), или путём использования причастных оборотов.

Однако главным оказался первый путь, потому что он давал возможность посредством постановки союзов с их дальнейшей дифференциацией и специализацией выразить самые разнообразные оттенки зависимости между предложениями. Этот процесс, по представлениям Л. П. Якубинского, пережил скачок, резкое качественное преобразование в период формирования национального русского языка.

Синтаксические теории Л. П. Якубинского, как и многие другие его идеи, ещё до опубликования их в печати оказали влияние на разработку проблем исторического синтаксиса как русского, так и западноевропейских языков, и даже языков других семей, среди молодых учёных, примыкавших к „теории“ Н. Я. Марра.

Так, Т. В. Строева-Сокольская в своей диссертации „Развитие сложноподчинённого предложения в немецком языке“ (Л., 1940), написанной под явным влиянием синтаксических идей Л. П. Якубинского, заявляет: „В советской лингвистике принципиальный вопрос о возникновении сложноподчинённого предложения, о стадиальном развитии синтаксиса на базе развития общественных отношений был впервые выдвинут проф. Л. П. Якубинским (1931 г.) в синтаксической бригаде Ленинградского научно-исследовательского института языкознания (б. ГИРК). Вопрос этот разработал на специальном материале проф. А. П. Рифтин, также „ученик“ Н. Я. Марра, в докладе на пленуме Института языкознания (ЛНИЯ) в мае 1935 г.: „О двух путях развития сложного предложения в аккадском языке“. А. П. Рифтин устанавливает два пути создания сложного предложения: первым является развитие сложноподчинённого предложения на базе соединения более простых предложений, на базе сочинения; вторым путём развития

[1] Материалы к докладам на Ленинградской конференции педагогов-словесников, Л., 1931, стр. 6—11.

является развитие подчинённого предложения внутри простого предложения, из элементов его (причастных, деепричастных, инфинитивных конструкций). А. П. Рифтин признаёт, что ведущим для флективных языков является первый путь, для языков же агглютинирующих и инкорпорирующих — второй" [1].

Точно так же В. Н. Ярцева признаёт зависимость своей работы „Развитие сложноподчинённого предложения в английском языке" (Л., 1940) от синтаксических взглядов Л. П. Якубинского. Она пишет в предисловии: „Вопрос о развитии сложноподчинённого предложения в связи со становлением национального литературного языка был в советской лингвистике впервые поставлен проф. Л. П. Якубинским в ряде его докладов в Ленинградском научно-исследовательском институте языкознания. Позднее в том же институте некоторыми научными работниками и аспирантами разрабатывались отдельные, частные вопросы сложноподчинённого предложения на материале различных языков. Можно назвать работы: Э. И. Каратаевой „Временное предложение в русском языке по материалам Петровской эпохи" (рукопись); Т. В. Сокольской „Развитие подчиняющих союзов в немецком языке" (рукопись); А. П. Рифтина „О двух путях развития сложного предложения в аккадском языке" [2].

Связь своей научно-исследовательской деятельности до середины 30-х годов с „новым учением" Н. Я. Марра и своё отношение к нему Л. П. Якубинский ярко охарактеризовал в статье „Живой Марр", напечатанной в „Литературном Ленинграде" за 1934 г. (№ 64).

6.

Воспитанный на точной методике индоевропейского сравнительно-исторического языкознания, Л. П. Якубинский испытал большое разочарование, наблюдая беспринципное, нередко основанное на незнании элементарных фактов истории языка или на пренебрежении к ним, более разрушительное и отрицательное, чем созидательное, применение принципов нового учения о языке к явлениям хорошо знакомых ему языков индоевропейской семьи. Л. П. Якубинский всегда был врагом „общих мест", даже противоположных. С середины 30-х годов он напряжённо стал искать путей синтеза достижений сравнительно-исторической грамматики индоевропейских, в частности славянских, языков с теми положениями „нового учения" о языке, которые казались ему прогрессивными и основанными, как он ошибочно полагал, на учении классиков марксизма-ленинизма. Критическое преодоление априоризма и антиисторизма нового учения о языке было связано в научной деятельности Л. П. Якубинского с пересмотром традиционных принципов индоевропейского компаративизма.

---

[1] Т. В. Строева-Сокольская, Развитие сложноподчинённого предложения в немецком языке, Л., 1940, стр. 5.

[2] „Советское языкознание", т. III, 1937.

Л. П. Якубинскому представлялось, что начало такому пересмотру уже положено статьёй проф. М. Г. Долобко „Основная языковая закономерность коммунизма родовой стадии“ [1].

Исходя из работ Ф. Энгельса и особенно из его книги „Происхождение семьи, частной собственности и государства“, М. Г. Долобко пришёл к выводу, что и индоевропейское языкознание, и новое учение о языке опираются на одностороннее и априорное представление о ходе историко-языкового процесса. Но, сделав этот вывод, Долобко сам запутался в сетях стадиальной теории развития языка.

„Забыв об историчности и диалектике исторического развития,— писал он, — поставив вне рамок места и времени, обратив в абсолют языковые закономерности дородовой и послеродовой общественности, мы придём к абсолютизированному учению о развитии языка скрещением. Абсолютизировав ведущую языковую закономерность родового строя, мы получим учение большинства представителей буржуазного языковедения о праязыке и праязыках“ (стр. 62). „Возможен и путь механистического соединения и того и другого в различных соотношениях, путь эклектики, или хуже — эклектик, ибо их несколько“ (например, в концепции А. Мейе, Г. Шухардта и И. Бодуэна-де-Куртенэ и др.).

Диалектичнее, по мнению проф. М. Г. Долобко, идти вглубь исторического синтеза, связывая историю языка с историей общественного строя и отождествляя этапы их развития. Подлинный историзм „снимает“ и индоевропеистскую, праязычную и априорную „яфетическую“ точку зрения, выдвигающую надисторичность закона от множественности к единству. „Историзм, — по словам М. Г. Долобко, — делает и ту и другую моментами движения языкового процесса, отводя каждой своё определённое место, свой определённый отрезок времени, при этом, конечно, не механически, а пытаясь вскрыть сущность движения“ (стр. 67). Разным историческим (ограниченным) „стадиям“ развития языка должны быть свойственны — думал Долобко — „свои особые имеющие историческое значение“ закономерности (стр. 66). Теория праязыка сохраняет своё значение для родовой стадии развития общества. „Кто признал родословное дерево родов, фратрий и племён, тот должен, — по словам проф. Долобко, — признать и родословное дерево наречий и языков этих основных ячеек родового коммунизма. Материалы всех языков, носители которых прошли стадию родового строя, непреложно говорят о филиации этих языков“ (стр. 60). Филиация племён приводит к филиации языков. „Обособление племён от ближайше родственных приводит к обособлению их языков, более значительному — при утрате всяких связей, менее значительному — при расселении на небольшой территории“ (стр. 60).

Отличительной чертой отдельного племени, по утверждению Ф. Энгельса, является особое, свойственное лишь этому племени наречие. В действительности племя и наречие по существу совпадают (стр. 56). Понятие „праязыка“, как историческая категория родовой

[1] „Советское языкознание“, т. I, 1935.

стадии, по мнению М. Г. Долобко, не исключает принципа скрещения, как основного фактора языкового развития для других стадий общественного развития. „В первобытном стаде, если у него была мало-мальски развитая звуковая речь, скрещение языков должно было несомненно иметь ведущее значение" (стр. 62). Точно так же при распаде родового строя в классовом обществе скрещение начинает выступать всё в большей мере (стр. 62).

Таким образом, проф. М. Г. Долобко искал выхода из того тупика, в который завело советскую лингвистику так называемое „новое учение" о языке, в попытке оживления или оздоровления традиционного, сравнительно-исторического индоевропейского языкознания марровской теорией скрещивания. Эта компромиссная концепция ни в коей мере не может быть признана марксистской, правильной. Кое в чём с ней перекликается выдвинутая в 1950 г. проф. С. П. Толстовым „теория первобытной лингвистической непрерывности", заслуженно получившая отрицательную оценку у большинства советских языковедов [1]. Проф. Л. П. Якубинский едва ли всецело разделял взгляды проф. М. Г. Долобко, но, несомненно, критика „нового учения" о языке, содержавшаяся в работах М. Г. Долобко, на него оказала сильное влияние и была им встречена с большим сочувствием.

В 1940 г. Л. П. Якубинский выступил с докладом о происхождении славянских языков, который позднее (в 1941—1942 гг.) почти полностью вошёл в книгу „История древнерусского языка" [2]. Здесь доказывалось, что глубокая близость славянских языков не только в лексике, но и в грамматическом строе объясняется в основном условиями их развития в доклассовом обществе, закономерностями развития общества с родовой организацией.

Ссылаясь на Ф. Энгельса и его учение о родстве языков, Л. П. Якубинский приходит к выводу, что „некогда существовало родовое славянское племя со своим единым племенным диалектом; это племя можно условно назвать праславянским племенем, а его диалект праславянским племенным диалектом". Организация родового племени подразумевает объединение в нём разнородных (не родственных) дородовых ячеек — племён с разнородными диалектами. В процессе длительнейшего сосуществования внутри родового племени этих разнородных ячеек, в результате их взаимопроникновения, скрещения и создалось единство диалекта родового племени — на основе победы славянского начала.

В том, что славяне переживали стадию родовой организации в теснейшей и неразрывной связи друг с другом, убеждает общность терминов родового общества у всех славян (*род:* ср. отслоения культа предков в словах *рожаница; род* в значении „домовой, дедушка"; *рода* — „призрак, привидение"; *племя,* сербск. *племе*, польск. *plemię;*

---

[1] „Советская этнография", 1950, № 4. Ср. „Вопросы языкознания", 1952, № 1.

[2] Этот доклад был напечатан в 1947 г. в „Вестнике Ленинградского университета", 1947, № 1, под заглавием: „Образование народностей и их языков".

староста; ср. польск. *starosta; старейшина*; ср. сербск. *старјешина* — „глава большой семьи, kyh'u"; ср. древнейшее значение слова *кънѧзь* — „родовой или племенной старшина"; *воевода* — „родовой вождь"; *вече, отрок, сирота* первоначально: „безродный, без рода, без племени"; *месть* и т. п.). Характерна такая формула, открывающая лазейку для марровской теории языкового скрещения:

„Праславянский племенной диалект, ставший единым в процессе своего образования, разнороден в своём генезисе".

Путём разделения этого праславянского племени и соответственно его диалекта образуется ряд древнейших кровнородственных славянских племён и родственных диалектов. Не теряя между собою связи, эти племена составляют славянский племенной союз с общим языком, различавшимся лишь по родственным диалектам; этот язык можно условно назвать общеславянским языком.

„С распадением славянского племенного союза и общеславянского языка, славянские племена отдельными группами, отдельными союзами расселились по огромной территории Восточной и Центральной Европы, образуя на новых местах новые более или менее устойчивые племенные союзы" [1]. На основе этих отдельных (частных) славянских союзов, в очень сложном процессе разложения родовой организации и формирования государственных связей населения при неизбежном смешении населения и славянского, и неславянского и неизбежном скрещении разных диалектов и возникают отдельные группы славянских народностей и языков. Однако, несмотря на сложнейшие взаимодействия славянских народностей с неславянскими (и притом разными для разных славянских народностей), оказывается, что даже языки современных славянских наций родственны и сходны между собою.

Сравнительно-историческая грамматика славянских языков, занимаясь изучением сходств и различий между славянскими языками, выяснением качества и исторического происхождения этих сходств и различий, позволяет в известной мере реконструировать если не общую систему, то отдельные частности древнейшего состояния каждого из славянских языков вплоть до праславянского племенного диалекта или общеславянского языка.

Но, по мнению Л. П. Якубинского, этот праславянский племенной диалект нельзя, следуя за классическим индоевропейским языкознанием, рассматривать как один из племенных диалектов, возникших в результате разделения праиндоевропейского диалекта. Генетическая связь между индоевропейскими языками иного порядка, чем связь между славянскими языками. Отдельные индоевропейские группы языков не возникали путём разделения единого родового прадиалекта, как отдельные славянские языки. К такому выводу прежде всего приводит анализ словарного состава отдельных групп индоевропейских

---

[1] См. ориентацию проф. Р. И. Аванесова на эту статью Л. П. Якубинского в работе „Учение И. В. Сталина о языке и диалекте". Сборник „Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина", изд. МГУ, 1951, стр. 89—90.

языков. Например, терминология родового строя в целом, в системе разнородна, различна по разным группам индоевропейских языков. Любопытно, что соответствующие славянские термины (*род, месть, племя* и т. п.) — не индоевропейские. Вот почему, по мнению Л. П. Якубинского, не может быть речи о едином праиндоевропейском племени и едином праиндоевропейском племенном диалекте.

Л. П. Якубинский полагает, что в состав прадиалекта каждой отдельной группы индоевропейских языков, наряду с общим, однородным элементом, который условно можно назвать индоевропейским элементом (он налицо и в славянских языках), входил и иной элемент или иные элементы и притом, возможно, различные для разных индоевропейских групп языков. Они являются вкладом других дородовых племён, шедших по пути развития родовой организации. Смешением, скрещением индоевропейских элементов с различными неиндоевропейскими в процессе образования родовой организации объясняются древнейшие, исконные различия между группами индоевропейских языков, как фонетико-грамматические, так и лексические.

Таким образом, в этой работе Л. П. Якубинского ярко сказывается тенденция к согласованию приёмов сравнительно-исторического изучения родственных языков с марровской теорией скрещения, тем более, что теория скрещения и до Марра находила многих сторонников в буржуазном языкознании.

Труд И. В. Сталина „Марксизм и вопросы языкознания" внёс полную ясность в вопрос о скрещении языков и о закономерностях языкового скрещения в эпоху до победы социализма во всемирном масштабе. Указаны также новые законы слияния языков в эпоху после победы социализма во всём мире. В свете указаний И. В. Сталина ошибочность разрешения проблемы индоевропейской языковой общности в работе Л. П. Якубинского нам вполне очевидна. Отсюда можно сделать и общий вывод о тех методологических недостатках, которые свойственны историко-лингвистическим исследованиям Л. П. Якубинского в последний период его научной деятельности и которые так или иначе должны были сказаться и в его лекциях по истории русского языка. Отказавшись от палеонтологического анализа по элементам, от связанных с ними антиисторических так называемых „семантических законов" Н. Я. Марра, от идеи единства языкотворческого процесса, существенно ограничивши свои прежние представления о роли „идеологической функции" языка, Л. П. Якубинский ещё сохранил веру в скрещение как способ образования новых видов языка. Вместе с тем отнесение языка к явлениям культуры в концепции Л. П. Якубинского сопровождалось признанием возможности языковой революции. В сущности, именно такая культурно-языковая революция, по предположению Л. П. Якубинского, будто бы произошла в древней Руси в XI в.: в связи с развитием городского быта, в связи с укреплением политической роли веча, в связи с расширением и усложнением деловых сношений и правовой переписки старославянский язык будто бы уступает место русскому живому восточнославянскому языку, который и становится с тех пор госу-

дарственным языком Киевской Руси. Эта гипотеза не имеет под собой никакой исторической почвы.

Таким образом, — при всей ценности многих отдельных наблюдений и обобщений — курс истории древнерусского языка Л. П. Якубинского требует к себе строго критического отношения в основной методологической своей части.

7.

Труд Л. П. Якубинского, посвящённый изложению истории русского языка приблизительно до XIII—XIV вв., неравномерно охватывает разные стороны языкового развития. Изменения в звуковом строе русского языка и в системе именных и глагольных форм описаны здесь очень бегло и схематично. В центре изложения — исторические судьбы русского литературного языка и история его грамматических категорий — таких, как род, число, падеж, категория определённости и неопределённости имён прилагательных, категория местоимений, глагольные категории вида, времени и залога. Но и тут явления исторического синтаксиса охарактеризованы неполно и фрагментарно. В области словарного состава, кроме общего вопроса о взаимодействии русизмов и славянизмов, уделено особое внимание заимствованиям из греческого и финно-угорских языков. Таким образом, в „Истории древнерусского языка" Л. П. Якубинского нельзя искать всестороннего и систематического описания процесса развития русского языка до XIII—XIV вв. Общее представление о составе работы Л. П. Якубинского, о порядке и характере изложения в ней отдельных вопросов истории русского языка, об основной линии движения мыслей автора можно получить на основе последовательного разбора всех её глав.

Начинается книга изложением вопроса о языковом родстве славян. Доказывается, что все славянские языки восходят к единому общеславянскому языку (или славянскому „прадиалекту", к единому „языку-основе", как сказали бы мы теперь), что строй славянских языков не является продуктом скрещения разносистемных языков. Однако тут же Л. П. Якубинский выдвигает принцип скрещённости индоевропейского языка-основы, отдавая дань своему прежнему увлечению марровской теорией языкового скрещения. Эта мысль, в сущности, не подкрепляется ничем, кроме указаний на лексические расхождения индоевропейских языков. Кроме того, разграничение „праславянского племенного диалекта" и „общеславянского языка" очень условно и исторически не обосновано. Сама мысль об едином племенном союзе всех славянских племён в высшей степени сомнительна.

Вслед за этими рассуждениями следует краткая характеристика древнейших судеб восточнославянского племенного союза, в основном сделанная по трудам акад. Шахматова и в настоящее время уже устарелая. Ею и заканчивается глава „Русский язык как один из славянских языков".

В следующей главе — „Происхождение письменности у славян" — Л. П. Якубинский, изображая развитие и смену пиктографического, идеографического и буквенного письма у славян, предлагает целый ряд остроумных этимологических и культурно-исторических истолкований слов, например, *читати — чьсти* (с его „пучком" значений, „чтить — считать — читать", отражающих культово-магическое восприятие гадательных знаков и вместе с тем числа; ср.: латышск. *skaĭts* — число, *skaitit* — считать — говорить молитвы; литовск. *skaititi* — читать, считать), *чьрта* (гадательный знак, идеограмма, числовой знак, межевой знак, зарубка, нарез на деревьях, граница и вместе с тем знак оберега, ср. *очертя голову;* но первоначальное значение корня *чьрт* — производственно-техническое; ср. в северных русских говорах *чертить* — подсачивать деревья, готовить к рубке, сбивая кору); (но ср. тут же сопоставление: *печать* — родовой идеографический знак и грузинск. *beted*, чанск. *matkind*, сванск. *məskäd*; мегрельск. *martkind*).

При этом Л. П. Якубинский подчёркивает, что в названии для пиктограммы корень *peik'* — *pik'* — славянск. *-пис*, *-пьс* (писать) — общий у всех индоевропейских языков, между тем для обозначения идеограммы отдельные группы индоевропейских языков вырабатывают свои термины, иногда даже не из индоевропейского корневого материала (ср. славянск. *читати*, латинск. *scribere*, греческ. γραφειν и т. п.). „Существование различных славянских названий для „знаков" добуквенного письма, проникновение в славянские языки чужеземных соответствующих названий *(печать, буква, книга)*,— по мнению проф. Якубинского,— свидетельствует о том, что славянское знаковое письмо было достаточно сложным явлением" (стр. 175).

Очень своеобразно, но в основном не отходя от стародавней традиции, Л. П. Якубинский комбинирует факты и разные мнения историков и лингвистов, изображая возникновение и развитие буквенного письма у славян и приписывая огромное значение в организации славянской письменности деятельности Кирилла-Константина. Кирилл изобретает глаголицу, используя, по мнению Л. П. Якубинского, для этой цели уже существовавшее славянское письмо без „устроения", опиравшееся местами на греческую, местами на латинскую скоропись. Стилизуя это письмо и организуя из него стройную систему славянских графем, Кирилл-Константин почерпнул самый принцип глаголического графического стиля из стиля местных славянских идеографических знаков (ср. идеографические знаки Причерноморья, подобные которым, вероятно, существовали и на Балканах). Л. П. Якубинский думает, что правящие круги Византии должны были увидеть во введении глаголицы, далёкой от греческого богослужебного устава, политическую ошибку, особенно после утверждения глаголического письма папой. Поэтому, как бы в догонку глаголице, в Константинополе было составлено так называемое „кирилловское письмо", в котором была сохранена внутренняя система замечательной константиновой глаголицы. Борьба кириллицы и глаголицы отражала борьбу между Восточной и Западной империями.

Торжество кириллицы, скоро окончательно вытеснившей глаголицу и в Киевской Руси, здесь тоже, по мнению Л. П. Якубинского, было одним из проявлений возраставшего влияния Византии.

Спорность и историческая однобокость этого изображения, совершенно не учитывающего культурных достижений восточных славян в области письма, нам в настоящее время ясны. Следствия этой концепции отчасти сказываются и на дальнейших предположениях Л. П. Якубинского о возникновении и развитии древнерусского литературного языка.

По изображению проф. Якубинского, древнерусский литературный язык является отростком старославянского корня, хотя культура этого языка и вырастает на самостоятельно возделанной восточнославянской почве.

Вырабатывая свой письменный язык, древняя Русь в X в., по мнению проф. Якубинского, сначала воспользовалась в качестве государственного официально-делового языка, языка государственных актов и внешних дипломатических сношений, старославянским языком. На этом языке были написаны, как полагает Л. П. Якубинский, вопреки акад. С. П. Обнорскому, договоры с греками в X в.

Исследование языка этих договоров приводит Л. П. Якубинского к выводу, что языком великокняжеской канцелярии Киевской Руси, её государственным языком в X и начале XI в. был церковнославянский язык. Договор 911 г., более архаичный по языку, переполненный греческими кальками, отличается многими стилистическими шероховатостями. Договор 944 г. содержит меньше механических слепков с греческого оригинала; он лексически разнообразнее (в дог. 911 г.— *лодья*, в дог. 944 г.— *лодья*, *корабль*, *кубара*). „Это свидетельствует,— по мнению Л. П. Якубинского,— о том, что культура письменного языка в Киевской Руси за первую половину X в. повысилась". Переводчиками договоров, как полагает проф. Якубинский, были русские, владевшие греческим и старославянским языками. Будучи государственным языком Киевской Руси в период „Империи", в течение X и первой половины XI в., „церковнославянский язык,— по мнению Л. П. Якубинского,— был в то же время, особенно в правление Ярослава, и литературным языком широкого размаха, охватывающим разные стороны идеологической жизни". На него переводились и на нём писались, кроме богослужебных книг, и церковно-повествовательные произведения („жития"), и историческая беллетристика, и научно-философские трактаты (ср. Изборник 1073 г.), и даже летописные заметки. Но уже в половине XI в. положение несколько меняется, и круг применения церковнославянского языка сужается. Он встречает могучего соперника в лице древнерусского литературного языка. В XI в. в связи с развитием городского быта, в связи с укреплением политической роли веча, с усложнением деловых и правовых функций государственного языка, по исторически ничем не подтверждённому и явно ошибочному домыслу Л. П. Якубинского, происходит культурно-языковая революция. Церковнославянский язык в общественно-полити-

ческой сфере уступает место русскому живому восточнославянскому деловому языку, который и становится государственным языком Киевской Руси.

Эта картина соотношений старославянского языка и живой восточнославянской речи в X и первой половине XI в. явно искажает историческую перспективу.

В разделе, посвящённом вопросу о роли церковнославянского языка в истории русского языка, Л. П. Якубинский подчёркивает важность и неотложную необходимость изучения церковнославянских элементов в народных говорах. Отметив довольно значительное количество церковнославянских слов в народной лексике, Л. П. Якубинский обращает внимание на то, что некоторые из этих слов функционируют в диалектах в таких значениях, которые не засвидетельствованы ни в литературном языке XVIII—XIX вв., ни в более ранних литературных памятниках. Это обстоятельство может быть объяснено либо тем, что эти церковнославянские слова получили своё особое автономное по отношению к литературному языку семантическое развитие уже в самих диалектах, либо тем, что в более древнюю эпоху они существовали с соответствующими значениями в разговорной речи книжных людей, откуда и проникли в диалекты. Сам Л. П. Якубинский в соответствии со своей общей исторической концепцией склоняется к этой последней точке зрения и считает, что „соответствующие диалектные материалы могут оказать немаловажную помощь при изучении истории разговорного языка книжных людей" (ср.: *благой, брань, перебранка, мразь, владать, глаголь, праховый, нрав, нравный, огласить, ограда, здравница, напредки, претить* и т. п.). Кроме того, Л. П. Якубинский предполагает, что некоторые церковнославянские слова широко проникали в народные диалекты из разговорной речи книжных людей ещё в древнерусскую эпоху, т. е. до XV в. (ср.: *награжать, преже, допреж, проклажацца, слажоный* и т. д.).

Таким образом, вопреки тем фактическим данным, которыми мы в настоящее время располагаем (см. гл. 2 этой статьи), Л. П. Якубинский считает, что только в первой половине XI в. начинает развиваться древнерусский литературный язык в собственном смысле, господствующим же литературным языком в XI в. всё ещё будто бы остаётся церковнославянский язык, который теряет свои господствующие позиции к XII в. Л. П. Якубинский связывает период господства церковнославянского языка с периодом беспрерывного и быстрого роста империи Рюриковичей в X — XI вв., а развитие русского литературного языка — с ростом городов, с подъёмом политического значения городской массы, с развитием деятельности веча, со второй половины XI — начала XII в. При этом, по мнению Л. П. Якубинского, прежде всего и ярче всего этот процесс обнаруживается в Новгороде. Церковнославянский язык уступает место русскому языку, по мысли проф. Якубинского, сначала в сфере государственной, юридической и деловой, быть может, раньше — в частных актах. И это предположение первоначального исключительного употребления церковнославянского языка в государственно-деловой восточнославянской письменности не

может быть ничем подтверждено. Напротив, оно противоречит историческим фактам и выводам советских историков древнерусского языка, древнерусской культуры, а также литературы. Первый записанный закон Киевского государства — „Русская правда" в древнейшей краткой редакции (первой половины XI в.), Ярославовы грамоты, до нас не дошедшие, были написаны на русском языке. Л. П. Якубинский отмечает передовую роль Новгорода в процессе предполагаемой им замены церковнославянского языка как государственного древнерусским языком. В Новгороде даже произведения духовной литературы писались на русском языке (поучение Луки Жидяты). По мнению Л. П. Якубинского, новгородские веяния, которые привёз с собой из Новгорода Ярослав, вокняжившись в Киеве, возможно, ускорили развитие этого процесса в Киеве и других областях. Грамоты XII — XIV вв. ярко отражают процесс развития русского государственно-делового языка. Церковнославянские элементы встречаются лишь в зачинах и концовках грамот, вообще в тех местах, в которых обнаруживается церковно-религиозное содержание. Вместе с тем уже в XI — XII вв. целые ряды слов и фраз перешли из языка церковнославянского в древнерусский язык и были включены в его лексический и фразеологический инвентарь.

Признав в согласии с большинством современных русских историков краткую редакцию „Русской правды" старейшей, Л. П. Якубинский выделяет древнейший русский лексический слой в её языке (*емьць, старый* — в значении „старший по должности", *надъраженъ* от *надъразити* и т. п.), а затем в морфологии — живые древнерусские элементы (препозитивное *ся*, перфект без связки, будущее с *начьну*), сопоставляя их с церковнославянскими формами договоров X в. Отсюда вывод, что запись „Русской правды" была сделана в XI в. на древнерусском, а не на церковнославянском языке. По мнению Л. П. Якубинского (и в этом с ним можно согласиться), церковнославянский язык как язык церкви и церковной книжности в XII — XIII вв. играл значительную роль в развитии древнерусского языка, по крайней мере некоторых его жанров. Церковнославянизмы начинают использоваться в специальных стилистических целях, например в разных местах летописной композиции; в специальных жанрах, например в панегириках князьям. Придавая особенно важное значение тому, что Владимир Мономах в своих литературных произведениях пользуется русским, а не церковнославянским языком, Л. П. Якубинский исследует язык его „Поучения" [1]. Прежде всего он изучает соотношение русских и церковнославянских форм в „летописи" Мономаха, в его поучении и в письме к Олегу Святославичу и приходит к выводу, что количество церковнославянизмов в языке летописи ничтожно и всегда стилистически и семантически оправдано (ср. три неполногласные формы: *в то время, невредени* и *невредена* — при *вередихъ* и *руць* и *нозь* — о кон-

[1] Статья Л. П. Якубинского о языке „Поучения" Владимира Мономаха напечатана в посвящённом памяти Л. П. Якубинского томе „Учёных записок филологического факультета Ленинградского университета" (в 1949 г.).

кретном членовредительстве и т. п.); напротив, в торжественном и религиозно окрашенном стиле поучения и письма церковнославянизмов больше.

Любопытно в этой связи предположение Л. П. Якубинского (ошибочно обоснованное ссылкой на лужицкий язык) о том, что формы аориста и имперфекта в XII в. были не церковнославянизмами, а архаическими формами книжного и устно-литературного русского языка, уже чуждыми живой разговорной речи.

Наблюдения над стилистическим употреблением старославянизмов в древнерусском литературном языке составляют очень ценную и оригинальную часть труда Л. П. Якубинского.

Язык и стиль „Слова о полку Игореве" Л. П. Якубинский связывает с традициями устного народного русского литературного языка, существовавшего задолго до возникновения письменности в творениях народных певцов[1]. Но автор „Слова" использует и отдельные элементы церковнославянского языка, получившего высокую литературную обработку в XI — XII вв. Правда, церковнославянские элементы в „Слове" ассимилированы русской народной стихией языка, поставлены ей на службу. Для восстановления оригинала „Слова" имеют большое значение наблюдения над цитатами из „Слова" в „Задонщине", в „Апостоле" 1307 г. Они приводят к заключению о более широкой русской народной струе в языке „Слова", чем это можно думать, судя по славянизированному тексту списка XVI в.

Интересны догадки Л. П. Якубинского об употреблении слова *котора*, заменённого в поздних списках словом *крамола*, и его соображения о семантических и стилистических функциях церковнославянизмов в языке „Слова" (*брань* — битва и *боронь* — в значении оборона; *голова* и метафорически *глава* — в фразе *хощу главу свою положити* и т. п.). Особенно замечательны указания на ритмико-эвфоническую роль церковнославянизмов в аллитерациях и других звуковых повторах: *врани граяхуть; страни ради, гради весели* и т. п.

В отделе фонетики древнерусского языка у Л. П. Якубинского нет ничего оригинального и нового, кроме разве некоторых соображений об истории звука *в*. Однако впервые в исторической фонетике русского языка здесь — отчасти под влиянием А. Мейе — выдвигалось заключительное обобщение, что „в истории славянских языков последовательно отличаются два стадиально различных типа фонетического строя языка: более древний — слоговой и более новый — фонемный". Нельзя не видеть в этом обобщении и влияния марровской теории стадиальности. Основной звуковой ячейкой общеславянского языка, по мнению Л. П. Якубинского, был слог (ср. закон открытых слогов, фонетические условия первого и второго смягчения заднеязычных, сводящиеся к взаимному приспособлению и согласного, и гласного внутри одного и того же слога, сокращение долгих слогов, перенос

[1] Статья Л. П. Якубинского о языке „Слова о полку Игореве" была напечатана после его смерти в выпуске 2 „Докладов и сообщений Института русского языка", 1948.

ударения с слога на слог и т. п.). Однако всё это вовсе не свидетельствует о слоговом, нефонемном строе общеславянского языка. Условия второго и третьего смягчений заднеязычных скорее говорят против гипотезы слогового строя общеславянского языка, чем в её защиту. И всё же Л. П. Якубинский резко противопоставляет по характеру восточнославянские звуковые изменения общеславянским.

В более поздних звуковых явлениях в качестве звуковой единицы, являющейся предметом звуковых изменений, по мнению Якубинского, выступает уже отдельный звук (фонема) (ср. падение глухих, переход *е* в *о*). Положение в том или ином слоге слова или влияние соседнего слога и здесь может иметь значение, но всё же изменяется отдельный звук, а не слог в целом. В этих более поздних явлениях фонетическое слово, согласно представлению Якубинского, выступает уже как состоящее из фонем, а не из слогов, как раньше. Любопытно, что для доказательства этой своей гипотезы Л. П. Якубинский должен был прибегнуть к марровской теории языкового скрещения. В индоевропейских языках и диалектах господствовал уже фонемный строй языка, как показывает нам сравнительная грамматика индоевропейских языков. Своеобразное возникновение слогового строя „в праславянском диалекте" Л. П. Якубинский был готов объяснять его происхождением из скрещения одного из индоевропейских диалектов с каким-то неиндоевропейским, в котором существовал слоговой строй.

Более интересны и разнообразны новые точки зрения, новые выводы и новые материалы, носящие яркий отпечаток научно-творческой индивидуальности Л. П. Якубинского, в отделе морфологии. Л. П. Якубинский стремится, вслед за акад. А. А. Шахматовым, установить внутренние закономерности грамматических изменений в их последовательной смене, в их движении от одной исторической системы к другой. Но в отличие от Шахматова у Л. П. Якубинского конкретно-историческая точка зрения на развитие грамматических форм и категорий, связанная с определением точной хронологии языковых изменений, часто оттесняется и как бы закрывается, заслоняется общей историко-семантической точкой зрения. Л. П. Якубинского гораздо больше занимают внутренние мотивы и причины изменений одной грамматической системы и формирования новой в пределах того или иного грамматического класса и того или иного круга грамматических явлений, тех или иных грамматических категорий, чем наблюдения над последовательным конкретно-историческим движением языковых фактов, как они отражаются в памятниках языка и народных говорах.

Поэтому некоторые разделы морфологии сообщают лишь новые соображения и новые точки зрения, но не содержат никаких новых фактов. Так, говоря об именном склонении в древнерусском языке, Л. П. Якубинский к традиционному и очень сжатому описанию древнерусских парадигм лишь присоединяет общие выводы о характере именного склонения в общеславянском и древнерусском. Тут в общем виде раскрываются общие семантические основы перехода классов имён от лексически замкнутых деклинационных групп, деление на которые некогда отражало деление на семантические группы самих поня-

тий, к формальным типам склонения с характерной для каждой из них системой падежных окончаний и с разным объёмом охвата лексики. В связи с разрушением лексико-семантической ограниченности деклинационной группы развивается более обобщённое грамматическое значение падежа. Основная линия развития склонения от общеславянского (индоевропейского) типа к современному — это путь от лексической ограниченности падежных окончаний к их обобщённости и освобождению от этой лексической ограниченности.

В связи с изложением общих закономерностей формирования современной системы склонения Л. П. Якубинский, следуя за А. Мейе, намечает основные этапы эволюции категорий рода от различения двух родов — личного, социально активного, и вещного, пассивного, через ступень анимистического мировоззрения, приведшего к выделению мужского и женского, к современной системе трёх родовых классов, определяющих и формирующих основные типы склонения. В заключение Л. П. Якубинский рассматривает пережитки в древнерусском языке „внутрифлективного" индоевропейского склонения с свойственной ему модификацией основы и противопоставлением, особенно в формах среднего рода, двух основных падежных значений — именительно-винительного и всех остальных. Тенденция развивающейся „внешнефлективной" системы к стабилизации основы приводит к постепенному вымиранию внутрифлективного типа.

В описании всех этих явлений характерно стремление внести в русскую морфологию новые завоевания нашей и западноевропейской науки о языке по вопросу о закономерностях развития языков индоевропейской системы. Результаты собственных историко-грамматических изысканий Л. П. Якубинского выступают более рельефно в главе, посвящённой вопросу о функциях падежей и о развитии предложных элементов в древнерусском склонении. Здесь Л. П. Якубинский изучает обстоятельственные функции беспредложных — винительного, дательного, творительного и местного — падежей. По выводам Л. П. Якубинского, беспредложный винительный в связи с развитием субъектно-объектного строя предложения раньше всего начинает специализироваться в функции прямого дополнения. Выражение обстоятельства места (на вопрос „куда?") переходит к дательному падежу. Однако в соединении с приставочными глаголами типа *внити* долго ещё сохранялось употребление беспредложного винительного. Вслед за тем (в названиях городов мужск. рода) при глаголах с приставками *вън-* — *въ-*, иногда *въз-* начинает распространяться винительный с предлогом *въ* (*иде Кыеву*, но: *вьниде Кыевъ*, откуда: *вьниде в Кыев;* ср. в „Повести временных лет" по Лаврентьевской летописи).

Наряду с беспредложным дательным обстоятельственным в древнерусском языке существовал и предложный оборот с предлогом *къ* (*иде Кыеву* и *иде къ Кыеву*). Но оба эти оборота, по наблюдениям Л. П. Якубинского, семантически различались. Беспредложный оборот обозначал направление к данному пункту с заходом в этот пункт (дательный инклюзивный), а предложный оборот с *къ* обозначал направление к данному пункту без захода в него (дательный эксклюзивный). Так

по большей части в Лаврентьевской летописи, однако с некоторыми отступлениями, более чётко и определённо — в Новгородской летописи по б. Синодальному списку. Но в Новгородской летописи конструкция дательного беспредложного вытесняется предложной конструкцией винительного с предлогом *въ*. Эта замена характерна в дальнейшем и для русского литературного языка в целом, складывавшегося, как предполагает Л. П. Якубинский, под сильнейшим влиянием новгородских традиций. Иначе обстояло дело в тех диалектах, которые отразились в Радзивиловском и Академическом списках XV в. (дательный с предлогом *к* вместо дательного беспредложного). Все эти грамматические процессы (так же, как замены обстоятельственного творительного, местного беспредложных предложными оборотами) ставятся Л. П. Якубинским в связь с развитием субъектно-объектного строя предложения в общеславянском языке, с дифференциацией значений переходности и непереходности глаголов, с формированием залоговых отношений, с отграничением обстоятельств от дополнений. Беспредложный винительный становится падежом прямого объекта, дательный — косвенного объекта.

В связи с этими процессами приобретает большое значение и категория лица (в её противопоставлении категории не-лица) (ср. выражение её в формах род.-вин, дат. на ***-ови,*** в вокативе). К XV в. складывается в русском языке и категория одушевлённости.

В истории местоимений представляют интерес указания Л. П. Якубинского на переход от общеславянской трёхчленной системы указательных местоимений (*сь, тъ, онъ;* ср. современное сербск. *овај — тај — онај*) к более обобщённой двучленной, выражающей указание одним корнем ***-т-*** с дифференцирующей частицей *э* (*тот — этот*; французск. *celui-ci — celui-là;* немецк. *dieser — jener;* но ср. *вот* и *вон,* как наследие старейшей эпохи). Трёхчленная система указательных местоимений, по мнению Л. П. Якубинского, в решении этого вопроса ещё не освободившегося от влияния стадиальных представлений Н. Я. Марра и гипотез Леви-Брюля, задерживается там, где устанавливается связь между ней и трёхчленной системой личных местоимений (в форме 3-го лица; ср. в латинском, грузинском). Древнерусский язык представляет промежуточную ступень от трёх к двум членам (*сь, тъ — онъ*); в нём местоимение *онъ* уже личное, но ещё и указательное местоимение.

Из других более мелких замечаний Л. П. Якубинского в отношении местоимений заслуживает упоминания отрицание артикля в русском языке и признание *т, та, то* в постпозитивном употреблении анафорическим местоимением, превратившимся в эмоционально-усилительную частицу по отдельным диалектам. Интересно также указание на оттенок коллективности, заключённый в *мы* (ср. *мой*).

Образование лексико-синтаксической категории прилагательных принадлежит ещё общеславянскому языку, но возникновение специальной морфологической категории прилагательных происходит уже в отдельных славянских языках — в связи с возникновением в общеславянском языке категории полных прилагательных и их

судьбой в дальнейшем развитии каждого языка. Образование полных прилагательных связывается многими исследователями с формированием категорий определённости и неопределённости в славянских языках. Л. П. Якубинский примыкает к этой теории. Местоимение **и, а, ю** в его постпозитивном употреблении за именными формами выполняло указательно-релятивную функцию, указывая на определённый, известный предмет (ср. в Зографском евангелии). Но уже очень рано начался распад этих категорий. Причины этого сложны. Л. П. Якубинский делает ряд остроумных предположений. Прежде всего отсутствие члена ***и*** выражало и понятие неопределённости, и невозможность или ненужность применять в данном случае категорию определённости и неопределённости; например, в определениях собственных имён. Ведь понятие определённости есть лексико-синтаксическое понятие, так как определённость может быть дана в самом лексическом значении слов. Отсюда непоследовательность употребления полных и кратких форм в структуре имён: *Новъгородъ*, но *Новый торгъ* (Торжок), *великъ день*, но *масляная неделя* и т. п. (ср. во французск. языке *Paris*, но *la Havre; Pâques*, но *la Trinité*). Эта двоякая функция краткого прилагательного — неопределённость и нейтральность,— по мнению Л. П. Якубинского, ослабляла систему выражения определённости и неопределённости.

Кроме того, само прилагательное без всякого дополнительного оформления в виде члена иногда целиком определяло предмет, выражало его как определённый (например, притяжательное прилагательное *сынъ Ярославль*). И тут присоединение ***и***, придавая узко специальные значения, было возможно: *Всеволожая* — жена Всеволода (ср. при суффиксе ***-ьск-***: *чудьска земля* и *чудьская земля*).

Кроме того, различение категорий определённости и неопределённости смешивалось с дифференциацией теми же средствами категорий атрибутивности и предикативности. Предикат в именном сказуемом выступает сам по себе как признак, приписываемый или открываемый в уже известном, определённом предмете; в этом случае существительное, к которому относится прилагательное (подлежащее), оказывается всегда определённым для высказывающегося. Член здесь решительно излишен. Так противоположность предикативности и атрибутивности постепенно перевешивала противоположность неопределённости и определённости. Это объясняется чрезвычайной силой категории предикативности в языке. Однако в первом почерке Синодального списка Новгородской летописи, по мнению Л. П. Якубинского, ещё с необыкновенной последовательностью проведено древнее различие между членными и нечленными формами имён прилагательных[1].

В системе древнерусского глагола Л. П. Якубинский даёт интересный, хотя и чересчур беглый и исторически недифференцирован-

[1] Эта глава „Истории древнерусского языка" Л. П. Якубинского напечатана в виде отдельной статьи (Л. П. Якубинский, Из истории имени прилагательного) в вып. 1 „Докладов и сообщений Института языкознания", 1952.

ный, очень упрощённый очерк развития категории вида. Исходя из характеристики индоевропейского состояния этой категории у Мейе, он изображает процесс вытеснения древней „внутрифлективной" системы спряжения новой „внешнефлективной", складывавшейся первоначально на почве выражения категории лица. Новое понимание временных отношений, приспособляя к себе старые видовые отношения в общеславянском языке, привело к смешению или объединению видовых и временных оттенков в системе прошедших времён — в формах аориста и имперфекта. „Образовавшиеся в общеславянском прошедшие времена сохраняют некоторые переживания видовой семантики". Замечательною особенностью развития славянских языков было, как выражается Л. П. Якубинский, „сохранение" (представление! антиисторическое!) вида как живой категории, которая, естественно, стремилась найти себе новые формы выражения — в духе внешнефлективной системы спряжения, но не в окончаниях, нагружённых значениями лица и времени, а в префиксах, — и стать всеобщей глагольной категорией, охватывающей всю систему форм глагола. Приставки, вносившие первоначально конкретное — временное или пространственное—узкое ограничение в реальное значение глагола, затем в сочетании с глаголами, уже имевшими зачатки перфективности (в своём лексическом значении или в форме перфекта-аориста), начали нести обобщённую функцию предела, внутреннего ограничения действия. Однако конкретное течение этого процесса Л. П. Якубинским не воспроизводится. Доказательство того, что даже в древнейший период истории русского языка приставки уже выполняли частично видовую функцию перфективности, Л. П. Якубинский видит в широком развитии образований с суффиксами ***-ыва- — -ива-*** для выражения несовершенности действия от соответствующих глаголов совершенного вида (в Лаврентьевской летописи: *съставливати, привязывати, управливати* и т. п.). Любопытны некоторые наблюдения Л. П. Якубинского над употреблением в языке летописи форм настоящего-будущего времени в их видовой недифференцированности, особенно над образованием будущего составного как от глаголов несовершенного, так и совершенного вида. Преобладание приставочных форм аориста, по мнению Л. П. Якубинского, приводило к утрате аориста как живой категории.

Содержательна, но грешит как пережитком бывшего увлечения теорией Н. Я. Марра излишним уклоном к семантике глава, посвящённая проблеме образования морфологической категории залога в связи с развивавшимся ещё в общеславянском языке процессом сначала синтаксического и семантического, а затем фонетико-морфологического слияния ***-ся*** с глаголом. Здесь есть ряд интересных замечаний об обобщении частицы ***-ся*** за счёт ***-си*** и о смысловых лексических изменениях, осложнявших развитие залоговых значений в системе возвратных глаголов. Л. П. Якубинский иллюстрирует свои выводы параллелями из западноукраинских говоров по материалам из „Памятников галицко-русской народной словесности" Ю. А. Яворского (Киев, 1916). История морфолого-синтаксических процессов, связанных с образованием категории возвратных глаголов, им не исследуется. Вся проблема повёрнута

в сторону семантики. Так как *-си* (ср. *шёл себе, так себе, стал я себе на углу* и т. д.) также обращало действие по направлению к субъекту, отгораживая субъект в какой-то мере от объекта или объектов, и этим функционально сближалось с *-ся,* превращавшим глагол в непереходный, то на этой почве происходит обобщение *-ся* и слияние функций *-ся* и *-си,* расширившее семантику возвратных форм (ср. показания современных северно-русских говоров, с преобладанием *-си* в форме возвратных глаголов и также данные западноукраинских диалектов с *-ся* и *-си*).

Процесс этот поддержан был и фонетически — редукцией *и* в безударном *-си* после гласного: *осталаси — осталась* (ср. *осталось*), а рядом с этими формами стала употребляться форма *остался.*

Более самостоятельна глава „Из истории предлогов и союзов". Здесь Л. П. Якубинский, отчасти смешивая язык с идеологией, излагает мысли о развитии категории причинности и форм её языкового выражения. По его мнению, „всеобщие связи внешнего мира" в примитивном мышлении прежде всего отражаются как связи сосуществования (в пространстве, а затем и во времени); временные предлоги всегда восходят к пространственным, локальным. Осознание собственно причинных связей возникает на почве уже осознанных связей сосуществования в результате более глубокого и обобщённого понимания действительности как новый этап в истории мысли. Большинство предлогов, выражающих причинные отношения, восходит к предлогам пространственно-временным. Например, *за* (*за* мной дело не станет, *за* ветром ничего не слышно). В старославянских памятниках посредством *за* переводятся греческ. διὰ и ὑπερ; ср. *зане, за что, за тем что.* Ср. *по* (по болезни), *потому что,* распространившееся с XVII в.; в древнерусском *почто;* ср. *понеже* и т. п.; *от* (от работы спина болит), *оттого, отчего, оттого что;* ср. в древнерусском языке причинное употребление этих предлогов; ср. *из, из-за, с, через.*

С другой стороны, в ряде языков причинный союз созвучен со сравнительным: французск. *comme,* немецк. *dass, als* и т. д.; ср. *как, так как.*

Ещё Потебня указал на генетическую связь отношений причины и следствия с отношениями сходства („следствие является лишь видоизменённым подобием причины").

Причинные отношения неразрывно связаны с целевыми (латинск. *propter* — по причине, для; *causa;* французск. *à cause de* — для и *à cause que* — потому что). Ср. древнерусск. *дѣля, дѣльма, ради, радьма* с причинными и целевыми значениями; ср. *для.*

Ср. с XVII в. *потому что* и *для того что* в причинном значении и целевом.

Каузальность, по мысли Л. П. Якубинского, формируется в процессе осознания целесообразных, полезных действий. Сначала — нерасчленённое понятие цели-причины, затем происходит дифференциация понятий причины, цели и даже внутреннего интереса (ср. значение *для*).

Основными общими процессами, определяющими развитие грамматического строя русского языка в общеславянскую и общевосточнославянскую эпохи, Л. П. Якубинский считает: 1) постепенное развитие человеческой мысли от первоначальной конкретности к большей сложности, к отвлечению и обобщению, сказывающееся в преобразовании категорий числа, падежа, системы местоимений и числительных, в формировании категории прилагательных, в развитии отвлечённых глагольных времён, в изменении категорий вида и т. п.; 2) развитие субъектно-объектного строя предложения, отражающееся в развитии предложных конструкций, развитие новой системы внешнефлективного склонения и т. п.

Л. П. Якубинский во всех своих работах стремился показать, что „бесконечное развитие всепобеждающей человеческой мысли есть основное содержание развития любого языка и его грамматического строя в частности. Вот почему путь развития грамматического строя любого языка от первобытнейших времён к современному его состоянию есть путь развития всё более обобщённых грамматических категорий".

Из этого общего обзора работы Л. П. Якубинского видно, как много в ней свежих наблюдений, тонких замечаний, отдельных обобщений, не всегда доказанных и даже не всегда достоверных, часто ошибочных, но всегда толкающих читателя к размышлениям и поискам новых фактов, к углублённому конкретно-историческому исследованию русского языка. Вместе с тем из сопровождающих этот общий обзор критических замечаний ясно, что работа Л. П. Якубинского лишена твёрдой методологической основы. В этой работе — при субъективном резком отталкивании автора от так называемого „нового учения" о языке акад. Марра, кое в чём ещё сказываются объективные следы влияния этого „учения" на теоретическую мысль Л. П. Якубинского (следы „теории стадиальности" в развитии языка, неправильное понимание процесса скрещивания языков и его результатов, злоупотребление семантикой, отголоски смешения языка с идеологией). Поэтому необходимо строго критическое отношение и к общей историко-лингвистической концепции автора, и к отдельным его положениям.

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Русский язык как один из славянских языков

ГЛАВА ПЕРВАЯ

РУССКИЙ, УКРАИНСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫКИ

1. Русский, украинский и белорусский языки образовались, как мы увидим в дальнейшем, на основе языка восточнославянской народности и его ответвлений — восточнославянских племенных диалектов. В VII—IX вв. у восточнославянских племён развивается классовое общество и государственность, возникают первые политические объединения, на территории которых окончательно разлагается старый родовой и племенной уклад. На основе восточнославянских племенных диалектов первоначально складываются древнерусские территориальные (областные) диалекты, составляющие в своей совокупности древнерусский язык, язык восточнославянской народности. В это время нет ещё ни русского, ни украинского, ни белорусского языков. Древнерусские предки русских, украинцев и белорусов в X—XI вв. входят в состав Киевского государства, Киевской Руси. Различия между древнерусскими диалектами в это время очень незначительны.

2. В XII—XIV вв. на территории распавшейся Киевской Руси существуют различные самостоятельные древнерусские феодальные княжения и земли: Ростово-Суздальское княжество, Новгородская земля, Галицко-Волынское княжество и др. Феодальная раздробленность древней Руси благоприятствует в это время углублению диалектных различий на территории древнерусского языка; намечаются более значительные расхождения между отдельными группами древнерусских диалектов. Однако древнерусские области не порывают связи между собой. Идея единства русской земли жива в народе и получает яркое выражение в литературе этого периода. Древнерусский литературный язык распространён в это время по всей территории древнерусских областей.

3. В середине XIII в. древнерусские земли попадают под владычество татар. С другой стороны, уже в XIII в. литовский князь Миндовг завоевал некоторые западные древнерусские земли, в XIV в. Гедимин продолжал его завоевательную политику и после победы над

татарами в 1362 г. захватил Подолию и Киевщину. С середины XIV в. идёт борьба между Польшей, Венгрией и Литвой за обладание Галицко-Волынским княжеством, в 70-х годах XIV в. Волынь досталась Литве, а Галиция — Польше. После включения по Люблинской унии (1569 г.) Литовского княжества в состав Польши к ней отошли и захваченные Литвой древнерусские области. XVI—XVII вв. — это время тяжёлого иноземного гнёта, когда польская шляхта делала всё, чтобы уничтожить украинцев и белорусов как особые народности, ополячить их.

4. Таким образом, в XIV в. древнерусские земли, существовавшие на территории распавшейся Киевской Руси, оказались политически разобщёнными, вошли в состав различных государств. С этого времени начинается обособленная история русских, украинцев и белорусов, а также обособленная история русского, украинского и белорусского языков, хотя полной обособленности в их развитии никогда не было.

5. Уже Иван Калита (1328—1341) начал собирать русские земли вокруг Московского княжества. В конце XIV в. Московское княжество настолько усилилось, что внук Калиты Дмитрий открыто выступил против татар и разбил их войска на Куликовом поле (1380 г.); через сто лет кончилось длившееся свыше двухсот лет татарское иго. При Иване III (1462—1505) происходит образование русского централизованного государства.

6. Собранные и организованные в одно государство, русские области всё теснее сливались в единое целое. Экономической основой этого слияния был усиливающийся обмен между областями, постепенно растущее товарное обращение и — позднее — концентрирование небольших местных рынков в один всероссийский рынок. Развитие и укрепление государства со своей стороны способствовало этому слиянию и ускоряло его. В борьбе с татарами и Польско-Литовским государством росло и крепло национальное сознание, отражая происходивший в стране процесс объединения. В этих исторических условиях начинается постепенное развитие русского национального языка. Русский язык получает возможность свободного, полного и всестороннего развития.

7. Иной была судьба украинского и белорусского языков. Всё время своего существования вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции украинцы и белорусы были угнетёнными народами в составе многонациональных государств (Польша, Австро-Венгрия, Россия). В 1654 г. левобережная Украина и Киев присоединились к России. В XVIII в. после раздела Польши все белорусские земли и большая часть украинских оказались в составе России. После первой мировой войны и войны с панской Польшей народам Западной Украины и Западной Белоруссии пришлось ещё раз испытать жестокий панский гнёт. Приходится удивляться необычайной силе сопротивления украинцев и белорусов, сохранивших и развивших далее свой язык, свою культуру в тяжелейших политических условиях.

8. В царской России русский, украинский и белорусский языки развивались в неравных условиях. Права украинцев и белорусов и

других нерусских народностей царской России, этой тюрьмы народов, были сильно урезаны. Украина и Белоруссия были лишены просвещения на родном языке: даже в начальной школе преподавание велось только на русском языке. Печатание книг на украинском и белорусском языках было крайне ограничено. Украинское и белорусское национальное движение жестоко подавлялось. В этих условиях украинский и белорусский языки не могли получить полного и всестороннего развития.

9. В дворянской и буржуазной русской науке и публицистике украинцев и белорусов обычно не признавали отдельными народностями; их считали русскими, а украинский и белорусский языки — лишь наречиями единого русского языка. Эта точка зрения отражалась и у большинства дореволюционных русских лингвистов. Русские лингвисты обычно даже не употребляли термин „украинский", а вместо него пользовались официальным термином „малорусский" или „малороссийский". В своём понимании украинского и белорусского языков официальная русская дореволюционная наука о языке выражала великодержавную, шовинистскую политику царской России, русских помещиков и капиталистов[1].

10. Если русские шовинисты считали украинский и белорусский языки лишь наречиями единого русского языка, то украинские националисты, борясь с русскими капиталистами и помещиками, пытались доказать, что украинский язык развивался совершенно обособленно от русского языка.

11. Эти „учёные" измышления украинских националистов поощрялись и субсидировались официальными кругами австро-венгерской империи. В пределах Австро-Венгрии (в Галиции и других местах) проживало значительное количество украинцев. Австро-венгерские империалисты, готовясь к войне с Россией, мечтали присоединить российскую Украину к „своим" украинским землям. Идеологической подготовкой к этому и должно было послужить в частности „научное" обоснование оторванности украинского народа и языка от русского народа и русского языка. В 1913 г., как раз накануне мировой войны, в Вене вышла объёмистая историко-сравнительная грамматика украинского языка „Grammatik der Ruthenischen (ukrainischen) Sprache

---

[1] В отличие от реакционных и либеральных представителей официальной науки, совершенно иную позицию по этому вопросу занимали в 60-е годы революционеры-демократы. Так, Чернышевский, наблюдая, как он говорил, „пробуждение украинской нации", горячо отстаивал право украинцев на самостоятельный литературный язык. Он никогда не называл украинский язык наречием, но всегда языком. Чернышевский, получивший, как и Добролюбов, серьёзную филологическую подготовку у акад. Срезневского и имевший специальные лингвистические работы, с необычайным остроумием и глубоким знанием дела полемизировал по вопросу об украинском языке и с реакционными и либеральными публицистами, и с представителями академической науки (например, с акад. Ламанским). Лишь очень немногие представители лингвистики в дореволюционное время (Шахматов, Корш) учитывали в какой-то мере право на самостоятельность украинского народа и его языка.

von Stephan von Smal-Stockyj und Theodor Gartner", в которой авторы доказывают, что украинский язык занимает совершенно обособленное по отношению к русскому языку место в группе славянских языков, а в предисловии к книге благодарят имперское министерство культов и просвещения за субсидию, благодаря которой они только и смогли выпустить в свет свою работу.

12. После Великой Октябрьской социалистической революции украинские и белорусские нацдемы [1] и всякие буржуазные перерожденцы усиленно пропагандировали различные лженаучные теории о совершенно самостоятельном возникновении русского, украинского и белорусского языков из общей языковой подосновы, о совершенно обособленном их дальнейшем развитии, о большей будто бы близости украинского и белорусского языков к польскому и пр. Эти, с позволения сказать, „учёные" оказались прямыми агентами иностранных разведок, шпионами, диверсантами и бандитами, пытавшимися оторвать от нашей родины Советскую Украину и Советскую Белоруссию. Вместе с ними похоронены и их лживые и жалкие „теории".

13. Великая Октябрьская социалистическая революция освободила и воссоединила народы Украины и Белоруссии и дала им возможность свободного, полного и всестороннего развития в могучей семье народов Советского Союза, в тесном единении с великим братским русским народом. В теории и практике большевизма, в победе ленинско-сталинской национальной политики родилось подлинно научное понимание взаимоотношений между тремя народами и тремя языками. Русский, украинский и белорусский языки — самостоятельные и равноправные языки. Они тесно связаны в своём генезисе (происхождении) и первоначальном развитии (древнерусский период). Никогда не было полной обособленности в развитии русского, украинского и белорусского языков. Тесно связанные в своём происхождении и первоначальном развитии, никогда не порывавшие полностью связей в период своей уже обособленной истории,— русский, украинский и белорусский народы и языки углубляют и укрепляют свои связи в настоящем и будут их углублять и укреплять в будущем своём развитии.

14. Настоящая работа посвящена первоначальному развитию русского, украинского и белорусского языков, т. е. истории древнерусского языка.

Древнерусскими диалектами называем все областные (территориальные) диалекты, возникшие на основе восточнославянских племенных диалектов. Совокупность этих диалектов называем древнерусским языком. Всё дальнейшее изложение подтвердит правомерность такого употребления термина „древнерусский язык".

Хронологически древнерусский период заканчивается примерно в XV в.

---

[1] Нацдемы — украинские националисты, члены мелкобуржуазной партии, стремившейся оторвать Украину от Советского Союза и восстановить в ней капиталистический строй.

СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ

15. Современные славянские языки делятся на шесть групп. Первую группу составляют русский, украинский и белорусский языки; их объединяют обычно названием восточнославянские языки. Вторую группу составляют польский, кашубский и приморско-словинский языки; третью группу — лужицкие языки; четвёртую — чешский и словацкий языки; эти три группы славянских языков объединяют обычно названием западнославянские языки [1]. Пятую группу славянских языков составляют сербский, хорватский и словинский языки, шестую — болгарский и македонский языки. Эти две группы славянских языков объединяют обычно названием южнославянские языки [2].

16. Все славянские языки очень сходны. Правда, для того чтобы русский мог читать и понимать, а тем более говорить и писать на каком-нибудь другом славянском языке, например на сербском, он должен, конечно, специально учиться, потому что русский и сербский языки — разные языки. Но он добьётся этого в неизмеримо более короткий срок, чем тот, в который он изучит, скажем, французский или английский язык. Научиться же только читать и понимать на каком-нибудь другом славянском языке русский может ещё быстрее.

17. Хотя для того чтобы овладеть любым другим славянским языком, русский должен специально изучить этот язык, убедиться в глубокой близости славянских языков он может и без специальной подготовки.

18. Можно привести длинные ряды слов, общих всем славянским языкам. Вот несколько таких слов из русского, сербского, польского и старославянского языков:

Русский	Сербский	Польский	Старославянский
липа	*липа*	*lipa*	липа
сила	*сила*	*siła*	сила
дом	*дом*	*dom*	домъ
нос	*нос*	*nos*	носъ
вино	*вино*	*wino*	вино
окно	*окно*	*okno*	окно
овца	*овца*	*owca*	овьца
село	*село*	*sioło*	село

Примеры словарных сходств между славянскими языками можно приводить сотнями.

---

[1] Ряд западнославянских народностей был уничтожен или ассимилирован германцами. Сохранилось незначительное количество записей полабского языка (окончательно вымершего в XVIII в.), языка славян, живших по реке Лабе (немецк. Эльба).

[2] Древнейшим письменным языком славян был так называемый „старославянский язык", об образовании которого см. § 134 и сл.

19. Но дело не только в словарном сходстве.

Славянские языки обнаруживают глубокую близость во всём своём грамматическом строе, в словообразовании, склонении, спряжении, синтаксисе. Будучи различными языками, они сходны всё же не в отдельных только элементах, а в целом, во всей своей системе. Для иллюстрации этой мысли возьмём в качестве примера небольшой и нетрудный отрывок из одной сербской народной эпической песни.

20. Песня называется „Косовка девојка", т. е. „Девушка с Косова (поля)". Косово или Косово поле — это долина в Сербии, на которой в 1389 г. сербы, руководимые князем Лазарем, потерпели решительное поражение от турок, после чего лишились своей независимости. В отрывке, который мы приводим, рассказывается, как некая девушка пришла, после окончания сражения, на поле битвы, чтобы оказать помощь раненым бойцам [1].

21. Вот текст отрывка песни „Косовка девојка" и его русский перевод.

Уранила Косовка девојка,	Рано встала Косовка девушка,
Уранила рано у недељу,	Раным рано встала в воскресенье,
У недељу прије јарка сунца	В воскресенье прежде яркого солнца
Засукала бијеле рукаве,	Засучила белые рукава,
Засукала до бели(х) лаката,	Засучила до белых локтей,
На плећима носи (х)леба бела,	На плечах несёт белого хлеба,
У рукама — два кондира златна:	В руках — две золотые чаши:
У једноме — (х)лађане водице,	В одной холодной водицы,
У другоме — руменога вина,	В другой — красного вина;
Она иде на Косово равно,	Она идёт на Косову равнину,
Па се шеће по разбоју млада,	Потом бродит, молодая, по полю битвы,
По разбоју честитога кнеза,	По полю битвы честного князя,
Те превр̀ће по крви јунаке.	И перевёртывает по крови молодцев.
Ког јунака у животу нађе,	Которого молодца в живых найдёт,
Умива га (х)лађаном водицом,	Умывает его холодной водицей,
Причешћује вином цвренијем	Причащает красным вином,
И залаже (х)лебом бијелием...	Кормит белым хлебом...

22. Обратим внимание на корневые элементы русских и сербских слов; мы убедимся, что в нашем отрывке они в подавляющем большинстве случаев тождественны и часто лишь незначительно различаются в своём звуковом оформлении. Ср., например, такие сербские

---

[1] При чтении текста следует иметь в виду, что в сербской азбуке буква *ј* обозначает звук „йот"; буква *љ* — смягчённое *л*, примерно как в русских словах *ляля, люди* и др., буква *ћ* — особую очень мягкую глухую аффрикату, а буква *ђ* — соответствующую звонкую. Следует учесть также, что в том сербском диалекте, который отражён в этой песне, вовсе исчезает из произношения звук *х*. Мы его восстановили на письме для большей лёгкости понимания текста, но поставили в скобки.

слова, как *уранила, рано, девојка, јарка, сунца, бијеле, рукава, лаката* (русск. *локоть — локтей*), *плећима, носи, (х)леба, златна* и т. д.

23. Некоторые сербские корни и слова, встречающиеся в нашей песне, употребляются в русском языке в ином значении; так, например, слово *недеља* означает в сербском „воскресенье", а в русском „неделя"; некогда слово *неделя* и в русском значило „воскресенье" (от *не* и *делать*, т. е. нерабочий день), отсюда и *понедельник*, первый после „недели" день. Корень слова *шеће(се)*, неопределённое наклонение *шетати се*, встречается и в русском слове *шататься*, но русское слово имеет другой оттенок значения — „ходить без толку взад и вперёд", „околачиваться". Сербское слово *разбој* отлично по значению от соответствующего русского, но составлено из тех же морфологических элементов: приставки *раз-* и корня *-бој* (русск. *бой*); только соединение этих морфологических элементов осмыслено в сербском и в русском по-разному. Сербское слово *живот* имеет значение „жизнь" (*у животу* — „в жизни", „в живых"), но в таком значении слово *живот* встречается и в древнерусском языке, и в русских диалектах.

24. Некоторые сербские слова, не существующие в русском языке, образованы, однако, от корней, существующих и у русских; например, сербское *јунак* — „молодец", „герой", „жених", образовано от того же корня, что русские *юный, юноша* и др.[1]. Некоторые тождественные по значению слова образуются в сербском и русском от одних и тех же корней, но различными суффиксами: сербское *засукала* (рукава) и русское *засучила*. Понятие „золотой" выражается в русском словом *золотой* без специального суффикса прилагательного *-н-*, а в сербском — с суффиксом *-н-* („два кондира златна"), однако в древнерусском было и слово *золотной* в значении „золотой".

25. Тождественным оказывается и большинство словообразовательных элементов (суффиксов и префиксов); сравните, например, суффикс *-к-* для образования названий женщин по местожительству: сербское *косовка* от *Косово*, русское *ленинградка, украинка* от *Ленинград, Украина*; суффикс *-к-* для образования прилагательных: *яркий* (при *ярый, ярость*), сербское *ярка сунца;* суффикс *-н-* для образования прилагательных, в частности, от названий металлов: сербское *златна* (кондира) от *злато* — „золото", русское *железный, медный* от *железо, медь;* префикс *-пре-* в *превртће* при русском *перевёртывает;* префикс *-при-* в *причешљује* и др.

26. Сходство распространяется и на окончания; ср., например, *-а* — окончание им. пад. ед. ч. ж. р. в *девојка;* *-а* — окончание род. пад. ед. ч. с. р. в *сунца, вика;* *-у* — окончание дат. пад. ед. ч. м. р. в *по разбоју;* *-и* — окончание дат. пад. ед. ч. ж. р. в *по крви;* *-у* — окончание вин. пад. ед. ч. ж. р. в *недељу* и др. Иногда, когда окончание в сербском слове несходно с русским, оно всё же не чуждо

---

[1] Русское *юноша* и пр. с звуком *j* в начале слова заимствованы из старославянского языка; но в древнерусском существовали и исконные восточнославянские формы без *j*: *уноша* и др.

русскому языку; например, в слове *водицом* (при русском *водицей*) мы имеем окончание твор. пад. *-ом,* которое есть и в русском языке, но только в словах мужск. и средн. рода; окончание предл. пад. *-оме* в *другоме, едноме,* отсутствует в русском языке, но сходно всё же с русским окончанием *-ом:* в *другом, одном.*

27. Для того чтобы показать близость грамматического строя русского и сербского языков, приведём несколько примеров склонения и спряжения слов по-сербски и по-русски:

Русский язык	Сербский язык
И. *село*	*село*
Р. *села*	*села*
Д. *селу*	*селу*
В. *село*	*село*
Т. *селом*	*селом*
П. *селе*	*селу*

Примечание. Окончание предложного падежа *-у* существует и в русском языке в словах мужского рода: *на мосту, в лесу.*

Русский язык	Сербский язык
И. *земля*	*земља*
Р. *земли*	*земље*
Д. *земле*	*земље*
В. *землю*	*земљу*
Т. *землёй*	*земљом*
П. *земле*	*земљи*

Примечание. Дательный и предложный падежи на *-и* существовали раньше в этом типе склонения и в русском языке; окончание на *-и* было заменено окончанием на *-е* под влиянием „твёрдого" склонения: *воде, стене* и пр. Об окончании творительного падежа на *-ом* смотрите выше (о слове *водицом*); в сербском окончание *-ом* здесь новое; оно возникло под влиянием склонения слов среднего и мужского рода типа *столом, селом.* Таким образом, в старину склонение слов этого типа было в русском и сербском ещё более близким.

28. Приведём пример спряжения глагола в настоящем времени:

	Русский язык	Сербский язык
Ед. ч.	1-е л. *плету*	*плетем*
	2-е л. *плетёшь*	*плетеш*
	3-е л. *плетёт*	*плете*
Мн. ч.	1-е л. *плетём*	*плетемо*
	2-е л. *плетёте*	*плетете*
	3-е л. *плетут*	*плету*

Примечание. Окончание *-м* в 1-м лице единственного числа встречается и в русском языке в таких глаголах, как *ем, дам.* Именно из этого типа глаголов оно было перенесено в сербском языке и на другие типы. Окончания 3-го лица глаголов *-е* и *-у* (без *-т*) встречаются и в русских диалектах. В 1-м лице множественного числа в сербском имеется сходное с русским окончание *-мо*; в древнерусском обычным было окончание *-мъ*; в украинском и белорусском находим и окончание *-мо,* встречающееся и в древнерусских памятниках.

29. На основании предложенного выше материала мы приходим к заключению о действительной глубокой близости русского и сербского языков. Эта близость распространяется не только на словарный состав обоих языков, но и на их корневые элементы слов и грамматический строй. К совершенно аналогичным выводам мы бы пришли, сопоставляя любой славянский язык с любым другим. Все славянские языки глубоко близки друг к другу и по своему словарному составу, и по своему грамматическому строю.

30. Мы видели (см. § 22), что многие одинаковые корни, суффиксы и префиксы различаются, однако, в русском и сербском языках по своему звуковому оформлению. Это замечание можно отнести и к другим славянским языкам.

Так, например, в русском имеем *горох*, в польском *groch*, в сербском *грах*; в русском *солнце*, в польском *słońce*, в сербском *сунце*; в русском *волк*, в сербском *вук*, в польском *wilk*; в русском *озеро*, в сербском *језеро*, в польском *jezioro*; в русском *лес*, в польском *las (ляс)*, в сербском *лијес*, и т. д.

31. Отличия в произношении одинаковых корней и словообразовательных элементов в разных славянских языках не являются случайными. Славянские языки связаны между собой рядами закономерных звуковых соответствий. Приведём несколько примеров этих звуковых соответствий из области польского и русского языков. В дальнейшем нам придётся часто сталкиваться с другими подобными закономерными соответствиями при изложении исторической грамматики русского языка.

32. В соответствии с русским словом *река* в польском языке находим слово *rzeka* с тем же значением. В польской графике буквами *rz* обозначается звук *ж*. Таким образом, в этом слове русскому смягчённому *р* соответствует в польском звук *ж*. Однако это соответствие русскому смягчённому *р* польского *ж* встречается не только в этом слове, но и во всех других одинаковых в русском и польском корнях и словообразовательных элементах, в которых в русском находим смягчённое *р*; так, имеем:

в русском языке	в польском языке
ремень	*rzemień*
ремесло	*rzemiosło*
море	*morze*
старец	*starzec*
орех	*orzech*
грех	*grzech*
гриб	*grzyb*
творить	*tworzyć*

После глухих согласных и перед ними вместо *ж* по-польски произносят *ш*, но пишут то же сочетание букв: *trzeci* — „третий", *krzemień* — „кремень", *przynosić* — „приносить", *gorzki* — „горький" и др.

33. В соответствии с русским словом *дать* в польском имеем *dać*. В польской графике буквой *ć* в конце слова и перед согласными и *ć*

перед гласными обозначается мягкое шепелявое *ц*. Таким образом, в этом слове русскому смягчённому *т* соответствует польское *ć*. Оказывается, что это соответствие распространяется и на всякие другие слова, в которых в русском имеем смягчённое *т*:

давать	*dawać*
просить	*prosić*
тётя	*ciocia*
тёмный	*ciemny*
смерть	*smierć*
гость	*gość*
тень	*cień*

34. Подобным же образом устанавливается соответствие русского *д* смягчённого польскому *дзь*, изображаемому в польской графике через *dz* и *dzi*:

медь	*miedz*	
дикий	*dziki*	
день	*dzień*	
дёготь	*dziegieć*	
водить	*wodzić*	
где	*gdzie*	с значением „где", „куда" и т. д.

Примеров подобных закономерных звуковых соответствий, связывающих между собой все славянские языки, можно было бы привести очень много.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

РОДСТВО СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

35. Недостаточно указать на глубокую всестороннюю близость славянских языков. Нужно её объяснить. А объяснить её — это значит выяснить, в каких именно исторических условиях и как она возникла.

36. Ясно, что эта близость возникла не в позднейшее время, когда славянские народности жили обособленно друг от друга. В истории славянских народностей, со времени возникновения у них классового общества и государственности, мы не знаем до Советской эпохи таких взаимодействий, которые могли бы создать столь глубокую близость между их языками. В это время такие взаимодействия могли бы проявиться в языке лишь в виде заимствования более или менее значительного количества отдельных слов или некоторых отдельных форм. Мы видели, между тем, что сходство между славянскими языками носит иной, более глубокий и притом всесторонний характер. Следовательно, для того чтобы объяснить это сходство, мы должны обратиться к эпохе, предшествующей развитию классового общества, а именно — в первую очередь к эпохе родового строя.

37. Славянские народы, как и всякие народы, достигшие уровня классового общества и цивилизации, проходили перед тем родовую стадию первобытно-общинного строя. Иначе не могло быть. То обстоятельство, что славяне действительно проходили стадию родового строя, находит своё отражение в сведениях о славянах, сообщаемых византийскими и другими писателями VI—VII вв., а также нашими летописями. У различных славянских народов отмечены различные пережитки родовой организации.

38. Для нас является чрезвычайно существенным, что славяне переживали стадию родовой организации и осознавали её различные стороны в какой-то теснейшей и неразрывной связи друг с другом. Это выражается в общности у них слов-терминов, обозначающих многие основные понятия родовой организации. Ряд таких слов известен нам из старинных славянских памятников и даже из современных славянских языков (правда, в переосмысленном значении). Но прежние значения, прежние осмысления этих слов, восходящие к родовому обществу, вскрываются с достаточной ясностью. Ниже мы приводим несколько примеров подобных слов.

39. Общим у всех славян является слово, обозначающее „род". В русском языке, кроме соответствующего слова мужск. р. *род*, имеется в диалектах и слово женск. р. *рода* со значением „родня", „родственник", „кровный", „родство", „кровная связь"; в болгарском языке имеем *род* — „род", „родня", „народ", *рода* — „род", „родня"; в сербском *род* — „род", „рождение", „происхождение", „родня", „плод"; в польском *rod* — „род", „племя", „происхождение", „дом", „фамилия" и т. д. От корня *род* во всех славянских языках существует множество производных слов.

40. Словом *род* и производными от корня *род* словами в древности обозначали не только живых родичей, но и умерших, т. е. предков; в связи с этим ряд слов, относящихся к культу предков, был образован от этого корня. Общеизвестен, например, культ славянских божеств: *рода* и особенно *рожаниц*; с этим культом усиленно и долго боролось христианство; в старину мифологическим родом на Руси пугали детей, как это видно из присловия, приводимого писателем XIII в. Даниилом Заточником: „дети бегаютъ *рода*, а господь пьяного человека". Пережитки подобного употребления производных от корня *род-* слов находим и у современных славянских народов; так, например, в русских диалектах имеем слово *род* в значении „домовой", „дедушка", *рода* в значении „привидение, призрак", (первоначально — дух предка); в словинском фольклоре существует представление о женском мифологическом существе *rojenica* (словинское *j* закономерно соответствует здесь русскому *ж*, ст.-сл. ѫ), которое предсказывает при рождении человека его судьбу.

41. Общим для всех славян является также и слово, обозначающее племя: русское *племя*, ст.-сл. племѧ, сербск. *племе*, польск. *plemię* и др. И от корня этого слова существует целый ряд производных слов во всех славянских языках.

42. Во всех славянских языках широко распространены различные слова, образованные от корня *стар-* для обозначения общественного старшинства. Так, уже в древнерусском языке слово *староста* выступает в значении „представитель местного или сословного выборного управления" (сельские, уличные, купеческие, поповские и другие старосты), со значением социального старшинства выступает в древнерусском и слово *старьць:* ср. летописный термин *старьци градстии*. В „Повести временных лет" выражение *старая чадь* обозначает „господствующие слои", „господствующий класс". В „Русской правде" выражение *старый конюхъ* значит „старший конюх".

Широко распространены подобные образования от корня *стар-* и в дальнейшем развитии русского языка вплоть до современности. В польском языке *starosta* значит „сельский староста", „старшина над крестьянами"; в старинном польском языке это слово имело значение „владетель пожалованного поместья", были *starosty sądowe* — „судебные старосты" и пр.; собирательное *starszyna* имеет в польском значение „высшее начальство", „высшие должностные лица" (ср. русск. собирательное *старшина* — все чины, составлявшие правление в казачьем войске — „войсковая старшина"). В сербском языке слово *старјешина* означает главу большой семьи, так называемой *кућ'и*; он не обязательно должен быть самым старшим по возрасту; это слово употребляется у сербов иногда и в значении сельский старшина". Подобные примеры употребления слов, образованных от корня *стар-*, можно было бы значительно увеличить и отметить их по всем славянским языкам.

43. Все отмеченные выше обозначения различных видов общественного старшинства выражают уже отношения классового общества, общества с развитым разделением труда и соответственной дифференциацией населения. Но корень *стар-* восходит к глубокой древности; первоначально в нём были нераздельно слиты значения возрастного и общественного старшинства; в нём выражалось осознание руководящей роли „стариков", как особого общественного слоя, руководителей коллектива. Таким образом, *стар-* выражало первоначально понятие коллективного руководства, старшинства. Естественно, что впоследствии от этого корня стали образовывать и слова, обозначающие индивидуальных общественных руководителей, старост, старшин и пр., что мы и находим во всех славянских языках. Здесь возрастной момент уже постепенно отходил на задний план, а то и вовсе исчезал. От корня *стар-* образовывалось первоначально у всех славян и название „родового старшины", этого единственного выборного индивидуального руководителя, „начальника" родовой организации. Однако точно установить это общее для всех славян древнейшее название родового старшины представляется затруднительным, потому что у всех славян оно вытеснилось новым названием, а именно словом *князь*, получившим значение родового или племенного старшины. В своей древнейшей звуковой форме это слово засвидетельствовано в ст.-сл. **кънаzь**.

44. С развитием у славян классового общества слово *князь* в отдельных славянских языках подверглось, естественно, различным переосмыслениям. В древнерусском языке это слово получило значение „князь", „государь", „владетель области[1]"; подобное значение слова *князь* засвидетельствовано и в других славянских языках, в которых засвидетельствованы и иные переосмысления слова *князь*, обозначавшего первоначально родового или племенного старшину.

45. Так, в болгарском языке слово *кнез* имеет значение „старейшина" (для обозначения князя-государя употреблялось заимствованное из русского языка слово *князь*). В сербском языке при *кнез* в значении „князь", „владетель области" имеем и другие значения этого слова. Так, во главе округов, входивших в состав областей — нахий, в Сербии стояли наследственные *кнез'ы*, и самые округа назывались *кнежина*; эти *окружные кнез'ы* были из крестьян и по одежде и быту мало чем отличались от прочих крестьян; помимо некоторых административных функций, они выполняли и судебные функции; существовали в Сербии и *сельские кнез'ы* — сельские старосты, выбираемые обычно на год; в отличие от этих сельских „князей" окружной „князь" назывался ими *великий кнез* или *башкнез* (турецк. *баш* — „голова", „глава", „главный") или *оборкнез* (*обор* — из немецк. *ober*); в Черногории у каждого племени были свои племенные *кнез'ы*, племенные старшины; сербский глагол *кнезовати* значит и „быть князем", и „быть сельским старостой". В чешском языке слово *kněz* значит „князь" и „священник"; таким образом, в чешском языке словом *князь* называют и духовного, религиозного руководителя общины, руководителя церковного прихода. Аналогичное явление находим в польском, где *ksiądz* имеет значение „священник", а *książę* значит „князь", а также и в лужицком, где *knéz* значит „господин" и „священник". Эти западнославянские значения слова *князь* (князь-священник) являются, повидимому, позднейшими осмыслениями слова *князь* в значении „господин", распространённого на „князей" — господ церкви. Сравните латинское *dominus* — „господин" в применении к духовным лицам, священникам.

46. Весь комплекс значений слова *князь*, засвидетельствованный различными славянскими языками, получает полное разъяснение при предположении, что более ранним его значением было значение „родовой или племенной старшина". В самом деле, в условиях разложения родовой общины и образования территориальной, сельской — слово, обозначавшее главу родовой общины, могло быть перенесено и на главу общины сельской; отсюда значение „сельский староста". Из состава родовых и особенно племенных старшин росла родовая знать, будущие землевладельцы, господа, будущая владетельная знать, князья; отсюда значение „князь", „государь", „господин". В этом

---

[1] Следует, однако, отметить, что в древнерусском, повидимому, сохранилось ещё воспоминание о князе — родовом старшине; так, в летописной легенде об основании Киева говорится о Кие, что он „княжаше в родѣ своемь".

последнем случае переосмысление идёт в основном по той же линии, что и в германских языках, где немецк. *König*, др.-в.-немецк. *kuning* — „король", английск. *king* — „король", др.-скандинавск. *konungr* — „князь", „конунг" восходят к слову, обозначавшему, как на это указывал ещё Энгельс, родового или племенного старшину (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1. стр. 114) [1].

47. Слово *князь* не является исконно славянским словом; оно представляет собой усвоенное славянами германское слово с основой *kuning*, о котором мы говорили выше и которое, как мы видели, имело первоначальное значение „родовой или племенной старшина". В старославянском **кънязь** через **ъ** передаётся, как и обычно в древнейших заимствованиях, чужое короткое ***и***, а через **я** — чужое сочетание „передний гласный плюс носовой согласный" в закрытом слоге, ***з*** возникло из ***г*** уже на славянской почве. Слово *kuning* было заимствовано в то время, когда славянская родовая верхушка стала уже несколько отделяться от остальной массы населения, сосредоточивая в своих руках некоторые богатства, некоторую власть; родовые, а в первую очередь племенные старшины, сознавая своё возраставшее влияние, стали величать себя „князьями" в подражание соседним германским *kuning*'ам, где соответствующий процесс развития зашёл уже дальше.

Заимствованное слово *князь* стало в большей или меньшей степени вытеснять исконно славянское название для родового старшины, образованное от корня *стар-*. Это название продолжало, однако, существовать, получая в свою очередь новые значения.

48. Общеславянским является и название родового вождя — военачальника, воеводы; это название с образованием верховных военачальников племени могло переноситься и на них, получая значение „племенного вождя", „племенного воеводы". И слово *воевода* получало с развитием классового общества и государства различные новые осмысления в отдельных славянских языках. В условиях развития государственных отношений воеводы подчас узурпировали функции глав племён, племенных князей; в этом случае слово *воевода* получало значение „старейшины племени", „главы племени"; отсюда идёт, например, сербское *војевода* — „старейшина", глава княжества или племени; с другой стороны, в сербском языке слово *воевода* получает значение „княжеского наместника", „управителя", т. е. он оказывается вторым после князя лицом; в польском языке *wojewoda* — „военачальник", „правитель области"; в болгарском *войвода* — „воевода", „атаман разбойничьей шайки" (в народных песнях), „начальник полицейских служителей и земской стражи". В Киевской Руси

---

[1] Следует отметить, что развитие у восточных славян обозначения князя из слова, обозначавшего родового старшину, лишний раз показывает, что государственные отношения развивались у нас не в результате иноземных завоеваний, не насаждались извне, а росли изнутри с развитием классового общества. Именно в процессе этого внутреннего развития родовая знать, князья перерождались в владетельную знать, князей в позднейшем смысле этого слова; соответственно семантически перерождалось и их название.

права верховного начальника принадлежали великому князю, но при нём, как второе после него лицо с военными функциями, стоит воевода; так, при Игоре был воевода Свенелд, при Святославе упоминается воевода Претич, при Ярополке — воевода Блуд, при Ярославе — воевода Буды; упоминается воевода и при Святополке. Впоследствии слово *воевода* получает в русском языке и другие значения. В древнерусском языке с наибольшей сохранностью, хотя и с совершенно преобразованными в процессе развития государства функциями, выступает старинная „пара" родового строя: князь — родовой старшина, и воевода — родовой военачальник.

49. Общеславянским было и слово *вече*, обозначавшее совет племени. Совет племени состоял из всех родовых старшин и воевод, он заседал публично, окружённый прочими членами племени, которые имели право участвовать в прениях. Этот двойственный характер совета племени, заседание которого было вместе с тем общеплеменным собранием, привёл к двоякому переосмыслению его названия после падения родового строя. Древнерусское *вѣче* получило значение „общегородское народное собрание"; в сербском языке, например, в г. Дубровнике, *вијеће* стало обозначать „судебный совет старейшин города", в польском языке выражение *sądy wiecowe*, т. е. вечевые суды, в старину значили „апелляционные суды", „верховный королевский суд".

50. Общеславянским является слово *отрок*. Первоначально это слово имело значение „не имеющий права участвовать в прениях на родовой сходке или на племенном совете". Это слово составлено из предлога ***от-***, употреблённого здесь в значении, близком к отрицанию ***не,*** и корня *рок-*, который с чередованием ***е*** вместо ***о*** находим в глаголе *реку* — „говорю" и с *ѣ* вместо ***е*** в слове *рѣчь*. Таким образом, слово *отрок* имело значение „не говорящий", но не в смысле „немой" или „не умеющий говорить", „не выучившийся ещё говорить", а в смысле „не имеющий права высказываться", „говорить на собрании", „не допускаемый к публичному выступлению на собрании". Древнейшим слоем „отроков" были несовершеннолетние юноши, подростки; это значение слова *отрок* отражается, например, в ст.-сл. и др.-русск. отрокъ — „подросток", „юноша". От слова *отрок* в этом значении в различных славянских языках образовалось уменьшительное слово со значением „дитя"; ст.-сл. отроча, др.-русск. *отроча*, болгарск. *отроче*, польск. *otroczątko;* в некоторых славянских языках самое слово *отрок* получало значение „дитя" (древнерусский, словинский); но это позднейшее расширение значения слова *отрок*, относящееся к тому времени, когда первоначальная социальная функция слова была забыта. С появлением рабов возникает новый слой людей, лишённых права голоса на общественном собрании, „не говорящих"; слово *отрок* получает новое осмысление, сохранённое и видоизменённое в др.-русск. *отрокъ* — „раб, слуга", украинск. *отрок* — „батрак", чешск. *otrok* — „раб", польск. (старинное) *otrok* — „батрак". Сюда же относятся отроки из княжеской дружины, княжеские слуги, которые, возможно, вербовались из рабов или из иностранцев, чуждых мест-

ному населению и не имеющих поэтому права выступать на народных собраниях.

51. Общим для всех славянских языков является корень *сир-* с его производными, вроде *сир*, *сирота*, и др., польск. *sierota* — „сирота", чешск. *siry*, *sirota*, сербск. *сирота* болгарск. *сирота*, ст.-сл. *сиръ* — „сирый", „сирота" и др. Во всех славянских языках производные от корня *сир-*, помимо значения „сирота", имеют значение „бездомный", „бесприютный", „бедняк", „бобыль" и т. п. Первоначально слова *сирый*, *сирота* и др. вовсе не обозначали (и не могли обозначать!) кого-нибудь, лишившегося отца или матери или обоих родителей; первоначально эти слова обозначали безродного, человека „без рода, без племени"; сиротами были безродные пришельцы, военнопленные, чужаки для данного племени и рода; именно они были „бездомными" и „бесприютными" на территории данного племени; люди же, лишившиеся отца и матери (взрослые или дети), при господстве родового строя вовсе не оказывались бездомными и бесприютными, потому что они оставались на попечении своего рода, род для них был и „домом" и „приютом", они не превращались в бедняков и бобылей. Смерть отца и матери получает социальное значение лишь с возникновением индивидуальной семьи; тогда переосмысляется и слово *сирота*; оно начинает обозначать не „безродного", а лишившегося родителей (или одного из них). Слово *сирота* в старинном значении „человек без рода, без племени" могло получать и иные переосмысления с развитием классового общества; „безродные" с возникновением рабства являются одним из важнейших источников вербовки рабов; вот почему мы имеем, например, в древнерусском языке слово *сирота* в значении „раб"; позднее это слово получает в русском языке значение „крепостной крестьянин".

52. Понятие „месть" складывается не как понятие мести вообще или индивидуальной мести, а как понятие родовой кровной мести, и соответствующее слово лишь позднее получает новое, более отвлечённое осмысление. Это понятие выражается одинаково у всех славян. Корень *мьст-* в различных его закономерных звуковых вариантах находим в болгарск. *мъст* и в ст.-хорватск. *maśčenje*, и в словинск. *mestiti*, *pomsta*, в польск. *mścić*, *pomsta*, в чешск. *msta*, *mstiti* и др. В „Русской правде" слово *мьстити* имеет характер специального правового термина; здесь подробно указывается порядок, в котором родичи должны были мстить за убитого. Такой же терминологический характер имеет и слово *maščenje* в старохорватских юридических памятниках.

53. Примеры общеславянских терминов родового строя можно было бы значительно увеличить. Они неоспоримо доказывают, что предки современных славянских народов проходили стадию родового строя и вырабатывали соответствующие понятия и термины в теснейшей и неразрывной связи друг с другом. Установив это, мы можем обратиться теперь к основным закономерностям развития языка в родовом обществе и постараться вскрыть, не объясняются ли сходства славянских языков действием именно этих закономерностей.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

РОДСТВО СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

(продолжение)

54. Основные закономерности развития языка в родовом обществе установлены Ф. Энгельсом в его исследовании „Происхождение семьи, частной собственности и государства“[1]. Высказанные Ф. Энгельсом в этом исследовании взгляды на развитие языка в родовом обществе не являются случайными попутными замечаниями, но составляют неразрывную органическую часть его понимания сущности и развития родового общества, а также возникновения классового общества и государства.

Никакие новые материалы по родовому обществу не поколебали высказанных Ф. Энгельсом в названной работе основных положений. В. И. Ленин в 1919 г. в лекции „О государстве“ говорил об этом исследовании Ф.Энгельса: „Это—одно из основных сочинений современного социализма, в котором можно с доверием отнестись к каждой фразе, с доверием, что каждая фраза сказана не наобум, а написана на основании громадного исторического и политического материала“[2].

Ниже мы вкратце изложим основные положения Ф. Энгельса по вопросу о развитии языка в родовом обществе и попытаемся на их основе объяснить сходство славянских языков.

55. Перечисляя различные черты, отличающие каждое отдельное индейское племя в Америке от других, Ф. Энгельс в п. 2 (стр. 71) указывает, как на одну из таких черт, на „особый, свойственный лишь этому племени *диалект*“; далее Ф. Энгельс продолжает: „В действительности племя и диалект по существу совпадают“. Родовое племя, согласно Энгельсу, является единым по языку. Лишь в виде исключения „в одном и том же племени говорят на двух близких родственных диалектах“; это бывает в тех случаях, когда „два ослабевших племени сливаются в одно“ (стр. 71—72).

56. Эти положения Ф. Энгельса чрезвычайно важны. Почему? Во-первых, потому, что Ф. Энгельс устанавливает здесь основной тип языкового объединения родового общества — племенной диалект; он устанавливает также, что племенной диалект отличался единством, т. е. внутри племенного диалекта, как правило, не было никаких более мелких подразделений. Во-вторых, потому, что Ф. Энгельсом устанавливается здесь неразрывная связь между племенем и племенным диалектом, а следовательно, и между развитием племени и племенного диалекта: судьба племени непосредственно отражается на судьбе племенного диалекта[3].

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, Партиздат, 1937, стр. 7—153. В дальнейшем даются ссылки на страницы этого издания.

[2] В. И. Ленин, Соч., изд. 4, т. 29, стр. 436.

[3] Мысль о неразрывной связи племени и диалекта находит своё выражение и в других работах Ф. Энгельса, например в работе „К истории древних германцев“ (т. XVI, ч. 1, стр. 388) и специально в экскурсе „Франкский диалект“ (там же, стр. 418).

57. Основным процессом, характеризующим развитие племени и диалекта в родовом обществе, является „новообразование племен и диалектов путем разделения“ (стр. 71; разрядка моя. — *Л. Я.*). Возникающие путём разделения единого племени (с единым диалектом) новые отдельные племена Ф. Энгельс называет родственными, кровнородственными, а возникающие в результате разделения единого племенного диалекта новые отдельные племенные диалекты — родственными диалектами. Новообразование племён и диалектов путём разделения отнюдь не является гипотетически предполагаемым процессом; оно происходило на глазах наблюдателей в родовом обществе американских индейцев: „новообразование племен и диалектов путем разделения происходило в Америке еще недавно и едва ли совсем прекратилось в настоящее время“ (стр. 71).

58. Новообразование племён и диалектов путём разделения приводило в дальнейшем к двум возможным путям развития (стр. 73—76). Первый путь развития состоит в следующем. Новообразовавшиеся племена, расходясь по значительной территории, теряют всякую связь между собой, племенные диалекты не только становятся непонятными членам разных племенных объединений, но и утрачивают почти всякий след первоначального единства. В этом случае не возникает никакого нового качества, никаких новых типов общественных и языковых связей; возникает лишь некоторое количество новых племён и племенных диалектов, и только.

59. Второй путь возможного развития состоит в следующем. Первоначально родственные, но разобщённые племена вновь сплачиваются в длительный союз. В этом втором случае мы имеем уже не только разделение и расхождение, но сперва разделение, а потом объединение, но на новой основе и в новых формах. Мы наблюдаем в этом втором случае, „как племена, разделяясь, превращаются в народы, в целые группы племен“ (стр. 75). Этот второй путь развития имел громадное значение в истории человечества. Не случайно Ф. Энгельс, давая широкую перспективу в будущее, указывает, что, сплачиваясь в длительные союзы, родственные племена делали „таким образом первый шаг к образованию нации“ (стр. 74, разрядка моя. — *Л. Я.*). С возникновением длительного союза родственных племён возникает, следовательно, новое для родового общества качество общественных связей.

Возникновение длительного союза родственных племён означает, по мнению Ф. Энгельса, уже начало разрушения родовой организации (стр. 77). Дальнейшее развитие этого процесса делает возникновение племенных союзов исторически неизбежным: „Союз родственных племен становится повсюду необходимостью, а вскоре становится необходимым даже и слияние их и тем самым слияние отдельных племенных территорий в одну общую территорию всего народа“ (стр. 139, разрядка моя. — *Л. Я.*).

60. Характеризуя союз ирокезских племён, Ф. Энгельс указывает, что ирокезы „говорили на родственных диалектах одного и того же языка“ (разрядка моя. — *Л. Я.*), что „общий язык,

различавшийся только диалектами, был выражением и доказательством общего происхождения" (стр. 74, разрядка моя. — *Л. Я.*). Таким образом, с возникновением союза родственных племён возникает новое качество, новый тип и языковых связей: общий язык племенного союза, различающийся по племенным диалектам, в данном случае общеирокезский язык.

61. Общий язык (койнэ) племенных объединений родового общества возникает, как мы видим, не путём сближения разнородных племенных диалектов, а путём объединения диалектов родственных и поэтому близко сходных; свою общность языки племенных союзов родового общества получают, таким образом, как бы в готовом виде, как наследие прошлого; эта общность является результатом общности происхождения племён, вошедших в состав союза. Для образования общих языков путём объединения разнородных племенных диалектов в одно целое не было в родовом обществе ни достаточных экономических, ни соответственно достаточных организационных, политических условий.

62. Возникновение союза племён предохраняло, как мы видели, родственные племенные диалекты от дальнейшего и полного расхождения, распыления. С другой стороны, близкое сходство диалектов у родственных племён, вступавших в союз, составляло одну из основ этого союза. Близкое сходство этих диалектов в высокой степени способствовало образованию в дальнейшем более крепких этнических и государственных объединений. Вот почему, например, у греков „в одно большое целое соединились лишь племена с одинаковым основным наречием, и даже в маленькой Аттике встречаем особый диалект, который впоследствии приобрел господство в качестве общего языка для всей греческой прозы" (стр. 83, разрядка моя. — *Л. Я.*).

63. Таковы в общих чертах основные линии развития племени и диалекта в родовом обществе. В установленных Ф. Энгельсом на огромном историческом материале закономерностях развития племени и диалекта в родовом обществе мы и найдём объяснение сходств славянских языков между собой. Это объяснение сводится к следующему.

64. Некогда существовало племя, которое условно назовём праславянским племенем. Этому праславянскому племени был свойствен свой особый единый племенной диалект, который условно назовём праславянским племенным диалектом. Праславянское племя, разделяясь, давало начало новым славянским племенам; они были родственными между собой, кровнородственными племенами в силу единства своего происхождения от праславянского племени. Родственными были также и их диалекты, возникшие из единого диалекта праславянского племени, из праславянского племенного диалекта.

65. Возникшие в процессе разделения праславянского племени отдельные первичные славянские племена расселялись и в свою очередь, разделяясь, давали начало ещё новым племенам и, соответственно, диалектам. Таким образом возникло много славянских

племён и диалектов. Эти племена не разобщились, не разошлись, не распылились. Они составили союз славянских племён, или славянский племенной союз; у славянского племенного союза был общий язык, различавшийся лишь по диалектам отдельных племён, входивших в союз. Этот общий язык славянского племенного союза условно назовём общеславянским языком.

66. Впоследствии, с размножением славянских племён внутри союза, по различным историческим причинам, которых мы здесь не имеем возможности касаться, славянские племена отдельными группами, отдельными союзами расселились по огромной территории Восточной и Центральной Европы. Древнейшие достоверные исторические сведения о славянах (VI—VII вв.) застают их уже расселившимися по огромной территории.

67. Разложение родового строя приводило к разнообразным и глубоким перегруппировкам населения на территории данного племенного объединения, к смешению отдельных племён, к появлению на территории данного племенного объединения иноплеменного или вовсе иноземного населения. Вот как характеризует этот процесс Ф. Энгельс: „Его (родового строя.— *Л. Я.*) предпосылкой было совместное проживание членов одного рода или племени на одной и той же территории, заселенной исключительно ими. Это давно уже прекратилось. Повсюду были перемешаны роды и племена, повсюду среди свободных граждан жили рабы, клиенты (Schutzverwandte), чужестранцы. Оседлость, приобретенная только к концу средней ступени варварства, то и дело нарушалась подвижностью и переменой местожительства..." (стр. 143).

Вот почему нельзя возводить непосредственно, по прямой линии, современные группы славянских языков с их диалектами к тем группам отдельных славянских племенных диалектов, на основе разложений и преобразования которых они возникли. Тем более нельзя возводить непосредственно все современные славянские языки с их диалектами к общеславянскому языку и его диалектам, хотя в конечном счёте все современные славянские языки и имеют в своей основе общеславянский язык и — ранее — праславянский.

68. Таким образом, с развитием классового общества и государства, путём сложного преобразования отдельных групп славянских племён и их диалектов начинают постепенно складываться отдельные славянские народности и языки. Пути их развития были очень различны и своеобразны. С самого начала и в дальнейшем славянские народности и их языки взаимодействовали в процессе своего развития с другими, не славянскими, народностями и языками (и притом различными для разных славянских народностей). Но все эти своеобразия развития не помешали тому, что даже языки современных славян, имеющие за собой более чем тысячелетнюю обособленную историю, поразительно сходны между собой. Их общая славянская основа вскрывается даже глазом, не вооружённым специальными исследовательскими приёмами. Сходства славянских языков объясняются тем, что они образовались на общей основе; этой общей их основой был общеславянский язык

с его родственными диалектами, возникшими путём разделения праславянского племенного диалекта. В этом смысле все славянские языки — родственные языки. Сходство их есть оборотная сторона их родства, их общего происхождения.

69. Изучением сходств и различий между славянскими языками, выяснением качества этих сходств и различий, объяснением их занимается сравнительно-историческая грамматика славянских языков. Эта лингвистическая дисциплина очень важна для истории любого из славянских языков. Основываясь на родстве славянских языков, на их общем происхождении, сравнительно-историческая грамматика славянских языков позволяет, путём сравнения отдельных славянских языков, в известной мере реконструировать, восстановить если и не общую систему, то отдельные важные частности древнейшего состояния каждого из них вплоть до праславянского племенного диалекта. Этим самым она широко раздвигает наши знания по истории каждого славянского языка по сравнению с тем, что дают нам сохранившиеся памятники древней славянской письменности. Вот почему другие славянские языки являются одним из важнейших источников для изучения истории каждого отдельно взятого славянского языка.

ГЛАВА ПЯТАЯ

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПРАСЛАВЯНСКОГО ПЛЕМЕННОГО ДИАЛЕКТА

70. Вопрос о происхождении праславянского племени и, соответственно, праславянского племенного диалекта — вопрос очень сложный. Наука не дала на него вполне убедительного ответа. Однако установлены некоторые положения, которые в дальнейшем позволят разрешить этот вопрос окончательно.

71. Во-первых, установлено, что славянская группа языков принадлежит к более обширной семье индоевропейских языков. Установлены очень значительные сходства между славянскими языками, с одной стороны, и такими группами индоевропейских языков, как древнеиндийская, древнеиранская, хеттская, тохарская, древнегреческая, италийская (латинский и др.), германская, балтийская (литовский, латышский и древнепрусский) и др. Сходства эти касаются не только грамматического строя, но и лексических элементов (отдельных корней, суффиксов, слов). Сходство между славянскими и другими индоевропейскими языками не являются случайными. Все индоевропейские языки объединены рядами закономерных звуковых соответствий. Так, например, др.-индийск. *bh* в *bhrắtar* — „брат", *bhárāmi* — „несу", *bhávati* — „он есть" и т. п. соответствует латинск. *f* в *frater* — „брат", *fero* — „несу", *futurus* — „будущий" и славянск. *б*, например в ст.-сл. братръ, берѫ, бъıти.

72. Здесь было бы затруднительно иллюстрировать сходства между индоевропейскими языками в грамматическом строе. Мы ограничимся

поэтому некоторым количеством лексических иллюстраций по различным разделам словаря.

1. Слова — названия членов семьи. Ст.-сл. мати, матере, др.-индийск. *mātár*, греческ. μάτηρ, латинск. *māter*, др.-ирландск. *máthir*, др.-в.-немецк. *muoter*, тохарск. *mācar, mātar*, литовск. *motė̃*, род. пад. *motė̃rs* — „замужняя женщина", и др. Ст.-сл. братръ, братъ, др.-индийск. *bhrā́tar*, др.-персидск. *brātar*, греческ. φράτωρ, φρατήρ — „член братства, фратрии", латинск. *frāter* — „брат", др.-в.-немецк. *bruoder*, ирландск. *brathir*, литовск. *broterelis* — „братец"; тохарск. *pracar, procer*. Ст.-сл. сестра (← * *sesra*), литовск. *sesu*, род. пад. *sesers*, др.-прусск. *swestro*, др.-индийск. *svásar*, др.-в.-немецк. *swester*, латинск. *soror* и др. Ст.-сл. ятры — „жена брата мужа", сербск. *jetpbe* — „жёны двух братьев", латинск. *jentere, ētere*, литовск. *jénte, intė*, др.-индийск. *yātar*, греческ. εἰνάτερες, латинск. *janitrices*. Ст.-сл. свекры — „свекровь", др.-индийск. *çvaçrūḥ* — „свекровь", *çváçuraḥ* — „свёкор", латинск. *socrus*, греческ. ἑκυρά, др.-в.-немецк. *swigar* и др. Ст.-сл. дверь, др.-индийск. *devár*, литовск. *dẽveris*, греческ. δᾶήρ, латинск. *levir* (из *devir*), др.-в.-немецк. *zeihhur* и др.

2. Слова — названия животных. Ст.-сл. овънъ — „баран", овца; скр. *áviḥ, avikā*, греческ. ὀΐς, латинск. *ovis*, ирландск. *oi*, литовск. *avis*, др.-в.-немецк. *ouwi*. Ст.-сл. прасѧ, латинск. *porcus*, греческ. πόρκος, др.-в.-немецк. *farah*. Ст.-сл. влькъ, скр. *vṛ́kaḥ*, авест. *vəhrkō*, литовск. *viẽkas*; готск. *wulfs* и др. Ст.-сл. мышь, скр. *mūḥ*, греческ. μῦς, латинск. *mūs*, др.-в.-немецк. *mūs*.

3. Слова, обозначающие явления природы. Ст.-сл. небо, небесе; русск. диал. *небёсы* — „облака"; скр. *nábhaḥ* — „облако", „небо" и др., греческ. νέφος — „туча", „туман", латинск. *nebula* — „туман", др.-в.-немецк. *nebul* — „туман". Ст.-сл. слъньце, русск. *посолонь*, латинск. *sol*, греческ. ἥλιος, др.-исландск., англ.-саксонск. *sól*, литовск. *sáulė*. Ст.-сл. дьнь, скр. *dinam*, литовск. *dẽnà*, готск. *sinteins* — „ежедневно", латинск. *dies, nundinae* — „ярмарка, устраиваемая каждый девятый день". Ст.-сл. нощь, латинск. *nox, noctis*, готск. *nachs*, др.-в.-немецк. *naht*, скр. *náktis*, литовск. *naktis*, греческ. νύξ, νυκτός (род. пад.).

4. Числительные. Ст.-сл. дъва, скр. *d(u)vá*, греческ. δύω, δύο, латинск. *duo*, литовск. *dvi* — „две". Ст.-сл. трие, три, скр. *tráyaḥ, trī́*, греческ. τρεῖς, τρία, латинск. *trēs, tria*, немецк. *drei*. Ст.-сл. десѧть, скр. *daça*, греческ. δέκα, латинск. *decem*, готск. *taihun* (десять).

Ст.-сл. сто, скр. *çatám*, др.-иранск. *satəm*, литовск. *šimtas*, латинск. *centum*, готск. *hund*.

Примеры лексических сходств между отдельными индоевропейскими языками можно было бы очень значительно увеличить.

73. Можно было бы объяснить сходства между индоевропейскими языками по тому образцу, по которому мы объясняем сходства между славянскими языками. В этом случае мы должны рассматривать пра-

славянский племенной диалект как один из племенных диалектов, возникших в результате разделения праиндоевропейского племенного диалекта; как такого же рода диалекты мы должны были бы рассматривать и другие племенные диалекты индоевропейцев (прагреческий, праиталийский и т. д.). Такой путь развития действительно утверждался в классическом сравнительно-историческом языкознании. В таком пути развития нет ничего принципиально невозможного. Предположение о единстве происхождения всех индоевропейских языков казалось особенно правдоподобным в тот период развития сравнительно-исторического языкознания, когда всё внимание учёных было поглощено только что раскрытыми и раскрываемыми сходствами между различными индоевропейскими языками. Гипотеза о единстве происхождения и родственности индоевропейских языков (родственности в том именно смысле, в каком мы говорим, например, о родственности славянских языков) сыграла в своё время положительную роль, способствуя всестороннему изучению сходств между индоевропейскими языками.

74. Изучение различий между индоевропейскими языками как фонетико-грамматических, так и лексических, заставляет теперь усомниться в том, что сходства между индоевропейскими языками могут быть уяснены целиком по аналогии со сходствами в славянских языках. Бесспорно, что между всеми индоевропейскими языками есть генетическая связь. Но образование всех групп индоевропейских языков является процессом исторически гораздо более сложным, чем процесс распада общеславянского языка на группы славянских языков. Не все индоевропейские группы языков возникли непосредственно путём разделения единого первоначально языка, как возникли отдельные славянские языки. В этом убеждает нас прежде всего сравнительный анализ лексических элементов, словарного состава отдельных групп индоевропейских языков.

75. Возьмём известные уже нам славянские термины родового строя. Мы видим, что эти термины общи всем славянским языкам. Мы заключили отсюда, что процесс образования родовой организации и осознания (а значит, и наименования) её институтов все славяне проходили в неразрывной связи друг с другом. Далее мы убедились, что сходства между славянскими языками объясняются специфическим для родового общества эпохи его расцвета разделением племён и диалектов и дальнейшим их объединением в племенные союзы и языки этих союзов, различающиеся лишь по диалектам.

76. Если мы обратимся к терминологии родового строя других групп индоевропейских языков, то убедимся, что эта терминология в целом, в системе, различна по разным группам индоевропейских языков. Мы не имеем возможности остановиться здесь на соответствующих терминах других индоевропейских языков, но укажем, например, что славянские термины родового строя не имеют себе соответствий в терминах других индоевропейских языков.

77. Если система терминов родовой организации различна по разным группам индоевропейских языков, то это значит, что родовая

организация оформлялась (и отражалась в сознании людей) в каждой из групп независимо от другой или других, самостоятельно. А из этого с несомненностью вытекает, что сходства между индоевропейскими языками ни в коем случае не могут быть объяснены исходя из явлений общественного развития, специфичных для родового общества, или, иными словами, сходства между индоевропейскими языками не могут быть объяснены по тому образцу, по которому мы объясняли сходства славянских языков.

78. На этапе, предшествующем развитию родовой организации, племя носило первоначально эндогамный характер; брачные группы были разделены лишь по поколениям; братья и сёстры — родные, двоюродные, троюродные и т. д.— все считаются между собой братьями и сёстрами и уже в силу этого мужьями и жёнами; брак между родичами является на этом этапе законом. В дальнейшем начинается постепенное ограничение брака между родичами. „Если первый прогресс в организации семьи состоял в том, что из взаимного полового общения были исключены родители и дети, то второй состоял в исключении сестер и братьев... Он совершался постепенно, начавшись, вероятно, исключением из полового общения родных братьев и сестер (т. е. с материнской стороны), сперва в отдельных случаях, постепенно становясь правилом... и кончая запрещением брака даже в боковых линиях, т. е., по нашему обозначению, для детей, внуков и правнуков родных братьев и сестер; он служит, по мнению Моргана, „прекрасной иллюстрацией того, как действует принцип естественного подбора". Не подлежит сомнению, что племена, у которых кровосмешение было ограничено этой прогрессивной мерой, должны были развиваться быстрее и полнее, чем племена, у которых брак между братьями и сестрами существовал как правило и требовался обычаем "(Энгельс, ук. соч., стр. 23—24). Непосредственным результатом этого процесса и было возникновение родовой организации, возникновение племён, организованных по родовому принципу.

79. Эндогамные племена предшествующей эпохи были, естественно, замкнутыми ячейками. Но весь период образования родовых племён характеризуется, столь же естественно, всё большим перемешиванием населения. В этом процессе объединялись в одно целое (в родовое) племя разнородные, чем далее, то всё более и более „неродственные" и в действительности, и с точки зрения самого населения общественные ячейки. В известных случаях это могли быть ячейки исконно родственные, но разошедшиеся, ставшие разнородными, ячейки с „забытым" родством, в других случаях могли объединяться в родовое племя ячейки вовсе разнородные. Это последнее обстоятельство тем более могло иметь место, что оскудение местных естественных богатств вынуждало избыток населения искать новые территории для охоты или рыбной ловли и на этих новых территориях сталкивало его с инородными этническими элементами, которые как раз и оказывались подходящими „парами" для образования племенного объединения по родовому принципу.

80. В процессе этого смешения, скрещения разнородных этнических элементов возникал более совершенный, биологически и социально, тип человека. Ф. Энгельс цитирует по этому поводу замечание Моргана, который указывает, что „браки между членами родов, не состоящих в кровном родстве, порождали физически и умственно более крепкую расу; смешивались два прогрессирующих племени, у новых поколений череп и мозг естественно увеличивались, пока они не объединяли в себе способностей обоих племен"; и добавляет, что „племена с родовым строем должны были, таким образом, одержать верх над отставшими или своим примером увлечь их за собою" (стр. 31). Итак, племена с родовым строем образуются путём смешения по крайней мере двух прогрессирующих племён; объединяя способности обоих смешивающихся племён, родовое племя постепенно объединяло и их диалекты в единый племенной диалект родовой организации на основе возобладавшего в процессе скрещивания диалекта.

81. Из вышеизложенного ясно, что единство родового праплемени, в том числе и праславянского, не есть нечто данное искони, от „бога" или природы; единство родового праплемени возникает в процессе развития общества; оно есть исторически складывающееся единство. Единство первоначального племенного диалекта родового общества, в том числе и единство праславянского племенного диалекта, также не есть нечто данное искони; оно также есть исторически складывающееся единство.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА

82. Древнейшие достоверные известия о восточнославянских племенах мы находим у византийских историков VI в. Предки восточных славян известны у них под названием антов. Обозначая восточных славян особым названием антов, историки VI—VII вв. не отграничивали их, однако, сколько-нибудь резко от остальных славян; в VI в. Иордан называет, например, антов „могущественнейшими из славян". В VI—VII вв. анты занимали обширную территорию в Причерноморье по Днепру и Днестру и далее на восток до левых притоков Дона. Северная граница распространения антов неизвестна: византийцы интересовались антами лишь постольку, поскольку с ними приходилось соприкасаться Византии, и о более северных областях Восточной Европы имели вообще очень смутное представление. Возможно, что и в то время поселения восточных славян распространялись значительно на север до истоков Днепра, Оки и Волги, а может быть, и севернее. Возможно, однако, что восточнославянские племена пришли в более северные места своего расселения позднее, теснимые с юго-востока и юга другими племенами и народностями. В дальнейшем византийские историки перестают сообщать сведения об антах, и имя это бесследно исчезает. Позднее мы встречаемся с восточными славянами в иностранных источниках уже в IX — X вв.; среди этих ис-

точников особое значение имеет сочинение византийского императора Константина Багрянородного „О народах", написанное в 949 г.; в этом сочинении упоминаются и названия некоторых восточнославянских племён.

83. Важнейшим источником наших сведений о восточнославянских племенах являются древнерусские летописные своды. Это, во-первых, „Повесть временных лет", составленная в начале XII в. в Киеве на основании более ранних летописных сводов и записей, а также других источников; древнейший список её известен нам из так называемой Лаврентьевской летописи, составленной или переписанной монахом Лаврентием в 1377 г. в Суздале; во-вторых, некоторые списки I Новгородской летописи, составленной в XIII — XIV вв. на основе более древних летописных материалов. Сведения о восточнославянских племенах, сообщаемые нашими летописными сводами, относятся ими к IX в.

84. Сведения о восточнославянских племенах, сообщаемые даже древнейшими письменными источниками наших летописных сводов, даются уже по воспоминаниям и преданиям. В начале XI в., когда начинается наше летописание, старые племенные отношения были давно нарушены. Племенные названия, сообщаемые летописью, это скорее названия территорий, областей, в которых интенсивно разлагался старый родовой и племенной уклад и где не было единства племенного населения; не случайно, что многие „племена" носят в летописи заведомо новые территориальные названия (по реке, по городу). С другой стороны, нельзя, конечно, считать перечень восточнославянских племён, сообщаемый летописью, исчерпывающим; по всей вероятности, существовали и другие восточнославянские племена, воспоминания о которых уже почему-либо не сохранились ко времени составления древнейших летописных источников. Несмотря на эти оговорки, летописные известия остаются всё же важнейшим и драгоценнейшим источником наших знаний о распределении и расселении восточных славян на заре их писанной истории.

85. На основании имеющихся у нас сведений можно составить себе следующее примерное представление о составе и группировках восточных славянских племён. Все они могут быть распределены на три группы: северную, южную и среднюю. К южной группе принадлежали: *поляне*, жившие по Днепру в районе Киева; *дерева*, или *деревляне*, *древляне* — в пределах нынешней Волынщины; *сьверъ*, или *сьверяне*, — по р. Десне, Сейму и Суле; *улучи*, или *уличи*, и *тиверьци* — по Днестру до Чёрного моря; *бужане*, *дулѣбы* и *волыняне* — в нынешней Западной Украине по р. Бугу и в других районах. К северной группе принадлежали: *словѣне*, жившие вокруг оз. Ильменя; летопись называет их и *новгородьцами*[1]; *кривичи* — по верховьям западной Двины, Днепра и Волги. К средней группе принадлежали *дрего-*

[1] Название *новгородьци* является позднейшим и свидетельствует о замене старых племенных названий названиями по областному центру; см. § 84.

вичи — между Двиной и Припятью; *полочане*, по втекающей в Двину р. Полоте, где и город Полоцк, др.-русск. *Полотьскъ*; *радимичи* — в районе нынешнего Могилёва; *вятичи* — в бассейне Оки.

86. Любопытно, что некоторые восточнославянские племенные названия находят себе соответствия у южных и западных славян; так, например, новгородские *словѣне* находят себе соответствие в южных и западных *словинцах*; *поляне* — в западнославянских *поляках*; племя *хорваты* было и у южных славян; *дулѣбы (doudleby)* — у западных славян и пр. Это лишний раз говорит об исконных связях всех славянских племён, всего славянства.

87. Источником наших сведений о языке восточнославянских племён являются современные русские, украинские и белорусские диалекты, а также древнерусские областные диалекты, известные нам по древнерусским памятникам письменности. Но историческая диалектология восточнославянских языков настолько слабо ещё разработана, что наши сведения о языке восточнославянских племён имеют очень суммарный и явно недостаточный характер. Так, почти ничего не знаем мы о лексических особенностях диалектов не только отдельных племён, но и их групп. Лучше обстоит дело по вопросу о грамматическом строе диалектов восточнославянских племён. Здесь мы можем утверждать, что никаких сколько-нибудь значительных различий в этом отношении между отдельными племенами или группами не было. Что касается фонетических особенностей, то по этим особенностям мы имеем основания различать те самые три группы восточнославянских племён, которые отмечены в § 85 (хотя некоторые исследователи допускают наличие лишь двух восточнославянских групп).

88. Эти три группы племён отличались друг от друга по произношению согласного звука, соответствующего звуку *г* современного русского литературного языка. Для северной группы было характерно смычное *г*; такое *г* отложилось в современных севернорусских диалектах; для средней и южной группы было характерно несмычное *г*, которое отложилось в современных белорусском и украинском языках в виде гортанного *г (h)* и в современных южнорусских говорах в виде заднеязычного фрикативного *г (γ)*.

89. Средняя группа противостояла двум остальным по некоторым особенностям в произношении безударных гласных; эти особенности отразились в белорусском языке и в южнорусских диалектах в различном произношении ударных и безударных гласных, в так называемом **аканье** и редукции безударных гласных. Таким образом, различие между современными „акающими" и „окающими" диалектами восточнославянских языков восходит в конечном счёте ещё к эпохе существования восточнославянских племенных диалектов.

90. Повидимому, к этой эпохе восходит **цоканье** современных севернорусских диалектов: оно очень ярко представлено уже в древнейших известных нам новгородских и псковских памятниках; если это так, то цоканьем северная группа восточнославянских диалектов противопоставлялась двум другим.

91. Как ни незначительны наши сведения о различиях между тремя группами восточнославянских племенных диалектов, мы можем всё же отметить, что эти различия не соответствуют делению современных восточнославянских языков на три языка: русский, украинский и белорусский. Так, в современном русском языке отложились особенности и северной, и средней группы, которая, с другой стороны, получила своё отражение в современном белорусском языке. Дальнейшее развитие исторической диалектологии восточнославянских языков позволит нам уточнить и пополнить наши знания о восточнославянских племенных диалектах и об образовании на их основе древнерусских областных диалектов, а затем русского, украинского и белорусского языков с их диалектами.

92. Восточнославянские племена, выделившись из состава общеславянского племенного союза, первоначально не порывали между собой связи, составляя союз восточнославянских племён с единым языком, различавшимся по диалектам. По всей вероятности, византийские писатели и обозначали термином *анты* этот союз восточнославянских племён, который Византия всячески стремилась разрушить, натравливая одни племена на другие.

93. Древнейшие летописные известия, вспоминающие о восточнославянских племенах, застают этот союз уже, повидимому, давно распавшимся. Часть восточных славян *(словѣне, кривичи)* имела сношения со скандинавами-варягами, с местными прибалтийско-финскими племенами; одно время эти восточные славяне вместе с некоторыми финскими племенами платили дань скандинавам-варягам. Другие восточнославянские племена *(поляне, северяне, вятичи)* вошли в сферу влияния Хазарского каганата. Образование и развитие державы Рюриковичей (с центром в Киеве), Киевской Руси, снова объединяет восточных славян, но уже на совершенно иной основе, в составе одного государства, в условиях полного распада родового строя и развития классового общества.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Происхождение письменности у славян

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПЕРВОБЫТНОЕ ПИСЬМО У СЛАВЯН

94. До возникновения буквенного письма и письменности славяне, как и все другие народы, пользовались различными исторически сменявшими друг друга типами так называемого первобытного письма.

95. Древнейшим типом письма у всех народов было, как известно, пиктографическое письмо, в котором были нерасчленённо слиты зачатки собственно письма и изобразительного искусства. Понятие пиктограммы выражалось у предков славян словом, от которого происходит современный славянский корень *пис-* (например, в русском *писать* и пр.). Этот корень существует во всех славянских языках; сравните ст.-сл. пьсати, др.-русск. *пьсати, писати,* сербск. *писати,* чешск. *psati*, польск. *pisać* и др. Этот корень наличествует во всех славянских языках во многих производных словах.

96. Отделение собственно письма от изобразительного искусства в связи с развитием идеографического письма приводит к тому, что значение корня, обозначавшего пиктограмму и пиктографирование, раздваивается; оно, с одной стороны, получает значения „рисовать", „раскрашивать", „орнаментировать", „узорить", т. е. значения, связанные с изобразительным искусством, а с другой — значение собственно „писать". Причём с развитием идеографического письма второе значение „писать" отходит на задний план, а снова оживляется и становится главенствующим во всех славянских языках лишь с возникновением буквенного письма (см. § 116).

97. Корень ***пьс-, пис-*** в значении „рисовать", „раскрашивать", „узорить" широко представлен, например, в русском языке в таких словах и выражениях, как *писать* (картину), *писанка* — „расписанное пасхальное яйцо", *писаный* — „расписной", „цветистый", „пёстрый", „украшенный"; *писаные ворота, писаная дуга, писать лапти, писаные лапти* — „выплетенные поверх рогожи в узор узеньким чистым лыком", *писать жаворонки* (из теста) — „пестрить их гребнем, клю-

чом и пр.", *писать мочку* — „намять на ней гребнем рубцы", *писаные пряники* и пр. Ср. также болгарск. *писец* — „живописец", словинск. *pisan* — „пёстрый", польск. *pisany* — „испещрённый" и др. Сюда же относится русск. *пёстрый*, др.-русск. *пьстръ* с соответствующими словами в других славянских языках (из „пьс + ръ").

98. Славянский корень ***пьс-, пис-*** находит себе закономерные соответствия в других индоевропейских языках. Ср. скр. *piçati* — „украшает", „даёт форму", „образует", „высекает", „вырубает", *péçah* — „краска", „образ", „форма", др.-иранск.-авест. *paes-* — „красить", „украшать", др.-персидск. *nipistanaiy* — „писàть", литовск. *pẽszù* — „пишу", греческ. πείκω — „скребу", „царапаю", „стригу", др.-в.-немецк. *fēh* — „пёстрый", англ.-саксонск. *fáh* — „пёстрый". С изменением конечного согласного звука сюда же: латинск. *pingere* — „писать красками", „вышивать", *pictor* — „живописец".

Приведённые примеры показывают, что наш корень с соответствующими значениями существовал уже в д о с л а в я н с к у ю э п о х у и является одним из и н д о е в р о п е й с к и х элементов в славянских языках.

99. В древнейшем слове, обозначающем пиктограмму, вовсе не выражалась и не осмыслялась техника её исполнения; пиктограмма получала своё название не по изобразительной технике её выполнения, а по социальной функции пиктографии. Однако в дальнейшем, с постепенным развитием идеографического письма и выделением собственно изобразительного искусства, слово, обозначавшее пиктограмму, неизбежно получало техническое осмысление и притом различное. Вот почему славянское слово *писать* осмысляется и как „писать красками", и как „узорить" (см. § 101); латинск. *pingo* значит „писать красками" и „вышивать"; скр. *piçati, piṡkte* дают значение „красить", „украшать" и „высекать" и пр.

100. На смену пиктографическому письму пришло письмо идеографическое. Его зарождение справедливо относят ко времени зарождения и развития родового строя. Постепенно образуется довольно сложная система идеографических знаков. Здесь и родовые знаки, знаки коллективной, а позднее частной собственности, числовые знаки, магические знаки — обереги, гадательные знаки и пр. О существовании у славян гадательных знаков имеется и определённое историческое известие.

101. Один болгарский писатель X в. монах по имени Храбр, „черноризец Храбр", в своём сочинении „О письменах" свидетельствует, что славяне, будучи ещё язычниками, „**не имѣху книгъ** (= букв), **нъ** (= но) **чрътами** (чертами) **и рѣзами** (= нарезками) **чьтѣхѫ и гатаахѫ**", т. е. читали и гадали. Это известие Храбра вполне аналогично тому, что сообщает латинский историк Тацит о древних германцах. Тацит говорит, что древние германцы гадали при помощи каких-то знаков, вырезавшихся на дереве, на деревянных палочках; по этим знакам жрецы или старики истолковывали будущее.

102. Толкование гадательных и иных знаков, в том числе и числовых, и было содержанием слова „читать" во время господства

идеографического письма. Содержание это было, следовательно, совершенно иным, чем то, которое стали вкладывать в слово „читать" после возникновения буквенной письменности.

103. „Чтение" гадательных знаков было, конечно, одновременно и культово-магическим действием, „почитанием" тех потусторонних сил, духов, которые должны были раскрыть будущее и притом в благоприятном смысле. Оно сопровождалось молитвами-заклинаниями. Магическое значение имело и „чтение" числовых знаков, как об этом свидетельствует распространённое у самых разнообразных народностей магическое восприятие числа.

104. Этим объясняется, что корень ***чьт-*** с его закономерными вариантами — чередованиями во всех славянских языках — имеет значение и „чтения", и „счёта", и культового, а как более позднее осмысление — и морального „почитания". Ст.-сл. ѩтѩ значило „читаю", „считаю" и „почитаю". Перекрещивание этих значений в словах, образованных от корня ***чьт-***, мы имеем во всех славянских языках. В настоящее время связь значения „читать", „считать" и „чтить" уже не осмысляется, и мы даже не догадываемся, что у этих слов один и тот же корень. Пережитки подобного славянскому семантического комплекса мы находим, например, в балтийских индоевропейских языках: латышск. *skáits* — „число", *skaitît* — „считать, говорить молитвы", литовск. *skáititi* — „читать, считать".

105. Корень ***чьт-*** в тех его осмыслениях, которые мы раскрыли выше, не находит себе соответствий в других индоевропейских языках, за исключением, быть может, лишь вышеприведённых слов из близко родственных славянским балтийских языков.

106. Слово *черта (чьрта)* было, повидимому, у славян наиболее обобщённым названием идеограммы. Черноризец Храбр приводит его как один из названий гадательных знаков. В русском языке словом *черта* обозначали нарезки на бирках, счётных табличках или палочках, пережиточно существовавших у неграмотных крестьян до последнего времени; здесь слово *черта* применяется уже к числовому знаку. В древнерусском языке слово *чьртежь* значит „межевой знак"; в сибирских диалектах оно имеет значение „условный межевой знак", „зарубка", „нарез на деревьях", посредством которого отмежёвывают участок леса, являющийся чьей-то собственностью; от значения *черта* — „межевой знак" идёт и значение *черта* — „граница". От слова *черта* со значением „магического знака оберега", предохраняющего от несчастья и способствующего удаче, идёт русское выражение *очертя голову* — „отчаянно", „смело", „безрассудно"; *очертя* — это деепричастие от глагола *очертить*, т. е. положить на себя черту, магический знак, который обеспечивает удачу в самом отчаянном поступке, предохраняет от гибели; в христианскую эпоху в таких случаях полагалось „осенять" себя знаком креста, а смысл старого выражения был забыт, и оно существует ныне как идиома. Слова *черта* и *чертить* древнее, чем идеографическое письмо; корень их имел первоначально производственно-техническое значение, разновидности которого частично сохранились в современных славянских языках; так,

например, в русских диалектах (северных) *чертить* значит, между прочим, „подсачивать деревья", „готовить к рубке", „сбивая кору". В этом древнем производственно-техническом значении корень ***черт-*** имеет соответствия и в других индоевропейских языках. С возникновением идеографического письма он был использован у славян для обозначения идеограммы по её техническому выполнению („нарезать", „надрубливать" и т. п.).

107. В других группах индоевропейских языков названия для идеограмм и идеографического письма образовывались также по различным словам с производственно-техническим значением. Так, латинск. *scribo* — „пишу" имеет в других индоевропейских языках соответствия со значением „скребу", „царапаю", „надрезаю", „насекаю"; к этим соответствиям относится и русск. *скребу*. Термин *scribo* возник как термин идеографического письма, а потом, по функции, был перенесён и на буквенное письмо; в самом латинском языке он имеет не только значение „пишу", но и „вырезываю", „начерчиваю". Таково же происхождение греческ. γράφω — „пишу"; оно также имеет значение „начерчиваю", „черчу", „царапаю", а также „рисую".

108. Мы видели, что название для пиктограммы является общим для всех индоевропейских языков. Иначе обстоит дело с названием идеограммы. Здесь отдельные группы индоевропейских языков вырабатывают каждая свои особые термины; если при этом и используются общеиндоевропейские корни с производственно-техническим значением, то отбор их и переосмысление для обозначения именно идеограммы в каждой группе происходит своеобразно, обособленно. Мы видели, что значение корня *чьт-чит-* — „расшифровка идеографических знаков" (см. § 102), является славянским новообразованием (см. § 105). Это стоит в связи с тем, что идеографическое письмо развивается с развитием родового общества. Но стадию родового общества каждая группа индоевропейских языков проходила отдельно от других. Вот почему и отдельные явления, возникающие уже в родовом обществе, могут получать и получают различные наименования в каждой из групп.

109. С развитием сношений славянских племён с другими племенами и народами славянское идеографическое письмо могло подвергаться влиянию со стороны этих племён и народов. Это влияние могло проявляться в образовании новых типов знаков или новых их функций, в заимствовании каких-нибудь новых материалов, на которые нарезались знаки, и т. п.

110. В этом отношении представляет интерес слово *печать*, существующее у всех славян и заимствованное от них немцами (ср. немецк. *Petschaft* в том же значении). Слово *печать* в переосмысленном виде продолжало существовать и по возникновении буквенного письма и обогащалось новыми значениями вплоть, например, до значения „повремённой печати", „прессы". Однако по своему происхождению слово *печать* — термин ещё идеографического письма. В древнерусском языке слово *печать* имеет прежде всего значения: „знак",

вырезанный на металле или камне для оттискивания; „оттиск" этого знака, прилагаемый к документам вместо подписи. Древнерусская печать — это один из потомков родового знака, эволюционирующий в направлении личного „герба", личной „печати".

111. Очень ярко выступает значение печати как идеографического знака в договоре киевского великого князя Игоря с Византией (945 г.). В этом договоре сообщается, что до сих пор русские послы и купцы, в знак того, что они действительно пришли в Византию от великого князя, приносили золотые и серебряные печати, так сказать, идеографические „удостоверения", но на будущее отменяется этот устарелый обычай: послы и купцы должны будут приносить писанные удостоверения, „грамоты".

Мы видели, что печать по своему происхождению есть специализированный родовой знак. Уже на довольно высоком уровне развития родового общества славяне заимствовали название для такого специализированного родового знака с Востока, из кавказских языков, где оно существует и сейчас с закономерными звуковыми чередованиями по разным языкам: грузинск. *beted* (бечед.), чанск. *matkind*, сванск. *məskäd*, мегр. *matrkind* — „печать", „перстень".

112. В высшей степени любопытно проникновение в славянские языки слов *книга* и *буква*. Слова эти не исконно славянские, а заимствованные. Мы привыкли соединять эти слова, как и обозначаемые ими предметы, уже с эпохой письменности и буквенного письма. Но они проникли в славянские языки, повидимому, ещё до этой эпохи, существовали в системе славянской терминологии знакового письма и лишь впоследствии были включены в терминологию буквенного письма. Слово *книга* со своими производными существует во всех славянских языках, а слово *буква* — в восточных и южных славянских языках; в западнославянских языках оно позднее вытеснено латинским *litera* — „буква"; ср. польск. *litera* — „буква".

113. Древнейшее значение слов *книга* и *буква* — это „отдельный письменный знак"; в старославянском кънига значит „отдельная буква". Мы не знаем функции „книги" и „буквы" как отдельных знаков в системе славянского идеографического письма, но по своему происхождению первое слово указывает на восточные связи славян и находит себе параллель в армянск. *kənik* — „печать", ассирийск. *кипики* — „печать". Слово же *буква* указывает на западные связи славян. Оно находит себе параллель в готск. *bōka* — „буква", др.-в.-немецк. *buoh* — „книга", совр. немецк. *Buch*.

114. Существование различных славянских названий для „знаков" добуквенного письма, проникновение в славянские языки чужеземных соответствующих названий *(печать, буква, книга)* свидетельствует о том, что славянское знаковое письмо было достаточно сложным явлением. Но как бы сложно оно ни было, оно продолжало оставаться лишь знаковым письмом и в своём развитии не дало нового качества — буквенного письма и письменности. Различные знаки существовали как отдельные знаки; связного письма, текста, ещё не было или оно появлялось в совершенно исключительных случаях. Поставленные

рядом друг с другом знаки, хотя бы и в большом количестве, не представляли текста в нашем понимании; это была лишь сумма знаков.

115. Когда с возникновением письменности появилась необходимость как-то назвать связную запись какого-либо содержания, например книгу, письмо и пр., то первоначально пользовались множественным числом от слова *книга* или *буква*, т. е. словом, обозначающим первоначально „сумму знаков". По традиции такое обозначение сохраняется и в более позднее время. Так, в старославянском языке для передачи греческого слова βιβλίον — „книга" (в единственном числе, как цельная книга) ставили обычно слово *книга* во множественном числе: **кънигъ**; в словинском языке и до сих пор „книга" обозначается множественным числом от слова *knjiga, knjige*; в этом же значении в словинском употребляется и слово *bukve*; т. е. собственно „буквы".

116. Слова *черта, чертить*, которые были у славян, повидимому, наиболее обобщённым термином для обозначения письменного знака и его нарезания, могли бы быть перенесены по функции на новые понятия „буквенного письма" и „писания", — иными словами, слова *черта* и *чертить* могли бы получить значение „буква" и „писать". Такое перенесение старого термина, обозначавшего нарезывание или выдалбливание знаков на каком-нибудь материале, на новое понятие „писания связного текста" произошло, например, в греческом и латинском языках.

117. Латинское *scribo* значит „вырезываю" (ср. славянск. *рѣзы*), „вычерчиваю" (ср. славянск. *черта*), „пишу". Греческое γράφω значит „начерчиваю", „черчу", „царапаю", „рисую", „пишу". Значения „чертить", „нарезывать", несомненно, более древние, чем „писать". Они некогда употреблялись у греков и римлян для обозначения нарезывания и вычерчивания знаков добуквенного письма. С возникновением письменности и буквенного письма техника начертания букв и связных текстов продолжала оставаться в известной мере прежней; широко применялось нарезывание длинных связных текстов на камнях, выцарапывали текст на различных других материалах. Когда возникла новая техника письма красящими веществами на папирусе, пергамене и пр., прежние слова, обозначавшие собственно „начерчивать", „нарезать" буквы и целые тексты, сохранились, потому что основная функция старой и новой техники — закрепление на письме связных текстов — осталась той же самой; старые слова получили лишь новое осмысление; они стали обозначать не только „нарезывать", но и „писать", „выписывать" их каким-то красящим веществом; последнее значение впоследствии и возобладало.

118. Иное дело у славян. Во-первых, функция нового буквенного письма была совсем другая, старое знаковое письмо вовсе не предназначалось для передачи связного изложения; оно имело узкое и специальное применение, о котором мы говорили выше. С другой стороны, славяне, у которых письменность и буквенное письмо возникли лишь во второй половине IX в., сразу же приобщились к новой технике письма (вырисовывание букв на пергамене и пр.), вычерчи-

вание или нарезывание связных текстов получило у них совершенно ничтожное распространение. В этих условиях не могло быть и речи о применении к новому письму старого термина „чертить"; он получил своё особое развитие, досуществовав с новыми осмыслениями до наших дней, а для обозначения „писания" на пергамене или ином материале какими-нибудь красящими веществами, красками стали употреблять слово, обозначавшее „красить", „раскрашивать", „рисовать", т. е. слово *писать*, получившее теперь новое значение, которое во всех славянских языках стало его главным, основным значением. Это применение слова *писать* к технике буквенного письма было очень удачным, потому что писание древних текстов было подлинным „рисованием", вырисовыванием отдельных букв, сопровождавшимся орнаментацией текста. Некоторые лучшие древние славянские рукописи были настоящими шедеврами изобразительного искусства.

Подобное славянскому развитие терминов письменности мы имеем и у других народов, у которых буквенное письмо возникало в аналогичных условиях, например у литовцев, у прибалтийских финнов. Впрочем, некоторые народы в таких же условиях попросту механически заимствовали для обозначения понятия „писать" чужой термин; так, др.-в.-немецк. *scriben*, совр. немецк. *schreiben* заимствовано из латинского (ср. *scribere*).

119. Теоретически рассуждая, можно предполагать, что новое буквенное письмо могло бы возникнуть и у славян путём преобразования собственного знакового письма. Но в то время, когда у славян развивались предпосылки для возникновения буквенного письма, они находились во взаимодействиях с другими народами и странами, обладавшими буквенным письмом уже в течение многих столетий. По мнению некоторых историков культуры, взаимодействия славян с одной из таких стран — Византией — и оказались решающим фактором в возникновении у них буквенного письма и письменности.

120. Ввиду того что конкретные условия возникновения письменности у славян связаны с попыткой распространения у некоторых из них просвещения на латинском языке, мы, прежде чем обратиться к этим условиям, должны уяснить себе роль латинского языка в средневековой Европе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

121. Латинский язык был унаследован средневековой Западной Европой от античного Рима как язык государства и просвещения. Ещё с того времени, когда при императоре Константине христианство стало государственной религией Римской империи, латинский язык становится официальным языком западной римской церкви. Это обстоятельство имело большое значение в истории средневековой Западной Европы.

122. Дело в том, что церковь была могущественнейшим феодалом средневековой Западной Европы; особенно важен тот факт, что церковь владела приблизительно третьей частью всей земли в каждой средневековой западноевропейской стране; поэтому „церковь с ее феодальным землевладением служила реальной связью между различными странами“ [1]. Церковь с её великолепной организацией, с её иерархией, возглавляемой самодержцем-папой, с её армией монахов и попов была крупнейшей политической силой в средние века.

123. Естественно, что в таких условиях церковь господствовала и в области идеологии. „Мировоззрение средних веков было по преимуществу теологическим“ [2]. Даже средневековая наука была лишь служанкой богословия. „Юриспруденция, естествознание, философия — все содержание этих наук приводилось в соответствие с учением церкви“ [3]. Библия была источником всякой премудрости.

124. При господстве религиозного мировоззрения всякие организованные политические движения, оппозиционные и революционные, неизбежно стремятся найти себе идеологическое обоснование в той же библии. Так было не только в глубине средневековья, но и на пороге нового времени, например в эпоху крестьянской революции и реформации в Германии при Мюнцере и Лютере, в эпоху английской буржуазной революции при Кромвеле. Лишь во французской буржуазной революции политика окончательно отделяется от религии и выступает в своём собственном обличии. Бесчисленные средневековые „ереси“ были по своему содержанию политическими движениями, которые, выступая против церкви, выступали по сути дела против средневекового общественного строя, который охраняла и освящала церковь.

125. Вполне понятно, что при господстве церкви в области идеологии язык церкви, латинский язык, становится господствующим языком в средневековой науке и образованности, в средневековом просвещении.

126. Церковь ревниво охраняла господство латинского языка в средневековой Европе. Везде в сфере влияния римской церкви был запрещён перевод библии на местные языки, было запрещено и богослужение на местных языках. Библия могла быть только латинской, богослужение могло быть отправляемо только на латинском языке.

127. В средние века латинский язык был уже мёртвым языком. Он был совершенно непонятен для населения любой средневековой западноевропейской страны. Для сколько-нибудь широких слоёв населения латинский язык как язык чужой был недоступен. Для того чтобы понимать латинский текст, а тем более писать по-латыни, нужно было длительно учиться; но народ не имел этой возможности. Однако это обстоятельство нисколько не смущало церковь; наоборот, оно как раз

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 295.
[2] Там же.
[3] Там же.

вполне отвечало и её специальным церковным интересам, и интересам феодального общества, столпом которого она была.

128. Действительно, недоступность библии и других церковно-религиозных книг для широких масс населения необычайно повышало значение всей армии церковников во главе с епископами и самим папой. Церковники становились неизбежными посредниками между богом, его „священным писанием", библией, с одной стороны, и всей массой „верующих" — с другой. Только церковникам предоставлялись возможность, право и обязанность читать, пересказывать и толковать библию. Легко понять, что при господстве религиозного мировоззрения в средневековом обществе попы-посредники, хранители и толкователи библейской „истины" получали громадную власть над умами людей.

129. С другой стороны, запрещение перевода библии на народные языки было с точки зрения церкви препоной для возникновения всяких „еретических" учений. Дело в том, что как раз в библии эти учения находили идеологические основы для критики церковных догматов и для их отрицания, для обличения церковных деятелей: церковная действительность никак не соответствовала библейским „идеалам". Добравшись до библии, всякий разумный человек тотчас убеждался, что церковь с её богатствами и продажностью, с развратными и жадными „святителями" — самая нехристианская организация в мире. Держать „верующих" подальше от библии было поэтому вполне понятным стремлением церкви. Наконец, единство церковного языка по всей территории разноязычной Западной Европы очень сильно способствовало укреплению церковной организации, делало её ещё более независимой от местных влияний, ещё сильнее приковывало местных церковных деятелей к церковному центру — Риму, к главе церкви — папе. Вот почему римские папы так ревниво охраняли господство латинского языка в средневековой Европе.

130. Но господство латинского языка в средневековой Европе имело ещё и другие, более глубокие основания. Ознакомившись с ними, мы поймём подлинные корни охарактеризованной выше политики римских пап в отношении латинского языка.

131. Мы видели, что латинский язык, как язык церкви, стал языком западноевропейской средневековой науки и образованности, языком средневекового просвещения. Мы видели также, что латинский язык был недоступен сколько-нибудь широким слоям населения. Отсюда ясно, что сама средневековая наука и образованность, само средневековое просвещение оказывалось недоступным для сколько-нибудь широких слоёв населения. Средневековая культура оказывалась доступной лишь для господствующего класса и его интеллигенции. Она носила, таким образом, узко замкнутый, узко *сословный* характер; она была *привилегией* господствующего класса феодалов-крепостников во главе с феодальной церковью. Этот порядок вещей как нельзя лучше соответствовал общественным отношениям средневековья; вырастая из этих общественных отношений, он в свою очередь поддерживал их, становился их опорой: чем темнее и невежественнее народ, тем он

более раздроблен и неорганизован, тем легче господствовать над ним кучке вооружённых крепостников. Господство латинского языка в средневековой Западной Европе соответствовало классовому господству светских и церковных феодалов.

132. Будучи узко сословной по своему характеру, средневековая культура занимает, однако, своё исторически обусловленное место в развитии человеческой культуры вообще. Она сыграла значительную роль в образовании европейской, а следовательно, и мировой буржуазной культуры, зарождавшейся в борьбе с нею ещё в недрах феодального общества. На средневековой латыни написан ряд сочинений значительной ценности. Знание латыни позволяло образованным людям средневековья знакомиться с некоторыми сочинениями античных римских и греческих писателей. Таким образом, узко сословный характер средневековой культуры не должен заслонять от нас её положительных с исторической точки зрения сторон.

133. В этой связи следует особо отметить роль латинского языка как международного культурного языка Западной Европы; тем более, что в этой своей функции латинский язык выходит за пределы собственно средневековья. Западная Европа населена множеством различных народов, языки которых очень отличаются друг от друга. Латинский язык служил своего рода культурной скрепой разноязычной Западной Европы. В этом отношении его использовали даже в качестве разговорного языка. Лишь с развитием буржуазного общества и развитием национальных языков латинский язык как международный культурный язык Европы выходит из употребления.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ И БУКВЕННОГО ПИСЬМА У СЛАВЯН

134. К IX веку в общественной жизни славян отчётливо намечаются большие перемены, постепенно назревавшие в течение столетий. Развивается имущественное неравенство, возникает крупная частная собственность, славянские племена вступают в сношения с другими народами, стоящими уже на более высоком уровне развития. У славян развивается классовое общество, образуются отдельные государства — княжества.

135. В этих новых и сложных условиях жизни у славян возникает потребность в различного рода записях, в письменности. Они переживают такой этап общественного развития, когда возникновение письменности становится исторически неизбежным. Высшая ступень варварства, как указывает Ф. Энгельс, „начинается с плавки железной руды и переходит в цивилизацию через изобретение буквенного письма и применение его для записей“ (стр. 13; разрядка моя. — *Л. Я.*). Славяне стояли на пороге цивилизации. Во второй половине IX в. у них возникает письменность и буквенное письмо.

136. Первоначально славяне пользовались для своих записей латинскими и греческими буквами, приспособляя их к написанию славянских слов. Но в дальнейшем возникает специальное славянское письмо и письменность на народном языке. Славянская письменность возникает при следующих обстоятельствах.

137. В 863 г. моравский князь Ростислав прислал посольство к византийскому императору Михаилу. Моравское княжество находилось на территории современной Чехословакии, где и теперь есть провинция Моравия. Моравские славяне были одним из предков современной чешской нации. В IX в. моравские славяне, как и другие западные славяне, всё время находились под ударами немецких рыцарей, которые стремились захватить моравские земли, сделать моравских славян своими рабами, онемечить или истребить их. В борьбе с насильниками Ростислав и обратился за помощью к Византии.

138. В моравском княжестве уже распространялось христианство. Его распространяло немецкое духовенство, принадлежавшее к западной римской церкви, подчинённое римскому папе. По обычаю римской церкви оно навязывало моравским славянам непонятный для них латинский язык как язык богослужения и христианского просвещения. Эти вопросы языка как раз и были предметом посольства Ростислава.

139. Распространение латинской культуры и знание латинского языка было бы само по себе лишь полезным для моравских славян. Но латинскую „культуру" распространяли в Моравии немецкие рыцари. Они меньше всего заботились о просвещении моравских славян,— они стремились их поработить и закабалить. В этих условиях латинский язык выступал как одно из средств порабощения. Ростислав прекрасно понимал, какое значение имело бы для сопротивления латино-немецкому засилью и для укрепления независимости его княжества распространение просвещения на доступном для населения языке. Вот почему он обратился к византийскому правительству с просьбой прислать в Моравию людей, которые могли бы распространять христианское просвещение на славянском языке.

140. Византийское правительство охотно пошло навстречу Ростиславу. Оно отнюдь не руководилось при этом какими-либо симпатиями к славянам. Славяне были старинными врагами Византии. Она боялась их, как сильных и опасных врагов. Среди греков могли, конечно, встречаться отдельные лица, относившиеся к славянам с вниманием и интересом. Но всегдашнее отношение официальных византийских кругов к славянам было недоброжелательным. И всё же византийское правительство пошло навстречу Ростиславу, потому что оно видело в этом удобный случай для расширения своего влияния в Центральной Европе.

141. Византийский патриарх был особенно заинтересован предложением Ростислава. Хотя в это время ещё и не произошло полного разрыва между западной (римской, католической) и восточной (византийской, православной) церквами, но Рим и Константинополь уже враждовали и соперничали. Как раз в 60-х годах IX в. римский папа широко рас-

пространил своё влияние в Болгарии под самым носом своего константинопольского соперника. Поэтому византийский патриарх в свою очередь был не прочь расширить господство восточной церкви на те области, которые привлекали его римского конкурента.

142. Положение византийского патриарха облегчалось в данном случае тем, что восточная церковная традиция вовсе не требовала, чтобы в тех областях, где господствовала византийская церковь, богослужение непременно совершалось на одном языке; она допускала также перевод библии на местные языки. Это объясняется тем, что на Востоке уже издавна существовало богослужение на местных языках (например, у сирийцев, армян и др.). С другой стороны, латинский язык в „новообращённых" областях Европы распространялся посредством немецкой военной силы, а византийская империя была уже слишком слаба, чтобы действовать такими методами. Её политика по этому вопросу должна была быть поневоле гибче и „либеральнее".

143. Было решено направить в Моравию специальную церковную миссию. Во главе этой миссии поставили двух братьев Константина (позднее, в монашестве, Кирилла) и Мефодия.

144. Константин и Мефодий были, повидимому, греки по национальности, хотя не исключена возможность их славянского происхождения. Они происходили из крупного портового города Солуни (иначе Салоники, на берегу Адриатического моря в нынешней греческой Македонии). Солунь лежала в пределах населения македонских славян, славянское население было, несомненно, и в самом городе. Оно играло в городе настолько значительную роль, что, по словам автора „Жития Мефодия" (по рукописи XII в.), „солунане вьсн чисто словѣньскн бесѣдують" [1]. Повидимому, оба брата и до 863 г. в своей жизни и деятельности были как-то связаны со славянами; относительно Мофодия мы знаем это наверняка: он в течение некоторого времени возглавлял одну из славянских провинций империи.

145. Главная роль во всём деле должна была принадлежать младшему брату Константину. Константин был одним из талантливейших и образованнейших людей своего времени; он знал много языков, много путешествовал. Мефодий показал себя в своей дальнейшей деятельности прекрасным организатором.

146. Константин и Мефодий принадлежали к тому очень немногочисленному слою византийской интеллигенции, который относился к славянам с подлинным интересом и симпатией. Об этом можно судить по характеру их дальнейшей деятельности, которая далеко переросла рамки обычной византийской церковно-политической миссии. В процессе своей работы Константин и Мефодий из византийских

---

[1] Это замечание автора „Жития" можно понимать двояко: во-первых, в том смысле, что все жители Солуни умеют чисто говорить по-славянски; во-вторых, в том смысле, что жители Солуни говорят по-славянски чисто, т. е. солунский славянский язык — норма хорошего, „чистого" славянского языка.

миссионеров превратились в крупнейших деятелей славянской культуры, которыми вправе гордиться каждый славянский, в том числе и наш русский, народ.

147. Константин составил специальный славянский алфавит. Этот алфавит, по единодушному мнению нашей и европейской науки, представляет собой непревзойдённый образец в истории новых европейских алфавитов и является результатом необычайно тонкого понимания составителем фонетической системы того языка, для которого он был составлен. Он далеко оставляет за собой добропорядочный готский алфавит, составленный епископом Вульфилой, и не идёт ни в какое сравнение с латинообразными европейскими алфавитами, в которых латинские буквы неуклюже приспособлялись для передачи звуков различных европейских языков.

148. Ещё до отъезда в Моравию Константин и Мефодий перевели с греческого языка некоторые богослужебные (библейские) тексты. Их переводческая деятельность продолжалась и в дальнейшем, в Моравии и Паннонии. Так было положено начало славянской письменности. Так был создан общий для всех славян старославянский литературный язык.

149. В основу переводов Константина и Мефодия лёг, конечно, хорошо знакомый им солунский славянский диалект. Но уже в дальнейшей деятельности самих Константина и Мефодия и их ближайших учеников-помощников старославянский язык, распространяясь у различных славянских народностей, обогащался словами и формами других славянских диалектов, отрываясь от своей солунской пуповины.

150. Термин „старославянский, или древнецерковнославянский, язык" употребляется в науке именно для обозначения языка переводов Константина и Мефодия и их ближайших учеников-помощников. Подлинники этих древнейших переводов до нас не дошли: старославянский литературный язык известен нам лишь по более поздним спискам (копиям) X и XI вв.

151. Иногда старославянский, или древнецерковнославянский, язык называют также древнеболгарским. Конечно, македонские диалекты, к которым принадлежит и солунский, близки к болгарским диалектам. Но они хотя и близки, всё же не тождественны с болгарскими (имеют свои особенности, отличающие их от болгарских). Вместе с тем, и это самое главное, старославянский язык вовсе не был языком местного значения — македонским, болгарским и др.; он был литературным языком, общим в своё время почти для всех славян[1]; следовательно, давать ему какое-нибудь узко местное название было бы неправильно; да к тому же старославянский язык как язык литературный в своём развитии ещё при Константине и Мефодии включал и элементы, особенно лексические, других славянских языков. Поэ-

[1] Старославянский язык не был, повидимому, известен как язык письменности у части западных славян. Он был литературным языком в чехо-моравской области, но среди остальных западных славян следы старославянской письменности отмечаются некоторыми учёными лишь у поляков.

тому не следует старославянский язык именовать древнеболгарским. Термин же „древнеболгарский“ нужно применять для обозначения собственно древнего болгарского языка (как есть термины „древнерусский“, „древнесербский“ и др.).

152. Старославянские тексты стали переписывать в различных славянских странах. На старославянском языке начали писать оригинальные произведения, его пытались использовать даже для деловых сношений. Язык позднейших текстов, представляющих собой списки с более старых рукописей, стал уже заметно отличаться от языка древнейших, собственно старославянских переводов. Это объясняется тем, что авторы и переписчики отдельных славянских стран в своих оригинальных произведениях или списках невольно отражали особенности своих местных диалектов. Для отличия от собственно старославянского, или древнецерковнославянского, язык этих позднейших текстов в науке называют церковнославянским (без прибавления древне-). Как это ясно из предыдущего, церковнославянский язык получает разный характер у разных славянских народностей. Свой церковнославянский язык развивается, на основе старославянского, с начала X в., а может быть, и с конца IX в. и в Киевской Руси.

153. Деятельность Константина и Мефодия и их учеников в Моравском, а затем и в Паннонском княжестве продолжалась сравнительно недолго — около 25 лет. Но последствия их деятельности неисчислимы по своей важности.

154. Деятельность их была сплошной и неустанной борьбой. В этой борьбе они, как мы уже говорили, выступали в качестве деятелей славянской культуры, а не в качестве византийских миссионеров. Достаточно сказать, что, ориентировавшись в положении дел в Моравии и Паннонии, Константин нисколько не постеснялся, будучи греческим миссионером, обратиться за утверждением славянского богослужения к... римскому папе, сопернику константинопольского патриарха. Опираясь на славянское народное движение против немецких рыцарей и латино-немецкого духовенства, искусно используя боязнь папы, как бы Моравия и Паннония вовсе не отпали от римской церкви (как только что отпала Болгария), используя также некоторые недоразумения между папой и немецкими епископами, Константин добился своего: славянское богослужение в Моравии и Паннонии было утверждено; были утверждены и славянские переводы библейских книг. Римский папа (правда, поневоле и на время) принуждён был отступить от одного из основных принципов римской церкви — единства богослужебного языка в пределах её господства. Это была большая победа.

155. В 869 г. Константин умер в Риме, а в 870 г. Мефодий был назначен епископом в Паннонию, куда и отправился со своими учениками. В скором времени он был там арестован; его судили в Баварии, и он просидел в немецкой тюрьме около двух с половиной лет. С 874 г. Мефодий снова работает в Моравии в непрестанной борьбе с интригами немецкого духовенства и двойственной политикой Рима, который то запрещал славянское богослужение, то снова, вы-

нужденный обстоятельствами, допускал его. Деятельность Мефодия была подозрительна папе. Он вызывает Мефодия в Рим для объяснений и оправданий. В 880 г. папа снова одобряет славянское богослужение, но назначает помощником Мефодия главу его противников — немца Вихинга. В 882—884 гг. Мефодий ездил в Константинополь,— повидимому, тоже для объяснений и оправданий, потому что его связи с папой были подозрительны патриарху. Вскоре после возвращения из Константинополя Мефодий умирает (885 г.). В последние годы жизни Мефодий продолжал заниматься переводческой деятельностью. После смерти Мефодия немецкая партия в Моравии, при поддержке продажных князей, преемников Ростислава, одержала верх; ученики Мефодия были изгнаны; одни бежали на Балканский полуостров, в частности в Болгарию, другие, как есть основания предполагать, в Киевскую Русь. Это случилось к концу 80-годов IX в.

156. Перипетии борьбы Константина и Мефодия за славянский язык библии, за славянский язык в богослужении могут показаться мало интересными и неактуальными с точки зрения ложно понятой „современности": какое нам, дескать, дело до этих церковных распрей IX в., до языка библии и богослужения у славян этой эпохи? Но такое мнение было бы совершенно неправильным, антиисторическим. В обстоятельствах возникновения славянской письменности впервые в истории Европы вопросы языка оказываются в центре политической борьбы громадного размаха: борьбы Восточной и Западной империй, восточной и западной церквей, и, что для нас особенно важно, борьбы славян за свою независимость. Результатом деятельности Константина и Мефодия и их помощников, прекрасно разбиравшихся в сложной политической обстановке того времени, явилось возникновение и закрепление славянской письменности. Когда, после смерти Мефодия, деятельность его учеников в западнославянских странах была пресечена, дело было уже сделано: славянская письменность широко распространилась у различных славянских народностей, в странах, недосягаемых для кулака латино-немецких „цивилизаторов".

157. Старославянский язык возник, как мы видели, на основе солунского славянского диалекта. Но он впитал в себя культурные достижения всего славянства и вместе с тем культуру византийского литературного языка. Это обстоятельство чрезвычайно важно. Его часто забывают, когда говорят о старославянском литературном языке.

158. Старославянский язык впитал в себя многовековую греческую литературную культуру, обогатил славянские народности новыми понятиями и словесными способами их выражения, новыми синтаксическими оборотами, необходимыми для связного письменного изложения мыслей. Этому в высокой степени способствовало качество переводов Константина и Мефодия, особенно отличное филологическое чутьё Константина. Их переводы ни в коей мере не были „варварскими" переводами, рабски копирующими язык оригинала,— они были

проявлением выдающегося литературного мастерства, опирающегося на отличное знание славянского строя языка. Переводы Константина и Мефодия стояли гораздо выше, чем первые переводы с латинского на языки Западной Европы.

159. Возникновение старославянского языка как общеславянского литературного языка было огромным событием в истории славян. Византийское правительство рассматривало миссию Константина и Мефодия лишь как очередной шаг своей политики, как способ проникновения византийского влияния в славянские страны. Но молодые славянские народности, особенно восточные славяне, освоив старославянский язык, использовали его как орудие подъёма своей культуры и укрепления своей государственности, как базу для создания письменности и литературы на своих народных языках. Возникновение старославянского языка было огромным событием и в мировой истории: на путь цивилизации вступали новые народности, которым предстояло славное будущее. На путь цивилизации вступали и предки нашего великого русского народа.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Церковнославянский язык в Киевской Руси X–XI вв

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ДРЕВНЕЙШИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА

160. Ещё до появления Рюриковичей восточные славяне, и в частности Киевское княжество, имели разнообразные сношения с различными странами. Среди этих стран в IX в. получила особое значение Византия. Развиваются торговые сношения с Византией; возникают военные столкновения: так, например, в середине IX в. Русь вела успешную войну с греками.

161. С появлением Рюриковичей в Киеве в конце IX в. международные связи Киевской Руси развиваются и углубляются, но политические и экономические связи с Византией остаются решающими и в это время.

162. Сношения и взаимодействия с Византией были важным явлением в развитии восточных славян. Киевская Русь приобщалась таким образом к многовековой греческой культуре, имеющей всемирно-историческое значение. Она становилась одной из её наследниц подобно тому, как варварская Западная Европа наследовала античному Риму.

163. Возникновение письменности в Киевской Руси связано, с одной стороны, с распространением в Киевской Руси христианства, с другой — с упорядочением экономических и политических отношений Киевской Руси с Византией. Это последнее обстоятельство находит своё выражение в том, что не случайно, конечно, древнейшие известные нам письменные памятники Киевской Руси, относящиеся к X в.,— это договоры киевских князей с Византией. Сказанное сейчас о возникновении в Киевской Руси письменности не следует, однако, понимать в том смысле, что письменность возникла в Киевской Руси в результате влияния Византии. Нет. Письменность возникла в Киевской Руси прежде всего потому, что для этого создались внутренние предпосылки в развитии киевского общества. Здесь мы можем лишь повторить то, что сказано выше о возникновении письменности у сла-

вян вообще. Но взаимодействия с Византией ускорили неизбежный сам по себе процесс возникновения письменности в Киевской Руси, определило его конкретные пути.

164. Сношения восточных славян с Византией носили первоначально неорганизованный характер. С начала X в., по инициативе византийского правительства, они стали упорядочиваться. Это находит своё выражение, между прочим, в том, что Византия стремится оформить свои отношения с Киевской Русью в письменных договорах. Первый из таких договоров, являющийся вместе с тем древнейшим известным нам письменным памятником Киевской Руси, заключён Византией с киевским князем Олегом в 911 г.; второй — договор Византии с киевским князем Игорем от 944 г.; третий — договорное обязательство киевского князя Святослава с Византией от 971 г.

165. Стремясь упорядочить свои отношения с Киевской Русью, греки перестали удовлетворяться прежней только устной договорённостью с послами киевских князей и настаивали на письменных договорах. Как раз в тексте договора с Олегом мы имеем намёк на это обстоятельство; в договоре говорится, что договаривающиеся стороны сочли правильным *„не точью просто словесемъ, но и писаниемъ и клятвою твердою, кленшеся оружьемъ своимъ, такую любовь утвердити и известити по вѣрѣ и по закону нашему“*. Инициатива заключения письменных договоров исходила первоначально, вероятно, не от киевских князей, а от Византии.

Здесь мы видим, как тесные дипломатические сношения восточных славян с Византией вызывают в Киевской Руси появление определённой разновидности письменных документов.

166. В договоре Византии с князем Игорем имеется указание и на другую разновидность письменных документов, которая возникает в Киевской Руси в силу сношений с Византией. После киевских князей и киевские купцы обыкновенно приносили в Константинополь в качестве „удостоверения личности“ золотые и серебряные „печати“ (ср. § 111). Теперь устанавливался новый порядок. Во избежание недоразумений, они должны были впредь приносить „грамоту“ от князя, в которой он должен был сообщать, *„яко послахъ корабль селико, и от тѣхъ да увѣмы и мы, оже съ миромъ приходять. Аще ли безъ грамоты придуть, и преданы будуть намъ, да держимъ и хранимъ, дондеже возвѣстимъ князю вашему...“*. В договоре Византии с князем Олегом есть указание на ещё один, очень древний, вид письменных записей — на духовные завещания.

167. В договоре предусматривается случай, когда кто-нибудь из русских умрёт в Византии, *„не урядивъ своего имѣнья“*, т. е. не распорядившись своим имуществом, не завещав его никому; в этом случае имущество должно возвратиться к его близким родственникам в Русь: но *„аще ли сотворить обряжение таковый, возметь уряженое его, кому будеть писалъ наследити имѣнье его, да наслѣдить е...“*. В русском языке есть два слова для значения *завещать* — „отказать“ и „отписать“; позднее оба слова употребляются в общем в одинаковом значении; но первоначально слово *отказать*

выражало, собственно, устное завещание (ср. *сказать*, украинск. *казати* — „говорить"), а *отписать* — письменное; в последнем слове, как и в приведённом тексте договора (см. *кому будеть писалъ наслѣдити...*"), отразилось уже более высокое развитие собственнических отношений, когда при сосредоточении значительных богатств в руках одного лица и при полной возможности единолично распоряжаться ими понадобились уже письменные завещания, которые, конечно, гораздо лучше обеспечивали исполнение воли завещателя при возникновении каких-нибудь споров о наследстве.

168. Громадный интерес представляет для нас вопрос о языке нашей древнейшей письменности — письменности Киевской Руси X в. В нашем распоряжении находятся лишь три упомянутых выше договора киевских князей с греками. Никаких других документов от X в. до нас не дошло. Язык этих договоров представляет для нас особенный интерес и потому, что эти документы являются документами киевских княжеских канцелярий X в.; исследуя их, мы выясняем, таким образом, каков был государственный язык Киевской Руси в X в.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК В КНЯЖЕСКИХ КАНЦЕЛЯРИЯХ КИЕВСКОЙ РУСИ X—XI ВЕКОВ

169. Все три княжеских договора X в. дошли до нас не в подлинниках, а в поздних копиях (списках). Они были заключены в начале XII в. составителем „Повести временных лет" в составе его летописного свода под 912, 945 и 972 гг.; последние два договора дошли до нас в Лаврентьевском списке летописи (1377 г.), а первый — в ещё более поздних списках летописи (XV в.).

170. Хотя договоры дошли до нас и в поздних копиях, они всё же являются ценнейшим источником для суждения о письменном языке Киевской Руси X в. Они, конечно, подверглись некоторым видоизменениям под рукой позднейших переписчиков, особенно в области фонетики, орфографии и отчасти морфологии, но синтаксические и лексические их особенности, как показал акад. С. П. Обнорский, сохранены относительно хорошо.

171. Язык всех трёх договоров — церковнославянский, хотя в словарном составе их встречаем и отдельные древнерусские элементы. Таким образом, языком княжеской канцелярии Киевской Руси, её государственным языком, в X в. был церковнославянский язык. Это обстоятельство следует особо подчеркнуть, потому что позднее (повидимому, с XI в.), как увидим ниже, не только частные, но и государственные акты пишутся уже на древнерусском, а не на церковнославянском языке.

172. Все три договора киевских князей с греками являются памятниками переводными. Тексты договоров первоначально писались

на греческом языке, а затем тут же, при заключении договора, переводились на церковнославянский язык. Таким образом, переводы договоров современны их греческим оригиналам. Мнение о том, что договоры являются памятниками, переводными, общепризнано: в тексте договоров наблюдается ряд выражений и синтаксических оборотов, представляющих собой непосредственные слепки (кальки) соответствующих греческих выражений и оборотов.

173. Договоры различаются по особенностям своего языка. Это и понятно — они ведь являются памятниками различных периодов (911, 944, 971 гг.). Особенно наглядно проявляется это различие при сравнении договоров 911 и 944 гг. (договор 971 г. невелик по объёму и даёт мало материала). Как и следовало ожидать, договор 911 г. является более архаичным по языку, чем договор 944 г.; в нём, кроме того, гораздо более механических слепков с греческого синтаксиса; переводчик рабски следовал греческому оригиналу, стиль его отличается многими шероховатостями. Договор 944 г. переведён в общем хорошо; в нём гораздо меньше механических слепков с греческих оборотов. Это свидетельствует о том, что культура письменного языка в Киевской Руси за первую половину X в. повысилась. Стала разнообразнее лексика; словарный состав языка стал обогащаться греческими заимствованиями. Так, в договоре 911 г. для обозначения „судна" употребляется лишь слово *лодья,* а в договоре 944 г., кроме этого слова, и другие: *корабль, кубара;* в договоре 944 г. находим заимствованное из греческого слово *грамота* в значении „деловая бумага", в то время как в договоре 911 г. в соответствии с этим словом употребляется только славянский кальк *писание.*

174. То обстоятельство, что договоры различаются по особенностям своего языка и стиля, имеет большое значение. Дело в том, что некоторые учёные, в том числе акад. Истрин, утверждали, что переводы договоров сделаны одним лицом и притом лишь в начале XII в.; переводчиком договоров был, по их мнению, составитель „Повести временных лет"; он будто бы нашёл греческие оригиналы договоров в киевской великокняжеской канцелярии, перевёл их и включил в состав своего летописного свода под соответствующими годами. Таким образом, по их мнению, язык наших договоров — это язык составителя „Повести временных лет", литературный язык начала XII в. По мнению акад. Истрина и др., договоры вовсе не могут быть источниками для суждения о литературном языке Киевской Руси X в.

175. Если бы акад. Истрин и другие были правы, то язык и стиль договоров должен был бы быть о д н о р о д е н. Но этого нет. Больше того, под 907 г. летописец от себя, своими словами, пересказывает часть договора 911 г., и вот язык этого пересказа как раз и сближается с литературным языком начала XII в., отличаясь от языка текста договоров, данного под 912 и 945 гг. Мнение акад. Истрина и его единомышленников оказывается, таким образом, совершенно неправильным.

176. Мы видели, что в тексте наших договоров, написанных на церковнославянском языке, имеются отдельные древнерусские элементы. Это объясняется тем, что договоры переводились р у с с к и м и; следовательно, в Киевской Руси первой половины X в. были русские люди, владевшие греческим языком и умевшие переводить с греческого на церковнославянский. Это свидетельствует об относительно высоком уровне развития культуры в первой половине X в. Правда, некоторые лингвисты предполагали, что переводы договоров на церковнославянский язык были сделаны болгарскими переводчиками. Но для такого предположения нет никаких оснований.

177. Известно, что скандинавский по происхождению элемент среди киевской знати и киевских купцов первой половины X в. был довольно сильным. Так, например, имена всех послов, подписавших договор 911 г. от имени князя Олега (Карлъ, Ингелдъ, Фарлофъ, Руалдъ и др.), не славянские, большинство из них явно скандинавские. Между тем перевод договора 911 г. сделан на церковнославянский язык. Что это значит? Это значит, что языком великокняжеской канцелярии Олега был церковнославянский язык. Это значит, с другой стороны, что несмотря на скандинавское происхождение некоторой части киевской знати, Киевская Русь выступает в начале X в. даже в своей правящей верхушке как славянское государство. Скандинавы, приспособляясь к существующему в Киеве положению вещей, принуждены пользоваться с л а в я н с к о й письменностью, распространённой уже и у других славянских народов. Весьма вероятно, что, появившись в Киеве в конце IX в., Рюриковичи и их окружение уже застали здесь славянскую письменность, которую и принуждены были принять.

178. От XI в. мы не имеем никаких документов киевских княжеских канцелярий (ни подлинных, ни копий). Однако есть некоторые основания полагать, что, по крайней мере в начале XI в., языком киевских княжеских канцелярий продолжал оставаться церковнославянский язык. Так, на монете Владимира (ум. в 1015 г.) читаем надпись: *„Владимиръ на столъ“*, где имя князя дано в церковнославянской форме (не Володимеръ). На монете Ярослава (в бытность его ещё новгородским князем, т. е. до 1019 г.) читаем: *„Ярославле сѣребро“*; в этой надписи форма *сѣребро* является заведомо церковнославянской; русская форма была *сьребро* или *серебро;* форма *сѣребро* (с ѣ) встречается в некоторых старославянских памятниках. Косвенным указанием на первоначальное господство церковнославянского языка в государственных актах Киевской Руси являются некоторые церковнославянские элементы в позднейших документах, написанных уже на древнерусском языке. Но об этом подробнее см. нижѐ (в § 649 и сл.).

От времён Владимира до нас не дошло никаких письменных документов, ни копий с них. Но, как кажется, в „Повести временных лет“ (Лаврентьевская летопись) под 996 г. сохранилась цитата летописца из одного, очевидно, известного ему юридического документа Владимирова времени, а именно из грамоты Владимира, выданной им Киевской десятинной церкви; место это изложено в летописи так:

„И помолившюся ему, рекъ сице: даю церкви сей святѣ и богородици отъ имѣнья моего и отъ градъ моихъ десятую часть". И положи написавъ клятву въ церкви сей, рекъ: „аще кто сего посудить, да будетъ проклятъ".

Оставляя в стороне первую цитату, в которой, однако, отметим церковнославянскую форму *градъ*, укажем, что вторая цитата, являющаяся традиционной формулой „клятвы", заклинания против нарушителей завещания, представляет собой типичную церковнославянскую условную конструкцию, господствующую и в договорах X в., с церковнославянским союзом *аще* в начале придаточного предложения и с соотносительным словом *да* в начале главного, а в этом мы видим дополнительное свидетельство того, что при Владимире в качестве государственного языка пользовались ещё церковнославянским языком (см. § 671 и сл.).

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК В ЛИТЕРАТУРЕ КИЕВСКОЙ РУСИ X—XI ВЕКОВ

179. Возникновение письменного литературного языка в Киевской Руси было связано с распространением в ней нового мировоззрения, приходившего на смену старому „язычеству", а именно — христианства византийского толка.

180. Старославянские и церковнославянские литературные тексты появляются в Киевской Руси вместе с появлением и распространением христианства и христианского просвещения. Они проникают в Киевскую Русь и из Моравии, и из Болгарии, где в начале X в. литература на церковнославянском языке достигает большого расцвета, и из Константинополя. Эти тексты переписывают в Киевской Руси; в дальнейшем в Киевской Руси начинают делать самостоятельные переводы с греческого языка на церковнославянский, пишут оригинальные произведения на церковнославянском языке. Таким путём на основе старославянского языка развивается церковнославянский язык древнерусского извода. В XI в. литература на церковнославянском языке получает в Киевской Руси значительное развитие.

181. Христианство достигает некоторого распространения в Киевской Руси уже в первой половине X в. В договоре великого князя Игоря с греками от 944 г. упоминается о наличии христиан среди Руси; от имени Руси в нём говорится: „мы же, елико насъ крестилися есмы, клахомъся церковью святого Ильѣ въ сборнеи (= соборной) церкви, и предлежащемъ честнымь крестомъ, и харатьею сею, хранити все, еже есть написано на неи...". В договоре князя Олега от 911 г. такого упоминания нет; наоборот, в этом договоре греки-христиане и греческое „хрестьянское царство" противопоставляются языческой Руси. Важно, что в договоре Игоря упоминается не только о наличии христиан среди Руси, но и о существовании в Киеве „соборной", т. е. обслуживаемой несколькими священниками, „собором" священников,

церкви; существование „соборной“ церкви, возможно, подразумевает и существование других, более мелких церквей; это свидетельствует о наличии в Киеве не только отдельных христиан, но и значительной „легальной“ христианской организации.

182. В 955 г., по свидетельству летописи, в Константинополе принимает христианство вдова князя Игоря, убитого древлянами в 945 г., княгиня Ольга; она в это время была правительницей государства, так как сын её Святослав был ещё малолетним. Известие о принятии христианства Ольгой подтверждается и иностранными источниками; это, таким образом, вполне достоверный исторический факт. Принятие христианства правительницей страны само по себе достаточно красноречиво говорит о росте его влияния в Киевской Руси середины X в.

Сторонники язычества, к которым принадлежал и князь Святослав, по выражению летописца, *„ругахуся“* над теми, кто принимал христианство; но всё же в Киеве тому, *„кто хотяще креститися, не браняху“*, т. е. не препятствовали, не запрещали. В это время в Киеве установилась относительная веротерпимость.

183. Распространение христианства в Киевской Руси с первой половины X в. с совершенной несомненностью свидетельствует и о появлении в ней с этого времени церковнославянских литературных текстов, по меньшей мере текстов церковнолитературных. О наличии богослужения на церковнославянском языке в Киевской Руси X в. свидетельствует булла римского папы об учреждении епископом кафедры в Праге (в Чехии), изданная между 954 и 972 гг.; в этой булле папа требует от чехов, чтобы они отправляли богослужение на латинском языке и не следовали в этом отношении болгарам и русским, у которых богослужение отправляется на славянском языке.

184. В 988 г. при князе Владимире христианство становится государственной религией Киевской Руси и начинает получать широкое распространение. С этого времени начинается, естественно, всё более интенсивное развитие письменности. При Владимире по его распоряжению отдают в „книжное учение“ детей знатных киевлян; обучают их, конечно, церковнославянской грамоте.

185. Итак, литературные тексты на церковнославянском языке появляются в Киевской Руси с первой половины X в. Однако никаких подлинных литературных памятников от X в. до нас не дошло. Неизвестны также и поздние списки (копии) подобных памятников. В XI в. литература на церковнославянском языке достигает уже большого развития: появляются такие блестящие писатели, как автор „Слова о законе и благодати“ Иларион, но и от XI в. сохранилось лишь ничтожное количество подлинных литературных памятников и то почти исключительно церковнобогослужебных. Вследствие пожаров, междоусобных войн князей, монголо-татарского нашествия погибло подавляющее большинство древнейших литературных документов; чем древнее эпоха и чем меньше было, следовательно, самих памятников, тем, естественно, меньше сохранилось их до наших дней.

От самого древнего периода, от X в., не сохранилось, как мы видели, ни одного литературного памятника.

186. Древнейшим известным нам в подлиннике литературным памятником Киевской Руси является знаменитое Остромирово евангелие. Оно переписано в 1056 — 1057 гг. со старославянского оригинала диаконом Григорием по заказу новгородского посадника Остромира. Григорий переписал подлинник с большой тщательностью, и в этом смысле Остромирово евангелие справедливо относят к собственно старославянским (а не церковнославянским русского извода) литературным памятникам. Но, с другой стороны, в языке Остромирова евангелия всё же отчётливо сказывается рука русского человека; это особенно относится к собственной приписке Григория, сделанной им в конце евангельского текста по окончании работы. В этом смысле Остромирово евангелие является древнейшим известным нам в подлиннике памятником письменности русского языка. Понятно, какую громадную историческую ценность оно представляет для нашего народа. Ценность Остромирова евангелия увеличивается ещё и отличным качеством его графического оформления, которое свидетельствует об очень высоком уровне художественной культуры в Киевской Руси середины XI в. Как драгоценное национальное достояние, Остромирово евангелие бережно сохраняется в Ленинградской государственной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина.

187. Содержание церковнославянских летературных текстов в Киевской Руси не является узко церковным, церковнобогослужебным. Наряду с собственно богослужебными текстами мы встречаем здесь и церковную беллетристику, жития „святых", среди которых имеются не только переводные или списанные с болгарских оригиналов, но и оригинальные (например, „Сказание о Борисе и Глебе", „Житие Феодосия"). Встречаем и переводную историческую беллетристику („Александрия", „Повесть об Акире Премудром" и др.), в Киевской Руси была переведена на церковнославянский язык известная греческая хроника Георгия Амартола; древнейшие летописные записи делались также на церковнославянском языке. Переписанный с болгарского церковнославянского оригинала для киевского князя Святослава Изборник 1073 г. был чрезвычайно разнообразен по своему содержанию и представлял собой своего рода научную энциклопедию, включая, например, даже вопросы теории словесности. Таким образом, церковнославянский язык Киевской Руси вовсе не был узко специальным языком церкви, обслуживающим только потребности религиозного культа и церковной проповеди. Это был литературный язык широкого размаха, охватывающий различные стороны идеологической жизни. В X в. и, повидимому, в начале XI в. церковнославянский язык был, как мы видели, и языком княжеских канцелярий, государственным языком Киевской Руси. Наиболее ярким памятником церковнославянской литературы Киевской Руси является замечательное „Слово о законе и благодати" Илариона.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

„СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ" ИЛАРИОНА

188. „Слово о законе и благодати" написано Иларионом между 1037 и 1050 гг. Это было время единодержавия Ярослава, когда политическое могущество и культура Киевской Руси достигли, пожалуй, наивысшего развития. „Слово" было, повидимому, произнесено Иларионом как торжественная речь („проповедь") после богослужения в присутствии Ярослава, его семьи и киевской знати. Этим определяются основные стилистические особенности „Слова" как ораторского произведения. „Слово" пользовалось в старину огромной популярностью и оказало большое влияние на позднейшую литературу; оно было известно и за пределами Киевской Руси (у южных славян). Подлинник „Слова" не сохранился, и оно известно нам лишь в копиях, начиная с XIV — XV вв.

189. Высокие литературные достоинства „Слова" никем не оспариваются. Все признают большое литературное мастерство Илариона. Все согласны с тем, что автор „Слова" выступает во всеоружии литературной критики своего времени. Вместе с лучшими памятниками живописи и архитектуры Киевской Руси „Слово" Илариона является бесспорным доказательством того, что культура нашей страны в первой половине XI в. стояла на очень высоком уровне, ни в чём не уступая общеевропейской культуре того времени.

190. В своём „Слове" Иларион, по характеру языка, продолжает традицию кирилло-мефодиевых переводов, т. е. „классические" традиции старославянского языка. Константин, как мы видели, прекрасно понимал строй славянского языка, и его переводы ни в какой мере не были кальками с греческого. Иларион, несомненно, учился по византийским образцам; только по подлинным византийским текстам (а не по переводам) он мог так полно овладеть приёмами византийского литературного искусства. Однако в изложении Илариона отсутствуют синтаксические грецизмы; несмотря на свою греческую выучку, он пишет „чистым" церковнославянским языком, прекрасно чувствует его нормы. Количество греческих по происхождению слов у Илариона незначительно. Это в большинстве случаев слова, прочно вошедшие в обиход образованных киевлян его времени *(евангелие, ангел, идол, икона* и др.). Свободен церковнославянский язык Илариона и от древнерусских элементов (поскольку об этом можно судить по сравнительно поздним копиям его „Слова"); Иларион ясно отличал, таким образом, свой разговорный язык от литературного церковнославянского языка. Несмотря на обилие сложных периодов и на отвлечённость тематики значительной части „Слова", оно выгодно отличается большой вразумительностью изложения от многих других церковнославянских памятников. И в этом отношении Иларион продолжает традиции кирилло-мефодиевых переводов.

191. Но „Слово" Илариона является выдающимся произведением не только по своим высоким литературным достоинствам. Оно напол-

нено большим политическим содержанием. Как это и естественно для средневековья и, прибавим, для средневекового церковного деятеля, каким был Иларион, политическое содержание „Слова“ выражено в религиозной форме.

192. Большая часть „Слова“ посвящена прославлению христианства. Эта тема в первой половине XI в. стояла совершенно по-иному, нежели позднее. Христианство в это время было у восточных славян новым мировоззрением, оно было шагом вперёд в развитии культуры восточных славян. Лишь за несколько десятков лет до написания „Слова“ христианство стало государственной религией Киевской Руси, получило громадное государственное значение. Вот почему прославление христианства у Илариона получает совершенно другой смысл, чем в позднейшей церковно-проповеднической литературе. Он выступает не только как церковный, но и прежде всего как государственный деятель Киевской Руси, занимавший исторически прогрессивные позиции.

193. Выступая апологетом христианства, Иларион подробно доказывает преимущества христианской „благодати“ перед ветхозаветным „законом“, т. е. перед иудейской религией, которую он, согласно христианской традиции, рассматривает как служанку и предтечу „нового завета“. И с этой стороны произведение Илариона вовсе не является шаблонным богословским упражнением, сделанным по византийским образцам. И здесь оно имеет конкретное историческое содержание.

194. Дело в том, что некоторые восточнославянские земли, в том числе и Киев, входили в своё время в сферу влияния или даже в состав Хазарского каганата. В Хазарии с конца VIII — начала IX в. государственной религией стала иудейская религия. В Киеве проживали хазарские купцы-иудеи. Естественно, что в Киеве могла распространяться иудейская религия. Ещё при Владимире иудейство, наряду с христианством и магометанством, претендует на религиозное господство в Киевской Руси. С другой стороны, ещё в начале XII в. в Киеве свежо воспоминание о том, что когда-то хазары господствовали над русскими. Выступая против иудейства вообще, Иларион конкретно выступает против хазарского иудейства, против религии хазар, некогда властвовавших над русскими и разгромленных Святославом.

195. Во времена Ярослава Киевская Русь достигла большого политического могущества. Но киевская церковь находилась в зависимости от Византии; так как церковь имела в Киевской Руси громадное государственное значение, то „вассальное“ положение церкви подрывало и самостоятельность самого государства. Иларион в своём „Слове“ утверждает самостоятельность и равноправность киевской церкви. Иларион приравнивает „нашего учителя и наставника“ князя Владимира к апостолам Петру и Павлу, Иоанну, Фоме и Марку, положившим, по преданию, начало христианству в Риме, Египте, Индии и других странах. Здесь впервые выражается ставшая впоследствии традиционной мысль о „равноапостольности“ Владимира; это положение

должно было обосновать право киевской церкви на полную самостоятельность, независимость от Византии.

Любопытно, что упоминая различных апостолов, насаждавших христианство в разных землях, в том числе и в Риме, Иларион ни слова не говорит об апостоле Андрее, который, по византийской традиции, был первым проповедником христианства в греческих землях. По известному, вышедшему из греческих или грекофильских кругов, сказанию („Повесть временных лет", вводная часть), апостол Андрей был также первым проповедником христианства и в Киевском Поднепровье; именно он предсказал и религиозную славу Киева. Выдвигая Андрея как первого проповедника христианства в Киевском Поднепровье, греки стремились лишний раз оправдать своё право на церковное господство в Киеве. Иларион, вероятно, была известна эта версия об Андрее как первоучителе киевлян, но он не упомянул о ней, так как стремился обосновать полную самостоятельность киевской церкви от греческой.

„Слово" Илариона было в этом отношении одним из моментов подготовки к освобождению от византийской зависимости в церковном управлении. Действительно, в 1051 г. был поставлен собором русских епископов и назначен Ярославом без санкции константинопольского патриарха первый киевский митрополит из русских (а не из греков). Замечательно, что этим первым митрополитом из русских оказался как раз автор „Слова" — Иларион.

196. Величие „русской земли" является основной темой „Слова" Илариона. Автор прославляет русскую землю и её прекрасную столицу „славный,— сияющий величием,— как он выражается,— град Киев". Он прославляет князя Ярослава и его предков — „великаго кагана нашея земля Владимера, внука стараго Игоря, сына же славнаго Святослава". С великой гордостью он заявляет об этих князьях, что они „не въ худѣ бо и не въ невѣдомѣ землѣ владѣтьствоваша, но въ руськѣи, яже вѣдома и слышима есть вьсѣми конець землѧ...".

197. Государственная самостоятельность Киевской Руси и её международная слава занимают Илариона в первую очередь. Он утверждает, что его страна известна во всех концах земли, что её князья прославились подвигами „въ странахъ многахъ"; он восхваляет Ярослава за то, что он построил в Киеве церковь св. Софии и так украсил её „златомь и сребромь и камениемь драгымь", что она стала „дивьна и славьна вьсѣмъ окружьнымъ странамъ, яко-же ина не обращеться въ вьсемь полуночи землѣмь отъ въстока до запада".

198. В высшей степени любопытно, что Иларион специально останавливается на ратных подвигах киевских князей, которые „мужьствомъ и храбрьствомь прослуша (= прославились) въ странахъ многахъ и побѣдами и крѣпостию поминаються нынѣ и словуть". Иларион вдохновляется здесь теми же чувствами, что и народные певцы, „поминавшие", т. е. прославлявшие, подвиги князей, и в этих строчках имеется несомненное указание на этих певцов. Вспомним о „вещем" Баяне из „Слова о полку Игореве", который „помнашеть... пѣрвыхъ вре-

менъ усобицъ". И у Илариона, и в „Слове о полку Игореве" речь идёт о „поминании" — прославлении народными певцами ратных подвигов. Слова Илариона о „великом кагане Владимере", „старом Игоре", „славном Святославе", не случайно гармонируют с известным местом из „Слова о полку Игореве": „пѣснь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу... красному Романови Святъславлиу". Оба места навеяны формулами народного эпоса. Здесь в восхвалении ратных подвигов ещё „языческих" князей как бы прорывается религиозно-богословская ткань построения Илариона и перед нами открыто встаёт политический деятель Киевского государства, выступавшего как равное на международной арене и действительно славного „в странах многих".

199. „Слово" Илариона имеет первостепенное значение в истории литературного языка Киевской Руси, в истории славянской письменности вообще. Оно имеет это значение не только потому, что отличается высокой литературной формой, но прежде всего потому, что в этой высокой литературной форме выражено очень серьёзное политическое содержание. Мы указывали в своём месте, что славянскую письменность Византия хотела использовать как средство распространения византийского влияния среди славян. Церковная миссия Константина и Мефодия должна была служить целям византийской политики в её борьбе с Западом. Но случилось иначе. Славянская письменность действительно стала орудием, но не в руках византийских политиков, а в руках молодых славянских народов и государств; она в высокой степени способствовала развитию их цивилизации, укреплению их государственности. Всё это обнаруживается, как мы видели, уже в деятельности самих Константина и Мефодия, в деятельности их учеников на Балканах, в расцвете славянской письменности в Болгарии во времена царя Симеона. С особенной яркостью эта историческая миссия старославянского языка проявляется в истории Киевской Руси. Именно здесь складывается наиболее богатая, разносторонняя и чреватая славным будущим традиция славянской культуры. В этом смысле „Слово" Илариона с его высокими литературными достоинствами является кульминационным пунктом развития старославянского — церковнославянского языка от переводных богослужебных „миссионерских" текстов до оригинального литературного произведения, в котором выражены политические мысли руководящих кругов великого славянского государства, выражена политическая мощь этого государства — Киевской Руси. „Слово" Илариона является наилучшей иллюстрацией того, что в Киевской Руси XI в. церковнославянский язык выступает как литературный язык широкого охвата, а не узко специальный язык, обслуживающий только потребности религиозного культа и церковной пропаганды.

200. В дальнейшем положение меняется. Уже, повидимому, с XI в. церковнославянский язык теряет своё прежнее господствующее положение. Он перестаёт быть государственным языком; в XII в. и государственные, и частные акты пишут только на древнерусском на-

родном языке. Уже в XI в. возникают и литературные произведения на древнерусском языке, развивается древнерусский литературный язык. Всё это в корне меняет социальную функцию церковнославянского языка. Господствующую роль церковнославянский язык играл в период „империи"; высший этап развития Киевского государства, правления Ярослава,— это высший этап развития церковнославянского литературного языка как господствующего литературного языка. В дальнейшем он встречает могучего соперника в лице древнерусского литературного языка. Но об этом ниже (см. § 630 и сл.).

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

О ДРЕВНЕРУССКОМ ИЗВОДЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

201. В старославянском языке, равно как и в древнеболгарском изводе церковнославянского языка, существовали такие звуки и звукосочетания, которых в древнерусском языке X — XI вв. не было. При чтении и произношении старославянских и древнеболгарских церковнославянских текстов на Руси эти звуки и звукосочетания подменялись (субституировались) соответствующими древнерусскими. Подобную подмену мы находим уже в древнейшем известном нам в подлиннике памятнике письменности Киевской Руси, а именно в Остромировом евангелии.

Ниже мы проиллюстрируем подмену специфических старославянских и древнеболгарских звуков и звукосочетаний древнерусскими на примерах из Остромирова евангелия, из древнерусских церковнославянских памятников XI в.

202. В старославянском языке, равно как и в древнеболгарском изводе церковнославянского языка, были носовые гласные, изображавшиеся буквами ѫ (юс большой, для носового гласного заднего ряда) и ѧ (юс малый, для носового гласного переднего ряда). Носовые гласные существовали некогда во всех славянских языках. Но в древнерусском языке X — XI вв. их уже не было; в древнерусском языке этого времени вместо носовых гласных произносили в соответствующих словах ***у*** (в соответствии со ст.-сл. ѫ) и ***а*** с сохранением мягкости предшествующего согласного — ѧ ***(я)*** (в соответствии со ст.-сл. ѧ). Древнерусские писцы, переписывавшие старославянские и древнеболгарские церковнославянские тексты, путали поэтому буквы ѫ, ѭ, ѧ, ѩ с ***оу (=у), ю, а,*** ѩ.

Пары букв ѫ — ***оу,*** ѭ — ***ю,*** ѧ — ***а,*** ѩ — ѩ были в древнерусских церковнославянских текстах лишь графическими вариантами для обозначения одних и тех же звуков.

В Остромировом евангелии находим написания: вѡдоу (при ст.-сл. вѡдѫ), грѧдоу (при ст.-сл. грѧдѫ), лѡукавъıи (при ст.-сл. лѫкавъıи), твѡрю (при ст.-сл. твѡрѭ), ꙁмию (при ст.-сл. ꙁмиѭ), ѩꙁъıкъ (при ст.-сл. ѩꙁъıкъ), ѡвьца (им. пад. мн. ч. при ст.-сл. ѡвьца). И обратно: дрѫга (при ст.-сл. дрѡуга), лѭбите (при ст.-сл. любите), мѡрѧ (при ст.-сл.

мѫкѫ) и т. п. Подобные смешения букв ѫ и *оу* и пр. мы находим также в Изборниках Святослава 1073 и 1076 гг., в Архангельском евангелии 1092 г., в сборнике 13 слов Григория Богослова и др.

203. В старославянском языке, равно как и в древнеболгарском церковнославянском, существовали слоговые плавные ***р*** и ***л***, которые изображались на письме сочетаниями букв ***рь, ръ, лъ, ль:*** врьхъ, скрѣбь, вълкъ, мълнии и т. п.; в древнерусском языке в соответствии с этими слоговыми плавными существовали сочетания звуков ***ър, ьр, ъл*** (последнее в соответствии и с ***ль,*** и с ***лъ***): *вьрхъ, скърбь, вълкъ, мълньıа*. Обычно ст.-сл. рь, ръ, лъ, ль заменяются в древнерусских списках через ***ьр, ър, ъл;*** сравните в Остромировом евангелии: вьрха, сьрдьце, цьркы, попълнисѧ и т. п. Также в Изборнике 1073 г.: *съвьршении, жьртвоу, четвьртоуоумоу* и под. Иногда находим „компромиссные" написания с глухим и перед, и после плавного; в Остромировом евангелии: скъръвьи, вьрьхоу, дълъжьнı; в Изборнике 1073 г.: *оутвьрьдивъ, испълънь, цьрькъви* и т. д. Наряду с этим, особенно до XII в., сохраняются и ст.-сл. написания ръ, лъ и т. п.

204. В старославянском языке, равно как и в древнеболгарском церковнославянском, в чередовании со звуком д существовало сочетание звуков жд; в древнерусском в соответствии с ст.-сл. жд, чередующимся с ***д,*** существовал звук ***ж:*** ст.-сл. прѣжде, др.-русск. *переже* при ст.-сл. прѣдъ, др.-русск. *передъ*; ст.-сл. хождѫ, др.-русск. *хожю* при ст.-сл. и др.-русск. ходъ и т. п. Сочетания звуков ***жд*** в древнерусском языке до так называемого „падения глухих" вовсе не было; лишь с падением глухих (XII — XIII вв.) появляются подобные сочетания: *жду (жьду), кождо (кожьдо)* и т. п.

Вместо чуждого сочетания звуков ***жд*** древнерусские книжники произносили в соответствующих словах свой звук ***ж***. Это произношение отразилось в древнерусских списках со старославянских и древнеболгарских церковнославянских оригиналов. Здесь, наряду с ***жд,*** отражающим написание оригиналов, находим ***ж,*** отражающее живое произношение древнерусских книжников. Сравните в Остромировом евангелии: *прихожѫ* (при ст.-сл. прихождѫ), *прѣже* (при ст.-сл. прѣжде), *рожьство* (при ст.-сл. рождьство), *троужающиесѧ* (при ст.-сл. трождающисѧ); в Изборнике 1073 г.: *оутвьрьжении, жажа* (ст.-сл. жажда), *рожениць* и т. п. В некоторых древнерусских церковнославянских памятниках написание ***ж*** вместо ***жд*** проводится с большой последовательностью. Встречающееся написание ***жд*** является лишь графическим вариантом ***ж:*** в произношении было только ***ж;*** это видно из того, что иногда ***жд*** писали и в таких словах, где и по-церковнославянски должно быть ***ж;*** *страждa* (церк.-сл. стрѣжа), *хыждa* (церк.-сл. хыжа). Наиболее старые заимствования из церковнославянского языка в разговорный русский язык, сохранённые в диалектах, имеют также ***ж:*** *преже, награжать, слажоный* и др. [1].

---

[1] Очень обильные в современном литературном языке формы с ***жд*** в заимствованных из церковнославянского языка словах являются отражением господства церковнославянского языка в литературе в XV — XVII вв.,

205. Старославянское и древнеболгарское церковнославянское *ѣ* было монофтонгом и звуком широким *(ä)*; древнерусское *ѣ* было дифтонгом и звуком узким *(ие̯)*. Древнерусские книжники вместо чуждого им старославянского или древнеболгарского (церковнославянского) *ѣ* подставляли либо своё *ѣ (ие̯)*, которое они произносили в соответствующих древнерусских словах, либо свой звук *е*, который лучше передавал, как монофтонг и звук более широкий, произношение ст.-сл. и др.-болгарск. церк.-сл. *ѣ*; написание *е* вместо *ѣ* было, естественно, более распространено в таких старославянских и древнеболгарских церковнославянских словах, которые или вовсе отсутствовали в древнерусском языке, или по своей звуковой форме отличались от древнерусских. Так, написание *е* было особенно распространено в неполногласных формах, вроде *среда* (ст.-сл. срѣда, др.-русск. *середа*), *брегъ* (ст.-сл. брѣгъ, др.-русск. *берегъ*).

В таких словах, которые различались только произношением *ѣ*, обычно подставляли своё *ѣ* — *вѣра, бѣсъ* и т. п. Приведём несколько примеров замены *ѣ* через *е*. В Остромировом евангелии: *обители, несть;* в Изборнике 1073 г.: *несть, оумрети* (при ст.-сл. оумрѣти; др.-русск. *умерети*), *посредоу* (при ст.-сл. срѣд-; др.-русск. *серед-*), в Изборнике 1076 г.: *врема, вредъ, чресъ* (при ст.-сл. врѣма, врѣдъ, чрѣсъ и др.-русск. *верема, вередъ, чересъ*) и т. п.

206. Мы видим, таким образом, что старославянский и древнеболгарский церковнославянский языки, перенесённые на древнерусскую почву, получили здесь особенности произношения в зависимости от особенностей звукового строя древнерусского языка. С фонетической (а соответственно и с графической) стороны древнерусский церковнославянский язык, или, иначе, церковнославянский язык древнерусского извода, уже с самого начала своего существования стал отличаться от старославянского и древнеболгарского церковнославянского языка. Эти отличия образовались в силу того, что древнерусские книжники механически подставляли (субституировали) вместо чуждых им звуков свои, привычные. Из этого обстоятельства акад. А. А. Шахматов делал далеко идущие, но неверные выводы, имеющие большое значение для защищаемой им концепции происхождения и развития русского литературного языка.

207. Основываясь как раз на отмеченных выше явлениях звуковой субституции, акад. А. А. Шахматов утверждал, что церковнославянский язык „с первых же лет своего существования на русской почве стал неудержимо ассимилироваться народному языку, ибо говорившие на нём русские люди не могли разграничить в своей речи ни своё произношение, ни своё словоупотребление и словоизменение от усвоенного ими церковного языка... Памятники XI в., т. е. первого столетия по принятии Русью христианства, доказывают, что уже тогда произношение церковнославянского языка обрусело, утратило чуждый русскому слуху характер; русские люди обращались, следова-

---

когда сочетание *жд* оказывалось фонетически уже вполне приемлемым для русских.

тельно, уже тогда с церковнославянским языком как со своим достоянием“ [1].

208. Доказывают ли приведённые выше факты звуковой подстановки, что церковнославянский язык уже в X — XI вв. „неудержимо ассимилировался“ древнерусскому языку? Нет, они этого нисколько не доказывают. Они доказывают лишь то, что, усваивая старославянский и древнеболгарский церковнославянский языки, восточные славяне не овладевали произношением чуждых для них звуков и звукосочетаний этих языков, не выучивались их произносить. И всё. Явления звуковой субституции никак нельзя приводить для доказательства того, что один язык в целом ассимилируется другому.

209. Акад. Шахматов тем более неправ в своих выводах, что в иных случаях при передаче восточными славянами старославянских и древнеболгарских церковнославянских звукосочетаний наблюдается как раз стремление отграничить древнерусский язык от этих языков. Возьмём для примера передачу сочетания ***шт*** в древнерусских церковнославянских текстах. Сочетания ***шт*** в древнерусском языке не было, так же как и сочетания ***жд***. Ст.-сл. и др.-болгарск., церк.-сл. ***шт*** в подавляющем большинстве случаев, а именно в тех случаях, когда ***шт*** чередуется с ***т***, соответствовало в древнерусском ***ч:*** ст.-сл. свѣшта, др.-русск. *свѣча* при ст.-сл. и др.-русск. свѣтъ, ст.-сл. хощѫ, др.-русск. *хочю* при ст.-сл. и др.-русск. хотѣти и т. п. Казалось бы вполне естественным, чтобы восточные славяне подставляли вместо ***шт*** звук ***ч***, который они произносили в соответствующих словах (как вместо ***жд*** они подставляли ***ж***). Но этого не случилось. Дело в том, что в некотором, неизмеримо меньшем, количестве слов сочетанию ***шт*** соответствовало в древнерусском ***щ:*** это в тех случаях, когда ст.-сл. ***шт*** и др.-русск ***щ*** чередуются с сочетаниями звуков ***т*** и ***ск:*** ст.-сл. крьштѫ, др.-русск. *крьщю* при ст.-сл. и др.-русск. крьстъ; ст.-сл. ищетъ, др.-русск. *ищеть* при ст.-сл. и др.-русск. искати и т. п.

Вот это (наличное в сравнительно очень малом количестве слов) отношение ***шт — щ*** и было распространено на всё огромное количество случаев, где ст.-сл и др.-болгарск. церк.-сл. ***шт*** соответствовало др.-русск. ***ч:*** ст.-сл. и др.-болгарск. церк.-сл. свѣшта, нощь, хощѫ и т. п. стали передавать в древнерусском церковнославянском через *свѣща, нощь, хощю* и т. п., чётко отличая, таким образом, церковнославянское произношение этих и подобных слов от древнерусского. Где уже тут „неудержимая ассимиляция“!

210. Почему А. А. Шахматов, такой крупный учёный и тонкий наблюдатель, ошибся в освещении разбираемых здесь явлений звуковой субституции? Его понудила к этому защищаемая им теория происхождения и развития русского литературного языка. Правильно устанавливая, что древнейшим литературным языком Киевской Руси был церковнославянский язык, А. А. Шахматов далее совершенно неправильно считал, что русский литературный язык возник путём сти-

---

[1] А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, изд. 4, 1941, стр. 61.

хийного проникновения в церковнославянский язык разнообразных русских элементов. Ему показалось заманчивым установить „неудержимую ассимиляцию" церковнославянского языка „народному языку" уже с „первых лет" существования церковнославянского языка на Руси, и он использовал для этого наличие подстановок древнерусских звуков и звукосочетаний вместо старославянских и древнеболгарских церковнославянских. Использовал, как мы видели, неудачно.

211. В церковнославянских памятниках Киевской Руси XI в. встречаются отдельные русизмы фонетические, лексические и грамматические. Так, например, в сделанной переписчиком Остромирова евангелия на церковнославянском языке приписке встречаем полногласные формы: *новъгородъ, Володимира;* в Изборнике Святослава (1073 г.) полногласные формы *поросѧте, полонъ, полоненъ, норовъмь* и др.; *ч* вместо церк.-сл. *щ: сѣшьпѣчеть, аче, клевечѧшѧ; оугъ* вместо церк.-сл. *югъ, оуности* вместо церк.-сл. *юности* и т. п.

212. Подобного рода отдельные русизмы в церковнославянских памятниках Киевской Руси (X — XI вв.) также нисколько не доказывают „неудержимой ассимиляции" церковнославянского языка древнерусскому в XI в. Эти русизмы доказывают лишь то, что данные церковнославянские памятники переписаны русскими и что у переписчиков „то здесь, то там срывались с пера" древнерусские народные формы [1].

213. Пользовались ли восточные славяне X — XI вв. церковнославянским языком, „как своим достоянием"? Да, конечно. Но в каком смысле? В том смысле, что церковнославянский язык был их литературным языком, что они выражали на нём свои мысли в литературной форме, писали на нём различные литературные произведения. В этом смысле „русский человек" XI в. Иларион пользовался церковнославянским языком, как своим достоянием, выражая по-церковнославянски свои мысли и чувства о родной стране, о её величии, о её славном прошлом и т. п. Значит ли это, что в „Слове" Илариона церковнославянский язык „неудержимо ассимилировался" древнерусскому языку? Нет. Мы не наблюдаем этого ни в „Слове" Илариона, ни в других церковнославянских памятниках X—XI вв.

214. Церковнославянский язык Киевской Руси X—XI вв. был отграничен, отличался от древнерусского народного языка, не только в действительности (ведь это был хотя и сходный с древнерусским, но всё же другой язык!), но и в сознании людей, которые им пользовались, как своим литературным языком. Это положение очень важно. Только приняв его и отклонив неправильное мнение А. А. Шахматова по этому вопросу, мы сможем уяснить себе дальнейшее развитие литературного языка в Киевской Руси.

---

[1] Ср. у Энгельса о так называемой коттонской рукописи Гелианда: „Того обстоятельства, что саксонское произведение было переписано в Вердене, и притом, очевидно, франком, и что у этого франка то здесь, то там срывались с пера франкские формы, еще далеко не достаточно, чтобы язык списка признать франкским..." (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 413).

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

СЛАВЯНСКОЕ ПИСЬМО В КИЕВСКОЙ РУСИ

215. Как известно, существовали две разновидности древнейшего славянского письма: так называемое глаголическое письмо, или глаголица, и так называемое кирилловское письмо, или кириллица. Часть старославянских памятников написана глаголическим письмом (Киевский Миссал, Зографское евангелие и Мариинское евангелие и др.), а часть их — кирилловским письмом (Саввина книга, Супрасльская рукопись, Остромирово евангелие и др.). Древнейшие известные нам глаголические и кирилловские памятники одинаково относятся к X в. Таким образом, глаголическое и кирилловское письмо сосуществовали на самом раннем этапе развития славянской письменности. Первоначально глаголица и кириллица сосуществовали и у западных, и у южных, и у восточных славян.

216. В Киевской Руси уже рано возобладало кирилловское письмо, которое и является родоначальником современного русского, украинского и белорусского письма (а также современного письма у болгар и сербов). Не существует ни одного дошедшего до нас письменного памятника Киевской Руси, который был бы написан глаголицей. Но существуют несомненные доказательства того, что глаголица была некогда в употреблении и в Киевской Руси.

217. Это доказывается тем, что ряд кирилловских памятников Киевской Руси XI—XII вв. несомненно списан с глаголических оригиналов: к таким памятникам принадлежат, например, так называемая Евгеньевская псалтырь, 13 слов Григория Богослова, так называемая Толстовская толковая псалтырь и др.; памятники эти списаны с глаголических оригиналов именно в Киевской Руси. Любопытно небезосновательное предположение акад. Срезневского, что тексты известных нам договоров киевских князей с греками (X в.) первоначально были написаны глаголическим письмом.

218. Если мы, действительно, не знаем ни одного памятника Киевской Руси, написанного целиком глаголицей, то известны многие кирилловские рукописи, в тексте которых наблюдаются и кирилловские, и глаголические буквы; известны также такие кирилловские тексты, в приписках к которым древнерусские писцы от себя пишут отдельные слова глаголицей или употребляют в этих своих приписках к кирилловским текстам отдельные глаголические буквы. Известны глаголические слова и буквы в надписях на стенах новгородского Софиевского собора, относящиеся к XI—XII вв.

219. Имеется и прямое свидетельство современника о том, что в Киевской Руси в первой половине XI в. переписывали глаголические памятники кирилловским письмом. В 1047 г. новгородский поп Упирь Лихой переписал с глаголического оригинала толкование на так называемых „малых“ пророков. Текст этого памятника дошёл до нас в списках XVI в.; в этих списках (особенно в одном из них) много глаголических букв, пережитков глаголического первооригинала этого памятника. В приписке к своей работе Упирь Лихой благодарит бога

за то, что он „*сподобил*“ его „*написать книги си ис куриловицъ*“. Так как Упирь Лихой заведомо переписывал с глаголического оригинала, то „*куриловицей*“, т. е. кириллицей, он называет здесь глаголическое письмо. Мы видим, таким образом, что в первой половине XI в. составление глаголицы приписывалось Константину-Кириллу. Это мнение господствует и в современной научной литературе по данному вопросу.

220. Сосуществование кириллицы и глаголицы уже рано превращается в Киевской Руси в их борьбу, которая заканчивается полным поражением глаголицы. Естественно встаёт вопрос, каковы корни этой борьбы и почему победило именно кирилловское письмо.

221. Замечательно, что борьба между двумя славянскими алфавитами происходила не только в Киевской Руси, но и в других славянских странах. Замечательно также и то, что кириллица торжествует у всех славянских народов, у которых сохранилось славянское письмо[1]; в настоящее время глаголица встречается лишь у ничтожной кучки хорватов, да и то лишь в церковном употреблении.

222. Многие пытались объяснить победу кириллицы её техническими преимуществами перед глаголицей; другие легко опровергали это мнение, доказывая — столь же неубедительно — технические преимущества глаголицы. Иные прибегали к чисто эстетическим аргументам, ссылаясь на „стройные“ и „красивые“ формы кириллицы по сравнению с „путаной“ и „неуклюжей“ глаголицей. Все эти абстрактные, неисторические аргументы никак не способствовали правильному разрешению вопроса.

223. К разрешению вопроса о кириллице и глаголице нужно подойти с исторической точки зрения. С этой точки зрения сразу становится ясным, что если мы действительно наблюдаем в истории славянских народов борьбу между кирилловским и глаголическим алфавитом, а это несомненно так, то основой этой борьбы алфавитов должна была служить какая-то политическая борьба. В такой постановке вопрос о кириллице и глаголице освобождается от обросшей его схоластической путаницы и буквоедства и становится одним из интереснейших вопросов истории культуры нашего народа и других славянских народов. Ведь речь идёт о происхождении нашего современного письма! Такая постановка вопроса тем более правомерна, что история даёт нам множество примеров, когда за борьбой алфавитов и даже орфографических систем скрывается ожесточённая политическая борьба. Вспомним реформу церковнославянского письма при Петре I, вспомним чуть ли не столетнюю борьбу вокруг реформ старой русской орфографии, осуществлённой лишь после Великой Октябрьской социалистической революции; на наших глазах протекала борьба с арабским алфавитом у тюркских народов Союза. Во всех этих случаях борются, конечно, не алфавиты и бук-

[1] У подавляющего большинства хорватов, у словинцев и западных славян славянское письмо было вытеснено латинским, приспособленным для нужд их языков.

вы, а люди, которые ими пользуются, люди определённой эпохи с определёнными политическими установками.

224. Обратимся к вопросу о том, почему именно кирилловское письмо восторжествовало в Киевской Руси. В связи с тем, что сказано в § 221—223, ясно, что разрешение этого вопроса невозможно без учёта того обстоятельства, что подобное же торжество кириллицы мы находим и в других славянских странах. С другой стороны, разрешение этого вопроса невозможно без учёта происхождения славянского письма, происхождения кириллицы и глаголицы. Происхождение кириллицы и глаголицы может в какой-то мере разъяснить нам и их дальнейшую судьбу. Вот почему мы принуждены кратко вспомнить те основные выводы по истории кириллицы и глаголицы, к которым пришло большинство учёных, изучавших этот вопрос, и которые уже известны из курса старославянского языка.

225. Эти выводы в основном сводятся к следующему. Большинство учёных, и с нашей точки зрения вполне справедливо, считают, что глаголическое письмо несколько древнее кирилловского; считают также, что Константину (Кириллу) принадлежит составление именно глаголического письма (см. § 219). Совершенно точно установлено, что кириллица является по своему происхождению византийским богослужебным уставом с дополнением особых букв для звуков, не существовавших в греческом языке (см. следующий § 226); наконец, выяснена связь глаголического письма с византийской, а по мнению некоторых учёных, заслуживающему внимания, и с латинской скорописью (см. следующий § 226).

226. В греческой и латинской графике в средние века и в частности в IX в., когда возникает славянское письмо, существовало два основных типа письма: одно, так называемое *уставное*, или *устав*, предназначалось в первую очередь для богослужебных книг, другое, так называемое *скорописное*, или *скоропись*, предназначалось в первую очередь для житейских письменных сношений, для деловых документов. Имея общий источник, эти два типа письма стали со временем сильно отличаться друг от друга, благодаря различной технике написания богослужебных и житейских текстов. В уставном письме каждая буква выступает отдельно, она почти всегда равна самой себе, т. е. различия в начертаниях буквы минимальны; очертания букв отчётливы, они тщательно вырисовываются писцом. Для скорописного письма характерна связность написания, стремятся писать без отрыва руки; возникают так называемые лигатуры, сложные буквы, составляющие связь из двух букв; вследствие быстроты писания, очертания букв становятся неотчётливыми, одна и та же буква выступает в различных до некоторой степени очертаниях. Существовали, конечно, и переходные между этими двумя основными типами разновидности.

227. Однако основное различие между уставом и скорописью было не техническое, а *функциональное*: устав был прежде всего церковным священным письмом, употреблявшимся для житейских целей лишь в редких, особо торжественных и важных случаях, а ско-

ропись была „мирским", повседневным письмом. Самые различия в технике написания вытекали из различной функции обоих типов письма. Различие между этими двумя типами письма сознавалось очень отчётливо в средние века, и в частности в IX в., когда возникает славянское письмо.

228. Мы видели (см. § 225), что составление глаголического письма справедливо приписывается большинством учёных Константину (Кириллу). Мы видели также, что установлена несомненная связь между глаголицей и греческой, а по мнению некоторых учёных, и латинской скорописью. Представляется, однако, совершенно непонятным, как Константин, выдающийся византийский духовный деятель, мог положить в основу составляемого им как раз для перевода богослужебных книг славянского письма скорописное письмо. Он должен был бы положить в основу составляемого им славянского письма византийский богослужебный устав. Но он не сделал этого. Почему? Откуда несомненная связь глаголического письма со скорописью? Ответ на этот вопрос и должен нам разъяснить „тайну" существования двух типов славянского письма и их дальнейшую судьбу, в частности и в Киевской Руси.

229. Попробуем дать ответ на поставленный выше вопрос, исходя из того громадного материала, который накоплен поколениями учёных по возникновению и истории славянского письма, но используя его с точки зрения тех положений, которые сформулированы в § 223.

230. В известном уже нам сказании „О письменах" черноризца Храбра сообщается, что ещё до составления Константином специального славянского письма славяне римскамн и грѣцькыми писменъı нѣждѣахѫ сѧ (писати) словѣнскъı рѣчь без устроенна, т. е. славяне принуждены были записывать славянскую речь латинскими и греческими буквами беспорядочно, неорганизованно („без устроения"), приспособляя их для написания славянских слов. И тако бѣша многа лѣта, —прибавляет Храбр.

231. В этом сообщении Храбра некоторые учёные справедливо видели указание на существование у славян зачаточного письма ещё до составления Константином специального славянского алфавита. Потребность в таком письме вытекала из нужд практической жизни. Славяне вовсе не были какими-то „дикарями" в VIII, а тем более в IX в.; наоборот, они стояли уже на грани цивилизации. Они вовлекались в сношения с другими, более развитыми странами и народами. Различные типы записей проникали и в обиход самих славян, особенно в более крупных центрах, как, например, в той же Солуни. Полезность таких записей была очевидна, и зачаточное славянское письмо могло иметь довольно широкое распространение, особенно в IX в.

232. Зачаточное славянское письмо могло формироваться на основе латинского письма в тех областях, где славянские народности соприкасались с народами, пользовавшимися латинским письмом; оно могло формироваться на основе греческого письма там, где славяне соприкасались с греками. В результате распространения этого зача-

точного славянского письма в сношениях между славянами мог выработаться некий средний, смешанный тип письма, включавший и греческие, и латинские буквы. Вероятно, в этом смысле и нужно понимать относящееся к балканским славянам указание Храбра, что славяне пользовались „без устроения" и греческими, и латинскими буквами. В высшей степени существенно, что в основу этого славянского зачаточного письма, как выросшего из потребностей практической жизни, могло лечь только латинское или греческое скорописное письмо (см. § 226—227).

233. Константин был высокообразованным человеком; он знал различные языки и был знаком с различными типами письма, с различными алфавитами; он знал также, что различные христианские народы Востока пользуются в своей письменности различными алфавитами, каждый народ своим, особым. Когда ему поручили составить алфавит для славян, он понял эту задачу, как задачу составить особый, специальный славянский алфавит. Для него вопрос вовсе не стоял так, что, составляя славянский алфавит, он должен непременно навязать славянам греческое письмо; если бы вопрос стоял перед Константином так, то он непременно положил бы в основу славянского письма, составляемого для перевода богослужебных книг, греческий богослужебный устав, а этого как раз он и не сделал. В основу составленного им славянского алфавита Константин положил *зачаточное славянское письмо*. Но это зачаточное славянское письмо само имело, как мы видели, в своей основе греко-латинскую скоропись; вот отсюда и идёт вскрываемая большинством учёных связь глаголицы со скорописью. Кладя в основу составляемого им письма (глаголицы) уже имеющееся у славян зачаточное письмо, Константин руководствовался, возможно, и принципиальными соображениями: глаголица уже в своих истоках оказывалась таким образом связанной со славянством, оказывалась не только письмом *для* славян, но и *славянским письмом*; он руководился, возможно, и практическими соображениями: он считал, что алфавит, составленный на основе уже имеющегося у славян зачаточного письма, будет практически более приемлемым для славян, более доступным для них.

234. Зачаточное славянское письмо, которое Константин положил в основу составленного им славянского алфавита (глаголицы), было, как мы видели, письмом скорописного типа; оно отличалось поэтому связным характером написания (без отрыва руки), разнообразием в начертаниях отдельных букв, общей неоформленностью и текучестью. Константин, конечно, не мог механически перенести скорописные начертания букв в составляемый им славянский алфавит. Перед Константином стояла сложная задача: на основе расплывчатого и текучего материала скорописи он должен был создать единую и чёткую систему *славянских графем* (графических типов), стилизуя отдельные скорописные написания; он должен был преобразовать хаотический скорописный материал в новое уставное письмо, потому что он составлял алфавит для перевода богослужебных книг. Свои задачи Константин выполнил отлично. Глаголица и с точки зрения фоноло-

гической, и с точки зрения единства и чёткости графического стиля представляет очень выдержанную систему знаков, графем [1].

235. Глаголическое письмо, предназначенное для перевода греческих богослужебных книг на славянский язык, оказалось резко отличным от современного ему греческого богослужебного устава; это обстоятельство нисколько не беспокоило Константина, он и стремился создать специальный славянский алфавит. Но иначе относились к этому византийские церковные и светские власти. Они ведь собственно нисколько не заботились о просвещении моравских славян; „просвещение" моравских славян понадобилось им лишь как способ включения их в сферу влияния византийской церкви, византийской империи, как способ приковать моравских славян к Византии. Они и не помышляли о какой-нибудь самостоятельности славянской культуры. С их точки зрения составление Константином резко отличной от греческого письма глаголицы было ошибкой; они предпочли бы письмо, являющееся в большей или меньшей степени сколком с греческого; они предпочли бы, чтобы Константин ограничился простым приспособлением греческого письма для нужд славян, дополнив его теми или иными знаками, подобно тому, как, например, письмо современных западноевропейских народов в своём генезисе явилось лишь довольно топорным приспособлением для их нужд латинского письма. Недовольство византийских правящих кругов усугублялось, возможно, и тем, что им мог быть известен и самый способ составления Константином славянского письма, т. е. то, что он положил в основу глаголицы бывшее в обиходе у славян скорописное письмо, между тем как он должен был взять за основу уставное богослужебное письмо.

236. Вслед за этой первой своей „ошибкой" Константин сделал, с точки зрения византийских правящих кругов, и вторую, пожалуй, ещё более „грубую": он утвердил своё славянское письмо, столь непохожее на письмо греческое, у римского папы, противника и соперника византийского патриарха. Написанные глаголическим письмом богослужебные книги были освящены папой и допущены в обращение среди славян. Они переставали, таким образом, быть орудием распространения специально византийского влияния.

237. В этих условиях в Константинополе, как бы в догонку глаголице, было составлено так называемое кирилловское письмо. Оно явилось приспособлением греческого богослужебного устава для нужд славянских языков [2]. Это письмо по своему графическому типу

---

[1] Остаётся неясным, откуда Константин почерпнул самый принцип графического стиля, графического оформления глаголицы. Есть, однако, основания думать, что он почерпнул его из графического стиля местных славянских идеографических знаков. Во всяком случае графический стиль глаголицы необычайно близок графическому стилю некоторых типов идеографических знаков Причерноморья, распространённому и за его пределами; возможно, что знаки подобного характера существовали на Балканах и в других местах у славян. Если бы это предположение подтвердилось, то мы имели бы здесь лишний довод в пользу того, что Константин строил свой алфавит как специальный славянский алфавит.

[2] Не нужно, однако, думать, что кириллица была грубым приспособлением греческого устава для славянских языков. Наоборот, кириллица была очень тон-

было подлинно греческим; с внешней стороны греческие и кирилловские тексты производят порой впечатление полного тожества. С другой стороны, кирилловское письмо оказывалось, с точки зрения византийских правящих кругов, вполне отвечающим своему назначению и как письмо, в основе которого лежал богослужебный устав. Кирилловское письмо и выступило как соперник глаголического с первых дней своего существования. Таким образом, с самого начала сосуществование глаголицы и кириллицы оказывается борьбой этих двух алфавитов. Эта борьба отражала борьбу между Западной и Восточной империями, между римской и византийской церквами за влияние среди славянских народов. Эта борьба имела, следовательно, очень серьёзное политическое содержание.

238. Глаголическое письмо в своей истории тесно связывается с западной церковью, с католицизмом. Уже один из древнейших памятников славянской письменности — глаголические „Киевские листки" — представляет собой отрывок богослужебной книги римского обряда; это памятник чехо-моравского происхождения; в нём отражаются черты чешского языка. После бегства учеников Мефодия из Моравии глаголическое письмо было занесено ими на Балканский полуостров. Здесь на некоторое время рассадником глаголических рукописей оказывается Македония, где одно время существовал Охридский патриархат, резко враждебный Константинопольскому. Но наиболее полное и длительное развитие глаголица получила в католических областях — в Хорватии, Далмации, Истрии. Здесь она долго существовала и как церковное, и как светское письмо широкого употребления, а у незначительной части хорватов-католиков сохранилась, как упоминалось, и до настоящих дней в церковном обиходе.

239. Везде, где победило греческое „православие", восторжествовала кириллица; глаголица же была вытеснена, вышла из употребления. Так случилось и в Киевской Руси. В первое время существования христианства в Киевской Руси (X в.), когда русская церковь ещё не была организована как государственное учреждение, а её иерархическое подчинение не было ещё уточнено, наряду с кирилловским письмом существовало и глаголическое. Глаголические рукописи могли попадать в Киевскую Русь и из Моравии, с которой она имела непосредственные связи, и из Македонии. В 988 г. произошло так называемое крещение Руси. Это событие, связанное с политическим договором князя Владимира с Византией и с его женитьбой на сестре византийского императора, было прежде всего демонстрацией подчинения русской церкви константинопольскому патриарху. Христианство византийского толка стало государственной религией Киевской Руси. Это предопределило судьбу глаголицы в Киевской Руси, её падение.

ким приспособлением греческого устава для славян. В кириллице в целом сохранена внутренняя система замечательной Константиновой глаголицы. Изменения заключались в основном в том, что глаголические буквы были заменены новыми по типу греческих уставных, а внесённые Константином дополнительные буквы для обозначения специальных славянских звуков стилизованы под греческий устав.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

РОЛЬ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

240. Церковнославянский язык сыграл большую роль в истории русского языка. Это объясняется тем, что он был древнейшим письменным языком на Руси, и впоследствии, по возникновению письменности вообще (и литературы в частности) уже на древнерусском языке (с XI—XII вв.), церковнославянский язык всё же продолжал оказывать значительное влияние на русский язык, потому что он продолжал существовать как язык церкви, а церковь имела большое значение в идеологической жизни средневекового общества.

Всё это не могло не выразиться в том, что в нашем современном литературном языке мы имеем много слов и форм церковнославянских по происхождению, но уже поглощённых народной стихией языка, включённых в систему русского языка, обрусевших.

241. Исследователи интересовались до сих пор лишь церковнославянскими элементами в литературном языке. Наиболее полный обзор церковнославянских по происхождению слов и форм современного литературного языка даёт акад. А. А. Шахматов в своей книге „Очерк современного русского литературного языка" (в главе I этой книги). Однако нельзя считать вопрос о церковнославянских элементах в современном литературном языке изученным в достаточной степени. Во-первых, ещё далеко не достаточно вскрыты различные хронологические отслоения церковнославянского языка в русском литературном языке, т. е. не выяснено, какие именно церковнославянские слова и формы проникли в русский язык в древнейшую эпоху (X—XIV вв.), а какие — в XV—XVII вв.

С другой стороны, не обращено ещё достаточного внимания на лексико-семантическую сторону церковнославянизмов в современном русском литературном языке. Иными словами: не выяснено место этих слов в системе русской лексики.

Оба эти вопроса являются очередными задачами истории современного русского литературного языка.

242. Но если церковнославянские элементы в современном литературном языке всё же приведены хотя бы в известность, более или менее учтены, то церковнославянские элементы в диалектах вовсе не изучались. Между тем это представляется очень важным и для истории самих диалектов, и для истории русского литературного языка. Ввиду отсутствия специальных работ по этому вопросу, мы не можем остановиться на этом вопросе сколько-нибудь подробно, но указать на наличие церковнославянских элементов и в диалектах считаем необходимым.

Вот почему мы даём ниже перечень неполногласных, церковнославянских по происхождению, слов в современных диалектах, не претендуя при этом на сколько-нибудь исчерпывающую полноту перечня. Поскольку лексика севернорусского наречия изучена неизме-

римо лучше, чем лексика наречия южнорусского, в перечне преобладают материалы севернорусского наречия.

243. Даже прилагаемый ниже перечень, несмотря на его краткость и односторонность, позволяет установить следующее. Во-первых, он показывает, что в современных диалектах церковнославянские элементы имеются в значительном количестве, а некоторые из них имеют широкое распространение по разным диалектам. Это обстоятельство очень существенно для понимания роли церковнославянского языка в истории русского языка.

244. Во-вторых, обращает на себя внимание то обстоятельство, что некоторые церковнославянские по происхождению слова функционируют в диалектах в таких значениях, которые не засвидетельствованы (пока, может быть) ни в литературном языке XVIII—XIX вв., ни в более ранних литературных памятниках. Это обстоятельство может быть объяснено либо тем, что эти церковнославянские слова получили своё особое автономное по отношению к литературному языку семантическое развитие уже в самих диалектах, либо тем, что в более древнюю эпоху они существовали с соответствующими значениями в разговорном языке книжных людей, откуда и проникали в диалекты. Поскольку церковнославянские слова проникали в диалекты главным образом из разговорного языка книжных людей, то соответствующие диалектные материалы могут оказать немаловажную помощь при изучении истории разговорного языка книжных людей. По вопросам, затронутым в этом параграфе, следует обратить внимание на такие, например, слова, как *благой* и прочие с ним связанные, *обременить, владать, развратный, временить, главной, празный, праховый, странствовать* и др.

245. Наконец, приводимый ниже перечень позволяет установить, что некоторые церковнославянские слова проникали в диалекты из разговорного языка книжных людей ещё в древнерусскую эпоху, т. е. до XV в. Об этом говорит наличие в диалектах ряда слов заведомо церковнославянского происхождения, но имеющих вместо церк.-сл. ***жд*** звук ***ж*** по древнерусской норме. Так, имеем: *награжать* (костромск., смоленск.), *преже, попреже* и пр. (засвидетельствованы в ряде диалектов), *проклажаща* (колымск., костромск.) *слажоный* (смоленск.). Наряду с подобными случаями встречаются в диалектах и формы с ***жд***, как более поздние заимствования из литературного языка[1]. На почве столкновения обеих норм возникают иногда в диалектах ложные „церковнославянизмы" вроде *страждение* („сражение", костромск.), где в корне имеется ***з*** и нет места для ***жд*** и в церковнославянском языке.

Только столкновением этих двух норм передачи церковнославянского ***жд*** (более ранняя — ***ж*** и более поздняя — ***жд***) может быть, как кажется, объяснён такой широко распространённый в севернорусских диалектах „церковнославянизм", как *урождай* и ещё некоторые другие.

---

[1] Но не исключительно из него; они могли проникать в диалекты отчасти и прямо из церковного языка.

246. Сказанным выше, конечно, никак не исчерпывается вопрос о роли церковнославянского языка в истории русского языка. В специальном разделе книги, посвящённом истории древнерусского литературного языка, мы ещё неоднократно будем возвращаться к этому вопросу на том или ином конкретном материале.

благ-(русск. *болог-*), *благо, благонько, благошко:* 1) много, изобильно, многонько (архангельск., вологодск., тверск., сибирск., череповецк.): *Хлеба благо севóгоду уродилось*; *Время благонько прошло, как они уехали;* 2) хорошо (новгородск.): *Благо, что староста пошёл на сходку;* 3) хорошо что (пензенск.): *Благо есть у тебя жена;* 4) не хорошо (владимирск., вологодск., пензенск., сибирск.).

благой: 1) хороший, удачник (олонецк.); 2) дурковатый (курск.), беспокойный, несмирный (вологодск., рязанск., тамбовск.), проказник, помешанный (олонецк.), худой, дурной, безобразный (псковск., сибирск.): *благая дорога; благой лицом.*

блажной: 1) человек неспокойный, безобразный; 2) дикая лошадь и вообще неручная скотина; 3) бранное слово (вятск.).

блажить: 1) безобразничать, прикидываться не тем, что есть; 2) ворчать, сердиться: *Блажит наша старуха, да и только; наблажить* — наделать глупостей, дурачеств.

блаженный — юродивый, глупый (вятск.), блажной, полоумный, идиот (архангельск.).

благовать — шалить, дурить, безобразничать: *Будет благовать-то, робя, надо и честь знать; Ветер, пурга благует.*

благоваться — шалить, сердиться, злиться (костромск., ярославск.).

блажь — несметное множество: *Оленей в уезде блажь* (сибирск.) (ср. выше: *благо* — много).

блажный — шалун, повеса, проказник (псковск., тверск. пензенск.), калека, урод, юродивый, малоумный, божий-человек, дурачок.

блажеть — сходить с ума (вологодск.).

брашно (у Даля, без указания местности) — яство, пища, съестное, кушанье, харч: *Брашно добро на пашне; Брашенный стол.*

бражно — съестные припасы, состоящие из хлеба, соли и солёной рыбы, оставляемые в лесных избушках-убежищах для выходящих на „лесованье“ промышленников (архангельск.); ***ж*** вместо ***ш*** по ложному осмыслению с *брага, бражник, бражка (брашка).*

брашенье (олонецк.) — вспаханная нива (ср. выше: *Брашно добро на пашне*).

бран- (русск. *борон-*): *брань, бранчливый* — ворчун (вятск.).

бранка (ср. лит.: *перебранка*); от значения „оборонять“, „защищать“ идёт *граница* — пристань для малых судов в морском заливе или бухте (архангельск.).

брег-(русск. *берег-*): *прибрежник* — частокол из мелких колышков, идущий от берега вглубь озера или поперёк реки, длиной в 5—10 сажен; в него ставят морды (олонецк.).

брег-(русск. *берег-*): *брежный* — бережливый (пермск.) (ср. лит. *небрежный*): *Экой ты брежный.*

брем- (русск. *берем-*), ***бремё*** — бремя, ноша (тотемск.), ***обременить*** — взять на себя труд другого лица, освободить от бремени (олонецк.): *Спасибо, молодец, обременил меня, старика* (сказано парню, который помог вынести груз из лодки). В диалектах существует и полногласная форма ***беремя***.

влад- (русск. *волод-*): ***владать*** (вологодск., вятск., архангельск.), ***повладать, завладать*** (вятск., архангельск.) — владеть, пользоваться своей собственностью (землёй, имуществом): *Он владеет покосами*; *Чем владал, всё отобрали соседи*; *Животы-то на всех следовает поделить, а он, вишь, один повладал*; ***владиёт*** (тотемск.); ***владать*** (вятск.) — иметь силу, быть в моготе: *Старик ещё владает, помогает семье*; *Мальчишка-то ещё не владает ногами, седун*; ***владиньё*** (вологодск.) — земля, которой владеешь; ***владеньё*** (вятск.) — недвижимое имущество; сила, мощность; здоровье: *Все его владеньё в лесах*; *Владенья-то нет у него: не может работать*; ***владыка, владычица*** (олонецк.) — владыка, владычица; ***владель*** — хозяин (псковск.), ***владанный*** — подержаный (донск.).

враг- (русск. *ворог-*) — враг; чорт, дьявол, сатана, (олонецк., архангельск. и др.); ***враговка*** — чертовка (колымск.), ***вражонок*** (вятск., архангельск.); ***вражок*** (новгородск.) — чертёнок, бесёнок; ***вражишко*** (архангельск.).

вража — вражда (архангельск.); ***вражной*** — враждебный (архангельск.); знахарь (сибирск.).

вражить — враждовать, вредить (архангельск.), шалить, дурить, баловаться (новгородск.), болтать вздор, лгать, обманывать, дурачиться, сходить с ума (олонецк).

врадник, врадница — враг, недруг (архангельск.). Звук ***д*** объясняется, возможно, контаминацией с *вред, вредить* (?).

врат- (русск. *ворот-*), ***развратной*** (о предметах продовольствия) — испортившийся, негодный к употреблению: *Развратна картофель* (архангельск.); ***обращаться*** (костромск.) — оборотиться назад; ***обратиться*** — вернуться; ***обратна рыба*** (колымск.).

Обраток (псковск., тверск.) — обратный путь: *Мы встретились с ним на обратке*.

вред- (русск. *веред-*), ***вреда*** (новгородск., вятск., владимирск.); ***повреда*** (архангельск.) — изъян: *Хороши ли замок, нет ли повреды какой*; ***вредить*** (архангельск., вятск.): *В лес пошёл, да и руку вредил*; ***небредно*** — невредно (вятск.); ***повреждeнье*** (вятск.).

врем- (русск. *верем-*), ***время*** — срок, пора, ***вриме*** (пермск.) ***време*** (тотемск.), ***врэ́ма*** (колымск.); ***современью*** — когда-нибудь (олонецк.): *И по́рядочно по время* — в иное время, тогда (вятск.); *Не ко времю* (архангельск.); *Ускорное время* — горячая пора; *Время-то было ускорно: почитай с огню хватали да робили* (архангельск.); ***современно*** — со временем: *У самово тепере, сам знаешь, каки достатки, пожди маленько, помогу современно* (архангельск.); ***временить(ся), завременить*** — говорится о действии преломления солнечных лучей в воздухе на море, вследствие чего отдалённые

предметы приближаются или изменяют свой вид: *Берег завременился*; *острова временят* (архангельск.).

глав- (русск. *голов-*): *главной* в выражении *главной олень*: *главной олень* (т. е. головной олень, передовой олень) — крайний с левой стороны в упряжи олень, к уздечке которого прикрепляется единственная для управления всею запряжкою вожжа (архангельск.); *заглавный* — главный: *Заглавная их еда — моняло* (колымск.); *главарь* — начальник (владимирск.). Сравнение к выражению „главной (= головной) олень": *головной сноп* — верхний сноп; *головной* — главный, лучший, отборный (архангельск.).

глаголь — жердь, на которую вешают мотню невода для просушки. Названа по форме, напоминающей букву *г* (глаголь).

глас- (русск. *голос-*): *глас* — звук колокола. *Вот колокол! поведёт глас, только слушай*; *Колокол глас подаёт* (вятск.). Слово *глас* в этом значении идёт из церковного языка. *Огласить* — сделать огласку, объявить, компрометировать, поносить честь, конфузить: *Огласили девку, женихи стали обходить* (вятск.).

град — (русск. *город-*): *заграда* — скотный двор (смоленск.), *ограда* — двор (пермск, вятск., сибирск.) в вятск., собственно, свободное место во дворе между постройками или части двора, расположенные ближе к улице; *ограда* церковная (вятск. и др.).

древ- (русск. *дерев-*): *дре́во* — дерево (орловск., воронежск., гребенск., тульск., смоленск., новгородск., ростовск., самарск.): *Дре́ва дуже высокия у саду и усё тополи* (смоленск.); *Наши ўсе займаютца — дре́ва рубють: бирезъвьую усякуе* (орловск.); *На шэю* (надевается) *ленда са крястом ис купареснъва дре́ва* (тульск.); *Нельзя рубить подселибнаго древа* (старое дерево, находящееся около усадьбы (смоленск.); *Иде ва́га? Давай вагою пако́тим дре́ва* (смоленск.); *Сколько на дре́ви листу, то на чилавеки грехо̆у* (смоленск.); *Ой, ва саду ли, ва гарўоди росла дре́ва-лозйна.*

дряво — дерево (пермск., вятск., вологодск., зап.-сибирск.): *Стояло тут дряво, дряво непростое, белая береза* (вятск.); *Стоит дряво, весится кудряво, по краям мохнато, в середине слатко* (зап.-сибирск.).

дре́во — долблёная колода, долбушка, однодеревка, долблёная лодка (смоленск.), *древенная* (церковь) — деревянная (олонецк.), *древной* — деревянный (тотемск.), *древоё* (тверск., осташковск.) — берёста, берёзовая кора.

здрав- (русск. *здоров-*): *здравствуй-те* (повсеместно распространено в разных вариантах); *поздравлять, поздравленье* (то же); *проздравствоваться* — провести добро, проиграть в карты: *Наши проздравствувались* (смоленск.).

зрак- (русск. *зорок-*): *зрачный* — пучеглазый, глазастый (псковск.); *зрач* — нахал, медный лоб (псковск.); *возрак, вузрак* — глаз, зрачок: *Тот был пьян, а тот по вузракам заметно, что под хмельком* (смоленск.).

млад- (русск. *молод-*): *младень* — младенец (олонецк., архангельск., пермск.), употребляется и вместо „молодец", „парень"; *младенчик*—

младенец (новгородск., воронежск.); *младшей* — младший (олонецк.); *младыш* — младенец, очень молодой, меньшак, младший брат в семье (тверск.).

мраз- (русск. *мороз-*): *мразь* — туманная мгла в сырое ненастное время; бранное слово (вятск.).

мразь — скверна, гадость, мерзость (костромск., ярославск., тверск.).

мрак- (русск. *морок-*): *помраченье* — замешательство, потеря сообразительности: *Что-то напало помраченье, не мог дать ответа*; умопомешательство: *Сделалось с парнем помраченьё уже возили к шоптунам отговаривать*; затмение солнца, луны (вятск.).

нрав- (русск. *норов-*): *нрав, ндрав, мрав* (костромск., смоленск. и др.); *нравной, мравной* — своенравный, упрямый (вятск., колымск., костромск.); *ндравный* — своенравный (псковск.); *мравицца, разомравицца* (костромск.).

праздн- (русск. *порожн-*): *праздник* (повсеместно), *праздничать* (то же); *празный* — порожний: *Мешки-то празные* (череповецк.). У Даля (без указания местности): *праздная посуда*—порожняя; *празные поля* — невозделанные; *праздное место* — незанятое. О вещи, ненужной в данное время: *Нет ли у вас празной косы, прялки, топора.*

допладни — завтрак (ярославск.). В русском нет соответствующей полногласной формы; русское *полдень, полдник* имеют в основе **polъdьn-*, а южнославянск., болгарск. *пладне* — полдень, полдник, обед, юг — из **poldьn-*; так же и сербск.: *пладне* — полдень.

плах- (русск. *поло-*): *вóсплахъ* — тревога (ярославск.); ср. *всполох* — то же (вологодск., олонецк., псковск.), *переполох.*

прас- (русск. *порос-*): *праська* — поросёнок, свинья: *Я сыру не ем, я не праська. Господа — праськи: они всё едят* (тверск.); *прося́тки (прася́тки)* (владимирск.).

прах (русск. *порох*); в некоторых выражениях слово *прах* выступает, как эвфемизм для называния чорта: *Прах те возьми*; *Какой прах тебя взял* (вятск.); *Прах его секани* (смоленск.). С другой стороны, *прах* — „пыль, персть" является образом бренности, суетности человеческой жизни, всего мирского. С обоими этими значениями связано у „раскольников": *прашиться* — предаваться мирским забавам, особенно плясать. Сюда же *прах* — бранное слово, баловень, игрун, резвый мальчик (казанск.): ср. *вертопрах* (?), *праховый* — плохой, дрянной, негодный: *Не обезсудь, что конёк-то праховый такой, сена-то ведь у нас не больно много живет*; *Там-от живут по боге, только наша волостка задалась такой праховой* (архангельск.). Ср. также: *Прибежал весь в праху* — разозлённый (тверск.).

С другой стороны, идёт иная линия значений: *праховый* — рыхлый, сдобный, рассыпчатый: *Замесить тесто попраховее* (олонецк. и др.). У Даля (восточн.): *праховый* — порошистый, рыхлый, мелкий и сухой: *Праховая земля, дожди не держатся* (вода уходит); *праховый снег, праховенький хлеб* — рыхлый, мягкий; *праховый холст* — реденький, плохой; *праховенькая одежонка*;

праховый (проховый) — рыхлый, жидкий, мягкий, рассыпучий слабый, непрочный; *проховый хлеб* — рыхлого печенья; *проховенькое полотно* — реденькое; *прашевать* (кукурузу) — окучивать землёй (бессарабск.).

пред-, пре- (русск. *перед-, пере-*): *предки* — будущее (псковск., тверск.); *напредки* — впредь, вперёд, на будущее время (вятск., олонецк., архангельск.); *насупредки* — наперёд, на будущее время (архангельск.); *напредь* — вперёд, прежде: *Не любила ль ты кого напредь того* (смоленск., сибирск.).

преж — прежде, раньше, в прежнее время (вятск., олонецк.).

допреж — то же (костромск., московск.); *попреже* — прежде, незадолго (новгородск., олонецк., орловск.); *напреж* — прежде, сперва (архангельск.); *запреж*—прежде (архангельск.), *прежде* (костромск.); *прежде, допрежде, опред* (смоленск.), *старопрежний* (олонецк.); *пре-* приставка в значении „очень": *преглубой* — очень глубокий (архангельск.).

премежек — часть зарода сена между двумя стожарами (вятск.).

прек- (русск. *перек-*; ср. *перечить*): *прека* — укор, упрёк (олонецк., колымск.); *прекавить* (колымск.).

прет-: *супретить* — переспорить, поставить на своём (калужск.); *попретить* — почувствовать отвращение к кому, к чему: *Попретило, не мог есть*; *Только рюмку в рот — нет, претит* (вятск.). *Опрет* — гадкий человек (смоленск.).

слад- (русск. *солод-*): *сладки* в названиях растений: *сладки соски, корешки, дудки* (олонецк.); *слажоный* — сладкий, подслащённый: *слажоные теста, слажоный чай, слажоная кутья* (смоленск.); *сладчая, слащая* — слаще (олонецк.); *послашэ* — послаще (костромск.); *послажий* — слаще (смоленск.); *слаша (слашиша, слаща)* — *брюква,* (архангельск.); *сластить* — шевелить языком: *Совсем помирает только языком сластит да кыркает* (архангельск.); *слатимая (картошка)* — мёрзлая (вятск., казанск.); *сладкий* — разносчик сластей (псковск.); *сладкое* — род рыбной и мясной подправы (псковск.); *сластёна* — легкомысленная женщина (псковск., тверск.); *сластимый* — сладковатый (вологодск.).

сред- (русск. *серед-*): *средник* — не хороший и не дурной, средственный: *Хорошее да худое помнится, а среднее забывается* (архангельск.); *средний ветер* — северный (олонецк.); *средняя бабка* — одна из перегородок на шняке (архангельск.); *средник* — один из якорей, которым удерживается куб у яруса (архангельск.); *средыш* — высовывающийся из моря камень среди входа в становище (архангельск.); *стрезь (средь)* — середник реки: *Рыба идёт стрэзью* (колымск.); *стредыня, стрэдно* (колымск.).

средство — лекарство (смоленск., костромск. и др.), *средствие* — то же.

срам- (русск. *сором-*): *страм, страмник, стрaмить, страмота* (очень распространено); *стромить (страмить)* — давать наставление, выговаривать (олонецк.); *страмские песни* (вятск., пермск.): *страмнэй: Места страмнэя — болотина* (смоленск.).

стран- (русск. *сторон-*): *странный, странний* — посторонний, нетутошний, со стороны, чужой; прохожий, путник (калужск., тамбовск., орловск.); *странь* — чужой, странный человек; чудак, нелюдим; шатун, негодяй; ср. *чушь (чужь)* — дичь, чепуха (пермск., вятск.); *странствовать* — болеть, страдать, хворать: *Странствовала со спиной* (архангельск.); *Осенесь недели со три в огневе пространствовал, а и ноне неделю странствовал* (архангельск.); *странный, странний* — посторонний, из другого селенья или города: *Они не тутошние, страннии*; *Откель? За вёрст за пяток* (воронежск., тамбовск., орловск.); *странник* — прохожий (ярославск. и др.); *странный, странник* (олонецк., архангельск.); *странить* — шляться, шататься, бродить по сторонам; убивать время, ничем не заниматься (вятск.).

треб- (русск. *тереб-*): *потреба* — нужда (архангельск., вятск.); *потребье* — нужда: *За сеном ноне потребье* (архангельск.); *потреблять* — пить, есть: *Вино потребляеть, а гарелки не уживаеть* (смоленск.); *потребить* — погубить, истребить, уничтожить: *Хочут бобра потребить, кунью шубу шити, бобром опушити* (вятск.).

хлад- (русск. *холод-*), *проклажаться* — медлить, барствовать; *с проклаженьём* (костромск.); *проклажаться, прохлаждаться* — проводить время (колымск.), *хладь* — небольшой холод (псковск., тверск.).

хран- (русск. *хорон-*): *похранить* (костромск.), *захранить* (олонецк.) — завладеть чем-либо насильно; *хранить* — беречь, стеречь: *Прихрани до меня* (колымск.); *храна, хранка* — храненье (псковск.).

храбр- (русск. *хоробр-*): *храбориться* — храбриться (псковск., тверск.); *храбрить: Как ни храбри клячонку, а она всё ни с места.*

Фонетика и
грамматика

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ФОНЕТИКА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НЕКОТОРЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ОБЩЕСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Первое смягчение заднеязычных

247. В общеславянскую эпоху заднеязычные ***к, г, х*** подвергались переходному смягчению в ***č', ž', š'*** перед передними гласными ***е, ь, і, ę*** и ***ě (ѣ)***, а также перед ***j***. В этом и состояло первое смягчение заднеязычных. Оно даёт одинаковые результаты во всех славянских языках. Приведём примеры, в которых в одном и том же корне или основе перед задней гласной имеем заднеязычный звук, а перед передней ***č', ž', š'***.

Для ***к***: *вълкъ* — зв. пад. *вълче; кого — чего, кто — что*; *рука — ручька, ручьньи; (на)ука — учити, ученье; конь, коньць — (на)чęти → начати; крикъ — кричати* (из *krikěti*, смягчая ***к***, звук ***е*** изменялся в ***а***); перед ***j***: *токарь — точію* (из *tokjǫ*) и др.

Для ***г***: *другъ* — зв. пад. *друже, богъ — боже; (по)годити — жьдати, рогъ — рожькъ; бѣгъ — бѣжати* (из *běgěti*: ***ě***, смягчая ***g*** в ***ž'*** само изменялось в ***а***; суффикс глагола тот же, что в *терпѣти, смотрѣти* и т. п.); *горѣти, угаръ, гарь — жаръ* из *gěrъ, жарити* из *gěriti; другъ — дружу* (из *drugjǫ*); *гърло — ожерелье* (из *(o)gerdl-* при *gъrdl-*).

Для ***х***: *махать — машеть; тихъ — тишина; страхъ — страшьнъ; (по)мъха — мъшати* (из *těchěti*); *хълмъ — шеломень* (*šelmeпь* — „холм“); *ходити — (при)шьдъ* и др.

248. В некоторых случаях в русском языке эпохи после падения глухих и в современном русском языке ***č', ž'*** и ***š'*** ***(ч, ж, ш)*** стоят не перед передними гласными, а перед задними или перед согласной. Как видно уже из приведённых примеров, это находит себе объяснение в соответствующих звуковых изменениях, и, реконструировав более древний состав слова, мы всегда придём к тому, что ***ч, ж, ш*** возникали при наличии следующего переднего гласного или ***j***. Так, в слове *кружок* (при *кругъ*) ***ж*** стоит перед ***о***, но это ***о*** само возникло из ***е*** по закону изменения ***е*** в ***о*** под ударением перед твёр-

дой согласной; поэтому реконструируем *кружек*; *е* после *ж* в свою очередь возникло из *ь* (ср. „беглость" этого *е*: *кружка*); таким образом восстанавливаем *кружькъ*, где имеем *ж* перед передней гласной *ь*; в слове *чадо* имеем *ч* перед *а*, но мы знаем, что *а* в русском языке может восходить к *ę*, поэтому восстанавливаем *č'ędo*, где имеем *ч* перед передним гласным *ę*; наша реконструкция находит себе подтверждение в немецком *Kind* — „дитя"; русское *ę* > *а* соответствует здесь немецкому сочетанию „передний гласный плюс носовой согласный в закрытом слоге", что вполне закономерно. Иногда подобные реконструкции очень сложны и требуют привлечения сложного материала из других индоевропейских языков, но всегда мы придём к форме слова, подтверждающей закон первого смягчения заднеязычных.

Смягчение посредством *j* других согласных

249. Звук *j* (*i̯*), выступая в качестве глагольного и именного суффикса, смягчает не только заднеязычные, но и некоторые другие согласные. Функции *j* как глагольного и именного суффикса отчётливо проявляются в образованиях от корней, оканчивающихся на гласный звук: *stája* — „стая" от *sta- (sta-ti)*, *stoję* (от того же корня); *daję* от *da-ti; znaję* от *zna-ti* и т. п.; путём присоединения к корню суффикса *j* + *o*, *ā* образовались мягкие разновидности основ существительных на *-o*, *-ā*, т. е. так называемые основы на *-jo* и *-ja* (см. ниже, § 365, 368).

250. Мы увидим (§ 300) результаты смягчения посредством *j* звуков *д* и *т*, давшем в разных славянских языках в конечном счёте разные рефлексы (в русском *ж* и *ч*: *ходить — хожу* из *chodjǫ*, *свеча* из *světja* и пр.).

251. Ещё в общеславянском *с* и *з* смягчались посредством *j* в *š'* и *ž'*: *носити — ноша* из *nosja*, *ношу* из *nosjǫ*, *пишу* из *pisjǫ*, *грожу* из *grozjǫ*, *вяжу* из *vęzjǫ* при *писать*, *грузить*, *вязать* и т. п.

252. Сочетания губных + *j* (*pj, bj, vj, mj*) давали сочетания *pl, bl, vl, ml* (*ловить — ловлю*, *капать — капля* и др.) (см. § 299); *rj, lj, nj* давали *r', l', n'* (*говорю* из *govorjǫ*, *солю* из *soljǫ*, *конь* из *konjь*) и т. п.

Второе смягчение заднеязычных

253. Второе смягчение заднеязычных является более поздним явлением общеславянского языка, чем первое смягчение. По второму смягчению *к, г, х* изменялись в *c', d'z' > z', s'*. Второе смягчение происходило перед гласным *ъ*, происходившим из более старого дифтонга *oi̯* (*ai̯*), и перед *и*, которое тоже возникло из дифтонга *oi̯* (*ai̯*), когда он стоял в конце слова. Условия возникновения в конце слова из *oi̯* (*ai̯*) в одних случаях *ъ*, в других случаях *и* — не ясны. Не будучи в конце слова, *oi̯* (*ai̯*) давал всегда *ъ*. Мы видим, таким образом, что общеславянское *ъ* было двоякого происхождения: из *ē* и из *oi̯* (*ai̯*); *ъ* из *ē* смягчало заднеязычные по первому смягчению (см. § 247 и сл.), как гласный передний; в эпоху первого смягчения

дифтонг *oi̯ (ai̯)* ещё не изменился в *ѣ* и, начинаясь гласным задним *(o, a)*, не участвовал в смягчении заднеязычных. В дальнейшем дифтонг *oi̯ (ai̯)*, сливаясь с *ѣ*, стал гласным передним и получил способность смягчать заднеязычные согласные, стоявшие перед ним, но смягчая их не в шипящие, а в свистящие. Мы видим, таким образом, что так называемое в т о р о е смягчение заднеязычных было явлением более поздним, чем первое. По первому смягчению заднеязычные смягчались в *ч, ж, ш* (в шипящие), по второму в *ц, з, с* (в свистящие). Ср.: *цѣна* из *koi̯na*; литовск. *kaina* — „цена", „польза", „выгода", др.-персидск. *kaena* — „штраф", „месть", греческ. ποινή — „пеня за убитого", „возмездие", „вознаграждение"; *цѣсарь:* латинск. *caesar*, греческ. *καῖσαρ*, немецк. *Kaiser*; *и* из *oi̯* в конце слова имеем во флексии именного склонения в им. пад. мн. ч. основ на *-о: вълци* из *vl̥'koi̯*, *други* из *drougoi̯*; ср. литовск. *draugas* — „друг", *draugai* — „други, друзья"; *lankas* — „дуга", „лук"; *lankai* — „луки"; *ѣ* из *oi̯ (ai̯)* имеем в местн. пад. ед. ч. основ на *-о: вълцѣ* из *vl̥'koi̯* и т. д.; в дат. местн. пад. ед. ч. основ на *-а: руцѣ*,— литовск. *rankai̯* и т. д.; *и* из *oi̯* имеем в флексии повелительного наклонения — *и* < *oi̯ бери* — греческ. φέροις, поэтому при *толкать* имеем *толци* из *tl̥'koi̯*, при *пеку — пьци*, со смягчением *к* в *ц* перед *и* из *oi̯*.

254. Необходимо отметить ещё и следующий особый случай смягчения заднеязычных. По этому смягчению заднеязычные смягчаются после передних узких гласных, а именно после *и, ь* и др., но в этих случаях смягчение проявляется не всегда; имеются ещё дополнительные условия для осуществления этого смягчения, которые до сих пор остаются невыясненными. По этому смягчению в восточнославянских языках возникают свистящие звуки *ц', з', с'*.

П р и м е р ы: при *льгота, льгькъ* имеем *нельзя*; германское заимствование *kuning* даёт в славянских языках *къning, къnęg, къnędz'* — ст.-сл. *кънязь*, др.-русск. *кънязь* при *кънягыни*. При *ликъ* имеем *лице (лицо);* суффикс *-ьк-* выступает часто и в форме *-ьц-;* ср., с одной стороны, *кулькъ* > *кулек, мѣшькъ* > *мешок* и др. и *дворьць* > > *дворец, ларьць* при *ларькъ* > *ларек* и пр.; суффикс *-ика* выступает рядом с *-ица: дѣвица, черница*, но *черника* и пр.

Изменение сочетания *tt* в *st*

255. Для иллюстрации возьмём прежде всего некоторые инфинитивы типа *плести* от *плету*. Этот инфинитив образован от основы *плет-* суффиксом инфинитива *-ти*, сочетание *тт* в *плетти* оказывалось невозможным, *тт* диссимилировалось в *ст*, первое *т* изменялось в *с: плетти* > *плести*. Таким же образом получалось *мести* < < *мет-ти* при *мету* и др. Так как *д* перед *т* переходило в *т*, оглушалось, то сочетание *ст* возникло и в глаголах с основой, оканчивающейся на *-д: бредти* > *бретти* > *брести, ведти* > *ветти* > *вести, крадти* > *красти* и др.

Сочетание *ст* в инфинитивах этого класса глаголов оказалось настолько распространённым, что в более позднюю эпоху проникло

по аналогии и в такие инфинитивы, где ему не было места: *гребу — греб-ти* > *грети* > *грести;* здесь в основе глагола никогда не было ***т*** или ***д,*** не было места и для диссимиляции ***тт*** или ***дт*** в ***ст;*** *кльну — klę-ti* > *клятиклясти* и др.

256. Диссимиляция ***тт*** в ***ст*** наблюдается и в существительных там, где корень оканчивался на ***-д, -т***, а суффикс начинался на ***т***. Сравните: *вѣсть* из *вѣд* + *ть* также *известие, повесть* и др.; *чьсть* из *чьт* + *ть* от того же корня, что *чтить (чьтити), почьтъ* и др.; *сласть* (церк.-сл.) из *слад* + *ть*; *пасть, пропасть* из *падть* > *патть* > > *пасть; волость* от *волод-ъ-ти; володть* > *волоттъ* > *волость,* также церк.-сл. *власть* от *владѣти,* и др.

257. В случаях типа *оттолкнуть, оттянуть* и т. п. ***тт*** не диссимилировалось в ***ст,*** потому что между приставкой ***от-*** и основой глагола был глухой ***ъ,*** на который оканчивалась эта приставка: *отътълкнути, отътянути* и т. п. Также в сложениях с приставкой ***под-***: *подтолкнуть, подтвердить* и пр.

258. Звуковое изменение ***тт*** > ***ст*** связано с законом открытых слогов; в *плет-ти* первый слог закрытый; в *пле-сти* оба слога открытые, так как ***е*** отходило ко второму слогу (как и в современном русском языке).

Изменение сочетания „*bv* плюс гласный".

259. Это звуковое изменение иллюстрируется многочисленными образованиями с приставкой ***об-*** при ***в-*** в начале корня. Сравните:

ободъ < *об-водъ*	тот же корень, что	*водить*
обозъ < *об-возъ*	„ „ „ „	*возить*
оборотъ < *об-воротъ*	„ „ „ „	*воротить*
обязать < *обвязати*	„ „ „ „	*вязать*
обязанность		
обьрнуть < *обвьрнути*	„ „ „ „	*вьрнуть*
обьртъка	„ „ „ „	*вьртѣти*
облекать < *об-влекати*	„ „ „ „	влѣкѫ } ст.-сл.
облако < *об-влако*	„ „ „ „	влакънти } ст.-сл.
оболочька < *об-волочка*	„ „ „ „	*волочить*
обитель *обитати* <*об-витати*	„ „ „ „	витати ст.-сл.
обида < *об-вида*	„ „ „ „	*видѣть (об-,* мимо — не обращать внимания, не замечать; ср. обойти чем-нибудь, обнести и др.)
обонять < *об-вонѣти*	„ „ „ „	*вонѣти (благовоние, благовонный,*
обоняние	„ „ „ „	ср. *воня* — „запах")
обычай < *об-выкати*	„ „ „ „	*привыкать*
обыкновение		
обѣтъ < *об-вѣтъ*	(тот же корень, что	*отвѣтъ, привѣтъ, вѣче*).

260. После прекращения действия этого звукового закона в отдельных славянских языках возникли новые образования приставки ***об-*** с корнями, начинающимися на ***в:*** *обвязать, обвернуть, обвозить* и др.

Упрощение некоторых групп согласных

261. В результате действия закона открытых слогов некоторые согласные, закрывавшие слог, исчезали:

гн > ***н:*** *двигать,* но *двинуть* < *двигнути*
трогать, но *тронуть* < *трогнути*
бн > ***н:*** *сгинуть, сгинь* < *съгыбнути, съгыбни*
пн > ***н:*** *кануть* < *капнути,* ср. *капать*
дн > ***н:*** *кинуть* < *киднуть,* ср. *кидати*
стынуть < *стыднуть,* ср. *стыд, студёный*
отпрянуть < *отпряднути,* ср. *прядати*

262. После прекращения действия закона открытых слогов возникают новые сочетания ***гн*** и др.: ср. *воздвигнути* (церк.-сл.), *капнути* и др. В словах вроде *хлебный, рыбный, стыдно, бедный* и пр. между ***б, д*** и ***н*** стоял ***ь***: *хлѣбьнъи, рыбьнъи, стыдьно, бѣдьнъи* и др. (суффикс прилагательных ***-ьн-***).

263. Приставка ***об-***, в которой, как мы видели в § 259, после ***б*** не было глухого гласного, теряла своё ***б***, если слово начиналось на шумную согласную: *оговорить*<*об-говорити, окрутить*<*об-крутити* и т. п.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОБЩЕВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Первое полногласие

264. Первое полногласие является одной из наиболее ярких особенностей восточнославянских языков по сравнению с другими славянскими. Оно состоит в том, что общеславянские сочетания звуков **tort, *tolt* (или **tart, *talt,* поскольку общеславянское ***о*** было звуком открытым и близким к ***а***), **tert, *telt* дают в восточнославянских языках полногласные сочетания *torot, tolot, teret;* сочетание **telt* в восточнославянских языках изменяется в **tolt* и его рефлекс совпадает с рефлексом **tolt,* т. е. даёт также *tolot.* В других славянских языках в соответствии с восточнославянским полногласием мы имеем обычно перестановку плавных.

Сравните следующие ряды соответствий:

Сербский	Польский	Русский	Общеславянский
грах	*groch*	*горох*	**gorchъ*
прах	*proch*	*порох*	**porchъ*
брана	*brona*	*борона*	**borna*

брада	*broda*	*борода*	**borda*
блато	*błoto*	*болото*	**bolto*
глава	*głowa*	*голова*	**golva*
глас	*głos*	*голос*	**golsъ*
влас	*włos*	*волос*	**volsъ*
злато	*złoto*	*золото*	**zolto*
брег	*brzeg*	*берег*	**bergъ*
древо	*drzewo*	*дерево*	**dervo*
умрети	*umrzeć*	*умереть*	**umerti*
пред	*przed*	*перед*	**perdъ*
млети	*mleć*	*молоть*	**melti*
млеко	*mleko*	*молоко*	**melko*
плен	*plon*	*полон*	**pelnъ*

и т. п

265. Следует иметь в виду, что не всякому ***ра, ла, рѣ, лѣ*** старославянского и других славянских языков в восточнославянских языках обязательно соответствует полногласная форма; например, сербск. *град* (явление природы) соответствует и в вост.-сл. *град*; ст.-сл. красьнъ — вост.-сл. *красный*; ст.-сл. играти — вост.-сл. *играти*; ст-сл. слабъ — вост.-сл. *слабый*; ст.-сл. и др.-русск. слѣпъ, ст.-сл. и др.-русск. крѣпъкъ и т. д. Полногласие развивалось в восточнославянских языках только из общеславянских сочетаний **tort, *tolt* и т. п., а во всех только что перечисленных случаях и в общеславянском существовали сочетания **trat, *tlat* и др.

266. Подтверждение правильности нашей реконструируемой формы **tort, *tolt, *tert, *telt* мы находим внутри отдельных славянских языков.

Так, русские инфинитивы типа *колоть* от *колю, бороть* от *борю* только и могут быть поняты как полногласные формы: *коло-ти* из *кол-ти, бороти* из *бор-ти*, где ***кол-*** и ***бор-*** — основы, корни глагола, а ***-ти*** — суффикс инфинитива (*кол-ти, бор-ти* образованы, как *нес-ти, вез-ти* и т. п.). Замечательно, что вост.-сл. *колоти, бороти* в ст.-сл. соответствуют, как и ожидаем, клати, брати, а в польск., в соответствии с *колоти*, находим *kłuć*. Также при вост.-сл. *моло-ти* из *mel-ti* находим ст.-сл. млѣти; подобным же образом возникают инфинитивы *переть* из *per-ti, тереть* из *ter-ti* и *умереть* из *umer-ti*. Этим и объясняется их особое положение в системе русских глаголов; их второе ***е*** не есть глагольный тематический суффикс (*ѣ*), как в *летѣти, смотрѣти* и т. п., а второй элемент полногласного сочетания ***-ере-***; по своему образованию эти инфинитивы атематические, т. е. образованы непосредственно от корня-основы (тип *нес-ти, вез-ти* и т. п.). Не является тематическим глагольным суффиксом и ***о*** в *колоти, бороти* и др., это ***о*** есть также лишь фонетически развившийся второй элемент полногласной группы ***-оло-, -оро-***[1].

---

[1] После исконно смягчённых согласных ***ж, ш, ч*** имеем вместо ***-оло-—-ело-***: *желобъ*<общеслав. **želbъ*; *шеломъ*<общеслав. *šelmъ* и т. д.

267. Факты словообразования различных славянских языков подтверждают правильность наших реконструкций. Так, русск. диалектное *полодновать, попалóдную* восходит к форме **poldьn-(poldьn->polodn-);* ср.-болгарск. *пладновати (*poldьn->pladn-)* с закономерной для болгарского перестановкой [1].

Ср. ещё русск. *солон, сóлоно,* болгарск. *сланъ* из *soln* (тот же корень, что слово *соль*, плюс суффикс *-н-*).

Группа **tolt*, образуемая таким способом, даёт *солон* по-русски и перестановку *сланъ* по-болгарски.

Правильность наших реконструкций подтверждается ещё и тем, что различные иноязычные слова, попадающие в древнейшую эпоху в разные славянские языки и имеющие в своём составе группы *tort (tart), tolt (talt), tert, telt,* испытывают ту же судьбу, что исконно славянские слова с этими сочетаниями. Так, имеем:

германск. *Karl*, вост.-сл. *король* (от имени Карла Великого), сербск. *краль*, польск. *król*;
греческ. μάρμαρος, др.-русск. *мороморъ*, ст.-сл. мраморъ;
греческ. σκορπίος, др.-русск. *скоропии*, ст.-сл. скрапии;
средне-в.-лат. *carpo*, русск. (диалектн.) *корп* (название рыбы);
финск. (суоми) *salmi*, русск. (диалектн.) *соломя* — „узкий пролив";
немецк. *Helm*, ст.-сл. шлѣмъ, русск. *шеломъ* (германск. ***H*** смягчилось в ***ш*** перед ***е*** на славянской почве).

268. Реконструированные нами общеславянское *tort (tart)* и пр. свидетельствуются ещё и тем, что некоторые иностранные языки сохранили соответствующие дополногласные и доперестановочные формы, позаимствовав их, в частности, из русского языка в глубокой древности. Ср.

финск. (суоми)	*karsta*	< др.-русск. *короста*,	сербск.	*краста*
„ „	*palttina*	< др.-русск. *полотьно*,	сербск.	*платно*
„ „	*varpu*	< др.-русск. *воробей*,	ст.-сл.	врабии
„ „	*talkoo*	< др.-русск. *толока*,	сербск.	*тлака*

Бесспорно, что др.-русск. *poltьno* (или *paltьno*) и др. были заимствованы финнами ещё тогда, когда эти слова, согласно нашей реконструкции, произносились с сочетаниями *tolt (talt)* и *tort (tart)*, а не с позднейшими полногласными сочетаниями *tolot, torot.*

269. Реконструируемые дополногласные и доперестановочные формы свидетельствуются, наконец, и фактами родственных славянским индоевропейских языков. Ср.:

др.-в.-немецк. *bart*, немецк. *Bart* — „борода",	русск. *борода*
литовск. *barzdà*, др.-прусск. *bordus*,	ст.-сл. брада
латинск. *barba* — „борода",	общесл. **borda (resp. *barda)*

[1] Рядом с основой *poldьn-* существовала и основа *polъ.lьn-*, откуда русское *полдень*, а не *полодень.*

литовск. *béržas*, др.-прусск. *berze*,	ст.-сл. *брѣза*
др.-в.-немецк. *bircha*, немецк. *Birke*,	русск. *берёза*
осетинск. *bärz*,	общесл. **berza*
латинск. *porcus* — „свинья“,	ст.-сл. *прасѧ*
греческ. *πόρκος*,	др.-русск. *порося*
литовск. *paršzas*,	общесл. **porsę (resp. *parsę)*
др.-в.-немецк. *waltan* „владеть“, „управлять“	ст.-сл. *владѣти*
	др.-русск. *володѣти*
литовск. *valdýti*,	общесл. **valděti*
латинск. *hortus* — „сад“	ст.-сл. *градъ, оградa*
кимр. *garth* — „сад“,	русск. *город, огород*
немецк. *Garten* — „сад“,	общесл. **gordъ*

270. Особенно большой материал дают наиболее близко родственные славянским прибалтийские индоевропейские языки, в частности литовский:

литовск. *barnis* — „ссора“, „вражда“, церк.-сл. *брань*, русск. *боронь*
„ *bartis* — „ссориться“, „браниться“, *боротися*
„ *čérpė* — *черепок*
„ *gálva* — *голова*, сербск. *глава*
„ *šárka* — *сорока*
„ *várna* — *ворона*, сербск. *врана*
„ *vařtai* — *ворота*, сербск. *врата*
„ *papártis* — *папороть*, сербск. *папрат*
„ *kárvė* — *корова*, сербск. *крава*
„ *gařdyti* — *городить* (забор), *оградить*
„ *kařbas* — „корзинка, плетёнка“ — *короб*
„ *kárka* — *окорок*
„ *kařtas* — „раз“ — *крат, корот*

и многие другие.

271. В приморско-словинском и кашубском языках до сих пор сохранились формы сочетания *tort* (но не *tolt!*) без перестановки: *parg* (порог), *barna* (борона), *varna* (ворона), *varta* (ворота), *marz* (мороз), *starna* (сторона); имеем также в полабском *worta, gorch, gord* (город), *storna* (сторона).

Таким образом, реконструкция общеславянских групп *tort, tolt, tert, telt* является вполне научной достоверной реконструкцией, бесспорным фактом, устанавливаемым сравнительно-исторической грамматикой славянских языков.

272. Что касается пути изменения группы *tort, tolt* и др. в *torot, tolot* и др. в восточнославянских языках, то наиболее существенными являются в данном случае показания украинского языка. В украинском языке различаются два вида *о*: одно из *о* в слоге перед выпавшим глухим гласным (*ъ* или *ь*, см. ниже § 307) изменяется в литературном языке в *і*: *конь* > *кінь*, *гость* > *гість*, *попь* > *піп*; другое *о* сохраняется в этих же условиях без изменения; это второе *о* произошло из *ъ*:

сон, но не *сін* из древнерусск. *сънъ* и т. п. Второе *о* в полногласных формах не изменяется в *і* перед слогом с выпавшим глухим (ср. *мороз*, а не *моріз*); следовательно, оно произошло не из старого *о*. Поэтому предполагаем, что сочетанию *torot* предшествовало сочетание *torət*[1], в котором *ə*, рано ассимилировавшись предшествующему звуку *о*, довольно долго сохраняло отличное от старого *о* качество. Появление сочетания *torət* и пр. вместо *tort* и пр. и развитие полногласия вообще связано с действием одного из основных звуковых законов праславянской и общеславянской фонетики — с законом открытых слогов. Согласно этому закону, закрытые слоги оказались невозможными во всех славянских языках; *tort* и *tolt* образовывали закрытые слоги, а в *torət*, *tolət*, равно как и *torot*, *tolot*, закрытость этого слога уничтожалась; так, в *golva* первый слог закрытый, но в *golъva*, *golova* этот слог уже открытый.

273. С законом открытых слогов связано и изменение групп типа *ort*, *olt* в начале слова. Это сочетание в одних случаях (при особом качестве интонации слога) давало во всех славянских языках *rat*, *lat*, а в других случаях при *rat*, *lat* в южнославянских языках — *rot*, *lot* в восточнославянских и в западнославянском (польском). Примеры.

Существовало от корня *op-* (ср. глагол *орати*) в общеславянском языке слово *ordlo*, образованное суффиксом *-dlo* (вост.-сл. *-ло* со значением действующего орудия; ср. *шило* от *шить* и т. п.) Это слово, согласно нашему закону, дало ст.-сл. рало, сербо-хорватск. *рâло*, чешск. *ràdlo*, польск. *radło*, русск. *рало*, ср.-литовск. *árklas*;

общесл. *ortajь*, литовск. *artójas* (от того же корня *орать* в значении „пахать"), русск. *ратай*;

общесл. *olkotъ* — „жадный", „алчный", ср. литовск. *alkti*, сербо-хорватск. *лâком*, ст.-сл. лакомъ, русск. *лакомый*, польск. *łakomy*;

общесл. *olnь*, литовск. *álnis*, русск. *лань*;

общесл. *olkъtь*, сербо-хорватск. *лâкат* (сербо-хорватский язык свидетельствует уже о другой интонации слога, чем раньше; не ˇ а ^)[2]; в связи с иной уже интонацией имеем при сербо-хорватск. *лâкат*, ст.-сл. лакътъ, но русск. *локоть*, польск. *łokieć*. С изменением групп *ort*, *olt* в *rat*, *lat* в южнославянских языках и в *rot*, *lot* в восточнославянских связаны следующие отношения древнерусских и старославянских слов: др.-русск. *ростъ*, *росту*, *расти*, совр. *поросль* и ст.-сл. (церк.-сл.) растъ, възрастъ, отрасль; др.-русск. *робъ*, *роба* — ст.-сл. (церк.-сл.) рабъ, раба; др.-русск. приставка *роз-* — ст.-сл. раз-; др.-русск. *лодья*, совр. *лодка* — ст.-сл. ладии. Следует иметь в

---

[1] Знаком *ə* (перевёрнутое *е*) обозначаем редуцированный гласный звук.

[2] В древности во всех славянских языках (как ныне, например, в сербском) ударение было музыкальное, и каждый слог имел свою музыкальную характеристику (интонацию). Сербское ^ обозначает нисходящую интонацию на долгом слоге. В общеславянском ей соответствует, по показаниям других славянских языков, в частности русского, также нисходящая интонация. Сербское ˇ обозначает нисходящую интонацию на кратком слоге. В общеславянском ей, по показаниям других славянских языков, соответствует восходящая интонация.

виду, что сочетание *olt* даёт в старославянском, наряду с рефлексом *lat*, также и сочетание *alъt*. Ср.: в ст.-сл. наряду с лакомъ, в соответствии с литовск. *alkti* — алъкати, рядом с ладии — алъдии, рядом с лань — алъниии. В русских диалектах ст.-сл. *alъt* соответствуют в таких случаях *alyt* костромск., владимирск. *алынья* — „корова", ст.-сл. алъниии, симбирск. *алышный, алышнай* — „прожорливый", „ненасытный" (ст.-сл. алъчьнъ от алъкати), ***шн*** вместо ***чн***, как и обычно в русском языке.

Носовые гласные

274. Как образовались носовые гласные в славянских языках? Они образовались ещё в общеславянском из сочетания „гласный плюс носовой согласный". В зависимости от того, был ли соответствующий гласный передним или задним, получился передний или задний носовой гласный. В транскрипции носовые гласные изображают обычно, как *ę* (передний) и *ǫ* (задний), в старославянском языке, в котором общеславянские носовые гласные продолжали существовать, их изображали буквами ѧ (юс малый) и ѫ (юс большой).

275. Носовые гласные образовались лишь в тех случаях, когда сочетание „гласный плюс носовой согласный" составляли закрытый слог. Таким образом, и возникновение носовых гласных (как и возникновение полногласия) связано с законом открытых слогов, о котором мы говорили выше. Так, например, ст.-сл. сѣмѧ получалось из **sēmen* (ср. латинск. *sēmen* с тем же значением), потому что сочетание гласного ***е*** и согласного ***n*** стояло в конце слова и образовывало закрытый слог; зато в род. пад. *sēmen-e* (ср. латинск. *semen-es* > *seminis*) сочетание ***е*** + ***n*** не составляло закрытого слога; форма род. пад. делилась на слоги так: *se-me-ne*; здесь оснований для возникновения носового гласного не было, и сочетание „гласный плюс носовой согласный" сохранилось до наших дней *(семени)*. В слове ***звонъ*** после ***н*** произносился гласный звук ъ, и слово это делилось на два слога, оба открытые, *зво-нъ*; поэтому здесь не было условий для возникновения носового гласного. Сочетание ***он*** здесь сохранилось до наших дней; но в родственном ему по значению и корню *zvonkъ*, ст.-сл. звѫкъ, где после ***н*** и перед ъ стоял суффикс ***-к-***, слогораздел проходил иначе: *zvon-kъ*; поэтому здесь сочетание ***оn***, оказавшееся в закрытом слоге, изменилось в *ǫ*, ст.-сл. ѫ: звѫкъ. Таковы условия возникновения носовых гласных в славянских языках.

276. Сравнительная грамматика славянских языков устанавливает следующие ряды соответствий между русским языком и языками, сохранившими в той или иной степени носовые гласные. К таким языкам принадлежат: старославянский язык, в котором носовые гласные сохранялись в полной силе; об этом свидетельствует, в частности, древнейшая славянская азбука, глаголица, где носовые ***о*** и ***е*** изображались буквами, представляющими соединение букв, обозначающих чистые гласные ***о*** и ***е***, с особым знаком, указывающим на их носовой характер. Далее, пережитки говоров, имевших носовые гласные, находим в македоно-болгарских диалектах, примерно в районе

Солуни, с диалектом которого были знакомы Константин и Мефодий; здесь рефлексом носовых гласных, в тех словах, где они имеются, выступает глухой гласный *ъ* и носовой согласный *н* или *м*[1]. Наконец, носовые гласные сохранились в польском языке до наших дней, здесь рефлексом носовых гласных является либо собственно носовой гласный (перед фрикативным переднеязычным), либо сочетание чистого гласного плюс *н* или плюс *м* перед смычными, либо, наконец, чистый гласный в конце слов. Но во всех случаях на месте общеславянского носового ѫ, ѧ в польском пишут буквы ą и ę. Как раз совпадение в одних и тех же словах написания юсов в старославянских памятниках с произношением и написанием и ą и ę в польском языке позволило догадаться о характере произношения юсов в старославянском. Открытие существования в прошлом носовых гласных во всех славянских языках принадлежит великому русскому учёному, одному из основоположников сравнительного изучения славянских языков, А. Х. Востокову.

277. Приводим ниже ряды соответствий. Из языков, не имеющих носовых гласных, указываем только русские факты, которые нас ближайшим образом интересуют.

Русский	Польский	Македонский	Старославянский
зуб	*ząb*	*зъмб*	ꙁѫбъ
дуб	*dąb*	*дъмб*	дѫбъ
губа	*gąba* — „*pom*“, „*губа*“	*гъмба*	гѫба

Русский	Польский	Македонский	Старославянский
голубь	*gołąb*	—	голѫбь
кусать	*kąsać*	—	кѫсати
языкъ	*język*	*ензик*	ꙗзъкъ
чадо	—	*чендо*	чѧдо
мята	*mięta*	—	мѧта
пять	*pięć*	—	пѧть
имя	*imię*	—	имѧ
память	*pamięć*	—	памѧть

278. На основании этих и других подобных соответствий заключают, что и в восточнославянских, как и в других славянских, некогда в соответствующих словах существовали носовые гласные, заменённые в дальнейшем развитии всех восточнославянских языков через *у* в соответствии со старославянским ѫ и через *а* (*я*) в соответствии со старославянским ѧ. Предполагают, что общеславянское *ǫ* изменилось в русском в *у* через промежуточную ступень *ų* (*у* носовое); а ę изменялось в *а* (*я*) через промежуточную ступень ą. (*а* носовое) с мягкостью предшествующего согласного.

[1] Носовые гласные сохранились ещё в вымершем позднее диалекте семиградских болгар, орумынившихся в XIX в.; от них сохранились письменные памятники XVIII в.

279. Эта реконструкция носовых гласных для определённого этапа развития восточнославянских языков оказывается вполне научной, достоверной реконструкцией. Она подтверждается соответствиями других индоевропейских языков. Целый ряд важных явлений современных славянских языков может быть разъяснён только при предположении наличия в них носовых гласных, а это является важным побочным доказательством их существования.

280. В качестве примера индоевропейских соответствий общеславянским носовым сравните:

др.-индийск. *pánthāḥ* — „дорога", „путь"
авест. *pantā* — „дорога"
др. прусск. *pintis* — „дорога"
греческ. πόντος — „море"
латинск. *pons, pontis* — „мост"
ст.-сл. пѫть
др.-русск. *путь*

Особенно много соответствий мы находим в наиболее близко родственном славянским языкам литовском языке:

литовск. *dangús* — „небо", ст.-сл. дѫга, русск. *дуга, радуга* (в основе образа „дуги" лежит образ „небесной дуги", „свода")

литовск. *minti*, ст.-сл. мати, др.-русск. *мяти*
„ *rankà*, ст.-сл. рѫка, др.-русск. *рука*
„ *krantas* — „берег", „круча", ст.-сл. крѫтъ, др.-русск. *крутъ*
и мн. др.

281. Ряд явлений отдельных славянских языков оказывается совершенно непонятным, если не предположить, что во всех славянских языках, в том числе и в восточнославянских, некогда существовали носовые гласные. Мы уже видели, что так называемое „наращение" ***-ен*** в склонении существительных средн. р. на-***мя*** объяснимо только при предположении, что им. пад. и вместе с тем основа этих существительных некогда оканчивалась на-***ен,*** которое в конце слова давало закономерно носовое ***ę,*** изменившееся в дальнейшем в восточнославянских языках в ***а*** с сохранением мягкости предшествующего согласного.

Им. п. *sēmen* > *sěmę* → *sěm'a*, совр. *семя*
Род. п. *sēmene* > *sěmene*, „ *семени*

Рассмотрим ещё некоторые из явлений восточнославянских языков доказывающих, что в этих языках некогда существовали носовые гласные.

282. Обратим внимание на некоторые инфинитивы: *мять*, др.-русск. *мяти*; *жать*, др.-русск. *жати*; *пять, распять*, др.-русск. *пяти, распяти*. Эти инфинитивы морфологически разложимы на *жа-ти, мя-ти, пя-ти*. В настоящем времени мы имеем соответственно др.-русск. *мьн-у, жьм-у, жьн-у, пьн-у* современные *мну, жму,*

жну, -пну (распну). В длительных глаголах того же типа имеем: *(раз)-мин-а-ти, (по)-жин-а-ти, (по)-жим-а-ти, (рас)-пин-а-ти*. Таким образом, констатируем в соответствующих корнях чередования:

мя	:	*мьн*	:	*мин*
жа	:	*жьн*	:	*жин*
жа	:	*жьм*	:	*жим*
пя	:	*пьн*	:	*пин*

Если принять, что в корне инфинитив *я* восходит к носовому гласному *ę*, получившемуся из сочетания переднего гласного (в данном случае *ĭ* краткое) плюс носовой согласный; если учесть также, что *ь* есть не что иное, как общеславянский рефлекс *i* краткого (*и* восходит к *ī* долгому или к дифтонгу *eī*), то наши ряды чередования примут следующий вид:

mi̯n-	:	*mīn-*	
pi̯n-	:	*pīn-*	и т. п.

283. Соотношение *мя* и *мьн* и т. п. становятся теперь совершенно ясным; *мя* и *мьн* являются рефлексами одного и того же сочетания *mĭn*, которое имело разную судьбу в зависимости от положения в закрытом или открытом слоге.

mĭn (*ti*) в закрытом слоге дало *męti* потом *мяти*, ст.-сл. мати;
mĭn(*ǫ*) в открытом *мьпǫ* > *мьну* > *мну*, ст.-сл. мьнѫ; *mīn*(*ati*) в открытом дало *минати* и т. п.

Ср. в литовском *minú* — „мну“ и *minti* — „мять“. Подобным образом объясняются и такие древнерусские и современные русские чередования, как *клять* и *про-клин-а-ть*, *память* и *вс-по-мин-а-ть*; и др.

284. Обратим внимание ещё на следующие ряды чередования:

груз	*грязь*		
грузный	*грязнуть*	*груз-; гряз-;*	ст.-сл. грѫз: грязъ-
грузить			
муть	*смятение*		
мутить	*мятежь*	*мут-: мят-;*	ст.-сл. мѫт-: мат-
смута			
трус	*тряска*	*трус-: тряс-;*	ст.-сл. трѫс-: трас-
трусить	*трясти*		
упругъ	*пряжка*		
пружина		*пруг-: пряг-;*	ст.-сл. пѫг-: пряг-
супруги	*упряжь*		
тугой	*тягать*	*туг-: тяг-;*	ст.-сл. тѫг-: тяг-
звук	*звякать*	*звук-: звяк-;*	ст.-сл. зъвѫк-: зъвяк-
звучать			

285. Все эти случаи чередования *у* : *'а(я)* отражают, как указывают старославянские параллели, чередование *ǫ* > *у* : *ę* > *а* (*я*) и ещё более

раннее чередование *on* : *en* (или *om* : *em*). Таким образом, чередование *y* : *'a(я)* является в конечном счёте отражением обычнейшего для всех индоевропейских, в том числе и славянских, языков чередование *o* : *e*. Без предположения о существовании в восточнославянских языках носовых гласных чередование *y* : *я* совершенно необъяснимо.

286. Большое значение для объяснения истории носовых в восточно славянских языках имеет то обстоятельство, что некоторые соседние народности заимствовали у восточных славян отдельные слова в то время, когда в восточнославянских языках ещё существовали носовые гласные; восточнославянские носовые гласные отражены в этих языках в виде сочетания „чистый гласный плюс носовой согласный". Ср., например, эстонск. *und* — „уда", „удочка", литовск. *unda* (то же из вост.-сл. *ǫda* — „уда", „удочка", совр. русск. *уда; у* из *ǫ*; финск. (суоми) *suntia* — „церковный служитель", „быть церковным служителем", „наказывать", „принуждать", эст. *sundima* — „судить", „принуждать" из вост.-сл. *sǫditi, sǫdija,* ст.-сл. **сѫдити, сѫдия**; финск. (суоми) *kuontalo* — „моток пакли" из вост.-сл. *kǫdělь* (> *кудель*).

287. С другой стороны, следует отметить, что в заимствованных из других языков словах с сочетанием „гласный плюс носовой согласный в закрытом слоге" эти сочетания передаются в древнерусском через *o* > *ǫ* > *u*; ср. древнерусское название Золотого рога *Соуд* (< *sǫdъ*) из соответствующего скандинавского (варяжского) названия *sund* — „морской пролив".

288. Носовые гласные исчезли в восточнославянских языках не позже первой половины X в. Греческий писатель Константин Багрянородный, передавая в середине X в. славянские названия днепровских порогов, не отмечает в соответствующих случаях носовых гласных; он пишет Βερουτζη—др.-русск. *вьроучии* (ст.-сл. **вьрѫштии**), Νεασητ — „неясыть", „пеликан", ст.-сл. **неѫсыть**.

Изменение *je (ję)* в *o* и *ju* в *u* в начале слова

289. Общим для всех восточнославянских языков является изменение звукосочетания *je (ję)* в начале слова в *o*. Это изменение, как норма, не известно ни в западных, ни в южных славянских языках; вот почему наличие в древнерусском слов с *je (ję)* в начале слова там, где по-восточнославянски должно быть *o*, является одним из объективных лексико-фонетических признаков церковнославянских элементов в древнерусском и современном русском языке.

290. Изменение *je* в *o* происходило не всегда; так, перед слогом с задними гласными *(а, о, у, ы) je* в *o* не изменялось: *его* не изменялось в *ого; ему* — в *ому* и т. п. Повидимому, как устанавливает Ф. Ф. Фортунатов, *je* изменялось в *o* лишь перед передними гласными, за исключением, однако, *ь*. Перед слогом с *ь* сочетание *je* сохранялось; поэтому мы имеем *ель, ёлка,* а не *оль, олка*; *ёж, ежа,* а не *ож, ожа,* но в названии ягоды *ожина* (от слова *ёж*) имеем *o* (перед *и* — в следующем слоге). Для иллюстрации нашего звукового закона сопоставим следующие старославянские и древнерусские слова:

старославянское	древнерусское
ꙁєрѡ	*озеро*
ꙗлень	*олень*
ꙗсень	*осень*
ꙗсетръ	*осетръ*
ꙗдинъ	*одинъ*

291. Отметим некоторые „исключения" из указанного звукового закона, обусловленные аналогией и другими причинами: *ежевика,* вместо *ожевика* по аналогии со словом *ёж; одного* вместо *едьного, одна* вместо *едьна* (перед слогом с *ь*!) по аналогии к *одинъ*, где *о* закономерно перед *и; единъи, единица* — церковнославянизмы; косвенные падежи от слова *ель* (род. пад. *ели* перед *и* и др.) — по аналогии к именительному падежу *ель* (перед *ь*).

292. С изменением *je* > *о* в начале слова сходно изменение *е* > *о* в словах, заимствованных из греческого и других языков. Ср. др.-русск. *олѣи* вместо *елей, октѣнья* вместо *ектенья.* Особенно много таких примеров в собственных именах лиц, причём здесь, наряду с живой, идущей из древнерусского языка традицией произношения с *о,* в литературном языке существует и преобладает книжная церковная традиция произношения с *е:*

Емельян, Емеля	*Омеля, Омелька*
Евдокия	*Овдотья, Авдотья*
Евстафий	*Остап*
Елена	*Олена, Алена*

Такое же изменение наблюдаем в скандинавских именах:

Helga > *elьga* > *Ольга*
Helgu > *elьgъ* > *Ольгъ, Олегъ*

и в заимствованном через скандинавов греческом слове *helandi* (χελανδιον) > др.-русск. *олядь* — „род судна".

Во всех этих примерах, однако, звуковые условия перехода *е* в *о* иные, чем в предыдущих. Здесь *е* переходит в *о* и в слоге перед задним гласным *(Остап, Овдотья)* и перед *ь (Ольга).* Таким образом, переход *е* в *о* в начале заимствованных слов следует отделять от такого же перехода в исконно-славянских словах.

293. Общевосточнославянским является и переход начального сочетания *ju* в *и,* т. е. исчезновение *j* перед начальным *и (у).* В других славянских языках, а также и в старославянском этот переход не имел места. В современном русском литературном языке в ряде случаев вместо ожидаемой собственно русской формы, наличной в древнерусском, имеем церковнославянскую форму с *j.*

Ср. при закономерном др. -русск. *унъ, уноша* — современное (церк.-сл.) *юный, юноша;* др.-русск. *угъ* — „юг", но совр. (церк.-сл.) *югъ, южный*; слово *ужинъ,* семантически отошедшее от слово *югъ,* сохраняет древнерусскую норму без *j.* Слово *уха* (ст.-сл. юха), родственное латинскому *jus* — „суп", утеряло *j* по нашему звуковому закону:

укр. *юшка* — „подливка", имеет вторичное *j*, как *юлица* вместо улица и др. Ср. в именах *Ульян(ов)*, *Ульяна* из *Юлиан(а)*, *Устин*, *Устинья* из *Юстин* и др.

Изменение групп *dl*, *tl* в *l* в середине слова

294. Это звуковое явление обще восточнославянским языкам с южнославянскими; в западнославянских языках его нет. Ср.:

чешск. *modliti*,	польск. *modlić*,	ст. -сл.	молити,	др.-русск.	*молити*,
„ *vedl*,	„ *wiódł*,	„	вєдъ,		*вел*ъ,
„ *sádlo*,	„ *sadło*,	„	сало,		*сало*,
„ *vidle*,	„ *widły*,	сербск.	*виле*,		*вилы*,
„ *pletl*,	„ *płótł*,	ст. -сл.	плелъ,		*плел*ъ,
„ *jedle*,	„ *jodła*,	„	ель,		*ель*.

Это изменение происходило и в древнейших заимствованных словах; так, например, германское имя Gutleib, составленное из слова gott — „бог" и глагола lieben — „любить" (ср. славянское *Боголюбъ* и *Богумилъ*), переходя в восточнославянские языки, теряло *t* перед *l*: *Gutleib* > *Гълѣбъ* > *Глеб* (ср. совр. немецк. *Готлиб*).

295. Изменение *dl*, *tl* в *l* легко разъясняется внутри каждого восточнославянского языка. В самом деле, перфекты на *-лъ* образуются от глагольных основ *плет-*, *мет-*, *пад-* и т. п.: *плетлъ* > *плел*, *метлъ* > *мел*, *(у)падлъ* > *(у)пал* и т. п. В других формах (т. е. не перед *л*) *т* и *д* сохраняются: *плету*, *плетут* и т. д. Следовательно, исчезновение *т* и *д* вызвано тем, что за ними непосредственно следовало *л*.

296. Кажущиеся исключения объясняются тем, что в иных случаях в общевосточнославянскую эпоху между *т* и *д*, с одной стороны, и *л* — с другой, стоял глухой гласный: *метла* < *метьла*; ср. *метел* и *метёлка*; *светлый* из *свѣтьлъ*: ср. *светел*, *светёлка*. В других случаях слова с *dl*, *tl* являются поздними заимствованиями из западнославянских языков: *быдло* — „скот", *заядлый* и т. п.

В начале слова группы *tl*, *dl* сохраняются: *длина* и т. п.

297. В древнепсковском диалекте группы *tl* и *dl* изменялись в *kl*, *gl* (как в литовском языке).

В древнепсковских памятниках очень часты написания вроде *привегли* вместо *приведли*, общевост.-сл. *привели*. Некоторые ничтожные остатки такого произношения сохранились и в современном псковском диалекте; ср., например, *жерегло* < *жердло* — „узкий пролив"; др.-русск. *жерело* (совр. *ожерелье*).

Изменение сочетаний *kv*, *gv* в *cv*, *zv*

298. Это звуковое изменение также обще всем восточнославянским и южнославянским языкам. В западнославянских его нет. Оно происходило лишь перед звуками *ѣ* и *и* из дифтонга *oi* или *ai*. Ср.:

Чешск. *květ*, польск. *kwiat*, ст.-сл. и др.-русск. цвѣтъ;

Чешск. *hvězda*, польск. *gwiazda*, ст.-сл. и др.-русск. звѣзда.

Изменение сочетаний „губная + *j*“

299. Во всех славянских языках ещё в общеславянскую эпоху сочетания ***pj*** и ***bj*** переходили в начале слова в ***pl'***, ***bl'*** (ср. общесл. *bl'udo* и готск. *biuds*). Но в другом положении они в общеславянском сохранились без изменения и в западнославянских языках дали мягкие губные согласные (без последующего ***л***). Наоборот, в восточных славянских языках преобразование общеславянских сочетаний губная + *j* в сочетании губная + ***л*** обязательно во всех положениях в слове. Ср. чешск. *koupě* из *kupja*, чешск. *země*, польск, *ziemia* из *zemja;* польск. *lublę* из *l'ubiǫ* при русск. ***купля, земля, люблю, капля, ловля*** и т. д.

Южнославянские языки отчасти (сербо-хорватский и словенский) сближаются в этом отношении с восточными, но болгарский язык даёт различные рефлексы сочетаний „губная + *j*“; современный болгарский идёт в этом отношении вместе с западными славянскими языками; старославянские памятники обнаруживают колебания, в них встречаем и сочетания „губной + *л'*“ и мягкий губной.

Судьба сочетаний *tj, dj* и сочетания *kt* перед передними гласными

300. Сочетания ***tj*** и ***dj*** ещё в общеславянском языке изменялись в мягкие аффрикаты, но в дальнейшем в каждой группе славянских языков и в отдельных славянских языках эти мягкие аффрикаты давали различные рефлексы.

Так, сочетание ***tj*** давало во всех восточнославянских языках звук ***ч*** (в польск. ***c***, т. е. ***ц***), в ст.-сл. ***шт*** (в церк.-сл. русск. извода ***щ***).

Сочетание ***dj*** давало в восточнославянских языках звук ***ж*** (иногда в юго-западных древнерусских диалектах аффрикату ***дж***, как вторичное явление), в польском ***dz***, в старославянском ждь.

Общеславянский	Восточнославянский	Польский	Старославянский
* *svętja*	*свѣча*	*swieca*	свѣштꙗ
* *medja*	*межа*	*miedza*	межда
* *chodjǫ*	*хожю*	*chodzę*	хождѫ

Аналогичный этому ***(tj > ч)*** рефлекс имеет и сочетание ***kt*** перед передним гласным ***i***:

Общеславянский	Восточнославянский	Польский	Старославянский
* *mogti > mokti*	*мочи*	*moc*	мощи
* *noktь*	*ночь*	*noc*	ношть

Соответствие ст.-сл. шт (церк.-сл. ***щ***) др.-русск. ***ч*** и ст.-сл. ждь (церк.-сл. ***жд***) др.-русск. ***ж*** имеет большое значение, как объективный лексико-фонетический признак церковно-славянских элементов

в восточнославянских языках. Многочисленные слова с *жд* и *щ* (в чередовании с *т, д*) в современном русском языке — церковнославянского происхождения. Ср. *хожу*, но *хождение*, при *ходить; рожать*, но *рождать* при *родить; освещение* при *свет* и *свеча; мощь* при *мочь* и т. п.

Звук *ѣ*

301. Общеславянское *ѣ* было звуком долгим по происхождению; в других индоевропейских языках ему соответствует или *ē*, или дифтонг *oi̯ (ai̯)*. В различных славянских языках мы имеем различные рефлексы общеславянского *ѣ*, причём отдельные языки различаются в этом отношении по диалектам. Вот почему представляется затруднительным точно установить общеславянское произношение *ѣ*. Скорее всего, что уже по разным диалектам общеславянского языка существовало разное произношение *ѣ*. При этом возможно, что распределение этих общеславянских диалектов было, судя по рефлексации *ѣ*, иным, чем то их распределение, которое сложилось ко времени образования отдельных славянских народностей. Этим объяснялось то обстоятельство, что мы имеем сейчас одинаковые принципы рефлексации *ѣ* в диалектах разных групп славянских языков и обратно — внутри отдельных славянских языков нет единства рефлексации *ѣ*. Так, например, различные рефлексы *ѣ* в зависимости от долготы или краткости слога мы имеем, с одной стороны, в чешском языке, а с другой — в юго-западных говорах сербо-хорватского языка. В польском языке различные рефлексы *ѣ* имеем в зависимости от качества следующего согласного: перед твёрдым переднеязычным имеем *a* с предшествующей мягкостью согласного, перед заднеязычным, губным и смягчёнными переднеязычными имеем *e;* такой же принцип рефлексации *ѣ* находим в некоторых чакавских говорах сербо-хорватского языка. Различные рефлексы *ѣ* в зависимости от твёрдости или мягкости последующего согласного находим в русских диалектах и в болгарском языке.

302. Что касается самого качества произношения *ѣ*, то во многих славянских языках мы имеем дифтонгическое его произношение.

Так, из западнославянских языков в ударяемых слогах *ѣ* произносится как дифтонг *ie* в лужицких языках, произносится как дифтонг *ie* в долгих слогах в словацком языке и произносилось так в чешском, дифтонги *uje* и *je* находим в юго-западных говорах сербо-хорватского языка, дифтонгическое произношение *ѣ* свойственно некоторым говорам русского и украинского языков. Исходя из этого, некоторые учёные считают, что господствующим типом произношения *ѣ* в общеславянском было дифтонгическое *i̯e*. Монофтонги отдельных диалектов славянских языков они рассматривают как результат монофтонгизации дифтонга *i̯e*. Из дифтонга *i̯e* объясняют произношение *и* и *е* в других славянских языках и диалектах.

303. Что касается собственно восточнославянских диалектов, то дифтонгическое произношение *ѣ* для них представляется весьма вероят-

ным, как на этом в своё время справедливо настаивал акад. Шахматов. Из дифтонга *ие* лучше всего объяснимы все разнообразные рефлексы **ѣ*, изучаемые в восточнославянской диалектологии.

304. В древнерусских памятниках, в зависимости от диалекта автора и переписчика, мы наблюдаем либо „правильное" написание *ѣ*, либо смешение его с *е* или *и*.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ДРЕВНЕРУССКИЕ ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Падение глухих

305. Общеславянские гласные звуки *ъ* и *ь* являются по своему происхождению *ŭ* и *ĭ*. Об этом говорит факт соответствия звукам *ъ* и *ь* в других индоевропейских языках кратких *u* и *i*. Ср., например:

ст.-сл. дъштн,	др.-русск. *дъчи,*	литовск. *duktẽ,*	др.-инд. *duhitā́*
„ снъха	„ *снъха,*	др. индийск. *snušā́,*	греческ. *νυός*
„ мъхъ	„ *мъхъ*	латинск. *muscus,*	литовск. *musaĩ*
„ вьдова	„ *вьдова,*	латинск. *vidua*	др.-инд. *vidhávа*
ст.-сл. льнъ,	др.-русск. *льнъ,*	греческ. *λίνον,*	литовск. *linaĩ*
„ осьлъ	„ *осьлъ,*	готск. *asilus,*	литовск. *ãsilas* (мн. ч.).

306. *ъ* и *ь* сохраняли свой характер, близкий к *ŭ* и *ĭ*, в общевосточнославянскую эпоху и на древнейшем этапе развития древнерусского языка. Впоследствии они редуцировались, становились звуками неполного образования (короче кратких), теряли своё качество звуков *ŭ* и *ĭ*, превращались, как иногда говорят, в глухие звуки, вроде современных редуцированных в словах *хобот* (хо́bət), *паровоз* (pəravós) (см. § 307).

По крайней мере, в ранних заимствованиях из древнерусского в прибалтийско-финские языки *ъ* и *ь* передаются через *u* и *i*. Ср.:

суоми	*akkuna,*	др.-русск. *окъно*
суоми	*lusikka*	
карельск.	*luzikka,*	др.-русск. *лъжька* — „ложка"
эстонск.	*lusikas*	
финск.	*turku*	
эстонск.	*turg,*	др.-русск. *търгъ*
финск.	*palttina,*	др.-русск. *полтьно* — „полотно"
финск.	*risti,*	др.-русск. *крьстъ*
эстонск.	*rist*	

С другой стороны, финское *ŭ* передаётся в древнейших древнерусских заимствованиях через *ъ*. Ср. финское название реки *Musta*— „чёрная", др.-русск. *Мъста*, совр. *Мста*; финск. *purje* — „парус", др.-русск. *пърть* — „паруса" (*ѣ* передаёт дифтонг *je*).

Ср. также у византийского писателя Константина Багрянородного (середина X в.) передачу славянского названия одного из днепровских

порогов Νεσσουπη = *несъпи*, где *ου* = *и* передаётся др.-русск. *ъ*. Впрочем, тот же Константин др.-русск. *ь* передаёт через ε = *е*, а не через *і*; ср. название другого порога Βερουτζη = др.-русск. *вьроучии*.

307. Дальнейшая судьба *ъ* и *ь* зависела от их положения, позиции в слове; *ъ* и *ь* в сильной позиции (см. § 308) переставали быть самостоятельными фонемами и сливались в древнерусском языке с фонемами *о* и *е*, „переходили" в *о* и *е*; *ъ* и *ь* в слабой позиции (см. § 308) вовсе исчезали из произношения, на их месте в слове образовался нуль звука. Исчезновение *ъ* и *ь* из системы фонем древнерусского языка (их превращение в звуки полного образования *о* и *е*, с одной стороны, и полное исчезновение из произношения, с другой) называют обычно падением глухих. Падение глухих имело очень большое значение в истории звукового строя древнерусского языка.

308. *ъ* и *ь* занимали сильную позицию (или, как говорят, были сильными): 1) в первом слоге под ударением, 2) перед слогом, содержащим слабые *ъ* и *ь*; *ъ* и *ь* были слабыми (находились в слабой позиции) во всех других положениях, т. е. в конце слов и в слогах перед гласными полного образования и сильными *ъ* и *ь*. О сильной позиции *ъ* и *ь* в сочетании с плавными см. § 313 и 314.

Приведём примеры на сильные и слабые *ъ* и *ь*:

сънъ: первый *ъ* здесь сильный (стоит перед слогом с слабым *ъ*, который является слабым, потому что стоит в конце слова); второй *ъ* слабый. Вот почему первый *ъ* изменяется в *о*, а второй исчезает, и *сънъ* даёт *сон*.

дьнь: первый *ь* сильный (стоит перед слогом с слабым *ь*); второй *ь* слабый. Вот почему первый *ь* изменяется в *е*, а второй исчезает, и *дьнь* > *ден'*.

съна (род. пад.): *ъ* стоит перед слогом с гласным полного образования, т. е. является слабым и поэтому исчезает: *съна* > *сна*.

дьне (род. пад.): *ь* стоит перед слогом с гласным полного образования, т. е. он слабый и поэтому исчезает: *дьне* > *дне*, совр. *дня*.

кусъкъ: первый *ъ* сильный, потому что стоит в слоге перед слабым *ъ*; второй *ъ* слабый, потому что стоит в конце слова; *кусъкъ* > *кусок*, но в род. пад. *кусъка* *ъ* стоит перед гласным полного образования, он слабый и исчезает: *кусъка* > *куска*.

посълъ: первый *ъ* (в слоге перед слабым *ъ*) сильный и изменяется в *о*; второй *ъ* — в конце слова — исчезает; *посълъ* > *посол*, но род. пад. *посъла* > *посла*, потому что *ъ* является слабым, как стоящий перед слогом с гласным полного образования; так же в других падежах: *посъловъ*, *посълы* и т. п.

осьлъ: *ь*, находясь перед *ъ* слабым, является сильным и изменяется в *е*; слабым *ъ* является потому, что стоит в конце слова: *осьлъ* > *осел* > *осёл*.

жьньць (от *жать*, *жьну*): второй *ь* сильный, потому что стоит перед слогом с слабым *ь* (конечным); первый *ь* слабый, потому что стоит в слоге перед сильным *ь*; первый *ь*, как и конечный, исчезает, второй изменяется в *е*; *жьньць* > *жнец*. Но в род. пад.

жьньца — второй *ь* слабый, потому что стоит перед гласным полного образования; первый *ь* сильный, потому что стоит в слоге перед слабым *ь*; поэтому в род. пад. ожидаем форму *женца;* однако в склонении были обобщены формы им. пад. и вместо фонетически закономерного *жнец*, род. пад. *женца* стали говорить по аналогии к им. пад. *жнец*, род. пад. *жнеца*.

шьвьць — второй *ь* сильный, потому что стоит перед слогом с слабым (конечным) *ь*; первый *ь* слабый, потому что стоит перед слогом с сильным *ь*; первый *ь*, как и конечный, исчезает, второй закономерно изменяется в *е: шьвьць* > *швец*. Но в род. пад. *шьвьца* второй *ь* слабый (перед слогом с гласным полного образования) и исчезает, первый *ь* (перед слогом с слабым *ь*) сильный и изменяется в *е: шьвьца* > *шевца*. Однако, как и в случае *женца*, в склонении обобщена основа им. пад.: вместо *швец*, род. пад. *шевца*, стали говорить *швец, швеца*.

309. Приведём примеры на сильный *ъ* в начале слова под ударением:

съ́хнути: здесь *ъ* стоит перед слогом с гласным полного образования и по общему правилу должен был бы быть слабым, но наличие ударения на первом слоге (на *ъ*) делает его сильным, и он изменяется в *о*: *съхнути* > *сохнуть;* по аналогии к *сохнуть* имеем и *засохнуть, высохнуть* и др. (а не *засхнуть, высхнуть*).

дъ́хнуть: то же замечание, что и о *сохнуть;* ср. по аналогии к *дохнуть — передохнуть*.

дъ́ску — вин. пад. от слова *дъска*. Хотя *ъ* и стоит перед слогом с гласной полного образования и по общему правилу должен был бы быть слабым, наличие ударения на *ъ* делает его сильным; он не исчезает и изменяется в *о*. В им. пад. *дъска* ударение падает на окончание и по общему правилу *ъ* оказывается в слабой позиции, *ъ* должно исчезнуть; из *дъска* фонетически должно получиться *дъска* > *дска* > *тска* > *цка;* эта форма действительно была засвидетельствована в диалектах в значении *доски*, на которой пишут икону; в литературном языке и в ряде диалектов обобщена основа вин. пад. *доск-*; поэтому говорят вместо *цка, цки* и т. д. *доска, доски* и т. д.; здесь оказывает влияние и то обстоятельство, что во множ. числе ударение во всех падежах на начальном слоге *дъ́скы, дъ́скамъ* и др., что фонетически даёт *доски, доскам* и пр.

стькло: фонетически должно дать *стклo* > *скло* (ср. *склянка* из *стклянка* < *стьклянъка*), так как *ь* стоит хотя и в начальном слоге, но без ударения; однако в литературном русском языке обобщена в склонении основа множ. числа *стькла* и т. д., где *ь* стоял под ударением, был сильным и изменялся фонетически в *е*.

мъхъ: *ъ* после *м* сильный, после *х* слабый, поэтому *мъхъ* > *мохъ*, род. пад. *мъ́ха* — *ъ* под ударением сильный, поэтому *моха*, также *мохом;* во множ. числе *мъхы* > *мхи;* также *мъшистый* > *мшистый*.

пь́стрый — пестрый.

тьща > *теща*, а не *тща* и т. п.

310. Из предыдущего для нас становится ясным происхождение так называемых „беглых" гласных, т. е. чередований *о* с нулём и *е* с нулём в современном русском языке. Беглые *о* и *е* мы имеем, как правило, в тех случаях, когда современные *о* и *е* восходят к древнерусским *ъ* и *ь*, а не к древнерусским *о* и *е*.

Так, в слове *дом* после *д* имеем *о*, не чередующееся с нулём, не „беглое" (ср. род. пад. *дома*, им. мн. *дома* и т. д., а не *дма*); этому *о* и в древнерусском соответствует *о*, а не *ъ*, но в слове *лоб* имеем беглое *о* (род. пад. *лба*); этому *о* в древнерусском соответствует *ъ*: *лоб* < *лъбъ*. В слове *купец* имеем беглое *е* (род. пад. *купца*); поэтому восстанавливаем др.-русск. *купьць* > *купец*. В приставке *со* имеем беглое *о*; ср. *с* (без *о*) и *со: со мной*, но *с тобой;* восстанавливаем в др.-русск. приставку *съ*; *съ мъной* даёт закономерно *со мной*, а *съ тобой* — *с тобой*.

311. Нужно, однако, иметь в виду, что иногда при „беглом" *о* или *е* в современном языке имеем в древнерусском не *ъ* или *ь*, а *о* или *е*; это в случаях, в которых беглость *о* возникла по аналогии к тем случаям, когда она фонетически закономерна; так, например, современное *потолок*, род. пад. *потолка* как будто говорит о беглом *о* и о др.-русск. форме *потолъкъ*, род. пад. *потолъка*, но это неверно; в слове *потолок* беглость *о* в склонении возникла по аналогии к таким многочисленным случаям слов на *-ок*, где мы действительно имеем суффикс *-ък-*, закономерно теряющий свой *ъ* в косвенных падежах. *Потолокъ*, род. пад. *потолка* возникло по аналогии к таким случаям, как *кусок* — *куска*, *стрелок* — *стрелка* и т. п. Ср. в пословице: „Руки в боки, глаза в потолоки", где сохраняется закономерно *о*. Беглость *о* в словах на *-ок* проникает иногда в совсем поздние заимствования, как, например, в позднее французское заимствование *брелок*, род. пад. которого часто выступает в литературно неправильной форме *брелка*, словно здесь когда-то был *ъ*, между тем как об этом не может быть и речи: слово *брелок* заимствовано в XVIII—XIX вв.

Такого же аналогического происхождения беглость в словах *лёд, льда* (по аналогии к *лён, льна* и т. п.) — в древнерусском только *лед, леда* с *е;* также — *камень, камня* и др.

312. Иногда беглые *о* и *е* возникают, повидимому, по фонетическим причинам. Это в тех случаях, когда мы имеем в конце слова после отпадения *ъ* или *ь* группу „согласный плюс плавный": *рубль* > *рубл'* > *рубель*, но *рубля; журавль* > *журавл'* > (диалектн.) > *журавель* („колодец"), но *журавля* (род. пад.); *вихрь* > *вихр'* > *вихорь*, но *вихря; угль* > *угл'* > *уголь*, но *угля;* род. мн. *земль* > *земл'* > *земель; вѣтръ* > *вѣтр* > *вѣтер*, но *вѣтра* и т. п. Также в случаях подобных *землька* > *земелька* (вместо *земл'ка*), *ведрько* > *ведерко* вместо *ведрко* и др.

В обоих этих случаях слабый *ь* должен был фонетически исчезнуть, но наличие группы „плавный плюс согласный" *(млк, дрк)* вызвало появление вторичного беглого *е*.

313. Особую судьбу имеют глухие гласные в группах „согласный, плавный и глухой" в начале слова, а также в группах „согласный,

глухой, плавный и согласный". В обоих этих положениях в русском языке глухие становились сильными и изменялись в *о* и *е*.

Для первого случая сравните:

сльза > *слеза*, но в польск. *słьza* > *słza* > *łza*
блъха > *блоха* „ „ „ *błьcha* > *pchła*
трьвога > *тревога*
бръсать > *бросать*
крьстъ > *крест*, также и *креста*, *крестить*.

314. Во втором случае мы имеем так называемые группы, *tьrt*, *tьlt*, *tьrt*, *tьlt*, где знак *t* обозначает любой согласный: *тьргъ*, *вьрба*, *вълкъ*, *пълкъ* и т. п. Группы *tьlt* в древнерусском нет: она изменилась в *tъlt*. В общеславянском этим группам, как полагают, соответствовали слоговые плавные между двумя согласными: *trt*, *tr̥t*, *tlt*, *tl̥t*.

Повидимому, старославянские написания ръ, рь, лъ, ль также обозначали слоговые гласные: тръгъ, врьба, влькъ, плънъ. Слоговые плавные мы имеем в соответствии с этими написаниями в сербо-хорватском: *врба*, *трг*, *вук* (из *влк*), *пун* (из *плн*) и т. п. В древнерусском, как и в восточнославянских языках вообще, в соответствии с общеславянскими слоговыми плавными произносились сочетания *ър*, *ьр*, *ъл*, в которых, как мы уже говорили, глухие были сильными независимо от положения в слове; так, в слове *вьрба* *ь* был сильным, несмотря на то, что находился в слоге перед гласным полного образования: *вьрба* > *верба*; *тьргъ* > *торг*, вин. мн. *тьргы* > *торгы*; *вълкъ* > *волк*, вин. мн. *вълкы* > *волкы*.

Глухие в сочетании с последующим *j* имели разную судьбу в древнерусских диалектах, лёгших в основу русского языка, и в древнерусских диалектах, лёгших в основу украинского и белорусского языков.

В первых сочетания *ъj*, *ьj* дали *oj*, *ej*: *мъју* > *мóю* (от *мыть*), *добрьјь* > *доброй*, *слѣпьјь* > *слепой*; во вторых в подобных случаях получалось не *о* и *е*, а *ы* и *и*.

315. Что касается хронологии падения глухих, то она с точностью установлена акад. А. А. Шахматовым. В южных древнерусских говорах процесс падения глухих завершается во второй половине XII в., в северных — в первой половине XIII в.[1]. Как можно судить по памятникам, в первую очередь исчезали слабые глухие в первом слоге слова (при отсутствии на них ударения). Ср. в памятниках XII в. при сохранении глухих в других случаях: *створи* (вместо *сътвори*), *многъ* (вместо *мъногъ*), *князь* (вместо *къназь*), *кто* (вместо *къто*) и т. п. Отпадение *ъ* и *ь* в этом положении относится, возможно, уже к XI в.

---

[1] Само собой разумеется, что хронология падения глухих установлена лишь для тех диалектов, которые отражены в памятниках. В некоторых диалектах процесс падения глухих мог завершиться и позднее.

316. В славянских диалектах, отложившихся в известных на Руси старославянских и церковнославянских памятниках, падение глухих осуществилось раньше, чем в древнерусском языке. В связи с этим стоит пропуск *ъ* и *ь* слабых или написание *о* и *е* вместо сильных *ъ* и *ь* в древнерусских, преимущественно церковных, памятниках до второй половины XII в. Под влиянием живого болгарского произношения, в котором как раз падение глухих осуществлялось раньше, чем в древнерусском, а вместо сильных *ъ* и *ь* произносили *о* и *е*, в древнерусском церковном произношении, в эпоху, когда в живом древнерусском языке глухие ещё существовали, стали искусственно произносить *о* и *е* и на месте слабых *ъ* и *ь* по аналогии к тем случаям, когда болгары произносили *о* и *е* вместо сильных *ъ* и *ь*. Вот почему и в древнерусских памятниках, и даже по традиции от древнерусской эпохи в современном литературном языке мы наблюдаем *о* и *е* на месте слабых глухих. Сравните такие слова, как *совет* — др.-русск. *съвѣтъ*, *собор* — др.-русск. *съборъ*, *уповать* — др.-русск. *упъвати*, *рождество* — др.-русск. *рожьство* (см. об этих церковнославянских формах у акад. Шахматова в „Очерке современного русского литературного языка", 1941, гл. I).

Падение конечного неударенного *и*.

317. Падение конечного неударенного *и* хронологически совпадает с падением глухих. Оно может быть иллюстрировано многочисленными примерами. Приведём некоторые из них:

2-е лицо ед. ч. *-ши* > *ши* (пишется *шь*) — *можеши* > *можешь*; *идеши* > *идешь* > *идёшь* и др.

2-е лицо ед. ч. повелительного наклонения — *будь* < *буди*; *оставь* < *остави* и др.

мати > *мать*

домови > *домовь*, откуда *домов* и *домой* (дат. ед. от *домъ*)

долови > *доловь*, откуда *долов* и *долой* (дат. ед. от *долъ*)

инфинитив *ти* > *ть* (*имѣти* > *иметь*, *ходити* > *ходить*).

Возникшие в результате этого звукового изменения явления могли нарушаться под влиянием аналогии; так, вместо *мать* могло появляться *мати* (ср. укр. *мати*) под влиянием *дочи́* (с ударением на конце); *-ти* в инфинитиве могло восстанавливаться под влиянием ударенных случаев, вроде *нести́*, *пасти́* и др.

318. Замечается также исчезновение неударенного начального *и* (из *jь*); но оно имело место, главным образом, в южных и западных древнерусских диалектах и отразилось, главным образом, в украинском и белорусском языках. Ср.: украинск. и белорусск. *мати*, *мать* вместо *имати*; *му* вместо *иму*; украинск. *грати* вместо *играти*; *голка* вместо *иголка*; украинск. и белорусск. предлог и приставка *з-* вместо *из-*: *з нее*, *звести* вместо *из нее*, *извести*; *спідніця*, *звісно*, *зволити* вместо *исподьница*, *извѣстьно*, *изволити* и др.; *Ларион*, *Исидор*, *Игнат* > *Ларион*, *Сидор*, *Гнат*.

Некоторые последствия падения глухих

319. Падение глухих имело большое значение в истории звукового строя древнерусского языка.

Ниже мы перечислим некоторые важнейшие последствия падения глухих.

320. До падения глухих в древнерусском языке вовсе не было закрытых слогов. Целиком сохранялись отношения, создававшиеся во всех славянских языках ещё начиная с праславянской эпохи в силу действия закона открытых слогов. В результате падения глухих в древнерусском языке возник закрытый слог как фонетическая категория. Закрытые слоги появились во множестве слов. Укажем прежде всего на закрытые конечные слоги, появившиеся вследствие падения конечных слабых **ъ** и **ь**: *столъ* > *стол; конь* > *кон'; идетъ* > *идет; стоимъ* > *стоим* и мн. др. Закрытые слоги возникли, конечно, и в середине слов; ср. *ло-дъ-ка* > *лод-ка; про-сь-ба* > *прос'-ба; клѣтъка* > *клет-ка* и мн. др. Возникновение закрытых слогов сильно изменило звуковой строй древнерусского языка.

321. С падением глухих стоит в связи и появление в древнерусском языке односложных слов. До падения глухих в древнерусском языке было незначительное количество односложных слов. Это были, главным образом, служебные слова, предлоги и союзы: ***съ, къ, да, и, нъ (но)*** и др. С падением конечных слабых глухих множество двусложных слов превратилось в односложные: *домъ* > *дом; конь* > *кон'; соль* > *сол'; стрѣлъ* (род. мн.) > *стрел;* и т. д.

322. Падение глухих вызвало в древнерусском языке (в большинстве его диалектов, за исключением части тех, которые легли в основу украинского языка) оглушение конечных звонких согласных. Так, в русском: *годъ* > *год* > *гот,* но *года; слезъ* > *слез* > *слёс,* но *слеза,* и т. д. Отмечается также отвердение конечных согласных; отвердевают, например, губные: *семь* > *сем'* > *сем; тѣмь* > *тѣм'* > *тѣм* > *тем* и др.

323. Далее, в результате падения глухих возникают многочисленные ассимиляционные явления. Среди них отметим ассимиляцию звонких глухим и глухих звонким: *лодька* > *лодка* > *лотка; просьба* > *прос'ба* > *проз'ба* и др.

324. Звук ***и***, попадавший в результате падения глухого в положение после твёрдого согласного, изменялся в ***ы:***

въ избу > *(в избу)* > *вызбу*
подъискати > *(подискать)* > *подыскать*
съиграти > *(сиграть)* > *сыграть*
съ Иваномъ > *(с Иваном)* > *сываном*
садъ и домъ > *(сад и дом)* > *садыдом* и т. п.

325. В возникших в конце слов вследствие падения глухого группах согласных ***кл, гл, зл, сл, рл, пл, бл*** исчезал ***л***. Ср.:

пеклъ > *пекл* > *пек,* но *пекла, пекло, пекли*
леглъ > *легл* > *лег,* но *легла, легло, легли*

везлъ > *везл* > *вез*, но *везла, везло, везли*
неслъ > *несл* > *нес*, но *несла, несло, несли*
гребльъ > *гребл* > *греб*, но *гребла, гребло, гребли*
ослѣплъ > *ослѣпл* > *ослеп*, но *ослепла, ослепло, ослепли*
умерлъ > *умерл* > *умер*, но *умерла, умерло, умерли*

В именах существительных это звуковое явление проявляется с меньшей очевидностью в силу влияния косвенных падежей, сохраняющих *л*. Ср., однако, *рубль* > *рубл* > *руп*, но рядом с этим *рубль* (при *рубля*), *вопль* (при *вопля*). Часто в подобных случаях возникают вторичные „беглые" *о* и *е*. Ср.: рядом с *рубль* и *руп* — *рубель; угль* > *уголь; веслъ* (род. мн.) > *весел; узлъ* > *узел; земль* (род. мн.) > *земель* и др.

Повидимому, сходное явление имеем и в сочетаниях тех же согласных со звуком *р*, который стремился к исчезновению в соответствующих условиях; так следует объяснять: *вихрь* > *вихорь; вѣтръ* > *вѣтер* > *ветер; храбръ* > *храбор* или *храбёр; добръ* > *добёр; хитръ* > *хитёр*; *сестръ* (род. мн.) > *сестёр* и др.

326. Одним из последствий падения глухих в древнерусском было удлинение *о* и *е* в слогах перед слогом с выпавшим глухим. Это явление охватывало лишь южные и часть западных древнерусских говоров, т. е. было диалектным. Оно отражается в современном украинском языке и в южных диалектах белорусского.

Удлинение *е* в этом положении отражается в древнерусских (южных) памятниках со второй половины XII в., т. е. со времени падения глухих. Удлинение *е* выражается на письме тем, что в слоге перед выпавшим глухим вместо буквы *е* пишут букву *ѣ*, имевшую в древнерусском языке значение *ие̂*: *камѣнь* вместо *камень; учитѣль* вместо *учитель; шѣсть* вместо *шесть; будѣть* вместо *будеть*. Таким образом, удлинение *е* сопровождалось его дифтонгизацией. В соответствии с этим новым *ѣ* в современных североукраинских и южнобелорусских диалектах находим дифтонги: *шиесть, пиечь* вместо *шесть (шѣсть), печь (пѣчь);* в литературном украинском эти дифтонги монофтонгизируются и изменяются в *і*: *шість, пічь, весілля* (вместо *веселье*). Новый звук *ѣ* совпал, таким образом, со старым. Удлинение *о* в слоге перед слогом с выпавшим глухим относится к той же эпохе, что и удлинение *е*, и иногда находит себе выражение в письме в написании *оо*. Удлинение *о* также сопровождалось его дифтонгизацией; дифтонги вместо долгого *о* сохранились до сих пор в североукраинских диалектах: *вуол, двуор, наруод, куонь, стуол* (вместо *стол*), *нуос* (вместо *нос*) и т. п. В ряде украинских диалектов эти дифтонги монофтонгизировались *к'ӱнь, в'ӱл* и др. Монофтонгизировались они и в литературном украинском в звук *і*: *дім (дом), ніс (нос), кінь (конь).* Ср. при русском *спасибо* из *спаси бо(гъ)*, закономерное украинское *спасиби* из *спаси бі(гъ)*; отсюда и „уменьшительное" *спасибичко*.

Удлинение *о* и *е* в слоге перед выпавшим глухим является очень важным в истории древнерусского языка, так как оно есть древней-

шее из новых звуковых явлений, отделивших северные древнерусские диалекты (те, на основе которых сложился собственно русский язык) от южных, на основе которых сложился украинский язык. Как мы видим, это явление относится ко второй половине XII в.

327. К числу последствий падения глухих относится так называемое второе полногласие. Это явление распространено, главным образом, в северных древнерусских диалектах и отложилось преимущественно в современных севернорусских говорах. В русский литературный язык оно почти не проникло. Второе полногласие состоит в том, что старые группы *tъrt, tъlt, tьrt, tьlt(> tьlt)* (см. § 314) в связи с выпадением глухого в следующем слоге удлинялись и в связи с этим после плавного возникал ещё один глухой того же качества, что и первый; таким образом, *tъrt, tъlt, tьrt,* изменялись в *tъrъt, tъlъt, tьrьt,* а в дальнейшем в *torot, tolot, teret*; получались сочетания, аналогичные полногласным сочетаниям; отсюда и название „второе полногласие"; однако, как видим, второе полногласие генетически никак не связано с первым. Приведём некоторые примеры из севернорусских диалектов:

вьрхъ > вьрхъ > вьрьх > верёх, но род. ед. *верха*
дължьно > дължьно > дълъжно > доложно
жьрдь > жьрдь > жьрьдь > жередь, но род. ед. *жерди*
кърмъ > кърмъ > къръмъ > кором, но род. ед. *корма*
мълнья > мълнья > мълънья > молонья
хълмъ > хълмъ > хълъм > холом, но род. ед. *холма*
вьрвъка > вьрвъка > вьрьвъка > верёвка

В литературном языке можно отметить разве только: *верёвка, полон (пълън), долог (дълъгъ), (о)столоп< (о)стълъпъ< (о)стълпъ* (ср. *столп, столб*).

Второе полногласие не имеет никакого отношения к древнерусским написаниям XI—XII вв. типа *вьрьба, пълънъ* и т. п. Шахматов справедливо разъяснил эти написания как чисто графические компромиссные написания, имевшие целью согласовать древнерусские формы типа *вьрба, пълнъ* с церковнославянскими типа врьба, плънъ; таким образом и получились написания *вьрьба, пълънъ* и др.

328. Падение глухих оказало влияние не только на звуковой, но и на грамматический строй древнерусского языка. Это проявилось в первую очередь в том, что значительно увеличилось количество чередований внутри корней и других морфем. К таким чередованиям, вновь возникшим с падением глухих, относится, например, чередование *е* и *о* с нулём (*сон : сна; день : дня* и т. п.). Внутри склонения существительных в результате падения глухих образовались новые подтипы, отличающиеся чередованием в основах звуков *о* и *е* с нулём. Так, внутри склонения основ на *о* возник подтип *сон : сн-а; кусок : куск-а; день : дн-я,* в котором им. ед. стал отличаться по своей основе от других падежей ед. и мн. числа. Внутри склонения на *-а* образовался подтип (*клѣтка,* род. мн. *клѣток* и т. п.), в котором основа род. мн. стала отличаться от основы других падежей.

Эти подтипы оказались жизнеспособными и вовлекли в свою сферу другие существительные (ср., например, *лёд : льд-а* вместо *лёд : лед-а* и т. п.). Наконец, вследствие падения глухих в древнерусском языке возникла в ряде случаев нулевая флексия (например, в им. ед. основ на *-о* и *-ъ*: *столъ<столъ; домъ<домъ;* в род. мн. основ на *-а*: *женъ< жен* и др.). Падение глухих сказалось на грамматическом строе древнерусского языка ещё и в иных случаях, которых мы здесь касаться не будем.

Возникновение звука *ф* в древнерусском языке

329. В системе звуков общеславянского языка звука *ф* не было. Не было его на древнейшем этапе развития и в отдельных славянских языках, в том числе и в древнерусском.

Звук *ф* проникал в язык по преимуществу образованных людей из греческого языка — как непосредственно, так и через посредство старославянского, а также и из других иностранных языков. Образованные люди выучивались произносить звук *ф*, как звук иностранного языка. Однако и образованные люди, а тем более широкие слои населения часто подставляли вместо чуждого для них звука *ф* какой-либо близкий к нему звук или звукосочетание своего языка. Впоследствии под влиянием знания греческого языка в литературном языке всё же, как правило, закрепилось произношение *ф*. Но в диалектах (а отчасти и в литературном языке) до сих пор сохранились эти старые замены чуждого звука *ф* своими; ср. *парус* из греческ. φᾶρος; *Степан* из греческ. Στέφανος, но и *Стефан; Осип* вместо *Иосиф* (так же *Есип*, фам. *Есипова*); *Нечипор* из греческ. Νικηφόρος, украинск. *Нечипир* (с *и* вместо *о* перед слогом с выпавшим глухим); украинск. *Пилип* (вместо *Филипп*); *Опанас* вместо *Афанас(ий); понарь* вместо *фонарь* и др. Иногда *ф* заменялось через *х* или звукосочетание *хв*. Ср. украинск. *Хвёдор* (вместо *Фёдор*), *Ховронья* (вместо *Февронья*), *Остах* (ср. фамилии *Остахов, Астахов*) из *Евстаф(ий), Дорох* (ср. фамилию *Дорохов*) из *Дороф(ей), Хома* вместо *Фома, проскура* из *просфора* и т. п. У людей, не вполне владеющих литературным языком, но знающих, что говорить *х*, *хв* или *п* вместо *ф* неправильно, возникают обратные замены: греческ. *Агриппина* произносят *Аграфена;* вместо *Серапион* говорят *Серафион;* вместо *панихида* („всенощная") — *панифида.*

В древнейшую эпоху употребление звука *ф* было лексически ограничено (оно ограничивалось лишь сравнительно незначительным количеством иностранных слов). Поэтому в древнейшую эпоху звук *ф* не мог превратиться в самостоятельный звук (фонему) древнерусского языка. Звук *ф* получил широкую лексическую базу лишь после падения глухих, когда вследствие оглушения конечных согласных и ассимиляционных процессов внутри слов он в массовом порядке возникал в исконно славянских словах: *кровъ>кроф; дѣвъка>дефка.* Однако это касалось лишь тех древнерусских диалектов, которым был широко известен согласный звук *в* (см. § 331). Вот почему в тех говорах, которые

и до сих пор знают гласный неслоговой звук *в* (*у̯*), или, точнее, неслоговой *у̯*, звук *ɸ* и до сих пор собственно не является самостоятельной фонемой, и старые замены его *(п, х, хв)* остаются в силе (украинские и южнорусские диалекты).

К истории звука *в*

330. В современном русском литературном языке звук *в (v)* есть один из звонких согласных звуков, имеющий свою глухую параллель в звуке *ɸ*. Соотносительность звуков *в* и *ɸ* обнаруживается в том, что, оглушаясь, звук *в* изменяется в *ɸ*; ср.: *кров*>*кроф; лавка*>*лафка* и др. Однако звук *в* ведёт себя в некоторых отношениях иначе, чем другие звонкие согласные современного русского литературного языка. Так, известно, что глухие согласные перед звонкими согласными озвончаются; вместо *сделать* произносим *зделать* и т. п. Однако глухие согласные перед *в* не озвончаются; ср.: *свет*, а не *звет; твой*, а не *двой* и т. п. Из особенностей произношения звука *в* в современном русском языке нельзя никак объяснить этой его черты, сближающей его с сонорными согласными *л, м, н, р* и гласными, перед которыми глухие согласные также не озвончаются; ср.: *смерть*, а не *змерть; снова*, а не *знова; след*, а не *злед* и т. п. Следует искать объяснения этой особенности звука *в* в его истории.

331. Известно, что в современных восточнославянских языках различают по отношению к произношению звука *в* три группы говоров. В первой группе звук *в* произносится, как звонкий согласный звук во всех положениях в слове (как в современном русском литературном языке); оглушаясь, этот звук изменяется в *ɸ* (см. выше § 330); здесь звук *ɸ* имеет широкую лексическую базу, он выступает, как самостоятельный звук (фонема), соотнесённый в системе фонем со звуком *в*, как *п* соотнесено с *б, к* с *г* и т. д.: *вода, фторой, правда, лафка* и т. п. Во второй группе согласный *в* выступает лишь в положении перед гласной, а в других случаях произносится, как *у̯* (*ў*), как неслоговой гласный *у*. Подобное *в* находим в украинских и белорусских диалектах и литературных языках, а из русских диалектов преимущественно в южнорусских, где оно широко распространено. Ясно, что в этих диалектах нет лексической базы для существования звука *ɸ* как особой фонемы, потому что во всех случаях, когда звук *ɸ* должен здесь появиться в исконно славянских словах, *в* произносится, как *у̯* и соответственно не оглушается; если *ɸ* и существует в этих диалектах, то лишь в ограниченном количестве иностранных по происхождению слов, не имея себе пары в ряду звонких согласных и не являясь самостоятельной фонемой: *вода, трава, голова*, но *у̯дова, праўда, траука* (а не *трафка*), *деука* (а не *дефка*), *кроу̯* (а не *кроф*) и т. п. В этих диалектах, естественно, в наибольшей мере сохраняются старые замены *ɸ* через *х, хв* и др. (см. § 329). В третьей, очень немногочисленной, группе говоров *в* произносится везде, как *у̯*: *у̯есь, нау̯ос* (навоз), *трау̯ы* (травы) и т. п. Как пока-

зывает сравнительная грамматика славянских и индоевропейских языков, первоначально звук *в* произносится только, как *у̯* (неслоговой звук *у*). Такое произношение было свойственно и тем говорам, которые легли в основу русского литературного языка. Естественно, что перед *у̯*, как перед сонорными и гласными, глухие не должны были изменяться в звонкие. Следовательно, *суѣтъ* (свет) не должно было давать *звѣтъ* и т. п. Впоследствии *у̯* перед гласными, да и в других положениях, превратился в *в*, но глухость согласных перед *в* по традиции сохранилась. Очевидно, что звук *в* до сих пор сохранил нечто от качества сонорных и гласных.

Отвердение *ж*, *ш*, *ц*

332. В современном русском языке согласные *ж* и *ш* — твёрдые. Отвердение этих исконно смягчённых согласных (получившихся из заднеязычных *г* и *х* по первому смягчению заднеязычных в общеславянском, а *ж* ещё из *dj* в общевосточнославянском) совершилось ещё в древнерусский период до XIV в., так как в эпоху действия закона о переходе *е* в *о* перед твёрдой согласной *ж* и *ш* были уже твёрдые (ср. переход *е* в *о* в таких случаях, как *идёшь, падёж* (скота) и др. (см. § 338).

Пережитком того, что *ж* и *ш* было некогда мягкими в говорах, лёгших в основу современного литературного языка, являются отчасти написания *жизнь, шило* и т. п. с буквой *и* после *ж* и *ш*. Отвердение *ж* и *ш* характеризует почти все русские диалекты.

333. Звук *ц*, возникавший в результате второго и третьего смягчения *к*, отвердевал позднее, чем *ж* и *ш*. Это доказывается тем, что в эпоху действия закона перехода *е* в *о* *ц* было ещё мягким (ср. *подлец*, а не *подлёц, купец, молодец, сердец* и др., см. § 338). Отвердение *ц* не распространяется на все русские диалекты; во многих севернорусских говорах звук *ц* до сих пор мягок. В современном литературном языке замечается иногда искусственное „мягкое“ произношение *ц* в словах иностранного происхождения, как *цирк, циркуль, станция* и т. п.

Переход *е* в *о*

334. Переходу в *о* (с мягкостью предшествующего согласного) подлежал и старый общеславянский звук *е* и *е*, возникающий из *ь*.

Следует различать два перехода *е* в *о*. Первый получил отражение и в русском, и в украинском, и в белорусском языках. Он свидетельствуется уже древнейшими древнерусскими памятниками. В этом случае *е* переходило в *о* после *j* и других исконно смягчённых согласных *(ж, ш, ч, ц)*. Сравните украинск. *жона, чоло, пшоно, мишок, нічого, чобіт, чоловік, вчора* и др.), севернорусск. *жона, пшоно*, южнорусск. *жонка, пшонный, чолка* и т. п. В акающих диалектах и в русском, и белорусском литературных языках в *о* переходит только ударный *е*.

335. Второй переход имел место лишь в тех древнерусских диалектах, на основе которых образовались русский и белорусский языки, и отражается из восточнославянских языков в русском и белорусском. Этот переход осуществлялся после мягких согласных перед следующими твёрдыми, а также в конце слова; в акающих диалектах и в русском, и белорусском литературных языках в ***о*** переходит только ударный звук ***е***. Ср.: русский литературный *село́, се́льский,* но *сёла, ве́село, весе́лье,* но *весёлый* и т. п. Примеры перехода ***е*** в ***о*** можно приводить десятками.

Отметим, что возникшее таким образом чередование ***е*** : ***о*** морфологизовано в некоторых грамматических категориях, как, например, в группе слов склонения основ на ***а***, где ***е*** характеризует единственное число, а ***о (ё)*** — множественное: *жена : жоны, сестра : сёстры, весна : вёсны* и т. д.; в группе слов склонения среднего рода основ на ***-о***, где ***е*** характеризует единственное число, а ***о*** — множественное: *село : сёла, ведро : вёдра, седло : сёдла* и др.; в ряде глаголов, где настоящее время характеризуется звуком ***е***, а прошедшее звуком ***о***: *несу : нёс, везу : вёз , бреду : брёл, веду : вёл.* Впрочем, в русском языке есть говоры, в которых отсутствует фонетический переход ***е*** в ***о***.

Рассмотрим некоторые кажущиеся отступления от изложенного звукового закона в русском литературном языке. Сперва рассмотрим „незакономерный" звук ***е*** вместо ожидаемого ***о***.

336. В словах *ед, бел, мера, лето, ветка, сетка* и др. по нашему звуковому закону ожидали бы ***о (ё),*** так как ***е*** здесь под ударением и перед твёрдым согласным. Наличие здесь ***е*** объясняется тем, что во всех этих словах раньше в корне был не ***е***, а ***ѣ***: *сѣдъ, бѣлъ, мѣра, лѣто, вѣтъка, сѣтъка* и др. Во время действия нашего звукового закона ударенный ***ѣ*** отличался от ***е*** во всех русских диалектах. Как звук, отличный от ***е*** (произносившийся, повидимому, как дифтонг ***ӗе***), ***ѣ*** не подлежал изменению в ***о (ё)***, а после того как ***ѣ*** (в ряде диалектов) совпал с ***е***, наш звуковой закон уже не действовал[1].

337. В словах *четверг, первый, верх, верба* и др. произносим ***е***, хотя этот звук стоит под ударением перед твёрдым согласным; во всех этих случаях имеем рефлекс др.-русск. ***-ьр-:*** *четвьргъ, пьрвъи, вьрхъ, вьрба.* Перед губными и заднеязычными согласными в подобных сочетаниях звук ***р*** произносился смягчённо, как мягкий ***р,*** т. е. слово *верба* произносилось как *верьба* и т. д. Перед твёрдыми переднеязычными ***р*** произносился твёрдо. Вот почему мы произносим *твёрдый, мёрзнуть, зёрна, чёрный* и др. Во всех этих случаях после ***ер*** идёт твёрдый переднеязычный. Перед губными и заднеязычными мягкость ***р*** держалась долго, и произношение типа *верьба, перьвый, верьх, церьковь, четверьг* и т. п. считалось до недавнего времени даже нормой русского литературного языка. Т. е. во время действия нашего звукового закона в сочетании ***ер*** перед губными и заднеязычными

[1] В некоторых севернорусских говорах, в которых в безударной позиции ***ѣ*** очень рано перешёл в ***е***, имеем факты вроде *рёка,* с ***о (ё)*** из ***ѣ***.

звук *е* хотя и был под ударением, но стоял не перед твёрдым согласным, поэтому перехода *е* в *о* здесь и не происходило.

338. В словах типа *подлец, молодец, сердец, купец* и т. п. имеется *е*, а не *о* (т. е. не *подлёц, купёц* и т. п.), так как *ц* отвердело поздно и во многих русских диалектах сохраняет мягкость до сих пор. Здесь также не было второго условия перехода *е* в *о* (твёрдости последующего согласного). С другой стороны, *ж* и *ш* отвердели раньше, до действия нашего звукового закона; поэтому перед *ж* и *ш* переход *е* в *о* происходил: *идёшь* вместо *идешь, лёжа, падёж* (скота) и т. п.

339. В словах на *-енский,* типа *женский, деревенский,* несмотря на твёрдость *н*, имеем не *о(ё),* а *е*. Это объясняется тем, что твёрдость *н* вторична; до падения глухих после *н* стоял *ь*: *женьскъ, н* был поэтому мягким. Ко времени действия нашего звукового закона он ещё не отвердел, т. е. произносили *жен'ский, деревен'ский,* как произносят и сейчас в большинстве севернорусских диалектов; перед *н'* *е* не переходил в *о*.

340. В слове *щека — щёки* переход *е* в *о* объясняется аналогией форм: *весна — вёсны, слеза — слёзы* и т. п.

341. В русско-церковнославянском произношении переход *е* в *о* не осуществлялся. Поэтому в ряде книжных по происхождению слов современного литературного языка мы находим *е* под ударением перед твёрдым согласным. Ср. *нёбо* (но *нёбо* — часть полости рта), *крёст* (но *перекрёсток*), *пёрст* (но *напёрсток*), *жёзл, совершённый* (вид) (но поступок, *совершённый* им...), *падёж* (название грамматической категории) (но *падёж* скота) и т. д.

342. Нет перехода *е* в *о* в позднейших заимствованных словах: *газета, конверт, пресса, тема* и т. п.

343. В ряде случаев находим *о* вместо *е* там, где фонетически ожидали бы *е*. Эти случаи объясняются в большинстве случаев влиянием аналогии.

344. В дательном и предложном падежах слов типа *берёза* ожидали бы *березе,* а не *берёзе,* потому что звук *з* здесь смягчённый; звук *о* развивался здесь под влиянием других падежей, где *з* твёрдое, и *е* закономерно изменилось в *о*: *берёза, берёзы, берёзу;* им. мн. *берёзы,* род. *берёз* и др.

345. Во втором лице глаголов ожидали бы *берете, несете, идете* с *е*, так как *т* здесь смягчённое; звук *о* проник в эти формы из других лиц: *несём, берём, несёшь, берёшь, несёт, берёт,* где переход *е* в *о* закономерен.

346. В творительном мягкого склонения на *а* окончание *ою* проникло из соответствующего падежа твёрдого варианта склонения: *землёю, свечою,* как *водою, женою.*

347. Уменьшительные получают *о* из тех слов, от которых они образованы. Так, в существительных: *мешочек* вместо *мешечек* (*ч* — мягкое!) по аналогии к *мешок* (*к* — твёрдое!), также *горшочек,* по аналогии к *горшок;* в прилагательных: *весёленький,* а не *веселенький* (*л* — смягчённое!) по аналогии к *весёлый* (*л* — твёрдое!).

348. ***о*** в именительном множественного числа *звёзды* (др.-русск. *звѣзды*) объясняется тем, что чередование ***е*: *о*** в этом типе склонения морфологизовано; ср. *сестра : сёстры, весна : вёсны* и т. п. По той же причине имеем *гнездо* (из *гнѣздо*): *гнёзда;* ср. *село: сёла, ведро: вёдра* и т. п.

349. Установление хронологии перехода ***е*** в ***о*** представляет некоторые трудности. Что касается первого перехода, то здесь дело обстоит легче, так как после исконно смягчённых вполне возможно было написание буквы ***о***, что мы и находим уже в памятниках XII—XIII вв.

350. Труднее определить по памятникам хронологию второго перехода, так как здесь при сохранении предшествующего мягкого согласного написание буквы ***о*** искажало бы произношение. Некоторую ориентировку для хронологизации второго перехода даёт то обстоятельство, что ***е*** переходит в ***о*** в таких словах, как *тёмный, колёсный, слёзный, счётный* и др. Во всех этих случаях ***е*** переходит в ***о*** перед твёрдым согласным, ставшим твёрдым (после исчезновения ***ь***) по ассимиляции к следующему твёрдому ***н***: *тѣмьнъ* и *темной* > *тёмной* и т. п. Отсюда заключаем, что переход ***е*** в ***о*** совершался после падения глухих, т. е. после первой половины XIII в. В связи с этим можно принять во внимание и некоторые севернорусские написания с XIV в., неуклюже передающие переход ***е*** в ***о***: *яром* вместо *ярём, серобро* вместо *серёбро* (в севернорусских диалектах ***е*** перед твёрдой согласной переходил в ***о*** и в неударенных слогах: *вёсна, вёду* и т. п.), *на сомъ Поморьи* вместо *на сёмъ Поморьи, озора* вместо *озёра, за мором* вместо *за морём, рублов* вместо *рублёв* и т. п. Таким образом, переход ***е*** в ***о*** мог начаться в диалектах уже во второй половине XIII в., а в XIV в. уже имел место, как показывают приведённые написания. Специальное написание для выражения ***о***, возникшего из ***е***, появляется лишь в XVII в.,— это написание ***ио***: *тиотка: голод не тиотка, пирожка не подсунет; водка — винная тиотка* (из сборника пословиц XVII в.). Современный знак ***ё*** появился в XVIII в.; его изобретение приписывают Карамзину.

Возникновение смягчённых *к'*, *г'*, *х'*.

351. В общеславянском языке смягчённых ***к'*, *г'*, *х'*** не было. Известно (см. выше, § 247 и сл.), что по первому, второму и третьему смягчению заднеязычных ***к, г, х*** перед передними гласными и иногда после них переходили в ***ж*** и ***з, ч*** и ***ц, ш*** и ***с,*** т. е. подвергались переходному смягчению.

В древнерусском языке мягкие ***к, г, х*** появлялись уже в XI—XII вв. в ограниченных размерах, а именно — вместо ***сць*** (из ***скъ***) вероятно, по аналогии к другим формам, где сохранялось ***ск***, появились ***скь;*** ср. такие написания в памятниках XI—XII вв., как *воскъ* вместо *восць* (по аналогии к *воскъ*); *пиньскъ* вместо *пиньсць* (по аналогии к *пиньскъ*); *дъскъ* вместо *дъсць* (по аналогии к *дъска*); *пасхъ* (*пасха*). Аналоги-

ческого происхождения и *Дъмъкъ* вместо *Дъмъцъ* — от имени *Дъмъка* (Минея, 1095 г.).

352. Далее, мягкие ***к, г, х*** могли появляться в заимствованных словах: *хѣровимъ, схима, кит* и мн. др., также при склонении этих слов: *архистратиге* (Минея, 1095 г.), зв. пад. от *архистратигъ* и др. Таким образом, употребление ***к', г', х'*** было ограничено грамматически и лексически. Эти звуки не были в XI—XII вв. самостоятельными фонемами.

Широкую лексическую базу звуки ***к, г, х*** получают лишь после превращения сочетаний ***кы, гы, хы*** в ***ки, ги, хи.*** Изменение ***кы, гы, хы*** в ***ки, ги, хи*** в южных древнерусских диалектах произошло уже в XII в., как свидетельствуют памятники. В северных древнерусских диалектах соответствующее явление происходит в XIV в., а в некоторых — и в XIII в.

Возникновение ***к, г, х*** как самостоятельных фонем в русском языке явилось основой для широкого развития аналогических образований типа *рукъ* вместо *руцъ, ногъ* вместо *нозъ, волкъ* вместо *волцъ* и т. п., характерных для эпохи образования собственно русского (великорусского) языка. В украинском и белорусском языках этих аналогических явлений не было.

Краткий обзор звуков древнерусского языка

Гласные звуки

353. ***а*** после твёрдых и мягких согласных восходит к общеславянскому ***а:*** *sadъ* > *садъ*; *vol'a* > *воля*, причём после исконно смягчённых ***ж, ш, ч*** общеславянский звук ***а*** в свою очередь может восходить к звуку ***ѣ (ѣ)*** из *ē* (см. § 247); далее, звук ***а*** после мягких согласных может восходить к общеславянскому ***е*** носовому: *plemę* > *племя*.

Звук ***а*** — исконно долгий: в других индоевропейских языках ему соответствуют долгие ***а, о.***

Звук ***а*** после твёрдых и исконно смягчённых ***ж, ш, ч, щ, ц*** и в начале слова изображался буквой ***а***, а также буквами ѧ и ѧ; после мягких согласных ***а*** изображалось, как ѧ и, обычнее, как ѧ.

354. Звук ***о*** после твёрдых согласных восходит к общеславянскому ***о:*** *dotъ* → *домъ; nebo* → *небо.* Оно восходит также к общеславянскому ***je (i̯e):*** *озеро* ← *jezero* и др.; особого происхождения ***о*** в полногласных сочетаниях (ср. § 272).

Звук ***о*** — исконно краткий; в других индоевропейских языках ему соответствует краткое ***о*** или ***а.***

Звук ***о*** в общеславянском и древнерусском был звуком открытым, близким к ***а*** (но кратким!); это доказывается тем, что в древнейших заимствованиях из древнерусского языка древнерусское ударенное и неударенное ***о*** систематически передаётся в разных языках через ***а*** (краткое): финск. *akkuna* ← др. русск. *окъно* и мн. др.

На письме звук *о* изображался через *о*; в начале слова, а иногда в середине (особенно в начале слога) и через ѡ (омега). В более позднюю эпоху древнерусского языка *о* могло восходить ещё к сильному *ъ*, к *е* перед твёрдыми согласными под ударением (после исконно смягчённых к *е* в любом положении) и к сильному *ь*, изменившемуся в *е* → *о* в тех же условиях (*мѣшькъ* → *мѣшекъ* → *мѣшок; дьнькъ* → *денек* → *ден'окъ*).

355. Звук *ы* восходит к более раннему *ū* (*у* долгому). На письме изображался буквой ы или ыі (в более позднюю эпоху).

356. Звук *и (у)* после твёрдых согласных восходит к общеславянскому *и* и *ǫ* (см. § 278) или к дифтонгу *еи* через промежуточный этап *ju:* ср. *блюд(у́)* (от *блюсти*) из **beud-* ← **bheudh*; *bj* → *bl'* по общей норме; *drugъ*, *pǫtь* → *другъ*, *путь*. Общеславянское *и* (не из *ǫ*) в свою очередь восходит к более раннему дифтонгу *оу* (→ *оу* или *ау*); ср. *drugъ*, литовск. *draũgas* из *drougos*. Древнерусское *и* может ещё восходить к общеславянскому *ju* (унъ ← junъ). На письме звук *и* изображался после твёрдых согласных через ѹ (в подражание церковнославянской и греческой графике); иногда лигатурой ꙋ; после мягких и *j* звук *и* изображался обычно через ю (← юу); после исконно смягчённых встречаем, однако, и ѹ. Звук *и* различного происхождения — исконно долгий звук.

357. О звуках ъ и ь см. § 305 и сл.

358. Звук *і* восходит к общеславянскому *і*, которое в свою очередь в иных случаях восходит к более ранним дифтонгам *еі* и *оі* (последнее — лишь в немногих случаях, когда *оі* стояло в конце слова).

На письме звук *і* изображался через и, вместо которого иногда ı и ї. Звук *і* различного происхождения — исконно долгий звук.

359. Звук *е* употребляется только после мягких согласных и восходит к общеславянскому *е*; особого происхождения *е* в полногласных сочетаниях (см. § 272).

Звук *е* — исконно краткий звук. На письме изображался буквой е, после *j* — ѥ. После исконно смягчённых, особенно *л'* (← *лj*), *р'* (← *рj*), *н'* (← *нj*) также мог изображаться посредством ѥ.

360. О звуке *ѣ* см. § 301 и сл.

361. Систему гласных звуков древнерусского языка с точки зрения их происхождения можно представить в следующей таблице:

ā, *ō* → а	*ă*, *ŏ* → о	*on* → *ǫ* → у
ē, *oį* → ѣ	*ĕ* → е	*en* → *ę* → ’а
ī, *eį* → і	*ĭ* → ь	
ou, *eu* → у	*ŭ* → ъ	
ū → ы		

Мы видим из этой таблицы, что на древнейшем этапе существования общеславянского языка противопоставление долгих и кратких гласных играло очень значительную роль в системе гласных. Однако уже в общеславянском долгие гласные сократились, причём рефлексы долгих оказались качественно отличными от рефлексов

кратких гласных (ср. *ū* → ы, а *ĭ* → ъ, *ā*, *ō* → а, *ă*, *ŏ* → о и т. п.).

Краткие и долгие гласные могли чередоваться в одном и том же корне; пережитки этих чередований сохранились в отдельных славянских языках, в том числе и в русском:

сохнути: засыхати ← *съхнути: засыхати* — ŭ:ū
дохнути: вздыхати ← *дъхнути: въздыхати* — ŭ:ū
брати: выбирати ← *бърати: выбирати* — ĭ : ı
горѣти: угаръ, гарь ← *gŏr* — *gōr* — ŏ:ō

и мн. др.

Дифтонги выступали также в качестве долгих гласных, равно как и носовые гласные. Монофтонгизация дифтонгов и сокращение долгих гласных преобразовали фонетическую систему общеславянского языка. В частности, эти явления привели к уничтожению различия кратких и долгих слогов в общеславянском, решительно видоизменив слоговую структуру слова.

Согласные звуки

362. В системе согласных древнерусского языка большую роль играло противопоставление звонких и глухих:

т* — *д	***к* — *г***
с* — *з	***п* — *б***
ш* — *ж	

Противопоставление ***ф* — *в*** только складывалось в древнерусскую эпоху (см. § 329); ***х, ч, ц,*** как и в современном языке, не имели соответствующих себе звонких. С падением глухих развились многочисленные чередования звонких и глухих в связи с оглушением звонких в конце слова и ассимиляционными процессами внутри слова. Сонорные ***л, м, н, р*** не имели при себе глухих, как и в современном языке.

Вторым чрезвычайно важным противопоставлением внутри системы согласных древнерусского языка было противопоставление твёрдых и мягких согласных; среди мягких нужно различать 1) исконно мягкие (или исконно смягчённые): ***ž' (ж), š' (ш), č' (ч), c' (ц), l', n', r'***, получившиеся в результате смягчения заднеязычных или воздействия ***j*** на согласные звуки; 2) мягкие (смягчённые), получившиеся, повидимому, в древнерусскую эпоху в результате воздействия передних гласных на предшествующие согласные звуки. Заднеязычные не имели при себе соответствующих мягких, исконно смягчённые ***ш, ж, ц*** отвердевали с дальнейшим развитием древнерусского языка.

Мягкость согласных, имевших при себе парные твёрдые, изображалась, как и в современном русском языке, постановкой следующего гласного: ***а*** или ***я*** (ѧ, ѫ), ***у*** или ***ю***; перед ***е*** согласные были только мягкие, перед ***и*** так же; перед ***ы*** — только твёрдые.

НЕОБХОДИМОЕ ПРИМЕЧАНИЕ К ФОНЕТИКЕ

I.

363. Наблюдая различные звуковые явления общеславянского и древнерусского языков, мы убеждаемся, что те расхождения, которые мы замечаем в различных современных славянских языках, не являются исконными, а возникают с течением времени.

Так, различные соответствия восточнославянскому полногласию, отличающие другие славянские языки от восточнославянских, восходят к единой общеславянской форме *tort, tolt, tert, telt*; различные рефлексы носовых гласных также оказываются позднейшими расхождениями; различные рефлексы *ъ* и *ь* в разных славянских языках ведут к единству в общеславянском; то же нужно сказать и о ряде других явлений. Этим подтверждается выставленное выше положение о происхождении в конечном счёте славянских языков с их различиями из одного языка, а также и то, что различия эти оказываются позднейшими по отношению к предшествующему периоду единства: чем глубже в прошлое, тем их меньше.

II.

364. Наблюдая более ранние звуковые явления общеславянского языка, мы замечаем, что они протекают в такой форме, что основной звуковой ячейкой языка выступает при этом не отдельный звук (фонема), а слог. К разряду этих явлений относится, например, закон открытых слогов, один из основных звуковых законов общеславянской фонетики, с относящимися сюда многими частными звуковыми явлениями (полногласие, возникновение носовых гласных и др.). Такой же характер носит первое и второе смягчения заднеязычных, где происходит взаимное приспособление согласного и гласного внутри одного и того же слога; и здесь ячейкой звукового изменения выступает слог, внутри которого происходят те или иные звуковые изменения. Подобный же характер имеет сокращение долгих слогов, перенос ударения со слога на слог и пр.

В более поздних звуковых явлениях в качестве звуковой единицы, являющейся предметом звуковых изменений, выступает уже отдельный звук (фонема). Сравните, например, такие изменения, как падение глухих, переход *е* в *о*. Положение в том или ином слоге слова или влияние соседнего слога и здесь может иметь значение, но всё же изменяется отдельный звук, а не слог в целом. В этих более поздних явлениях фонетическое слово выступает уже как состоящее из фонем, а не из слогов, как раньше.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Грамматика

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИЗ ИСТОРИИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

365. Склонение имён существительных в древнерусском языке.

Склонение основ на *-ā* и *-jā*.

Мужской род: *воевода, слуга*

Женский род: *жена, земля* (← *zemjā*)

	Единственное число		Множественное число	
И.	*жена*	*земля*	*жены*	*земль* (ст.-сл. ѕемлꙗ)
Р.	*жены*	*земль* (ст.-сл. ѕемлꙗ)	*женъ*	*земль*
Д.	*женѣ*	*земли*	*женамъ*	*землямъ*
В.	*жену*	*землю*	*жены*	*земль* (ст.-сл. ѕемлꙗ)
Т.	*женою*	*землею*	*женами*	*землями*
М.	*женѣ*	*земли*	*женахъ*	*земляхъ*
Зв.	*жено*	*земле*		

Двойственное число

И. В.	*женѣ*	*земли*
Р. М.	*жену*	*землю*
Д. Т.	*женама*	*земляма*

Примечания. 1. „Мягкий“ вариант склонения испытал на себе влияние „твёрдого“; так, вместо род. ед. *земль* имеем *земли* — по аналогии к *жены, сестры* и пр.; звук ***и*** закономерно соответствует звуку ***ы*** после мягких согласных (см. § 362); вместо дат. ед. *земли* имеем *земль* (позднее *земле*) по аналогии к *сестрѣ, водѣ* и т. п.; то же нужно сказать о местн. ед. *земли*. В твор. ед. ***землёю*** вместо ***землею*** звук ***о (ё)*** получился также по аналогии к твёрдому окончанию ***ою*** (*сестрою* и т. п.).

2. Формы зват. пад., существовавшие лишь в един. числе, в дальнейшем вышли из употребления (см. § 428).

3. Во множественном числе, как и в единственном, мягкое склонение испытало на себе влияние твёрдого; так, имеем *земли* вместо *земль* по аналогии к *жены, сестры* и т. п.; звук *и* закономерно соответствует звуку *ы* после мягких согласных; то же самое имеем в вин. пад. мн. числа; форма *земель* вместо *земль* возникла после падения глухих (см. § 312).

4. Форма двойственного числа вышла из употребления (см. § 392 и сл.).

5. Склонение основ на *-ā* сохранилось до нашего времени без особых изменений и лежит в основе современного 1-го склонения.

6. Старые основы на *-ā* ещё проявляются в дат., твор. и местн. пад. мн. числа: *женамъ, женами, женахъ.*

366. Склонение основ на *-ĭ* (→ь)

Мужской род: *гость, путь* и др.

Женский род: *кость, плеть* и др.

Единственное число		Множественное число	
И. *путь*	*кость*	*путие*	*кости*
Р. *пути*	*кости*	*путии*	*костии*
Д. *пути*	*кости*	*путьмъ*	*костьмъ*
В. *путь*	*кость*	*пути*	*кости*
Т. *путьмь*	*костью*	*путьми*	*костьми*
М. *пути*	*кости*	*путьхъ*	*костьхъ*
Зв. *пути*	*кости*	—	—

Двойственное число

И. В. *пути*	*кости*
Р. М. *путью*	*костью*
Д. Т. *путьма*	*костьма*

Примечания. 1. Из слов мужского рода по этому типу склонения склонялся целый ряд существительных. Обычно их трудно отличить от существительных, склонявшихся по мягкой разновидности основ на *-о* мужского рода (так называемые основы на *jo*: *конь* и др.), так как они имели тожественную с этими существительными форму именительного падежа. Но во многих случаях известные фонетические признаки позволяют нам отличить существительные мужского рода с основой на *-ĭ* от существительных того же рода с основой на *-jo*; эти последние при наличии конечных согласных, своеобразно смягчаемых *j*, должны были подвергнуться специфическому преобразованию посредством *j* (см. § 249—251); так, мы можем вполне уверенно отнести к основам на *-ĭ* такие слова, как *зять* (по основам на *-jo* было бы *зячь*, *тать* по основам на *-jo* было бы *тачь*), *медвѣдь* (но не *медвѣжь*), *голубь* (но не *голубль*) и др., как, например, *тьсть, гость.* Зато такие слова, как, например, *вожь, вождь* (церк.-сл.), где *ж* из *dj*, заведомо должны быть отнесены к основам на *-jo.*

2. Все существительные мужского рода, склонявшиеся по основам на *-ĭ*, впоследствии перешли в склонение существительных с основой на *-jo* (или приняли женский род и стали склоняться как *кость*), за исключением слова *путь*. Склонение женского рода по основам на *-ĭ* легло в основу современного 3-го склонения.

3. Во множественном числе им. пад. совпал, как и везде в именах неодушевлённых, с винительным (*пути* вместо *путьѥ*). В дат., твор. и местн. падежах склонение основ на *-ĭ* испытало влияние склонения на *-ā* (*путьмъ, костьмъ — путям, костям; путьми, костьми — путями, костями; путьхъ, костьхъ — путях, костях* и т. п.). Ср., однако, по основам на *-ĭ*: *лошадьми, дверьми* и архаическое *костьми* (*лечь костьми*).

4. Род. пад. мн. основ на *-ĭ*: *-ьи* → *-ей* закрепился в основах на *-jo*, вытеснив старое окончание этих основ *-ь* (→ нуль); *коней* вместо *конь* и др.

5. Формы им. двойственного сохранены в словах *уши, очи*.

367. Склонение основ на *-ŭ* (*у* краткое, → *ъ*). Только мужской род.

Единственное число		Множественное число	
И. *сынъ*	*домъ*	И. *сынове*	*домове*
Р. *сыну*	*дому*	Р. *сыновъ*	*домовъ*
Д. *сынови*	*домови*	Д. *сынъмъ*	*домъмъ*
В. *сынъ*	*домъ*	В. *сыны*	*домы*
Т. *сынъмь*	*домъмь*	Т. *сынъми*	*домъми*
М. *сыну*	*дому*	М. *сынъхъ*	*домъхъ*
З. *сыну*	—		

Двойственное число

И. В. *сыны*	*домы*
Р. М. *сынову*	*домову*
Д. Т. *сынъма*	*домъма*

Примечания. 1. По этому типу склонения склонялось небольшое количество слов мужского рода, в том числе: *сынъ, домъ, полъ* (= 1/2), *волъ, медъ, вьрхъ* и некоторые другие.

2. Как особый тип этот тип склонения не сохранился в дальнейшем развитии русского языка, но отдельные его формы отложились в современном 2-м склонении мужского рода, которое как раз и образовалось из смешения склонения на *-о* и на *-й*.

3. Поводом к смешению этих двух типов склонения послужило совпадение форм им. и вин. падежей мужского рода: *сынъ, домъ*, с одной стороны, *боръ, городъ* — с другой.

4. Из отдельных форм склонения основ на *-й* в современном 2-м склонении отложились: 1) род. ед. на *-у*: *сахару, чаю;* 2) местн. пад. на *-у*: *на мосту, в лесу;* 3) род. множ. на *-ов*: *городов* вместо *городъ* → *город*; ср. старый род. мн.: *сапог* (не *сапогов*).

5. В древнерусскую эпоху из склонения на *-й* в склонение на *-о* была перенесена форма твор. ед.: *лѣсъмь* и т. п. В русском языке

эта форма неотличима от исконной для основ на *-о* формы на *-омь*; обе формы одинаково дают в современном русском *-ом*. Но украинский язык сохраняет форму *-ъмь* → *-омь*; из *-омь* по-украински получалось бы *-ім*, как *конь* → *кінь* и т. п.

6. В древнерусских памятниках широко распространён дат. пад. основ на *-ъ*: *-ови* и *-еви*, главным образом в именах лиц (см. § 427).

7. В современном русском языке сохраняется пережиток им. множ. основ на *-й*: *-ове*, который в объединении с окончанием собир. им. ед. *-ја* (*братья* и т. п.), употреблявшимся в значении им. мн., дал окончания типа *сыновья, кумовья, зятевья* (в диалектах и др.).

8. Старая основа на *-й* (→ *ъ* на славянской почве) легко отличима ещё в дат., твор., местн. мн. *сынъмъ, сынъми, сынъхъ*; ср. также тв. ед. *сынъмь*.

368. Склонение основ на *-о* и *-јо* мужского рода.

Единственное число		Множественное число	
И. *городъ*	*конь*	*городи*	*кони*
Р. *города*	*коня*	*городъ*	*конь*
Д. *городу*	*коню*	*городомъ*	*конемъ*
В. *городъ*	*конь*	*городы*	*конѣ* (ст.-сл. коня)
Т. *городъмь*	*коньмь*	*городы*	*кони*
М. *городѣ*	*кони*	*городѣхъ*	*конихъ*
З. *городе*	*коню*	—	—

Двойственное число

И. В. *города*	*коня*
Р. М. *городу*	*коню*
Д. Т. *городома*	*конема*

Примечания. 1. О смешении этого типа склонения с типом склонения основ на *-й* сказано выше. Добавим: в мягкой разновидности зват. пад. образован по аналогии к тому же склонению: *коню*, как *сыну*.

2. Мягкая разновидность подверглась влиянию твёрдой, как и в существительных с основой на *-ā*; местн. ед. *конѣ*, как *городѣ*; вин. мн. *кони* вместо *конѣ* по аналогии к *городы*; *-и* закономерно вместо *-ы* после мягких согласных.

3. В дат., твор., местн. мн. сказалось влияние склонения существительных с основой на *-ā*, *-јā*: *городамъ, конямъ* вместо *городомъ, конемъ*; *городами, конями* вместо *городы, кони*; *городахъ, коняхъ*, вместо *городѣхъ, конихъ*. Это влияние хотя и зарождается ещё в древнерусскую эпоху, но окончательно оформляется лишь в XV—XVII вв.

4. Формы им., вин. дв. числа отчасти сохраняются в переосмысленном виде (см. § 392 и сл.).

5. В род. мн. существительных на мягкую основу окончание *-ей (коней)* проникло из основ на *-і*: *-ьи* → *-ей*.

369. Средний род основ на ***-о***.

	Единственное число		Множественное число	
И. В.	*село*	*поле*	*села*	*поля*
Р.	*села*	*поля*	*селъ*	*полъ*
Д.	*селу*	*полю*	*селомъ*	*полемъ*
Т.	*селъмь*	*польмь*	*селы*	*поли*
М.	*селѣ*	*поли*	*селѣхъ*	*полихъ*

Отметим и здесь влияние твёрдой разновидности на мягкую (*селѣ, полѣ*) и влияние склонения существительных с основой на ***-а*** во мн. числе: *селамъ, полямъ, селами, полями*. В род. мн., при сохранении в литературном языке нулевого окончаний в твёрдой разновидности, наблюдается проникновение окончания ***-ей*** в мягкой разновидности: *полей* вместо *полъ*. Старый дат. мн. сохранился до наших дней в наречии *поделом*. В мягкой разновидности окончание род. мн. ***-ей*** проникает из склонения существительных с основой на ***-ĭ***.

370. Из склонения основ на согласные.

Основы на ***-s*** (средний род)

Единственное число	Множественное число	Двойственное число
И. *слово*	*словеса*	И. В. *словесѣ*
Р. *словесе*	*словесъ*	Р. Д. *словесу*
Д. *словеси*	*словесьмъ*	Д. Т. *словесьма*
В. *слово*	*словеса*	
Т. *словесьмь*	*словесы*	
М. *словесе*	*словесьхъ*	

Примечания. 1. Обращаем внимание на характерные для всех основ на согласный флексии ***-е*** в род. и местн. ед.

2. Очень рано этот тип склонения подвергся влиянию склонения имён с основой на ***-ĭ***: ср. дат. *словеси;* тв. ед. *словесьмь,* дат. и местн. мн. *словесьмъ, словесьхъ*.

3. В дальнейшем, ещё в древнерусский период, этот тип склонения как самостоятельный исчез; существительные типа *слово* стали склоняться по современному 2-му склонению среднего рода, как *село*. В некоторых из них, однако, во мн. числе пережиточно сохранилась старая основа на ***-s***. Ср. *небеса, чудеса;* изредка: *телеса, словеса;* ср. прилагательные *небесный, чудесный, телесный, древесный*.

371. Основы на ***-n*** (средний род).

Единственное число	Множественное число	Двойственное число
И. *имя*	*имена*	*именѣ*
Р. *имене*	*именъ*	*имену*
Д. *имени*	*именьмъ*	*именьма*
В. *имя*	*имена*	
Т. *именьмь*	*имены*	
М. *имене*	*именьхъ*	

Примечания. 1. О влиянии существительных с основой на *-ĭ* см. примечание 2 в предыдущем параграфе.

2. В дальнейшем развитии русского языка этот тип склонения как самостоятельный перестал существовать; в ед. числе, кроме им. и вин. пад., он принимает окончания основ на *-ŭ*; во мн. числе — основ на *-о* среднего рода, испытывая вместе с ними влияние существительных с основой на *-ā*, *-jā*.

3. *-ен* в склонении этого типа, конечно, не есть наращение, а, наоборот, сохранение старой основы на *n*, в конце которой в им.-вин. возник носовой гласный, изменившийся в *я* (ст.-сл. ѧ: времѧ, временє).

4. По типу *имя, имене* склонялись также слова *отрочя, отрочяте*; *дитя, дитяте*; *теля, теляте* и т. п.

Основы на *-n* (мужской род).

Единственное число		Множественное число		Двойственное число	
И. *камы*	*дьнь*	*камене*	*дьне*	И. В. *камени*	*дьни*
Р. *камене*	*дьне*	*каменъ*	*дьнъ*	Р. М. *камену*	*дьну*
Д. *камени*	*дьни*	*каменьмъ*	*дьньмъ*	Д. Т. *каменьма*	*дьньма*
В. *камень*	*дьнь*	*камени*	*дьни*		
Т. *каменьмь*	*дьньмь*	*каменьми*	*дьньми*		
М. *камене*	*дьне*	*каменьхъ*	*дьньхъ*		

1. По этому образцу склонялись, повидимому, и некоторые другие слова с суффиксом *-ен* мужского рода: *ремы, ремене; стрьмы, стрьмене* и др.

2. В дальнейшем в им. ед. была использована форма вин. ед.

372. Основы на *-r* (женский род).

Единственное число	Множественное число	Двойственное число
И. *мати*	*матере, матери*	*матери*
Р. *матере*	*матеръ*	*матеру*
Д. *матери*	*матѣрьмъ*	*матерьма*
В. *матерь*	*матери*	
Т. *матерью*	*матерьми*	
М. *матере*	*матерьхъ*	

По этому типу склонялось также слово *дъчи, дъчере*. Влияние основ на *-ĭ* здесь ещё заметнее, чем в среднем роде основ на *-n*.

373. Основы на *-ŭ* (женский род)

Единственное число	Множественное число	Двойственное число
И. *цьркы*	*цьркъве*	*цьркъви*
Р. *цьркъве*	*цьркъвъ*	*цьркъву*
Д. *цьркъви*	*цьркъвамъ*	*цьркъвама*
В. *цьркъвь*	*цьркъви*	
Т. *цьркъвью*	*цьркъвами*	
М. *цьркъве*	*цьркъвахъ*	

По этому типу склонялось большинство слов женского рода с основой на *-ъv*, склоняющихся в большинстве теперь по 3-му склонению: *любы, любъве; кры, кръве; свекры, свекръве, букы, букъве* и др.

1. В им. ед. позже была использована форма вин. ед. В род. и местн. ед. сказалось влияние основ на *-ĭ* (типа *кость*), также в род. мн., где окончание *ъ* вытеснено окончанием *-ей* из основ на *-ī*.

В дат., твор., местн. мн. сказалось влияние основ на *-ā*, *-ja*.

О характере именного склонения в общеславянском и древнерусском языках

374. В общеславянском языке система склонения имён сохраняла ещё до некоторой степени старый индоевропейский характер. Суть этой системы заключалась в том, что по отношению к склонению все имена были разбиты на ряд разрядов или классов, причём каждый класс имён имел свои особенности в склонении. Таких классов (или деклинационных групп — от латинск. *declinatio* — „склонение") в индоевропейском языке было в основном пять. В общеславянском языке, унаследовавшем эти классы, каждый класс характеризовался прежде всего последним звуком основы; в этом отношении все имена делились прежде всего на два класса: первый составляли имена с основой на согласный звук; второй — имена, основы которых оканчивались на гласный звук. Последний класс делился на несколько разрядов, в зависимости от того, на какой именно гласный звук оканчивалась основа. В зависимости от последней гласной основы имена этого класса делились на: 1) основы на *-ā*, где последним гласным основы (тематическим гласным) выступало *ā* (долгое) или его краткая ступень *o* (←*ə*); 2) основы на *-ŭ(ъ)*, где последним гласным основы выступал гласный *ъ* (←*ŭ*) или его чередования *ы, у, ов* (←*ū, ou*); 3) основы на *-ĭ*, где последним гласным основы выступал звук *ь* (← *ĭ*) или его чередование *и* (← *ei, ī*); 4) основы на *-ŏ*, где последним гласным основы выступал гласный *ŏ* или его чередование *ĕ*.

375. Следует иметь в виду, что деление имён на деклинационные группы не имело никакого отношения к делению их по родам. Так, по основам на согласный склонялись слова и мужского рода (вроде *камы, камене; дьнь, дьне*), и женского (вроде *мати, матере; дъчи, дъчере,* а также примыкающие сюда *цьркы, цьркъве* и др.), и среднего рода, как *слово, словесе; время, времене;* по основам на *-ā* склонялись и слова мужского рода, как *слуга, воевода,* и — преимущественно — слова женского рода, как *жена, сестра* и т. п.; по основам на *-ĭ* (→*ь*) склонялись и слова мужского рода, как *гость, путь, зять, тать, голубь, медвѣдь* и др., и слова женского рода, как *кость, печь* и пр.; наконец, по основам на *-o* склонялись и слова мужского рода, вроде *столъ, городъ,* и слова среднего рода, вроде *село, окно;* по основам на *-o* шли также и так называемые основы на *-jo*, вроде *конь, поле;* по основам на *-ŭ (ъ)* склонялись только слова мужского рода (*домъ, сынъ, волъ, вьрхъ, полъ* и некоторые другие). Таким образом, мы видим, что между деклинационными груп-

пами имён и делением имён по родам не было никакой связи (см. § 382 и сл.).

376. Если мы обратимся к индоевропейскому склонению в том виде, как его восстанавливает сравнительная грамматика, то убедимся, что, например, в склонении слов типа *жена* (← genā) основа действительно во всех падежах оканчивалась на *ā*.

И. genā — основа оканчивается на -*ā*, падежного оформления нет
Р. genās — „ „ „ „ оформление род. пад. *s*
Д. genāi̯ — „ „ „ „ „ дат. пад. *i̯*
В. genām — „ „ „ „ „ вин. „ *m*
М. genāi̯ — „ „ „ „ „ мест. „ *i̯*
З. genə — краткий (*ə* вместо *ā*) вид основы -*ā*; падежного оформления нет.

Подобную картину мы получим и в других типах склонения. В дальнейшем положение вещей меняется.

377. На древнейшем этапе развития склонения деклинационные группы имён возникали и существовали как живое явление языка, отражая имевшееся в мировоззрении наших предков деление на семантические группы самих понятий, выражаемых этими именами. Принципы классификации понятий и их названий, лёгшие в основу образования индоевропейских деклинационных групп имён, нам сейчас совершенно неизвестны. Для нас ясно только то, что в основе первоначального деления имён на деклинационные группы должен был лежать какой-то семантический принцип, какое-то содержание, формой выражения которого и были наши различные основы склонения. По мере того как преобразовывалась грамматическая система общеславянского языка и развивались разные типы грамматической абстракции, деклинационные группы слов или различные типы основ превращались в грамматические разряды слов, объединённых общим типом склонения. В этих условиях создавались благоприятные предпосылки для различных фонетических изменений, которые в конце концов привели к полному преобразованию системы основ в славянских языках. Это случилось ещё в общеславянском языке.

378. В результате различных фонетических и морфологических изменений основы на гласные звуки исчезли в славянских языках. Общеславянское слово *жена*, основа которого раньше оканчивалась на гласный звук (см. § 376), подверглось переразложению, и основа его стала оканчиваться на согласный звук; ср. др.-русск.:

жен-а (не *genā* без окончания)
жен-ы (не *genā* + *s*, *ās* → *ы*)
жен-ѣ (не *genā* + *i̯*, *āi̯* → *ѣ*)
жен-у (не *genā* + *m*, *ām* → *ѫ* → *у*)
жен-ѣ (не *genā* + *i̯*, *āi̯* → *ѣ*)
жен-о (не *genə* без окончания, *ə* → *о*)

Фонетические и морфологические изменения привели здесь к тому, что взамен гласной основы *жена: жено* (**genā: *genə*) возникла ос-

нова на согласный *жен-*; часть основы отошла к окончанию, сливаясь с ним: например $\bar{a} + \underset{\frown}{\imath} \rightarrow ѣ$, $\bar{a} + m \rightarrow ѫ \rightarrow y$ и т. п. Это явление называется сокращением основ в пользу окончаний. Гласные основы исчезли по аналогичным причинам и во всех других случаях. Поэтому говорить о гласных основах для древнерусского, старославянского и даже общеславянского языка можно только условно, имея в виду индоевропейское состояние, восстанавливаемое сравнительной грамматикой. Однако в некоторых падежах, особенно множественного числа, сравнивая отдельные типы склонения между собой, можно ещё для древнерусского отметить основы этих падежей, оканчивавшихся на соответствующий гласный звук; так, сопоставляя

дат. мн.	*жена-мъ*	*дѣло-мъ* *столо-мъ*	*путь-мъ*	*сынъ-мъ*
местн. мн.	*жена-хъ*		*путь-хъ*	*сынъ-хъ*
твор. мн.	*жена-ми*		*путь-ми*	*сынъ-ми*

мы наблюдаем ещё старые гласные основы на *-ā*, *-о*, *-ъ* (из *ŭ*) и *-ь* (из *ĭ*), но при рассмотрении этих же падежей внутри данной парадигмы мы убеждаемся, что везде основа оканчивается на согласный звук, так как *а* в *женамъ, женами, женахъ*, *о* в *дѣломъ, столомъ* и т. д. уже отошли к окончанию, произошло уже переразложение основ в пользу окончаний.

379. Из сказанного ясно, что первоначальные деклинационные группы преобразовались, перестали быть разными типами основ гласных и согласных, но сохранились всё же как особые типы склонений, с характерной для каждого из них системой падежных окончаний и с характерной для каждого из них группой слов, склоняющихся по этому типу. Вот почему мы имеем всё же право утверждать, что в общеславянском языке характер склонения имён остаётся в общем индоевропейский, хотя переразложение основ в пользу окончаний и подвергло его преобразованию. В отдельных славянских языках, в частности в древнерусском, происходит дальнейшее преобразование старой системы склонения, выступавшей уже как система формальная, так как, как мы видели, принцип распределения имён на деклинационные группы был уже утерян (см. § 378). Это дало возможность влияния друг на друга различных типов склонений, причём отдельные окончания могли переходить из одного типа склонения в другой. Процесс этот начался уже в общеславянском языке. Имеет место и влияние друг на друга отдельных подвидов внутри отдельных типов склонения, например мягкой разновидности склонения на твёрдую и т. п. Нет нужды возвращаться к этим взаимным влияниям, которые уже отмечены нами в примечаниях к парадигмам. Но представляется очень существенным выяснить основное их грамматическое содержание, общее направление, которое позволит выделить в этих многообразных явлениях рождение новой системы склонения, по своему качеству отличной от старой.

380. Основным является то, что в процессе взаимодействия отдельных типов склонения подверглись качественным изменениям ста-

рые типы склонения, причём это состояло прежде всего в том, что прежняя система окончаний и отдельные её элементы отрывались от той лексической среды, от той группы слов, с которой они были искони связаны, и проникали в другие или другую группу слов; так, окончания, свойственные основам на *-а*, проникали в основы на *-о* и обратно, окончания основ на *-ŭ* (→ *ь*) проникали в основы на *-о* и т. д. В результате подобного взаимодействия получалось более обобщённое грамматическое значение падежа; падеж отрывался от определённой связанной с ним группы слов и обобщался на другую, становился в большей мере обобщённым падежом, чем раньше, т. е. типы склонения становятся чисто грамматическими, освобождаются от определённого лексического содержания. Таким способом образуются современные типы склонения: 1) склонение слов преимущественно женского рода с окончанием *-а* в им. пад. и *-ы* в род. пад.; ему соответствует мягкая разновидность, которая целиком построена по той же системе окончаний, что и твёрдая (им. *я*, род. *и*); 2) склонение слов мужского рода (нуль в им., *а* в род.) с мягкой разновидностью, целиком построенной на той же основе, что и твёрдая (нуль в им., *я* в род.); 3) склонение слов среднего рода на *-о*, *-е* в им. и *а*, *я* в род.; 4) склонение слов женского рода (нуль в им., *и* в род.). Имена с основой на *-ĭ* (→ *ь*) мужского рода оказались ассимилированными именами мужского же рода с основой на *-jo*; тип склонения основ на *-ŭ* (→ *ъ*) слился со склонением основ на *-о*. В результате всех этих смешений наиболее обобщённые формы падежей образовались во множественном числе, где даже различие по родам проявляется очень слабо. Ср.:

И.	*жены*	*столы*	*села*	*кости*
Р.	*жен*	*столов*	*сел*	*костей*
Д.	*женам*	*столам*	*селам*	*костям*
В.	*жены*	*столы*	*села*	*кости*
Т.	*женами*	*столами*	*селами*	*костями*
М.	*женах*	*столах*	*селах*	*костях*

381. Таким образом, основная линия развития склонения от общеславянского (индоевропейского) типа к современному — это путь от лексической ограниченности падежных окончаний к их обобщённости и освобождению от этой лексической ограниченности.

О категории рода в именах

382. Выше мы специально подчеркнули, что деление имён на деклинационные группы никак не было связано с делением их по родам. Это указывает, что первоначально категория склонения никак не была связана с категорией рода.

383. Категория рода в индоевропейском строе языка является относительно новой категорией [1].

[1] А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, 1938, стр. 205 и сл.

В индоевропейском строе языка, как он восстанавливается сравнительной грамматикой, в склонении находит своё выражение лишь противоположность двух родов: одушевлённого, или, точнее, личного (название лиц), и неодушевлённого, точнее, вещественного (название вещей). Можно полагать, что возникновение этих двух родов отражает возникновение представления о противоположности двух начал: личного (социально и производственно активного) и пассивного, неличного, вещественного.

384 Различие этих двух родов не имеет ещё отчётливо сложившегося выражения в древнейшем индоевропейском состоянии. Так, например, вещественный род (будущий средний род) отличается от личного (будущего мужского и женского рода) то окончанием, как, например, в латинск. *alius* — „другой" при *aliud* — „другое", то гласной перед окончанием, как в греческ. ἥδιον — „приятное" рядом с ἡδίων (о лицах), то иными ещё средствами. Средний род мог применяться и к лицам, когда к ним относились не как к лицам, не как к социально активным существам: например, латинск. *mancipium* — „раб" было словом среднего, т. е. вещественного рода. Пережитки такого использования среднего рода имеем и в русском; ср. др.-русск. *дитя, дитяте* (средн. род); ср. также немецк. *das Weib* — „женщина" (средн. род). Подобное явление находим и в русских уменьшительно-уничижительных образованиях, вроде *мужичёнко, человечишко,* оформленных по среднему роду; сходно — в греческом, где от ἀνήρ — „мужчина" образуется ἀνδρίον — „человечек" (средн. род).

385. Что касается противоположности мужского и женского рода внутри „личного", то она в индоевропейских языках развивается лишь постепенно; некоторые индоевропейские языки совсем её не знают (например, хеттский); она не получила полного развития и в латинском; например, латинские причастия типа *ferens* являются одновременно словами и мужского („несущий"), и женского („несущая"), и среднего рода, прилагательное *omnis* значит и „всякий", и „всякая". В германских, балтийских и славянских языках противоположность мужского и женского рода выражена очень ярко.

386. Мы указывали, что первоначально система склонения и деклинационные группы, составлявшие её костяк, не имели никакого отношения к категории рода. Но в дальнейшем дело меняется: категория рода тесно сплетается с типами склонения, которые вырабатываются на основе древних деклинационных групп. Позднейшие типы склонения теснейшим образом связываются с категорией рода: современное 3-е склонение на протяжении своей истории в древнерусском и русском языках освобождается от мужского рода и становится женским склонением. В 1-м склонении слова мужского рода представляются исключениями в общей массе слов женского рода; во 2-м склонении резко противостоят друг другу окончаниями им., вин. пад. слов мужского и среднего рода; так называемые „разносклоняемые" существительные выступают как слова среднего рода. Мы видим, таким образом, что система современного склонения, воз-

никающая в процессе преобразования древней системы, имеет качественно отличный от неё характер и в этом отношении. Мы видим также, как неправы те, кто считает, что в истории русского языка категория рода сходит на нет. Она, действительно, теряет своё первоначальное содержание, но, сплетаясь с исчезающей системой древних деклинационных групп, она как бы переоформляет её, конструируя этим самым современную систему склонения, формируя современные типы склонения.

Пережитки внутрифлективного индоевропейского склонения в древнерусском

387. Во всех индоевропейских языках (санскрит, греческий, литовский, древнегерманские) господствующим является так называемое внешнефлективное склонение, особенностью которого является то, что падежные значения выражаются в слове особыми стоящими в конце слова морфемами, окончаниями-флексиями, противостоящими основе слова, обычно неизменяемой. Противоположность относительно устойчивой основы и сменяющихся окончаний, а также взаимная противоположность этих окончаний с их значениями и составляет суть внешнефлективной системы склонения. Прекрасной иллюстрацией „идеального" случая внешнефлективного склонения может служить склонение слова *кожа* в современном русском литературном языке.

Единственное число	Множественное число
И. *кож-а*	*кож-ы*
Р. *кож-ы*	*кож-*
Д. *кож-е*	*кож-ам*
В. *кож-у*	*кож-ы*
Т. *кож-ей*	*кож-ами*
П. *о кож-е*	*о кож-ах*

Здесь основа остаётся абсолютно неизменной как по качеству входящих в её состав звуков, так и по ударению. Падежные значения выражаются исключительно окончанием или его отсутствием (нулевая флексия).

388. Однако в древних индоевропейских языках под слоем внешнефлективной системы склонения, уже господствующей в них, раскрывается более архаичная внутрифлективная система склонения, в которой противопоставление отдельных падежных значений выражается модификацией самой основы, чередованием внутри неё гласных и даже согласных звуков. Так, например, в греческом:

им.	πατήρ — „отец"	(с долгим *е*)
зв.	πάτερ	(с кратким *е* и ударением на *а*)
вин.	πατέρ-(α)	(с ударением на *е*)
род.	πατρ-(ός)	(с отсутствием *е*)

Здесь различия между падежами выражаются не только и не столько внешней флексией, сколько модификацией основы, т. е. внутренней флексией. Больше всего пережитков внутрифлективного склонения мы находим в наиболее архаичном индоевропейском типе склонения — в склонении слов на согласный; к ним принадлежит и склонение слова πατήρ в греческом.

389. Особенно интересно склонение некоторых слов среднего рода, склоняющихся по основам на согласный; здесь мы имеем наиболее архаичные факты. В этом типе склонения мы находим, при наличии внешней флексии, различающей все свойственные индоевропейским языкам падежи, противопоставление путём внутренней флексии двух падежных значений: им., вин. средн. рода, с одной стороны, и всех остальных — с другой. При этом замечательно, что мы сталкиваемся здесь с чередованием не только гласных, но и согласных, например ***r*** и ***n***. Этот тип склонения ведёт нас к такой эпохе развития. индоевропейского строя языка, когда существовало лишь два падежа. Так, в греческом им.-вин. ὕδωρ (флект. оконч. нет), род. и остальные ὕδατ-(ος) (ος — внешнефлективное окончание род. падежа). Греческ. ατ в ὕδατ- восходит к сочетанию ***nt***, причём ***t*** развилось здесь позднее; исконным же оказывается чередование $\bar{o}r$:n, которое символически можно передать как чередование ***er***:***en***; по индоевропейской норме ***e*** может чередоваться с ***ŏ*** и ***ō***, а n есть слабая ступень ***en***; вот почему чередование ***er***:***en*** может конкретно выражаться и в чередовании n:$\bar{o}r$ на греческой почве, где $n > a$, получаем $\bar{o}r$:***a*** (греческ. ωρ:α) (Ср. в хеттск.: w$\bar{a}$tar — „вода“ — им.-вин. средн. р. weten-(aš) — род. и остальные падежи (aš — оконч. род. пад. соответствует греческ. ος). С развитием в предложении более сложных отношений и соответственно падежных значений появилась и необходимость их более дифференцированного выражения; на этой почве, повидимому, возникло и развивалось внешнефлективное склонение. Развитие внешнефлективного склонения неизбежно приводило к стабилизации основы, к постепенному изживанию унаследованных от предшествующего периода чередований внутри основы, что мы и наблюдаем во всех индоевропейских языках; в славянских языках этот процесс зашёл уж очень далеко, и мы находим в них лишь жалкие остатки древнего внутрифлективного склонения. Обратимся к этим остаткам в древнерусском. Они вскрываются лишь путём сравнительного сопоставления с другими индоевропейскими языками.

390. Каких-либо явлений, соответствующих хеттск. *watar, weten-aš*, в древнерусском мы не имеем. Но пережитки внутрифлективного склонения находим в склонении основ на согласный, например в так называемых основах на ***-s***, где им.-вин. пад. с огласовкой ***-o*** противостоит всем остальным:

им.-вин. *slovo* ← **slovos*
род. и др. *sloves*-(e) ← **sloves*(-es)

Нечто подобное имеем в основах на *-n* мужского рода:

камы ← **katōn* (> *katūn* > *katū* > *katy*)
камен-(е) **kamen-*(es),

где им. ед. по огласовке противостоит всем другим падежам.

391. От этих остатков древнего внутрифлективного склонения нужно резко отделить новые явления чередования, как, например, в основах, возникших в результате падения глухих: *кусок-*(им.), *кусk-*(другие падежи) или в результате изменения *е* > *о*: *жен(а)* — *жон-ы* и т. п. Эти новейшие явления, возникшие в языке, в котором решительно господствовало внешнефлективное склонение, ничего общего с древней флексией в склонении не имеют ни исторически, ни по существу. Эти чередования не обладают регулярностью и обязательностью, и многие из них уничтожены в результате действия аналогии в дальнейшем развитии.

О двойственном числе

392. В общеславянском, как и в других индоевропейских языках, существовало не только единственное и множественное, но и двойственное число со своими особыми формами в именном, местоимённом склонении, а также в спряжении. Особые формы двойственного числа употреблялись при числительных *два* и *оба*, при поименовании двух лиц или предметов или парных предметов (вроде *глаза, ноги, руки* и т. п.). Как и в других индоевропейских языках, двойственное число исчезло также и в славянских языках, за исключением отчасти словинского и лужицких. В древнерусских памятниках встречаем формы двойственного числа до XIV в. включительно, но рано находим и смешение форм двойственного с формами множественного числа.

393. В австралийских языках, в языках Новых Гебрид и Меланезии, в языках Новой Гвинеи мы находим в употреблении наряду со множественным числом в собственном смысле или без него формы двойственного, тройственного и даже того, что следовало бы назвать четверным числом.

Объясняется это тем, что понятие о множественности вообще есть высокая абстракция, и её развитию в мысли и языке предшествует эпоха, когда господствует понятие конкретной множественности, т. е. двойственности, тройственности, четверности и т. п. По мере роста ряда отвлечённых чисел, который у многих первобытных народов не превышает трёх, четырёх, развивается и понятие „много“ вообще в противоположность „одному“; первоначально *один* противопоставляется *двум, трём, четырём*... С отодвиганием всё дальше числа-предела (см. § 501) становится невозможным сохранение особых показателей для каждого вида множественности. Прежняя система конкретной множественности становится громоздкой и лишней и в силу этого исчезает. В этом случае, как и в других, грамматическое развитие идёт от первобытно-конкретного строя к обобщённому, отражая прогресс человеческой мысли. При этом новые, обобщённые грамматические формы позволяют выразить все оттенки прежних значений, вклю-

чая их в себя; таким образом, рост абстракции приводит в языке к более совершенному выражению конкретного на новой основе. С отмиранием форм конкретной множественности наиболее устойчивыми оказываются формы двойственности, поддерживаемые важными в практической жизни парными предметами (*руки, ноги, глаза* и др.). Но в конце концов погибают и специальные формы двойственного числа. На этом этапе мы и застаём развитие категории числа в древнерусском языке XIII—XIV вв. К XV в. мы имеем право говорить о полном падении категории двойственного числа, подготовленном предшествующим развитием.

394. Что касается последовательности исчезновения форм двойственного числа, то скорее всего они исчезали в прилагательных и глаголах; в существительных, где формы двойственного числа непосредственно поддерживались числительными *два, оба,* эти формы задержались дольше всего.

Так, в Лаврентьевской летописи под 1284 г. читаем: „самѣ два братеника бесерменина та утекла"; здесь за числительным „два" существительное, местоимение и глагол стоят в двойственном числе, но перед ним стоит уже форма множественного числа *самъ*. Но в Ипатьевской летописи наблюдаем и постановку прилагательного во множественном числе при существительном в двойственном: „взя два города Галичьскыи". Далее, исчезали формы двойственного числа в именах там, где при существительном не было числительного „два", например в духовной новгородца Климента (XIII в.): „на свои *рукы*", вместо *руцѣ*. Всё это показывает, что падение категории двойственности началось уже издавна. Однако отдельные формы двойственного числа употреблялись ещё довольно длительное время. Ср. „Рече женама не боита вы сѧ" (Остромирово евангелие); „вы небесная человѣка еста, вы князи княземъ" („Сказание о Борисе и Глебе", XII в.); „помози рабомъ своимъ (Ио)ану и Олексию, написавшема книгы сия" (запись в житии Нифонта, 1219 г.) и др.

395. Некоторые формы двойственного числа сохранились до наших дней. Сюда относятся формы им.-вин. двойственного, получившие новые значения после исчезновения из языка категории двойственного числа:

а) им.-вин. двойственного на *-а* в названиях парных предметов получил значение им.-пад. множественного, а затем отсюда распространился и на названия непарных предметов. Ср. им. двойственного по происхождению: *рукава* (= два рукава), *берега* (= два берега), *рога, глаза, бока* и др., отсюда в дальнейшем *города* и т. п.

б) им.-вин. двойственного на *а* из сочетания с числительным „два" распространился на сочетания с числительным „три" и „четыре" и был осмыслен как родительный падеж единственного числа в силу того, что при числительных „пять" и пр. употреблялся родительный же падеж множественного числа.

Два стола (им. дв. > род. ед.), *три стола, четыре стола*. Иногда этот „родительный", возникший из им.-вин. двойственного, отличается от собственно родительного по ударению: ср. *два шага́* (но род. ед. *ша́га*), *два часа́* (но род. ед. *ча́са*) и др.

К развитию предложных элементов в общеславянском и древнерусском склонении

396. Винительный падеж без предлога пережиточно употребляется в древнерусских памятниках в качестве обстоятельства (на вопрос „куда?"), главным образом, от названий населённых пунктов мужского рода. Такое употребление его исключительно редко. Так, в Лаврентьевской летописи акад. Е. Ф. Карский[1] отметил лишь один такой случай: „Улѣбъ же вниде *Черниговъ*". Несколько больше примеров мне удалось отметить в Ипатьевской летописи: „и оттуда ѣха къ святой богородици *Печерьской манастырь*" (под 1150 г.); „посласта... по стрыя своего Дорогобужю вабяче и *Кыевъ* на столъ" (под 1173 г.); „Олександрѣъ... поиде ко тьсту своему *Киевъ*" (под 1234 г.); „пришедшимъ же имъ *лѣсъ* Болдыжь и ту бяхуть стали обѣду" (под 1146 г.); „и приде *Холмъ*" (под 1255 г.). В поздних списках Ипатьевской летописи во всех этих случаях поставлен предлог *въ*.

Ср. ещё: „Береньдѣевѣ *дорогу половѣцькую* поидоша" (Ипатьевская летопись, под 1172 г.; здесь в самом Ипатьевском списке сверху приписано *в*).

Во всех подобных случаях нормой для древнерусского языка было употребление предложного оборота. Однако для общеславянского следует предполагать широкое употребление беспредложного винительного в функции обстоятельства.

397. Это доказывается пережиточным сохранением беспредложного винительного в наречиях и предлогах (возникших из наречий) во всех славянских языках. Наречие *вон* („иди вон") из *вънѣ* есть старая форма беспредложного винительного, как предлог *вне* (*<вънѣ*) — старая форма местного, а др.-русск. *извънoу* — „снаружи" даёт форму родительного падежа. Предлог *конець* — „в конце" — ***конець копия, конець поля*** — также является по происхождению беспредложным винительным обстоятельственным; то же нужно сказать о наречии и предлоге *предъ, передъ*: „посла же *предъ* сына своего Мьстислава Кыеву" (= вперёд).

398. Наречия от беспредложного винительного падежа имён существительных очень часты в древнерусских памятниках: „не хожаше зять по невѣсту, но привожаху *вечеръ*" (= вечером; Лавр., вводн. часть); „азъ *утро* послю по вы" (= утром; Лавр., под 945 г.); „днесь есть, а *утро* изъгнееть" (= утром; Лавр., под 983 г.); „повѣдаша ему, яко *утро* хотятъ ся людье передати" (Лавр., под 997 г.); „и сступися *чело* Сѣверъ съ Варягы" (= челомъ, лоб в лоб", Лавр., под 1024 г.); „и послаша отрока Кузмина *ночь*" (= ночью, в ночь; Ипат., под 1159 г.); „в недѣлю масленую, *вечеръ*" (= вечером; Лавр., под 1074 г.); „приимаше раны и наготу, *студень день и нощь*" (Лавр., под 1074 г.). Ср. современные наречия: *днесь* (*дьнь* + *сь*), диалектн. *зимусь, летось, вечóр* (вечеръ).

---

[1] Е. Ф. Карский, Наблюдения в области синтаксиса Лаврентьевского списка летописи, ИРЯС, т. II, кн. 1, 1929, стр. 37. См. также Сборник ОРЯС, т. 101, № 3, 1928, стр. 40.

399. Лишь в некоторых, чрезвычайно редких, случаях видим в современном русском языке винительный падеж не прямого дополнения, а обстоятельства времени. Сюда акад. А. А. Шахматов („Синтаксис русского языка", Л., 1941, стр. 329) относит и такие слова и словосочетания, которые могли бы быть признаны и дополнениями. Этот винительный обстоятельственный адвербиализован и выступает в сущности, как наречие.

Уже в древнерусском языке употребление винительного обстоятельственного без предлога было резко ограничено; в современном языке винительный беспредложный окончательно специализирован для выражения прямого дополнения; в качестве обстоятельства винительный выступает, как норма, всегда с предлогом. Отмечаемая Е. Ф. Карским в языке фольклора, в одной из былин, фраза „пошел он *княженецкий двор*" вместо „*в*..." ощущается как резкое нарушение нормы современного русского языка.

400. Употребление беспредложного винительного в качестве обстоятельства наблюдается, как пережиточное, и в других индоевропейских языках. Например, в латинском языке названия городов и (небольших) островов при глаголах движения ставятся на вопрос „куда?" в винительном падеже без предлога: *Romam* — „в Рим", *Delum* — „на Делос", *Athenas* — „в Афины", *Carthaginem* — „в Карфаген"; *Themistocles Argis Corcyram demigravit* — „Фемистокл эмигрировал из Аргоса в Корциру". Здесь мы имеем то же ограничение употребления беспредложного винительного категорией собственных имён мест, что и в древнерусском. Кроме того, винительный без предлога употребляется от нарицательных в уже адвербиализованных, онареченных выражениях *domum* — „домой", *rus* — „в деревню". Аналогичное явление мы встречаем и в древнегреческом, где винительный падеж мог первоначально выступать в качестве обстоятельства на вопрос „куда?" (без предлога). Так, у Гомера: *κνίσῃ δ'οὐρανόν ἶκε* — „Запах же ушёл (в) небо". Позднее стали употреблять приставочный глагол: „утром она взошла (на) великое небо и (на) Олимп", или послелог, примкнувший к имени: *οἶκον-δε* „домой, в дом", *Ἀθήναζε* — „в Афины", или предлог *ἐς* (= *в, на*): *ἐς ἅρματα* — „на колесницы..."

401. Дательный падеж без предлога изредка употребляется в древнерусском в функции обстоятельства.

Ср.: „сташа *ночлѣгу*" (= на ночлег, для ночлега — обстоятельство цели; Лавр., под 1097 г.); „и ста *обѣду*" (Ипат., под 1152 г.); „и ту бяхуть стали *обѣду*" (Ипат., под 1146 г.); „и полетѣ соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди *завтроку и обѣду и ужинѣ*" („Слово о полку Игореве"); „твои сли водили суть царѣ наши *ротѣ*, и насъ послаша *ротѣ* водитъ тебе и мужь твоихъ" (Лавр., под 945 г.).

402. Широко употребляется беспредложный дательный обстоятельства места (на вопрос „куда?") в названиях городов мужского рода: „Аще бо бы перевозникъ Кий, то не бы ходилъ *Царюгороду*" (= в Царьград; Лавр. вводная часть), „иде Ольга въ Греки, и приде *Царюгороду*"; „си же Ольга приде *Киеву*" (Лавр., под 955 г.). Эта

беспредложная конструкция чрезвычайно распространена в древнерусском языке в XII—XIII вв.

403. Дательный без предлога для выражения обстоятельства места (на вопрос „куда?“) употребляется в древнерусском, как норма, лишь в названиях городов мужского рода. Но раньше он употреблялся гораздо шире и от нарицательных имён. Это доказывается сохранением такого употребления дательного в существительных *домъ* и *долъ*: *домови* — „домой“ (= в дом), *долови* — „вниз, долой“. Эти выражения уже в древнерусском превратились в наречия и поэтому сохранили свою беспредложную форму: „идѣте съ данью *домови*, а я возвращюся, похожю и еще“ (Лавр., под 945 г.); „Ярославъ отпусти я *домовь* (< домови) вся“ Новг. I, под 1016 г.).

404. Аналогично употребляется дательный без предлога в сербском языке: „здравъ одоше *бијелу Прилипу* (339); ходи к мени у приморье равно *бијеломе Скадру* на Бояну“ (105); „да полети *граду Пирлитору*“ (111); „Подведе је *Скадру* на Бояну“ (115); „идем *бијелу Леђану*“ (132); „отиде *бијелу Призрену*“ (134) и т. д.; также от нарицательного *двор:* „Па и онда посла *двору* твоме“ (356); „не води ме *двору* бијеломе“ (18) и др.[1].

Дательный без предлога для выражения направления существовал как архаизм (у поэтов) и в латинском: „*Clamor it caelo*“ — „крик идёт в небо, на небо“ и т. п.

405. Беспредложный дательный в древнерусском как бы принимает на себя функции беспредложного винительного для выражения обстоятельства места (на вопрос „куда?“), после того как беспредложный винительный был окончательно специализирован для выражения прямого дополнения. Обороты *иде Кыевъ* и *иде Кыеву* поэтому семантически тожественны. Второй вытесняет первый. Однако в соединении с приставочным глаголом *вънити* долго сохранялось употребление беспредложного винительного. Позднее последний оборот заменяется винительным падежом с предлогом. Последовательность этого процесса такова:

древнейшая норма:	Иде Кыевъ
далее:	Иде Кыеву, вьниде Кыевъ
далее:	Иде Кыеву, вьниде въ Кыевъ

Именно такой последовательностью объясняется то обстоятельство, что в „Повести временных лет“, по Лаврентьевскому списку, при господстве оборота с беспредложным дательным для выражения обстоятельства места (на вопрос „куда?“) от названий городов мужского рода, при глаголах с приставками *вън-, въ-*, иногда *въз-* встречается винительный с предлогом *въ*; во всех этих случаях имеем в основе винительный без предлога при приставочных глаголах. Приведём примеры:

---

[1] Вук Караджич, Српске народне пјесме, 1875 (страницы указаны по этому изданию).

и не бѣ льзѣ внити **в** Киевъ ни единому ихъ (968 г.)
и **въз**ратися **в** Переяславець (971 г.)
Володимеръ **вни**де **в** Киевъ (980 г.)
Володимеръ же **въз**вратися **в** Кыевъ (992 г.)
Болеславъ же **вни**де **в** Кыевъ (1018 г.)
Святославъ же и Всеволодъ **вни**доста **в** Кыевъ (1073 г.)
Святополкъ же **вбѣ**же **в** Треполь (1093 г.)

При других приставочных и бесприставочных глаголах употребляется беспредложный дательный. О судьбе этого оборота скажем ниже.

406. Наряду с беспредложным дательным обстоятельственным (на вопрос „куда?") в древнерусском существовал и предложный оборот с предлогом ***къ***. Но оба эти оборота семантически различались. Беспредложный оборот обозначал направление к данному пункту с заходом в этот пункт (дательный инклюзивный), а предложный оборот с ***къ*** обозначал направление к данному пункту без захода в него (дательный эксклюзивный). Проиллюстрируем наше утверждение на некоторых примерах:

„Аще бо бы перевозникъ Кий, то не бы ходилъ *Царюгороду*" (=в Царьград, так как Кий, по летописи, действительно был в Царьграде, у царя) (вводная часть).

„И съ сими со всѣми поиде Олегъ на конех и на кораблех... и прииде *къ Царюграду;* и Греци замкоша Судъ, а градъ затвориша" (=к Царьграду, так как Олег в городе не был) (под 907 г.).

„Приде Семевонъ на Царьградъ... и приде *ко Царюграду* въ силѣ въ велицѣ, в гордости, и створи миръ с Романомъ царемъ, и възратися въсвояси..." (к (ко), так как Симеон внутрь Царьграда не входил) (под 929 г.).

„Иде Ольга въ Греки и приде *Царюгороду*" (=в Царьград, так как она действительно была внутри Царьграда) (под 955 г.).

„И избра от нихъ мужи добры, смыслены и храбры, и раздая имъ грады; прочии же идоша *Царюграду* (=в Царьград) въ Греки" (под 980 г.).

„Они же придоша в нѣмци, и съглядавше церковную службу ихъ, придоша *Царюгороду* (=в Царьград), и внидоша ко царю" (под 987 г.).

„И поиде Володимеръ в лодьях, и придоша в Дунай, и поидоша *к Цесарюграду*" (=к..., так как в Царьград они не вступили) (под 1043 г.).

„Вышату же яша съ изверженьми на брегъ, и приведоша я *Цесарюграду* (=в Царьград), и слѣпиша Руси много" (под 1043 г.).

407. Сплошь и рядом обе конструкции в тексте летописи перемежаются, сохраняя каждая свою семантику, что явствует из контекста; сравните, например: „Олгови обѣщавшюся ити к брату своему Давыдови *Смолиньску* (=в Смоленск), и прити з братомъ своимъ *Кыеву* (=в Киев) и обрядъ положити; и не всхотѣ сего Олегъ створити, но пришедъ *Смолинску* (=в Смоленск) и поимъ вои, поиде *к Мурому* (=по направлению к, на Муром, где сидел Изяслав); в Муромѣ тогда сущю Изяславу Володимеричю; бысть же вѣсть Изяславу, яко Олегъ

идеть *к Мурому* (=на Муром), посла Изяславъ по воѣ *Суздалю и Ростову* (=в Суздаль и Ростов)...“ (под 1096 г.).

Незначительные отступления от указанной нормы в Лаврентьевской летописи объясняются тем, что эта норма в конце XIV в., когда была списана Лаврентьевская летопись, была уже мёртвой, и переписчик уже не ощущал семантического различия между предложным и беспредложным оборотом дательного направления.

408. Чёткое разграничение беспредложной и предложной конструкции с дательным падежом находим и в Новгородской летописи по Синодальному списку. Приведём примеры:

„Приде Изяславъ съ Ляхы, а Всѣславъ бѣжа *Полотьску* (=в Полоцк)... В то же лѣто, осень, мѣсяця октября въ 23 ... приде опять Все(слав) *къ Новугороду* (к, так как в Новгород он не вошёл). Новгородци же поставиша пълъкъ противу ихъ ... и пособи богъ Глѣбу князю съ Новгородци“ (они отогнали Всеслава, подошедшего к Новгороду) (под 1069 г.).

„Пѣренесена бысть Бориса и Глѣба съ Льта *Вышегороду*“ (=в Вышгород) (под 1072 г.).

„Бѣжа Ольгъ *Тъмутороканю* и приведе Половче“ (=в Тмутороканъ) (под 1078 г.). „Иде Мьстиславъ *Кыеву* (=в Киев) на столъ из Новагорода“ (под 1117 г.). „Приведе Володимиръ съ Мьстиславомь вся бояры Новгородьскыя *Кыеву* (=в Киев) и заводи я къ честьному хресту“ (под 1118 г.).

„И приде опять *Новугороду* (=в Новгород) и бысть въстань велика въ людьхъ и придоша Пльсковици и Ладожане *Новугороду* (=в Новгород) и выгониша князя Всѣволода из города“ (под 1132 г.).

„Приде князь Романъ Мьстиславиць, вънукъ Изяславль, *Новугороду* (=в Новгород) на столъ... Въ то же лѣто ходиша Новгородьци съ Пльсковици *къ Полотьску* (но в Полоцк не попали) и пожьгъше волость воротишася отъ города за 30 вьрстъ. Тому же лѣту исходящю, на весну, ходи Романъ съ Новгородьци *къ Торопьцю* (но в Торопец не вошли) и пожьгоша домы ихъ...“ (под 1168 г.).

„Ожених князь Мьстиславъ *Новегородѣ* ....; и потомь позваша и Ростовьци къ собе, и иде Ростову (=в Ростов)... а сынъ остави въ Новегородѣ, и приде *Ростову* (=в Ростов)... и поиде съ Ростовьци и съ Суждальци *къ Володимирю* (но в него не попал, так как...) постави Всѣволодъ съ Володимирьци и съ Переяславьци противу его пълкъ... и одолѣ Всѣволодъ, и възвратися Мьстиславъ въ Новъгородъ...“ (под 1176 г.).

„А на зиму поиде Давидъ *къ Полотьску* съ Новгородьци и съ Смольняны и умиривъшеся воротишася на Еменьци“ (т. е. в Полоцк не вступили) (под 1185 г.).

„На ту же зиму ходи князь Ярославъ... *къ Полотьску* (но в Полоцк не вступил, так как)... устретоша Полоцяне съ поклономь на озѣре на Касъпле; и възьмъше миръ възвратишася *Новугороду*“ (в Новгород) (под 1198 г.).

Аналогичных примеров из I Новгородской летописи по Синодальному списку можно было бы привести множество. Но и этих доста-

точно. Особенностью Новгородской летописи является то, что уже сравнительно рано конструкция дательного беспредложного начинает в ней вытесняться предложной конструкцией винительного с предлогом *въ*. Эта замена характерна в дальнейшем и для русского литературного языка в целом, который складывался под сильнейшим влиянием новгородских традиций, как традиций крупнейшего русского культурного центра, в значительной мере влиявшего и на развитие московской культуры в XIV — XV вв. и позже.

409. Иначе обстояло дело в тех диалектах, которые легли в основу списков XV в. Лаврентьевской летописи (т. е. Радзивиловского и Академического списков). Замечательно, что здесь беспредложная конструкция дательного заменялась не предложной конструкцией с винительным, а предложной конструкцией дательного же, но с предлогом *къ*. Вот почему приведённый в § 407 пример в Радзивиловском и Академическом списках выглядит следующим образом:

„Олгови обѣщавшюся ити братьи своей к Давыдови *к Смоленьску* и прити с нимъ *к Кыеву* и обрядъ положити; и не всхотѣ сего Олегъ створити, но пришедъ *к Смоленьску* и поимъ вои, поиде *к Мурому*, в Муромѣ тогда сущю Изяславу Володимеричю; бысть же вѣсть Изяславу, яко Олегъ идеть *к Мурому*, посла Изяславъ по воѣ к Ростиславу *к Суздалю*...“ (под 1096 г.).

410. Эта замена беспредложного оборота предложным чрезвычайно поучительна; она начисто опровергает мнение некоторых учёных, утверждающих, что предложные обороты развиваются в языке для „уточнения“ выражения пространственных и иных отношений в связи „с развитием мышления“. Какое уж тут уточнение, когда развитие предложного оборота вместо беспредложного как раз уничтожает то „уточнение“ (различие эксклюзивного и инклюзивного дательного), которое раньше существовало в языке. Очевидно дело не в уточнении, а в условиях развития строя славянского предложения, результатом которого и является появление предлогов вообще и распространение в иных случаях предложных оборотов за счёт беспредложных в дальнейшем. При этом в различных славянских языках этот процесс может принимать разные формы в связи с специфическими особенностями этих языков на различных этапах их развития.

411. Основным синтаксическим явлением, определяющим развитие грамматического строя славянских языков в общеславянский период, является интенсивное формирование субъектно-объектного строя предложения и его категорий. Этот процесс продолжается и получает своё завершение уже в отдельных славянских языках. Процесс этот выражается в ряде явлений: в стремлении к чёткому разграничению выражений субъекта и объекта, в развитии залоговых отношений как отношений субъекта к объекту через предикат (в первую очередь отношений переходности и непереходности), в образовании разных видов дополнения (прямого и косвенных), а также в отграничении собственно обстоятельства от дополнения.

412. Совершенно очевидно, что отмеченная нами выше специализация винительного падежа без предлога для выражения прямого дополнения является одним из проявлений охарактеризованного выше формирования категорий субъектно-объектного предложения. Это закрепление произошло ещё в общеславянскую эпоху, так как в отдельных славянских языках, как например, и в древнерусском, мы имеем лишь жалкие остатки, пережитки употребления винительного падежа как падежа обстоятельства (см. § 396). В области залоговых отношений специализации винительного падежа для выражения прямого дополнения соответствует образование категории глаголов полной переходности, т. е. глаголов так называемого действительного залога. Закрепление винительного падежа без предлога для выражения прямого дополнения имело место и в других индоевропейских языках, например в греческом и латинском (см. выше, § 400).

413. Таким же образом беспредложный дательный был закреплён для выражения так называемого второго дополнения. В области залоговых отношений это соответствовало возникновению глаголов неполной переходности. Вот почему беспредложный дательный не мог больше употребляться для выражения обстоятельства и заменялся, как мы видели выше, предложным оборотом даже в ущерб уточнённому различию эксклюзивного и инклюзивного значений. Такое употребление его противоречило бы основной линии развития славянского предложения. Этот процесс также оформлялся ещё в общеславянском языке, и, например, в древнерусском языке мы застаём лишь пережитки употребления беспредложного дательного для выражения обстоятельства.

414. Формирование субъектно-объектного строя предложения имело далее своим выражением в славянских языках закрепление творительного беспредложного для выражения преимущественно дополнения (или подлежащего в пассивных конструкциях, или предикативного члена составного сказуемого); в этом смысле творительный беспредложный был отнесён к категории субъектно-объектных падежей; его обстоятельственные функции стали отмирать таким образом, что они либо заменялись предложными оборотами, либо переходили в категорию наречий, специализированных для выражения обстоятельств, и выпадали из склонения. Этот процесс проходил уже, главным образом, в отдельных славянских языках. В древнерусском языке творительный обстоятельственный ещё имеет известное распространение. Ниже приводим примеры творительного обстоятельственного из древнерусского языка.

415. „И влѣзохом и (видѣхомъ и) лежащь *мощьми*“ (в Р. и А.: „мощи его лежаща“) (Лавр., под 1091 г.); „страшахуть и въ образѣ медвѣжи, овогда же *лютымъ звѣремь*, ово *въломъ*...“ (Лавр., под 1074 г.); „приносяшеть же ему великый Антоний и подаваще ему (пищу) *оконцемъ*“ (Лавр., под 1074 г.); „паче же *женами* бѣсовьская волъшвенья бываютъ“ (Лавр., под 1071 г.); „и помроша бѣгаючи, божьимь гнѣвомь гоними, ови отъ зимы, друзии же *гладомь*, ини же *моромь* и *судомь божьимъ*“ (Лавр., под 1060 г.); „а вы хочете изъме-

рети *гладомъ*, не имучеся по дань" (Лавр., под 946 г.); „а *смородъмь* нелга вылести" (Новг. I, под 1128 г.); „Ходи Всѣволодъ въ Русь Переяславлю *повеленіемь Яропълцемь*..." (Новг. I, под 1132 г.); „ньлзѣ бѣше доити до търгу... ни на поле выити *смороды*" (Новг. I, под 1158 г.); „стоя всѣ лѣто *ведромь* и пригорѣ всѣ жито" (Новг. I, под 1161 г.); „отступи *волею* Кыева" (Новг. I, под 1168 г.); „ту бо бяху вышли Суждальци *пълкомь*" (Новг. I, под 1180 г.); „и яко изнемогоша *голодомь*" (Новг. I, под 1193 г.); „а владыка тружаяся и горя въ день *зноемь*, а въ ноць печялуяся". (Новг. I, под 1196 г.); „настануюю лѣту *мартъмь мѣсяцемь*" (Новг. I, под 1197 г.); „яко нѣлзѣ бяше поити *смрады* никудаже" (Новг. I, под 1203 г.) „а сына его Олексу затвори въ стѣнахъ высокыхъ *стражею*, яко не вынидеть" (Новг. I, под 1204 г.); „идоша на дворы ихъ *грабежьмь*" (Новг. I, под 1209 г.); „а иное помьрло *голодомъ*" (Новг. I, под 1215 г.); „Мьстиславъ же поиде *Серегеремъ*" (Новг. I, под 1216 г.); „поимавъ старейшие мужи съ собою Новгородьстии, и молодыхъ *изборомъ*" (Новг. I, под 1216 г.); „поиде Володимиръ въ Новъгородъ *своими орудии*" (Новг. I, под 1217 г.); „и переехаша они половци въ лодьяхъ и поидоша *силою*" (Новг. I, под 1218 г.); „и тако *божиею помочью* святыя София, отъимаша всь полонъ" (Новг. I, под 1225 г.); „и умыслиша свѣтъ золъ, како ударити на городъ на ону сторону, а друзии *озеромь* на сю сторону" (Новг. I, под 1259 г.); „и начаша мерети *гладомь*" (Новг. I, под 1316 г.) и др.

416. Легко заметить, как резко сокращаются случаи употребления творительного беспредложного обстоятельственного по направлению от древнерусского состояния к современному языку. Творительный обстоятельства причины совсем выходит из употребления. Такие выражения, как *умереть голодом* (=по причине голода, от голода), совсем невозможны в современном языке. Уже в древнерусском рядом с таким творительным стояли предложные обороты: „ и помроша бѣгаючи, ови *отъ зимы* (а не зимою), друзии же *гладомь*" [1]. Невозможен и творительный цели: „идоша на дворы ихъ *грабежьмь*" (=с грабежом, для грабежа); разрушается и творительный образности: „и страшахуть и... *лютымь звѣремь*, ово *въломъ*", но тут же *„въ образѣ медвѣжи*" (а не *медвѣдемъ*). Большинство приведённых творительных может быть выражено на современном русском языке предложными оборотами:

„видѣхомъ и лежащь *мощьми*" — в виде мощей
„подававше ему пищу *оконцемь*" — через окно
„паче же *женами* бѣсовьская волъшвенья бываютъ" — из-за женщин
„а *смородъмь* нелга вылести" — из-за смрада
„горя *въ день зноемь*" — днём от зноя
„настанущю лѣту *мартъмь мѣсяцемь*" — с марта месяца или с мартом месяцем, в марте
„Мьстиславъ же поиде *Серегеремъ*" — через (озеро) Селигер и т. д.

[1] Ср. в рассказе о белгородском киселе (Лавр...) *отъ глада*, а не *гладъмь*.

417. Большей живучестью отличались обстоятельства места и времени вроде *итти лесом, полем; ночью, днём* и т. п. Но и эти творительные рано перешли в категорию наречий, отрываясь от склонения. Блестящую иллюстрацию этому даёт болгарский язык, потерявший склонение, но сохранивший в большом количестве наречия типа *лесом, ночью* и пр. Ясно, что если бы эти наречия не отделились уже от склонения, они не сохранились бы в болгарском языке.

Творительный без предлога для выражения обстоятельства встречается в языке былин; так, в былине сказителя Сарафанова „Добрыня и Алёша" (Гильфердинг, Онежские былины, т. II, 1938, стр. 219) читаем:

„Поехал добрый молодец не *воротамы,*
Скакал его добрый конь *стеною городовою.*"

Но у того же Сарафанова в былине „Дунай" (стр. 224) тот же оборот своеобразно определожен:

„Поехали они да не *в воротами,*
Скакали кони богатырскии
Через стену городовую."

418. Большой интерес представляет собой определоживание местного падежа. Беспредложный местный падеж в древнерусском языке имел уже очень ограниченное употребление. А именно, он употреблялся в XI — XIII вв. лишь в следующих случаях: 1) от имён городов мужского рода (подобно беспредложному дательному); все встречающиеся случаи употребления беспредложного местного от имён нарицательных сомнительны и являются, повидимому, описками переписчиков или выдумками исследователей; 2) в названиях времени с определением *тот: зимѣ, лѣтѣ, веснѣ* и т. п.; 3) в слове *место*, когда при нём есть определение *тот: томь мѣстѣ.* Основной группой слов, в которых употреблялся беспредложный местный были названия городов мужского рода. Когда вместо дательного беспредложного (на вопрос „куда?") стали употреблять предложный винительный с предлогом *в*, то по соотносительности винительного на вопрос „куда?" и местного на вопрос „где?" (эта соотносительность иллюстрируется множеством языков, в том числе и неиндоевропейских) предлог *в* проник и в местный падеж, определожив его. Таким образом, в конечном счёте и определоживание местного падежа стоит в связи с охарактеризованными выше процессами окончательного установления субъектно-объектного строя предложения. О причинах определоживания местного падежа при нарицательных в общеславянском языке см § 554.

419. Беспредложный дательный употреблялся в древнерусском языке при именах для выражения принадлежности в значении, тожественном родительному принадлежности, и рядом с ним. „Ярославна рано плачеть *Путивлю городу* на заборолѣ" (=на стене Путивля города „Слово о полку Игореве"); „отвори врата *Новуграду*" (=врата Новгорода; там же); „уныша *градом* забралы" (=стены городов);

„се бо готьскыя красныя дѣвы въспѣша на брезѣ *синему морю*“ (=синего моря; там же), и т. д. В связи с тем, что беспредложный дательный был специализирован для выражения второго дополнения при глаголах, приимённый беспредложный дательный для выражения принадлежности выходит из употребления, эта функция целиком отходит к родительному; с другой стороны, беспредложный родительный освобождается от некоторых своих старых функций, например от выражения отложительности при глаголах. В этой функции начинают употреблять только предложный оборот родительного с предлогом ***от***. Определоживание родительного отложительного осуществляется ещё в общеславянском, но в древнерусском ещё находим некоторые пережитки родительного отложительного без предлога, обычно при глаголах с приставкой ***от-***. Ср.: „отъиде *свѣта сего*“ (ср. приставку ***от-*** в глаголе) (Новг. I, под 1204 г.); „Акунъ ту отбѣже *луды златое*“ (см. приставку ***от-*** в глаголе) (Ипат., под 1024 г.); „Всеславъ... утаися *кыанъ*“ (Ипат., под 1069 г.); „оже Володимиръ съступилъ *хрестьнаго цѣлования*“ (Ипат., под 1152 г.); „Отець же, поганъ сы, ласкаше его о(т)статися *вѣры христьяньскыя*“ (Новг., I, под 1265 г.); „подъбѣгъ ста подъ мостомъ, одва укрыся *противныхъ*“ (Лавр., под 996 г.); „отрѣваите *его* от берега, дондеже порогы проидеть, то тогда охабитеся *его*“ (Лавр., под 988 г.).

Категория лица в общеславянском и древнерусском склонении имён существительных

420. В связи с окончательным формированием субъектно-объектного строя предложения получают, как мы видим, большое значение выражение в предложении субъекта и объекта. В связи с этим приобретает большое значение и категория лица. Это объясняется тем, что лицо есть субъект в первую очередь, субъект в наиболее полном и точном смысле слова, действующее лицо, человек или человекообразное существо.

421. Следует подчеркнуть, что речь идёт именно о категории лица; категория одушевлённости складывается в русском языке лишь позднее, лишь, повидимому, к XV в. В древнерусский период мы не имеем грамматического противопоставления живого, „одушевлённого“ существа неодушевлённому, как в современном русском языке, а именно противопоставление лица и не-лица, социально активного человека, подлинного субъекта действия, всему остальному.

422. Уже издавна в общеславянском языке различались две основы вопросительного местоимения ***ко*** для обозначения лица: им. *къто*, род.-вин. *кого*, дат. *кому* и т. д., и ***че*** (<***ке***): им. *чьто*, род. *чесо, чего*, дат. *чему*, вин. *чьто* и т. д. — для обозначения не-лица.

Противопоставление лица и не-лица проявлялось здесь не только в том, что личное вопросительное местоимение выражалось особой основой ***ко***, отличной от основы не-личного вопросительного местоимения **ке* > ***че***, но также и в том, что в личном вопросительном местоимении именительный падеж, падеж субъекта *къто* был отличен

от винительного падежа, падежа объекта *кого*, который совпадал с родительным падежом. Таким образом, уже издавна грамматическим выражением категории лица в славянских языках выступал род.-вин. падеж в личном вопросительном местоимении. Это обстоятельство имело большое значение для дальнейшего развития категории лица в древнерусском языке.

423. Ещё в общеславянском языке фонетически совпали им. и вин. падежи единственного числа в склонении слов мужского рода основ на *-о* (*рабъ*), основ на *-й* (*сынъ*) и основ на *-ĭ* (*гость*); это создавало затруднение при выражении субъектно-объектных отношений, особенно в тех случаях, когда и субъект, и объект были названием лиц мужского пола, т. е. потенциальными субъектами. Возникла потребность дифференцировать им. пад., падеж субъекта, от вин. пад., падежа объекта, именно в названиях лиц мужского пола, особенно, когда контекст не давал возможности понять, где же находится субъект, а где объект. Для выражения отличия падежа объекта от падежа субъекта воспользовались образцом вопросительного местоимения и для обозначения вин. пад. от названий лиц стали пользоваться формой род. пад. от основ на *-о*, как самых многочисленных в категории слов мужского рода. Это различение касалось слов мужского рода, так как в женском роде, как правило, им. и вин. пад. различались: *мужь любить жену* (при им. пад. *жена*). Таким образом, получила своё выражение в склонении категория лица в форме род.-вин. пад. от названий лиц мужского рода. Впоследствии род.-вин. получает более широкое распространение.

424. Употребление род.-вин. в единственном числе названий лиц мужского рода вызвало распространение этой формы и на множественное число, что в дальнейшем получило особое развитие в великорусском языке (в отличие от украинского и белорусского, которые в этом отношении архаичнее великорусского). Так, уже для XIV в. имеем в Дог. гр. Новг. с Мих. Тверск. (1372 г.): „а велѣлѣ миръ имати на семъ, аже брат(ь)ю нашю попущати без окупа, новгородскихъ *бояръ* и новоторьскихъ *бояръ*, житьихъ *людьи* ... и *сиротъ* новгородскои волости". Лишь в редких выражениях с предлогами в современном языке сохраняется старая форма вин. пад.: *идти в гости* (а не *в гостей*), *вышли в люди* (вместо *в людей*) (как имеем для единственного числа *выйти замуж*, вместо *за мужа*) и т. п. В этой связи следует рассмотреть и совпадение формы им. и вин. пад. множественного числа слов мужского рода; оказывается, что в этом процессе лишний раз проявилось в языке р а з л и ч е н и е л и ц и н е - л и ц.

425. В словах женского и среднего рода именительный и винительный падежи множественного числа совпадали: *сёла, сёстры*; в мужском роде (за исключением названий лиц) им. и вин. пад. совпадали в единственном числе: *столъ, домъ*; это обстоятельство привело к тому, что проявилась тенденция к отожествлению им. и вин. пад. во множественном числе слов мужского рода: вместо им. множественного *столи* стали употреблять форму *столы*, как это и

имеем в современном языке. Однако этот процесс протекал неоднородно в словах мужского рода личных и не-личных. Старая форма им. пад. на *-и* в названиях лиц задерживалась дольше, чем в названиях не-лиц; различие *поп — попа* поддерживало различие во множественном числе форм им. пад. *попи* и вин. *попы*; совпадение им. *мост* и вин. *мост* в не-личных названиях скорее приводило к совпадению им. и вин. множественного в одной форме *мосты*.

Дольше держались в личных именах и другие специфические окончания им. множественного: ***-ове, -ье, -е*** и даже вытесняли окончания вин. пад. Кое-какие формы старого им. пад. сохранились до наших дней; ср.: *соседи, черти, нехристи; бояре, татаре* (но и *татары*), *цыгане* (рядом и *цыганы*), *крестьяне* и т. д. Ср. также *сыновья, кумовья, зятевья*. Во всех этих и подобных случаях специфические окончания им. пад. множ. ***-и, -е, -ове, -ье*** сохранились в названиях лиц.

426. Можно думать, что род.-вин. пад. прежде всего закреплялся в древнерусском в категории имён собственных, названий лиц мужского пола. По крайней мере на это указывают многочисленные факты Синодального списка I Новгородской летописи. Во многих случаях в этой летописи собственное имя стоит в род.-вин., в то время как относящееся к нему нарицательное — в старом винительном, равном именительному. Ср., например:

„а *сынъ* посади Новѣгородѣ *Всѣволода*“ (под 1117 г.);
„поставити *мужь* богомъ избранъ *Аркадия*“ (под 1156 г.);
„а *сынъ* свои *Святославъ* посади Новѣгородѣ...,
а *Давида* на Новемь търгу“ (под 1158 г.);
„Вывѣдоста *Мьстислава*, Гюргевъ *вънукъ*“ (под 1161 г.);
„и послаша Новгородьци къ Святославу въ Русь
по *сынъ* и приведоша *Володимира* въ Новъгородъ“ (под 1180 г.)
„приславъ *своякъ* свои из Новагорода *Ярослава*“ (под 1184 г.);
„изволиша собе поставити *братъ* его Ильинъ *Гаврила*“
(под 1186 г.);
„поиде князь Мьстиславъ на *зять* свои *Ярослава*“ (под 1216 г.);
„послаша... къ Всѣволодицю по *сынъ* и вда имъ *Всеволода*“
(под 1222 г.).

Источником развития род.-вин. при названиях лиц мужского пола были, вероятно, предложения вроде *побѣди Ярославъ Брячислава*, где при сохранении старого винительного в объекте совершенно непонятно кто кого „побѣдилъ“. Отсюда род.-вин. распространялся и на другие названия лиц мужского пола, собственные и нарицательные. Однако это обобщение род.-вин. на все названия лиц мужского пола происходило постепенно, поскольку во многих случаях контекст позволял безошибочно отличить субъект от объекта. Во всяком случае древнерусские памятники дают ещё много примеров неупорядоченного употребления род.-вин.; сравните в той же Новгородской летописи: „поидоша сынове на *отця*, братъ на *братъ*, рабъ на *господина*, господинъ на *рабъ*“ (под 1216 г.). Первоначально род.-вин.

выступает как синтаксическая форма выражения объекта в зависимости от контекстных условий. В дальнейшем он морфологизуется, становясь падежным окончанием определённого типа слов вне всякой зависимости от контекста (в конце концов, слов-названий одушевлённых предметов). В таком качестве род.-вин. существует и в современном русском литературном языке.

427. Категория лица получала своё грамматическое выражение не только в образовании для названий лиц особой формы род.-вин. падежа.

Так, окончание основ на *-й* (>ъ) дат. пад. ***-ови*** (соотв. ***-еви***) перешло в основы на ***-о*** только в названиях лиц мужского пола. Так обстоит, например, дело в севернорусских памятниках; в южных древнерусских памятниках окончание ***-ови*** также преобладает в названиях лиц; в дальнейшем в украинском языке эта флексия проникает и в другие категории слов, подобно тому как в них проникает и род.-вин. пад., первоначально функционировавший лишь в названиях лиц. В белорусском языке это окончание в настоящее время употребляется почти исключительно от имён одушевлённых.

В современном русском языке окончание ***-ови*** (и ***-еви***) вовсе исчезли, и категория одушевлённости и неодушевлённости выражается в склонении лишь в форме род.-вин. пад. Но в древнерусских северных памятниках, в новгородских и суздальских летописях, в двинских актах и др. дат. пад. на ***-ови*** (***-еви***) в названиях лиц очень распространён.

428. Наконец, следует указать, что грамматическое выражение категории лица проявлялось ещё в древнерусском языке в некоторых явлениях, связанных с историей вокатива (так называемого звательного падежа).

Вокатив исчез, как известно, во всех славянских языках; лишь в некоторых из этих языков сохранились его остатки. Слабость положения вокатива среди других падежных форм славянского склонения имён заключалась в том, что вокатив, с одной стороны, не представлял собой подлинной падежной формы с присущими для этой формы обычными выражениями синтаксических связей, с другой стороны, вокатив всё же входил в систему склонения, так как склонение каждой „основы“ имело свою форму вокатива. Это двойственное положение вокатива в системе ещё общеславянского склонения приводило к тому, что с постепенным преобразованием этой системы в отдельных славянских языках, происходило и падение вокатива как особой падежной формы; обычно вокатив заменялся формой именительного падежа. Однако в некоторых случаях вокатив вытеснял форму именительного падежа. В этих случаях создавалась особая форма именительного-звательного, отличная от формы винительного. Эта последняя замена имеет место как раз в названиях лиц, уже собственных имён основ на ***-о***, причём создавалась форма номинатива, отличная от формы винительного падежа. Здесь уже не винительный падеж получил особое оформление по сравнению с именительным, а именительный по сравнению с винительным.

Семантическая связь вокатива с именительным падежом названий лиц не нуждается в разъяснении: вокатив и употреблялся, главным образом, от названий лиц или персонифицированных явлений природы, как, например, в обращении Ярославны („Слово о полку Игореве") к Днепру: *Днепре,* к ветру: *вѣтре-вѣтрило.*

429. Образование особой формы именительного-звательного для собственных имён основ на ***-о*** мы наблюдаем ещё в общеславянском языке. Эта форма по своему происхождению является формой вокатива от основ на ***-а*** мужского рода типа *slugo, vojevodo* и т. п. Она получила значение им. пад. ед. числа. Подобные образования на ***-о***, как им. пад. ед. числа от собственных имён основ на ***-о***, мы имеем во всех славянских языках. Ср. такие старославянские формы им. пад. ед. числа, как *Марѣко*; древнесербские: *Павло, Филипо, Михаило, Александро, Данило* и т. п. Ср. также древнерусские имена, как *Малъко, Александро, Федорко, Данило, Михаило* и т. д.

Более поздним явлением, характерным особенно для северных древнерусских памятников, является образование отличной от винительного падежа формы именительного-звательного для основ на ***-о***, с окончанием ***-е***, которое есть не что иное, как окончание звательного падежа основ на ***-о***. Ср.: *Павле, Петре, Иване, Семене* и мн. др. Это окончание могло переноситься и на предыдущий тип слов. Тогда получались им.-зв. формы вроде: *Савке, Кондрашке, Васке* и т. п.

Это ***е*** в форме им. ед. числа проникло в формы перфекта типа *дале* (вместо *далъ*), *ходиле* (вместо *ходилъ*); это объясняется теснейшей связью форм перфекта-сказуемого с подлежащим, лицом, субъектом (см. § 545). А отсюда ***е*** могло переноситься и в название предметов; ср. новгородские формы вроде *коле* (*колъ*), *дворе* (*дворъ*), *останке* (*останокъ*) и др.; ср. в Новг. I лет. по Синодальному списку: „загореся *Савькине дворе* (под 1194 г.), где ***е*** — бесспорно окончание им. пад. ед. числа, как его и понимали позднейшие переписчики, заменявшие эти формы обычным окончанием им. ед. основ на ***-о*** (т. е. формой *Савкинъ дворъ*).

ГЛАВА ВТОРАЯ

ИЗ ИСТОРИИ МЕСТОИМЕНИЯ

430. Склонение указательных местоимений.

	Единственное число			Множественное число		
	Мужской род	Средний род	Женский род	Мужской род	Средний род	Женский род
И.	*тъ*	*то*	*та*	*ти*	*та*	*ты*
Р.	*того*	как в муж.	*тоѣ (тоjе)*	*тѣхъ*	как в мужском	
Д.	*тому*	роде	*тои (тоjь)*	*тѣмъ*	роде	
В.	*тъ, того*	*то*	*ту*	*ты*	*та*	*ты*
Т.	*тѣмь*	как в муж.	*тою*	*тѣми*	как в мужском	
М.	*томь*	роде	*тои (тоjь)*	*тѣхъ*	роде	

Двойственное число

	Мужской род	Женский род	Средний род
И. В.	*та*	*тѣ*	*тѣ*
Р. Д.	*тою*	как в мужском	
Т. М.	*тѣма*	роде	

Примечания. 1. К истории местоимения *тъ, та, то* ср. ниже в § 447 и сл.

2. Окончания им. мн. мужск. *-и*, средн. *-а*, женск. *-ы* соответствуют окончаниям существительных основ на *-о* и *-а* (см. § 365, 368). Во множественном числе различия по родам существуют только в им.-вин.; впоследствии исчезает и это различие и обобщается для всех родов новая форма им.-вин. мужск. рода *тѣ*, возникшая под влиянием *тѣ* имевшегося в других падежах.

3. Очень знаменательно совпадение форм род.-дат. и твор. женск. рода в одной форме *той* (*toj*); оно тем более знаменательно, что фонетически в *toj* изменилась только форма дат. ед. *tojь* > *той*; конечные, хотя и неударные, *ѣ* и *ꙗ* по звуковым законам русского языка не должны были отпадать; *ꙗ* и *ѣ* отпали здесь потому, что особое выражение во флексии тех грамматических значений, которое они выражали, оказывалось не столь нужным в словах-определениях, каким выступает указанное местоимение; специальное выражение категории падежа являлось не столь необходимым в словах-определениях потому, что значение падежа давалось определяемым именем (существительным); грамматическая „слабость" этих окончаний состояла и в том, что они стояли в наиболее слабом фонетически положении в слове, а именно — в безударном конечном слоге слова. Аналогичными причинами объясняется и окончательное исчезновение родовых различий во множественном числе склонения *тъ, то, та*. Сходные явления мы наблюдаем и в склонении прилагательных как слов-определений; *женой* вместо *женою* и т. д. в существительных объясняется, повидимому, влиянием местоимений и прилагательных.

4. Как *тъ, та, то* склоняются указательные местоимения *онъ, она, оно* (не смешивать с личным местоимением), *овъ, ова, ово*.

431. Склонение местоимения *сь, си, се*.

	Единственное число			Множественное число		
	Мужской род	Средний род	Женский род	Мужской род	Средний род	Женский род
И.	*сь*	*се*	*си*	*си, сии*	*си*	*сиѣ*
Р.	*сего*	как в муж.	*сеѣ (s'ejě)*	*сихъ*	как в мужском	
Д.	*сему*	роде	*сеи (s'ejь)*	*симъ*	роде	
В.	*сь, сего*	*се*	*сию (сю)*	*сиѣ*	*си*	*сиѣ*
Т.	*симь*	как в муж.	*сею*	*сими*	как в мужском	
М.	*семь*	роде	*сеи (s'ejь)*	*сихъ*	роде	

Двойственное число

	Мужской род	Средний род	Женский род
И. В.	*сия*	*сии*	*сии*
Р. М.	*сею*	как в мужском	
Д. Т. В.	*сима*	роде	

1. Местоимение *сь, си, се* исчезло из употребления в дальнейшем развитии русского языка.

2. Местоимение *сь, си, се* сохранилось лишь пережиточно в некоторых наречиях: *сегодня, сейчас, сию минуту, здесь* (<*сьдесь*), *днесь* (<*дьньсь*, т. е. в этот день, в сей день — вин. пад. ед. числа), и в таких архаичных и вышедших из употребления канцеляризмах, как *прилагая к сему* и т. п.

3. Отпадение *ѣ* и *у* в род. и твор. пад. ед. числа женск. рода аналогично тому, что мы отметили для местоимения *тъ, та, то* (см. предыдущий параграф).

432. Склонение местоимения и (*jь*) ѝ, ѥ.

	Единственное число			Множественное число		
	Мужской род	Средний род	Женский род	Мужской род	Средний род	Женский род
И.	*(и)*	*(е)*	(ѝ)	*(и)*	(ѝ)	*(ѣ)*
Р.	*его*	как в муж.	*еѣ (jejě)*	*ихъ*	как в мужском	
Д.	*ему*	роде	*еи (jejь)*	*имъ*	роде	
В.	*и, его*	*е*	*ю*	*ѣ*	ѝ	*ѣ*
Т.	*имь*	как в муж.	*ею*	*ими*	как в мужском	
М.	*емь*	роде	*еи (jejь)*	*ихъ*	роде	

Двойственное число

	Мужской род	Средний род	Женский род
И. В.	(ѝ)	*(и)*	*(и)*
Р. М.	*ею*	как в мужском	
Д. Т.	*има*	роде	

Примечания. 1. Об употреблении этого местоимения в древнерусском см. § 455 и сл.

2. Косвенные падежи личного местоимения 3-го лица в современном русском языке имеют в основе склонение местоимения *и, я, е*.

3. Сочетание *jѣ*, т. е. *ję̂*, изменилось в *je*, под ударением в конце слова *je* закономерно изменилось в *jo*. Отсюда форма род. ед. женск. рода *её* (< *еѣ*). Форма *ея*, существовавшая на письме до реформы орфографии 1917 г., есть искусственно введённая в грамматику и не имеющая никаких корней в живом языке трансформация ст.-сл. ѥꙗ — русск. *еѣ*, церк.-сл. ѥѧ, *ея*.

4. Предлоги *съ, въ, къ* существовали в общеславянском языке и в форме *сън-, кън-, вън-*; первые формы ставились перед согласным, вторые — перед гласным и перед *j*; поэтому имелись формы

вънь < *вън-jь* (*jь* = *и*) (вин. пад.), *сън-имь* (твор. пад.), *къп-ему* (дат. пад.), *къп-имъ* и т. п. Впоследствии общей формой соответствующих предлогов стали *къ*, *съ*, *въ*, а *н* было отнесено к местоимению, возникли дублетные формы *и* (*-jь*) и *нь*; *ему* и *нему*; *ими* и *ними* и т. п. Позднее, формы с *н* стали употреблять при всяких предлогах: *под ним*, *за ним* и т. п. В современном русском литературном языке, как правило, формы с *н* употребляются только с предлогом, а формы без *н* — в беспредложных оборотах. Формы с *н* и без *н* в современном русском литературном языке морфологизованы в том смысле, что притяжательное местоимение *его*, *их* (*его отец*, *их отец*) употребляется только без *н*, а личное местоимение с *н* или без *н* в зависимости от предложности или беспредложности оборота: *от него*, но *от его* отца (никогда *от него* отца). Случай переразложения предлога *вън* с отнесением *н* к слову, перед которым стоит предлог, наблюдается и в производных словах от существительных; ср. *нутро*, из *вън* + *утр-*: *утр-* — тот же корень, что *утроба*; ср. *внутри* (< *вън-утри*), *внутрь* (< *вън-утрь*), *внутренности*.

Из истории указательных местоимений

433. В общеславянском языке существовало значительное количество местоимённых основ с указательным значением, сохранившихся в указательных местоимениях, в местоимённых наречиях и, повидимому, в некоторых предлогах и союзах. Эти многочисленные местоимённые указательные основы получают соответствующее отражение и в древнерусском, и в современном русском, и в других славянских языках. Отметим некоторые из них. В собственно указательных местоимениях: *сь*, *тъ*, *и*, *онъ*, *овъ*; в наречиях: *та-мо*(*мъ*), *сь-мо*(*мъ*), *ка-мо*; *ту-да*, *сь-де*; в союзах вроде *да*, *но* и др.; в некоторых предлогах. Чем объясняется многочисленность указательных местоимённых основ в славянских языках? Этот вопрос тем более закономерен, что подобное положение вещей мы находим в любом другом языке (в большей или в меньшей степени).

434. Исследователи языков так называемых „низших" обществ единодушно отмечают существование в этих языках необычайно дифференцированной (для нас!) системы указательных местоимений. Так, в языке кламатов отмечены особые указательные местоимения для выражения следующих значений: указание на предмет, к которому можно прикоснуться; указание на совсем близкий предмет; указание на предмет, находящийся перед говорящим; указание на предмет, который имеется налицо, видим в поле зрения; указание на предмет, который хотя и удалён, но видим; указание на удалившийся и поэтому отсутствующий предмет; указание на предмет, находящийся вообще вне поля зрения, и др. У яганов Огненной Земли особые местоимения указывают, например, находится ли предмет на верху вигвама или у двери, находится ли человек в глубине бухты или долины, вправо или влево от вигвама, в самом вигваме, у порога или вне жилья и т. п.

435. По существу мы имеем перед собой в этих и подобных случаях нечто, в корне отличное от указательных местоимений развитых языков. Дело не только в количестве, но прежде всего в ином качестве этих „местоимений". В этих и подобных случаях мы имеем, собственно, перед собой сложную систему первобытно-конкретных указательных слов, локально указательных определений предметов.

Самое изобилие их есть изобилие от бедности. Генетически оно восходит к первобытно-конкретному состоянию человеческой мысли, бедной общими понятиями, мало способной ещё к отвлечению, к абстрагированию. На этом этапе развития мысли пространственная характеристика предметов, локальное („местное") их определение является ещё господствующим их определением. С развитием отвлечённого мышления и, соответственно, иных разнообразных способов определения предметов старая громоздкая система указательных слов-определений теряет своё значение, исчезает, отмирает. Но её отмирание есть оборотная сторона возникновения нового типа указательного местоимения, собственно указательного местоимения развитых языков.

Указательное местоимение современного типа возникает как огромное достижение человеческой мысли в процессе длительного её развития. Возникает, наконец, понятие „тот вообще", „этот вообще". Ср. у В. И. Ленина: «(„Это"? Самое общее слово)

Кто *это*? *Я*. Все люди я. *Das* Sinnliche вообще? Это есть *о б щ е е* etc. etc. „Этот"?? Всякий есть „этот"» [1].

436. Указательное местоимение современного типа есть величайшая абстракция, но абстракция не „пустая", а ценнейшая, подлинная; как всякое подлинное обобщение, современное местоимение заключает в себе всё бесконечное разнообразие отдельного и единичного.

437. Наиболее обобщённую систему указательных местоимений мы имеем в тех современных языках, которые имеют всего д в а взаимосоотнесённых указательных местоимения — „этот" и „тот". В наиболее обобщённой и совершенной (адекватной содержанию) форме эта двучленная система указательных местоимений выступает, например, в таких языках, как современный русский язык, где „тот" и „этот" выражаются собственно одним словом, одним „корнем" с дифференцирующим показателем *э*. Русское *этот* образовано от *тот* в позднее время посредством указательной частицы *э*. Аналогичное выражение „того" и „этого" находим во французском, где *celui-ci* — „этот", а *celui-là* — „тот". В немецком „тот" и „этот" выражаются разными корнями (словами): *dieser* — „этот" и *jener* — „тот". Отсюда не вытекает, конечно, никаких выводов о совершенстве мышления современных русских и французов по сравнению с современными немцами. Нельзя отожествлять язык и мысль. Взаимоотношения языка и мысли очень сложны. Различие в выражении указательных местоимений в русском и французском, с одной стороны, и в немецком — с другой, объясняется историей этих языков.

[1] В. И. Ленин, Философские тетради, Огиз, 1947, стр. 258. (Ред.)

и только. Все три народа располагают двучленной системой указательных местоимений, но выражают её различно; в русском и французском языках сложилось, сбытовалось более адекватное содержанию выражение указательного местоимения, в немецком — менее адекватное, менее обобщённое; в иных частных случаях мы найдём более адекватную содержанию форму в немецком языке.

438. Во многих языках мы находим трёхчленную систему указательных местоимений; здесь различаются три степени указания; а именно: 1) указание на ближайший предмет („этот" — самый близкий); 2) указание на несколько отдалённый, но находящийся в поле зрения, видимый предмет („тот" — близкий или „этот" — отдалённый); 3) указание на наиболее отдалённый, далёкий, невидимый, не находящийся в поле зрения предмет („тот" — далёкий, отсутствующий). Соответственно этим трём локально указательным понятиям существуют и три различных указательных местоимения, которые мы будем условно называть указательными местоимениями первой, второй и третьей степени.

Трёхчленную систему указательных местоимений мы находим в латинском, армянском, турецком, грузинском и других языках. Подобная система была и в общеславянском языке. Таким образом, система указательных местоимений общеславянского языка качественно отличалась от системы их в современном русском языке.

439. Трёхчленная система указательных местоимений по своему содержанию отличается от двучленной. Здесь мы имеем уже не разное выражение одного и того же содержания (как во французском и русском по сравнению с немецким), но и разное содержание, т. е. три, а не два понятия указательности, которым соответствуют и три разных слова. Трёхчленная система представляется менее обобщённой, более архаичной по сравнению с двучленной. Почему же в некоторых языках развитие системы указательных местоимений задерживается на трёхчленной системе? Вовсе не потому, конечно, что задерживается развитие мысли у соответствующих народов.

Наблюдение показывает, что трёхчленная система указательных местоимений задерживается там, где устанавливается связь трёхчленной системы указательных местоимений с трёхчленной системой личных местоимений таким образом, что указательные местоимения первой, второй и третьей степеней соотносятся с личными местоимениями 1-го, 2-го и 3-го лица; обычно в качестве местоимения 3-го лица употребляется в таких случаях одно из указательных местоимений третьей степени. Приведём некоторые примеры.

440. В латинском языке существует трёхчленная система указательных местоимений. Латинское *hic* указывает на предмет, находящийся в связи с 1-м лицом, со „мной", с говорящим; естественно, что *hic* имеет значение „этот" (самый близкий); латинское *iste* указывает на предмет, находящийся в связи с 2-м лицом, с моим собеседником, с „тобой", с „вами"; естественно, что *iste* имеет значение „тот" (по близости); латинское *ille* указывает на предмет вне его связи с собеседником, с говорящим, со „мной" и „тобой"; *ille* ука-

зывает на предмет, относящийся к 3-му лицу, отсутствующему, находящемуся вне поля зрения, вне беседы; оно является местоимением третьей степени удалённости и вместе с тем может выступать и в качестве личного местоимения 3-го лица.

441. В грузинском языке, как и в армянском древнелитературном, указательные местоимения указывают не только на дальность или близость предмета, как, например, в русском, но и на отношения к одному из лиц.

В грузинском древнелитературном языке указательные местоимения следующие:

ese — „этот" (о предмете близ 1-го лица)
ege — „этот" или „тот" (о предмете близ 2-го лица)
igi — „тот" (о предмете близ 3-го лица)

В новогрузинском:

agi — „этот"
magi — „этот", „тот" (близ 2-го лица)
isi → *is* — „тот"

442. В общеславянском языке существовала трёхчленная система указательных местоимений. Она наиболее ярко сохранилась в сербском языке, хотя и выражается, как увидим, не совсем теми словами, что в общеславянском. Трёхчленная система ещё явственно отражается в древнерусском языке. Современный русский язык, имеющий двучленную систему указательных местоимений, отличен в этом отношении от общеславянского и даже от древнерусского.

В общеславянском *сь* значило „этот, ближайший", *тъ* — „тот, по близости", *онъ* — „тот, отдалённый". В древнерусском существуют все эти три указательных местоимения, но различие между *тъ* и *онъ* уже теряется.

В сербском языке есть два указательных местоимения с значением „тот": *тај* и *онај*. *Тај* есть осложнённое посредством *ј* (< *jь*) указательное местоимение *тъ*; так как сильные *ъ* и *ь* дают в сербском *а*, то др.-сербск. *тъјь* закономерно изменилось в современное *тај*. Таким же путём *онај* восходит к *онъјь*. Таким образом, противостоящие друг другу указательные местоимения *тај* и *онај* целиком отражают более древнее противопоставление указательных местоимений *тъ* и *онъ*. В сербо-русских словарях различия в значениях *тај* и *онај* обычно сглаживаются, потому что в русском нет соответствующих по значению двух указательных местоимений, но в знаменитом сербо-латино-немецком словаре Вука Караджича сербское *тај* переводится латинским *iste*, а *онај* — латинским *ille*; наряду с этим отмечается *овај* с значением латинского *hic*. Таким образом, сербская система указательных местоимений *овај* — *тај* — *онај* совершенно точно соответствует латинской: *hic* — *iste* — *ille*. Рядом с тремя указательными местоимениями имеем в сербском и три наречия *ево*, *ето*, *ено* с общим значением „вот", но с семантической дифференциацией: *ево* соотносится с 1-м лицом, *ето* со 2-м, *ено* с 3-м. „Вот мне (для

меня)" переводится на сербский *ево мени*; „вот тебе (для тебя)" — *ето теби*, „вот ему (для него)" — *ено њему*.

443. В болгарском трёхчленная система указательных местоимений отсутствует (как и в русском), но её существование в прошлом не подлежит никакому сомнению. Известно, что в болгарском есть постпозитивный определённый член (артикль); как и во всех языках, в болгарском определённый член развивается из указательных местоимений; обычным является в болгарском определённый член — ***т*** (из *тъ*.) Но в некоторых диалектах имеется три вида члена: ***т*** (из *тъ*), ***с*** (из *сь*), ***н*** (из *онъ*), все три вида члена, как это ясно, восходят к указательным местоимениям *сь*, *тъ*, *онъ*. Каковы же их значения? ***С*** (< *сь*) употребляется при обозначении предмета, который находится при говорящем лице; ***т*** (< *тъ*) — для обозначения предмета, находящегося при 2-м лице, собеседнике; ***н*** (< *онъ*) — при предмете, отсутствующем в обстановке беседы, находящемся вне её, или без соотношения с лицом. Таким образом, в системе члена (***с***, ***т***, ***н***) целиком отражена система общеславянских указательных местоимений *сь*, *тъ*, *онъ* (в сербском, как видели, *овъ*, *тъ*, *онъ*).

Различные пережитки трёхчленной системы указательных местоимений имеются и в других славянских языках.

444. Местоимение *он* (< *онъ*) в современном русском языке выступает лишь как личное местоимение 3-го лица. Но в древнерусском это местоимение имело также и указательное значение, было и указательным местоимением (подобно латинскому *ille*). Ср. следующие примеры: „нѣсть ли кого, иже бы моглъ на *ону* (=ту) страну (Днепра.— *Л. Я.*) доити и рече (испорчено вместо *речи*) имъ..." (Лаврентьевский список „Повести временных лет", под 968 г.); „оканьнии же *они* (=тѣ) убиици" (И. И. Срезневский, Материалы..., под словом „оный"). *Онъ* полъ = та сторона. „Изиде противу Любчю об *онъ* полъ Днѣпра, а Ярославъ об сюду" (Срезневский, там же) и т. п. Местоимение *оный* (членная форма от *онъ*) сохраняет указательное значение очень долго.

Менее отчётливой представляется семантика указательного местоимения *онъ* в древнерусском по сравнению с местоимением *тъ*. Здесь приходят, однако, на помощь другие факты.

445. Местоимённое указательное наречие *вон* („Смотрите, *вон* летит самолёт"; „*Вон* даль голубая видна", А. Майков)[1] образовано от той же местоимённой основы, что и местоимение *онъ* — „тот"; звук ***в*** перед ***о*** развился здесь уже на почве русского языка в зависимости от особого качества интонации ударяемого ***о*** (как *вострый* при *острый*, *вотчина* при *отец* и др.). Значение крайней степени удалённости ярко выступает в наречии *вон*; оно употребляется в той же функции, что и *вот* (образованное от той же основы, что и указательное местоимение *тъ*), но при указании на более отдалённый предмет. Ср. *вот тут* и *вон там*. *Вот* указывает на удалённый, но близкий предмет; *вон* — на более удалённый, на очень удалённый

[1] Не смешивать с *вон* — „наружу".

(особенно при растягивании *о*: *во-о-н*). Наречия *вот* и *вон* образовались ещё в то время, когда господствовала система трёх указательных местоимений и когда *тъ* и *онъ* отчётливо различались как обозначающие разные степени удалённости. Впоследствии система трёх указательных местоимений исчезает; различие между *тъ* и *онъ* стирается уже в древнерусском языке. Но наречия, стоявшие несколько в стороне от системы указательных местоимений, сохранили это различие до наших дней.

446. Трёхчленная система указательных местоимений предшествовала, повидимому, во всех языках двучленной. В тех языках, где она была и задерживалась, её поддерживала связь с трёхчленной системой личных местоимений. Предпосылкой для её исчезновения служило дальнейшее развитие понятия указательности, развивавшегося по направлению к противоположности двух степеней отдалённости „тот" и „этот". Но даже там, где возникли в мысли две степени отдалённости, трёхчленная система задерживалась по традиции, поддерживаемая соотношением с личными местоимениями, вопреки развитию понятия указательности. Однако последовательным оказывался в данном случае распад трёхчленной системы и развитие двучленной. Этому способствовали различные условия развития самих языков, располагавших трёхчленной системой. Впрочем, слабость трёхчленной системы заключалась в ней самой. Внутренняя противоречивость трёхчленной системы заключалась в том, что местоимение второй степени удалённости имело и значение „этот" (по отношению к указательному местоимению третьей степени: латинск. *iste* по отношению к *ille*, общеслав. *тъ* по отношению к *онъ*) и значение „тот" (по отношению к указательному местоимению первой степени: латинск. *iste* по отношению к *hic*, общеслав. *тъ* по отношению к *сь*); эта внутренняя противоречивость трёхчленной системы была главной причиной её дальнейшего развития в двучленную. Таким путём из общеславянского *сь*, *тъ*, *онъ* в древнерусском получается *сь* | *тъ* (= *онъ*). Здесь имело значение и окончательное образование трёхчленной системы личных местоимений, в том смысле, что указательное местоимение третьей степени стало только местоимением 3-го лица, потеряв значение указательности; противопоставление *сь* — *я*; *тъ* — *ты* исчезает, коль скоро 3-е лицо *он* становится только личным местоимением; в таких условиях *тъ* выступает как последняя (уже вторая) степень удалённости, и трёхчленная система переходит в двучленную. Древнерусский язык даёт промежуточную стадию от трёх к двум членам, в ней местоимение *он* уже личное, но ещё и указательное местоимение.

К истории указательного местоимения *тъ, та, то* в древнерусском языке

447. Указательные местоимения в древнерусском языке, как в любом другом языке, могли употребляться в двух оттенках значения, в двух функциях: 1) в собственно указательной; ср. в русском: „Дай

мне *эту* книгу, а не ту", и 2) в функции соотносительной, релятивной, анафорической; ср. в русском: „Там, кажется, был ещё один не снятый дом? Да, но дом *этот* показался мне таким плохим, что я его не осматривал". Здесь указательное местоимение не столько указывает, сколько относит нас к уже упомянутому и потому известному дому, оно по значению здесь близко к слову „вышеупомянутый".

Подобное релятивное употребление было известно ещё в общеславянском языке. Оно отмечается в старославянских памятниках. Обычно указательное местоимение в релятивной функции ставится постпозитивно. Точнее, постпозитивное положение указательного местоимения служит, главным образом, для выражения его релятивной функции.

448. Постпозитивное употребление указательного местоимения, повидимому, в релятивной функции мы находим, например, в Зографском евангелии: „ѹѣто родо сь (родъ сь) ꙁнамєньѣ · нштетъ амин' глаголѣ вамъ аште дастъ сѧ родоу семоу ꙁнамєнне". Ещё: „коупишѧ имь село сѫдєльникоѵо въ погрєбанне странъньімъ. Тѣмь же нарєчє сѧ село то село крѣвє до сего дне". Из Саввиной книги: „О дни томь и годинѣ тои никтоже не вѣсть ни ѧгли нєбєсни". Из Ассеманиева евангелия: „и ꙁнде вѣсть сь по вьсєи ꙁємн тои". В Киевских глаголических листках препозитивное и постпозитивное *сь* различаются формально; в препозитивном положении вместо *сь* пишется *сьі* (т. е. сей): „Сьі приносъ принесєнъі тебѣ... но прими господи просим тѧ приносъ сь".

Совершенно ясно, что никакого постпозитивного члена во всех этих случаях нет. Те, кто видят здесь член, находятся под наваждением современного болгарского языка.

449. Аналогичное постпозитивное употребление указательных местоимений находим и в древнерусских памятниках:

„Аще ѣсте *хлѣбо сь* (< хлѣбъ-сь) и чашю сию пьіете"; „Призри на ны и на святыи *храмо сь*" [1]; „И есть *градо-тъ* (градъ-тъ) Акра великъ велми;[2] „Зане перея славу *отроко тъ*" (Лавр., под 992 г.); „Что придосте с *хромьцемь симь*" (Лавр., под 1016 г.);

„Созва на *пиро тъ* духовныи" (Ипат., под 1183 г); „БѢ бо любя *градъ сь*" (Лавр., под 991 г.).

450. Под влиянием болгарского языка с его постпозитивным определённым членом *т, та, то* некоторые учёные утверждали, что определённый член был уже в старославянских памятниках, а также и в древнерусском постпозитивном употреблении указательных местоимений видели наличие постпозитивного определённого члена. Но это неверно. И в старославянском, и в древнерусском было лишь постпозитивное употребление указательных местоимений, а возможность возникновения определённого члена создалась и в русском, и в болгарском лишь после падения глухих, причём в болгарском член

---

[1] И. И. Срезневский, Материалы для древнерусского словаря, т. III, стлб. 345.

[2] Там же, стлб. 1067.

действительно развился и стал особенностью грамматического строя болгарского языка, а в русском он и вовсе не развился.

С падением глухих древнерусское препозитивное *тъ* могло иметь двоякую судьбу; оно могло изменяться: 1) в *т* перед следующей гласной полного образования, например в сочетаниях типа *тъ домъ* (отсюда фонетически должно было получиться *т дом*), или 2) въ *то* перед слогом со следующим глухим в сочетаниях типа *тъ мънѣ* (> *то мнѣ*). Из этих двух возможных вариантов первый *т* не годился для выражения указательного местоимения как отдельного самостоятельного слова, потому что состоял лишь из одного согласного звука. Поэтому сперва после падения глухих указательное местоимение мужского рода стало звучать *то*. *То* в значении указательного местоимения мужского рода засвидетельствовано в памятниках. Ср. „бѣ же варягъ *то* (< *тъ*) пришелъ изъ Грекъ" (Лавр., под 983 г.); „паки *то* (< *тъ*) же Иеремия рече" (Лавр., под 986 г.); „*то* (< *тъ*) недуги наша исцѣли, и болѣзни" (Лавр., под 986 г.); „Се же поручаю в собе мѣсто столъ... брату вашему Изяславу Кыевъ, сего послушаите, яко же послушасте мене; да *то* (< *тъ*) вы будеть в мене мѣсто" (Лавр., под 1054 г.); „Тому ити ротѣ, у кого *то* (<*тъ*) лѣжалъ товаръ" („Русская правда" по Синод. списку); „На семь, княже, цѣлуи хрьстъ къ всѣму Новугороду, на цѣмь *то* (т. е. *тъ* крьстъ) цѣловали дѣди и отци" (Дог. гр. Новг. с Ярос. Ярос., 1264—1265 гг.).

Наряду с *то* в значении указательного местоимения мужского рода часто употребляется и *се* (< *сь*) в значении мужского рода.

Формы *то* и *се* мужского рода не могли удержаться в языке, так как они совпадали с формами *то* и *се* среднего рода. Выход был найден в том, что вместо *то* для мужского рода стали употреблять *той* или *тот*, а для *се* — *сей* или в диалектах *сесь*. В Р. и А. списках Лаврентьевской летописи формы *то* и *се* для мужского рода систематически заменяются через *той* и *сей*.

451. Форма *то* (мужск. род) впоследствии выходит из употребления, превращается в частицу *то*, сливаясь с такой же частицей из формы среднего рода *то*. Однако, анализируя употребление частицы *то* в былинах, можно безошибочно установить, что в ряде случаев мы имеем здесь превратившееся в частицу указательное местоимение *тъ* > *то* именно мужского рода. Это доказывает, что *то* — „тот" (мужск. род.) существовало в живом языке. Ср., например, следующие случаи:

„Прямоезжею дороженкой ехал мимо *то Чернигов* град,
Ехал мимо *эту Грязь* да мимо Черную,
Мимо славную *березу ту* покляпую" (Гильфердинг, стр. 16).

То здесь, несомненно, вин. пад. ед. числа мужского рода местоимения *то* (< *тъ*), относящийся к слову „Черниговъ" (предлог „мимо" в древнерусском и в современных севернорусских говорах употребляется с вин. пад.). В том, что здесь *то* есть вин. пад. местоимения, убеждает нас соотнесённость его с *эту* в „мимо *эту* грязь". Ср. ещё:

„*То* (<тъ) лежит колпак да земли греческой

ён берёт *то тот* колпак да во белы ручки" (Гильфердинг, стр. 53—54).

„Засвистал *то* Соловей да и по соловьему" (Гильфердинг, стр. 13).

„Как садился *то* Олеша на добра коня...

Говорил *той* Олеша таковы слова" (Гильфердинг, стр. 38, 39 и др.).

Во всех этих случаях *то* стоит препозитивно.

452. Таким образом, в результате падения глухих препозитивное указательное местоимение получило следующую форму: *тот, та, то* или *той, тая, тое* (которое и сейчас широко распространено в диалектах). Иную судьбу получило постпозитивное указательное местоимение *тъ, та, то*. Здесь *тъ*, находившееся в конце слова, к которому оно примыкало, переходило в *т*: *домъ тъ* > *домо-т*; здесь в конце слова после гласного *т* оказывалось вполне возможным; так сложилась особая форма постпозитивного указательного местоимения *т, та, то* рядом с *тот, та, то* для препозитивного. Любопытно, что форма *тот* почти не употребляется в современном русском литературном языке постпозитивно, хотя и встречается в диалектах: это потому, что она возникала именно как форма препозитивная, заменяя препозитивное *то* (из *тъ*).

453. Поскольку в результате падения глухих препозитивная форма указательного местоимения (она же в большинстве случаев собственно указательная) *тот, та, то* оформилась как особая от постпозитивной (она же чаще всего релятивная) *т, та, то*, создалась возможность развития из постпозитивного *т, та, то* определённого члена. В болгарском языке эта возможность получила осуществление в связи с развитием в болгарском аналитического строя языка. В русском языке категория определённого члена *т, та, то* не получила развития, осталась в зародыше, и в современных диалектах мы имеем её полное разложение. В литературный язык она вовсе не вошла. Было бы совершенно неправильно думать, что в русском языке, в частности в севернорусских диалектах, член *т, та, то* некогда существовал как грамматическая категория, подобно тому как он существует в современном болгарском языке. Было лишь более или менее распространённое употребление релятивного указательного местоимения в постпозитивной форме, не развившееся в артикль. Это, собственно, не разложившийся, а недоразвившийся член; не успев развиться, он превращался в частицу *т, та, то*, которая всё более обобщалась в форме *то*, что особенно ярко проявилось в диалектах, лёгших в основу литературного языка.

Вопросительное местоимение *къто, чьто*

454. Склонение.

И.	*къто*	*чьто*	
Р.	*кого*	*чего*	
Д.	*кому*	*чему*	
В.	*кого*	*чьто*	
Т.	*цѣмь*	*чимь*	
М.	*комь*	*чемь*	

Примечание. 1. В твор. ед. *цѣмь* звук *ц* из *к* по второму смягчению заднеязычных (перед *ѣ* из *oi̯*; *цѣмь* < *koi̯мь*). В дальнейшем, в связи с возникновением в древнерусском звука *к'*, по аналогии к другим падежам и *ц* было заменено через *к'*: *кем*. В твор. ед. *чимь* звук *и* заменён через *е* по аналогии к другим падежам: *чего, чему*, возможно, не без влияния *кем*.

2. Формы *кѣто*, *чьто* состоят из собственно вопросительного местоимения *кѣ* и *чь* и употреблённого в значении наречия указательного местоимения среднего рода *то*; по своей конструкции формы *кѣ-то* и *чь-то* примерно соответствуют нашим вопросительным формам *кто это? что это?*, состоящим из вопросительного местоимения *кто*, *что* и употреблённого в значении наречия указательного местоимения *это*.

3. Существовавшее уже в общеславянском языке вопросительное местоимение *кѣто* было личным вопросительным местоимением, а *чьто*— не-личным. Таким образом, уже в общеславянском категория лица и не-лица выражалась тем, что существовали две основы вопросительного местоимения *ко, кѣ* и *че, чь*. Кроме того, в том же вопросительном местоимении категория лица и не-лица выражалась тем, что в лично-вопросительном местоимении форма вин пад. совпадала с род. пад., а не с именительным, как в не-личном (*кого, что*). Эти оба обстоятельства (а не только второе из них) привели к тому, что вопросительное местоимение сыграло большую роль в конкретном оформлении категории лица и не-лица в склонении существительных.

Указательное местоимение *и, я, е*

455. Указательное местоимение *и (-jь)* (м. р.), *я (-ja)* (ж. р.), *е (-je)* (ср. р.) не входило в общеславянскую трёхчленную систему указательных местоимений [1]. В общеславянском оно получило значение определённого указательного местоимения.

В качестве определённого указательного местоимения оно было использовано ещё в общеславянском для выражения определённого члена при прилагательных (см. ниже § 485 и сл.).

456. В качестве определённого указательного местоимения оно, обычно с частицей *же*, преобразовывалось в относительное местоимение и в дальнейшем в относительное союзное слово: *иже, яже, еже*. Наконец, как определённое местоимение, *и, я, е* было исполь-

[1] Следует полагать, что в первобытных языках с богатой и развитой системой локально-указательных слов все эти слова постепенно группируются по трём степеням удалённости, так что каждая степень первоначально обслуживается несколькими указательными словами; в дальнейшем одно из этих слов выступает как единственный представитель всей группы, перерождаясь в собственно указательное местоимение. Остальные либо отмирают, либо уходят в наречия, союзы, предлоги. Но иногда среди указательных местоимений данного языка, уже образовавшего новую, например трёхчленную, систему указательных местоимений, наблюдаем, наряду с собственно указательным местоимением данной степени, местоимения, которые раньше входили в состав соответствующей группы и сохранились как местоимения.

зовано для выражения косвенных падежей личного местоимения 3-го лица (см. ниже § 467 и сл.).

457. Притяжательные местоимения.

Единственное число

	Мужской род		Средний род
И.	*мои*	*нашь*	*мое наше*
Р.	*моего*	*нашего*	как в муж-
Д.	*моему*	*нашему*	ском роде
В.	*мои, моего*	*нашь, нашего*	*мое наше*
Т.	*моимь*	*нашимь*	как в муж-
М.	*моемь*	*нашемь*	ском роде

Множественное число

	Мужской род		Средний род
И.	*мои*	*наши*	*моя наша*
Р.	*моихъ*	*нашихъ*	как в муж-
Д.	*моимъ*	*нашимъ*	ском роде
В.	*моѣ*	*нашѣ*	*моя наша*
Т.	*моими*	*нашими*	как в муж-
М.	*моихъ*	*нашихъ*	ском роде

Двойственное число

	Мужской род		Средний род
И.В.	*моя*	*наша*	*мои наши*
Р.М.	*моею*	*нашею*	как в муж-
Д.Т.	*моима*	*нашима*	ском роде

Женский род

	Единственное число		Множественное число		Двойственное число	
И.	*моя*	*наша*	*моѣ*	*нашѣ*	*мои*	*наши*
Р.	*моѣ*	*нашеѣ*	*моихъ*	*нашихъ*	*моею*	*нашею*
Д.	*моей*	*нашей*	*моимъ*	*нашимъ*	*моима*	*нашима*
В.	*мою*	*нашу*	*моѣ*	*нашѣ*		
Т.	*моею*	*нашею*	*моими*	*нашими*		
М.	*моей*	*нашей*	*моихъ*	*нашихъ*		

Притяжательные местоимения составлены из основ *мо, тво, сво, нас, вас* и определённого местоимения *и* (=*jь*), *я, е;* звук *ш* в *нашь* и *вашь* из *cj* (*насj-* > *наш-*).

Связь основ притяжательных и личных местоимений в *мой, твой, наш, ваш* совершенно очевидна.

Основа *сво* местоимения *свой* — та же, что и основа возвратного местоимения (*svo*:*so*:*se*).

Наличие основы *мо* в притяжательном *мой* лишний раз показывает, что местоимение с корневым элементом *м* характерно не только для множественного, но и для единственного числа.

Значение основы возвратного местоимения *se, sve, svo*, осложнённой суффиксальными элементами *b* (< **bh*) и *d* (< **dh*) (*t*), наблюдается в таких производных от неё словах, как др.-индийск. *svadhā* — „привычка“, „обычай“, греческ. ἔθος (< **svedhos*) — „обычай“ (свойственный одной группе людей), готск. — *sidus* — „обычай“ (< **svetos*), ст.-сл. свѣтъ; греческ. ἑταῖρος — „товарищ“, „друг“, латинск.

sed — „в стороне“ (ср. др.-русск. *собѣ*, *особо* — „отдельно“), латинск. *sodalis* (< **svedalis*) — „товарищ“, готск. *sibja* — „семья“. Сюда же относится осложнённое суффиксальными элементами **bh* и **dh* др.-русск. *свобода*.

458. К группе притяжательных местоимений относится также вопросительное притяжательное местоимение *чьи, чья, чье;* оно образовано аналогично *мои, твои* и др. от основы вопросительного местоимения *чь* плюс определённое местоимение *и* (< *jь*), *я, е;* склоняется аналогично другим притяжательным.

Замечательно, что притяжательное вопросительное местоимение образовано не от основы личного вопросительного местоимения *ко* (*кѣ*), но от основы не-личного вопросительного местоимения *ке|кь| > > че|чь|*. Это объясняется его семантикой. Вопрос *чей* подразумевает, что речь идёт о чём-то (или о ком-то), принадлежащем кому-то и выступающем в данном случае не как лицо, а как предмет, вещь, не как активное, а как пассивное существо. Образование от личного вопросительного местоимения местоимений *кѣй* имеет, как известно, другое вопросительно-определительное значение.

Личные местоимения

459. Склонение местоимений 1-го лица.

Единственное число	Множественное число	Двойственное число
И. *язъ, я*	И. *мы*	И. *вѣ*
Р. *мене*	Р. *насъ*	Р.М. *наю*
Д. *мънѣ, ми*	Д. *намъ, ны, на*	Д.Т. *нама*
В. *мене, мя*	В. *насъ, на*	В. *на*
Т. *мъною*	Т. *нами*	
М. *мънѣ*	М. *насъ*	

Примечание. Формы *язъ* и *я* — общеславянские, ср. др.-сербск. *язь* при совр. *я*, др.-польск. *jaz*, совр. *ja*, полабск. *joz* при *jo*, др.-чешск. *jáz*, совр. чешск. *já*, словинск. *jaz*, *ja*. Различие между обеими формами по значению или употреблению пока не установлено. Каждая из этих форм имеет параллели в других индоевропейских языках, и, следовательно, их сосуществование является ещё дославянским, индоевропейским явлением.

460. Индоевропейские языки знают две структурно различные формы личного местоимения 1-го лица. Первая — односложная, состоит из гласного *e* и согласного задненёбного *ĝ* или *ĝh* (<**eĝ, eĝh*). Эта односложная форма отражается в армянск. *es*, готск. *ik*, немецк. *ich*, литовск. *esz, àsz*, латышск. *es*, др.-прусск. *es, as*. Славянское *я* соответствует именно этой односложной форме и восходит к *jaz* с *z* (из *ĝ* или *ĝh*); в период действия закона открытых слогов *z*, естественно, отпало, и из *jaz* получилось *ja*. Вторая индоевропейская форма — двусложная; она состоит из того же **eĝ, eĝh*

с прибавлением частицы — ***om*** /***ō***; эта двусложная форма отражена в др.-индийск. *ahám* (<**eĝhom*), авест. *azəm* (<**eĝom*), др.-персидск. *adam* (<**eĝom*), греческ. ἐγώ рядом с ἐγών (из **eĝōm*), латинск. *ego* и *egom* (из **eĝōm*); в греческ. и латинск. ***ō*** : ***om*** отражается индоевропейское чередование; на славянской почве конечное ***om*** закономерно отразилось как ***ъ***. В отличие от других индоевропейских языков в первой части местоимения имеют не краткое, а долгое ***e***, перед которым закономерно развивался ***j***, а ***jē*** столь же закономерно изменялось в ***ja***. Таким образом, славянские формы восходят к ***ēĝom*** или ***ēĝhom***.

Частица ***am*** в др.-индийск. и иранск. существует и при местоимении 2-го лица; ср. др.-индийск. *tuam*, авест. *tuəm*. Ст.сл. аꙁъ получилось фонетически из ꙗꙁъ, как ѩблоко из ꙗблоко, ѧгн-ьц-ь из ꙗгн- и т. п.

Форма ***меня*** вместо ***мене*** (род. и вин.) получила ***a*** вместо ***e*** в окончании под влиянием вин. ***мя*** *(**мене** плюс **мя**, **меня**)*, как думают одни, или под влиянием род. вин. ед. мягких основ типа ***конь*** (род. вин. ***коня***.)

Краткие (энклитические) формы ***мя, ми, ны, на*** вышли из употребления.

461. 2-е лицо.

Единственное число	Множественное число	Двойственное число
И. ***ты***	***вы***	И. ***ва***
Р. ***тебе, (тобе)***	***васъ***	Р. М. ***ваю***
Д. ***тобѣ, тебѣ, ти***	***вамъ, вы, ва***	Д. Т. ***вама***
В. ***тебе, (тобе), тя***	***васъ, ва***	В. ***ва***
Т. ***тобою***	***вами***	
М. ***тобѣ, тебѣ***	***васъ***	

Возвратное местоимение

Р. ***себе (собе)***	Т. ***собою***
Д. ***собѣ, себѣ, си***	М. ***собѣ, себѣ***
В. ***себе (собе), ся***	

Примечания. 1. Современные формы ***тебя, себя*** с ***a*** вместо ***e*** объясняются так же, как ***меня***.

2. Краткие формы ***ти, тя*** и др. вышли из употребления, ***ся*** сохранилось в функции частицы ***ся*** в глаголах (см. § 555 и сл.).

3. Живому древнерусскому языку были свойственны для дательного падежа только формы с ***o: тобѣ, собѣ***. Для общеславянского устанавливаются формы с ***e*** для дательного: *tebě*, *sebě*, и с ***o*** для местного: *tobě*, *sobě*.

4. Форма с ***б*** в родительном падеже — новообразование вместо ***в***, как показывает сравнительная грамматика индоевропейских языков;

ср. др.-индийск. *tava*, авест. *tava*, литовск. *savė*, *tavė*. Славянские праформы — **teu̯e*, **seu̯e*. Формы с *б* в дательном падеже — исконны; ср. др.-индийск. *tubhy-a(m)*, др.-прусск. *tebbei*, латинск. *tibi*, умбр. *tefe*, латинск. *sibi*, оск. *sifei*, др.-прусск. *sebbei*.

5. Формы, поставленные в скобки, малоупотребительны.

462. Основы (точнее, корни) личных местоимений оказываются общими для различных индоевропейских языков.

Так, корневой элемент ***m, em*** широко распространён в 1-м лице ед. числа; ср. при славянск. *мене, мя* (<*mę*) и др.: греческ. ἐμέ (готск. *mik*) (то же), латинск. *me* (то же); корневой элемент ***t*** характерен для 2-го лица ед. числа: греческ. τυ (и συ<τυ), латинск. *tu*, немецк. *du* (<*tu*), литовск. *tù*, др.-индийск. *tuv-am*, ст.-сл. ты; корневые элементы ***u*** и ***n*** широко распространены в 1-м лице множественного и двойственного числа: др.-индийск. *vay-am* — „мы", готск. *weis* — „мы", хетск. *weš*, ст.-сл. вѣ — „мы двое", литовск. *ve-(du)* — „мы двое", авест. *no* (вин. пад.), ст.-сл. нъı (то же), латинск. *nos*, готск. *uns* и др. Таким образом, корневые элементы личных местоимений являются индоевропейскими, т. е. дославянскими, догерманскими и т. д. Но склонение личных местоимений, изменение их по внешней флексии складывалось уже в отдельных индоевропейских языках и их группах. Сравнительная грамматика индоевропейских языков устанавливает, что склонения личных местоимений в том смысле, как мы понимаем это применительно к склонению имён существительных и указательных местоимений, в индоевропейском не было. Это не значит, что не существовало способа выражения падежных значений; поскольку местоимения являлись членами предложения, падежные значения должны были неизбежно получать своё выражение, но способ этого выражения был другой, а именно: в то время как в именах господствующим способом выражения падежных значений уже сделалась постановка особых для данного падежного значения окончаний — флексий (противоположение этих окончаний и их значений и составляло систему склонения), в личных местоимениях „склонение" выражалось скорее в противопоставлении целых слов, иногда общего корня, но с различными его чередованиями (внутренняя флексия), либо вовсе разных корней (*язъ, мене; вы, васъ* и др.); иногда соответствующие корни осложнялись какими-либо дополнительными элементами (послелогами, частицами).

Здесь из-под более позднего слоя внешнефлективного склонения явно выступает внутрифлективное, более архаичное. Имена существительные выработали внешнефлективное склонение раньше, с чётко выраженной противоположностью основы и окончания и относительной стабильностью основы, местоимения долее сохраняли внутрифлективное склонение и выражение падежных противоположностей противопоставлением целых слов. При этом указательные местоимения, более архаичные генетически, опередили личные местоимения в этом развитии, потому что выступали в предложениях по большей части как определения к именам, усваивая скорее и именной характер склонения. В именном склонении различные „падежи" выступают как формы

одного и того же слова, в местоимённом (личном) — часто как разные слова, а при наличии словоизменения важную роль играла ещё внутренняя флексия.

463. Это положение вещей пережиточно отражается не только в древнерусском, но и в современном русском языке.

В самом деле, формы *я* и *мы*, *я* и *мене (меня)*, *мы* и *нас* противостоят друг другу как совершенно разные слова. Отношения между род. пад. *мене (меня)* и дат. *мънѣ (мнѣ)*, твор. *мъною* выражено не только внешней, но и внутренней флексией; так же обстоит дело с отношением *тебе, себе* и *тобою, собою; ты* и *тебе (тебя)* никак нельзя признать формой одного и того же слова, хотя у обоих слов общий корэнной элемент ***т.***

В тех случаях, когда мы склонны понять конечный гласный падежной формы местоимения как падежное окончание, исходя из отношений позднейшей внешнефлективной системы склонения, это оказывается исторически неверным. Так, ***е*** в род. ед. *мене, тебе, себе* мы склонны были бы понять, как „окончание", тожественное с окончанием род. ед. именных основ на согласный: *времен-е, небес-е* и т. п. Но сравнительная грамматика индоевропейских языков показывает нам, что это неверно: соответственно ***е*** в основах на согласный в других индоевропейских языках находим окончание ***-es*** или его варианты, в славянских языках ***s*** в конце слова закономерно отпало (*es*>*e*); что касается формы род. пад. местоимений, то в других индоевропейских языках в этой форме нет ***s:*** др.-иранск. *mama, tava,* др.-индийск. *mama (<mana), tava,* литовск. *manę, tavę,* а также и славянск. *мене, тебе (<*teve).* Эти формы не разлагаются на основу и окончание. Также не удалась бы попытка понять дат. *мънѣ, тебѣ, себѣ* по аналогии с дат. пад. основ на ***-а*** *(женѣ)*; праформой окончания ***-ѣ*** в основах на ***-а*** является *ā̆i̯*>*ai̯*>*oi̯*>*ѣ;* между тем формам *тебѣ* в других индоевропейских языках соответствует: др.-прусск. *tebbei,* латинск. *tibi,* умбр. *tefe;* др.-прусск. *sebbei,* латинск. *sibi* и др.

Эти формы не имеют ничего общего с дат. пад. основ на ***-а.***

464. Категория числа в личных местоимениях имеет совсем иное содержание, чем в именах (и указательных местоимениях). *Мы* не есть множественное число от *я,* потому что *мы* — это не сумма *я* (*я*+*я*+*я* ...), а „я и ты", „я и вы", „я и они", вообще „я и другой или другие", между тем как в именах *столы* это „сумма столов" (*стол*+*стол*+...); точно так же *вы* — это не есть *ты*+ +*ты* ..., сумма *ты,* а „ты и другие".

465. Конечно, со словами *мы* и *вы* соединяется представление о множественности, о нескольких лицах, но это множественное не соотносится с „единственным" *я* и *ты,* как *стол* и *столы,* а выступает самостоятельно; точно так же с *я* и *ты,* несомненно, связано представление о „единственном", об одном лице, но *мы* и *вы* не „относится" к ним как множественное: с этим связано то обстоятельство, что *мы* не только не является формой *я,* но оказывается совсем другим словом, так же *ты* и *вы.*

Подобное содержание категории числа в личных местоимениях мы находим и в других языках. Так, в турецком множественное число имён выражается суффиксом *lar(ler)* от *asker* — „солдат", *askerler* — „солдаты", от *ata* — „отец", *atalar* — „отцы" и т. д. Так же от указательных местоимений: *bun* („этот" близкий), *bunlar* — „эти", *šun* („этот" отдалённый, но близкий „тот"), *šunlar* — „те", *on* („отдалённый", вне поля зрения), *onlar* — „те". Ср. в древнерусских указательных местоимениях множественное число *ти, ты, та* есть форма единственного *тъ, та, то,* как *столи* от *столъ, жены* от *жена* и *села* от *село;* так же множественное *они, оны, она* от *онъ, она, оно.* Но в турецких личных местоимениях, как и в славянских и индоевропейских вообще, отношения иные: от личного *ben* — „я", *sen* — „ты" множественное будет не *benlar, senlar,* а *biz, siz;* в турецком, правда, единственное и множественное число имеют общие корневые элементы *b* и *s,* но всё же *ben* и *biz, sen* и *siz* противостоят друг другу как разные слова, потому, что *z* не является значащей морфемой в современном турецком; налицо и внутреннее чередование *e : i.*

466. Отношение *я* и *мы* (это, собственно, не отношение единственного и множественного, а отношение единичного (индивидуального) и собирательного (коллективного).

Личное местоимение 3-го лица

467. В самых разнообразных языках личное местоимение 3-го лица по своему происхождению является указательным местоимением. В языках с трёхчленной системой указательных местоимений это обычно указательное местоимение третьей степени. Во всех индоевропейских языках личное местоимение 3-го лица есть по происхождению указательное местоимение. Так же обстоит дело, например, в турецком языке, где личное местоимение 3-го лица *o (on)* и указательное местоимение третьей степени *o (on)* — одно и то же слово.

468. В славянских языках личное местоимение 3-го лица также образовано от указательного: формы им. пад. от указательного *онъ, она, оно* (указательное третьей степени), а косвенные падежи от определённо-указательного местоимения *и, я, е.* Нет никаких оснований думать, что форма им. пад. была также образована первоначально от *и, я, е* и потом вытеснена по тем или иным причинам местоимением *онъ.* Скорее всего причину использования для именительного и косвенных падежей местоимения 3-го лица разных указательных местоимений нужно искать в семантико-синтаксических особенностях именительного и косвенных падежей, с одной стороны, и самих местоимений — с другой; эти особенности пока не удаётся раскрыть с достаточной ясностью.

469. Из сказанного выше можно вывести заключение, что первоначально было лишь два личных местоимения — 1-го и 2-го лица; это и есть собственно личные местоимения. Местоимение 3-го лица, по происхождению указательное местоимение, лишь позд-

нее включается в систему личных местоимений. Это обстоятельство нужно поставить в связь с тем, что во многих языках 3-е лицо глаголов первоначально выступает как неоформленное, не имеющее своего особого личного окончания.

470. В связи с тем, что личное местоимение *онъ* употреблялось в древнерусском и в значении указательного, мы встречаем довольно часто в древнерусских текстах и указательные местоимения *сь* и *тъ* не в качестве определения только, а в обособленной позиции подлежащего, причём на современный язык эти местоимения лучше всего переводятся личным местоимением 3-го лица. В современном языке такое обособленное употребление указательных местоимений *тот* и *этот* в функции подлежащего крайне редко и встречается лишь в особых случаях, обычно при противопоставлении: „Тот смеялся, а этот плакал" и т. п. Указанное употребление *сь* и *тъ* свойственно и старославянскому языку; ср., например, из Остромирова евангелия; „бꙑсть человѣкъ посланъ отъ бога; има емоу Иоанъ; тъ придє въ свѣдѣтельство ..." — „был человек послан от бога; имя ему — Иоан; *он* (а не *тот*) пришёл в свидетельство..." и др.

Примеры из древнерусского языка:

„Аще кто матере не послушаеть, в бѣду впадаеть... *се* (=сь, имеется в виду Святослав) же к тому гнѣвашеся на матерь ..." (Лавр., под 955 г.).

„Онъ же рече: не буди мнѣ възняти рукы на брата своего старѣйшаго; аще и отець ми умре, то *сь* ми буди въ отца мѣсто" (Лавр., под 1015 г.).

„И прободоша Бориса, и слугу его, падша на немъ, прободоша с нимь. Бѣ бо *се* (=сь) любимъ Борисомь", т. е. „был же он (слуга) любим Борисом" (Лавр., под 1015 г.).

„Яко же бо се нѣкто землю разореть, другый же насѣеть, ини же пожнуть... тако и *сь*: отець бо сего Володимеръ землю взора и умягчи... *сь* же насѣя книжными словесы..." (Лавр., под 1037 г.). В Лаврентьевском списке род. падежом к *сь* выступала форма *сего*, но в Р. и А. списках поставлено *его*, чем и вскрывается понимание *сь*, как *онъ*.

„Кто болий въ васъ акъ же Федосии, послушьливый, кроткый, смѣреный: да *сь* будет вамъ игуменъ" — пусть он будет вам игуменом (Лавр., под 1051 г.).

К вопросу о генезисе собственно личных местоимений

471. Общее языкознание устанавливает, что личные местоимения по своему происхождению являются указательными местоимениями. Первое лицо — это обычно местоимение ближайшей степени, первой степени „близости"; таким образом, „я", „мы" — это (генетически) ближайшее ко „мне", „нам" пространство, „здесь", в том числе и *я, мы;* „ты", „вы" — это в основе местоимение второй степени, „то", „там", где находится *ты, вы*. Действительно, в некоторых языках

связь между указательным и личным местоимениями совершенно ясна, и пространственно-локативная основа личных местоимений выступает с чрезвычайной очевидностью. Так, например, в японском языке личное местоимение *anata* — „вы“ ещё в X в. встречается в значении „та сторона“; *kochira*, нередко употребляющееся в значении „я“, имеет собственно значение „эта сторона“, „здесь“. Так же обстоит дело в турецком языке; ср. турецкое:

ben — „я“ *bun* — „этот“, „здесь“
sen — „ты“ *sun* — „тот“, „этот“, „там“

Личные местоимения отличаются здесь от указательных лишь чередованием в корне, т. е. внутренней флексией.

472. Однако не везде так легко вскрыть связь между личными и указательными местоимениями. Это объясняется тем, что в эпоху образования личных местоимений существовало не одно, а несколько указательных местоимений первой степени, и личное местоимение 1-го лица могло возникнуть на основе такого указательного местоимения первой степени, которое впоследствии, при упрощении старой сложной системы указательных местоимений, потеряло своё специфическое значение и сохранилось только в общелокальном значении. Возможно, что корневой элемент личного местоимения 1-го лица ***м*** сохранился в указательном *мо* в *тамо, сѣмо,* но это *мо* имеет лишь общелокальное значение. Корневой элемент личного местоимения 2-го лица находит себе аналогию в указательном местоимении второй степени *тъ, та, то.* Но это и всё. Связи корневых элементов ***в*** *(вы, вас)* и ***н*** (*нам, нас* и др.) не поддаются пока выяснению. Связи их с указательными корневыми элементами ***в*** *(овъ)* и ***н*** *(онъ)* возможны, но значения совершенно не ясны.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ИЗ ИСТОРИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

Склонение прилагательного

473. Краткие прилагательные: 1) *добръ, добра, добро* и 2) *синь, синя, сине* — склоняются, как существительные основ на ***-а*** и на ***-о***: а) *городъ, жена, село;* б) *конь, земля, поле.*

474. Склонение полных прилагательных.

Единственное число

	Мужской род		Женский род		Средний род
И.	*добрьи(-ыи)*	*синьи(-ии)*	*добрая*	*синяя*	*доброе синее*
В.	*добрыи(-ого)*	*синии(-его)*	*добрую*	*синюю*	*доброе синее*
Р.	*доброго*	*синего*	*доброѣ*	*синеѣ*	как в мужском роде
Д.	*доброму*	*синему*	*доброи(-ѣи)*	*синеи*	
Т.	*добрымь(-ыимь)*	*синимь(-иимь)*	*доброю*	*синею*	
М.	*добромь(-ѣмь)*	*синемь*	*доброи(-ѣи)*	*синеи*	

Множественное число

И. *добрии*	*синии*	*добрыѣ синѣѣ*	*добрая синяя*
В. *добрыѣ*	*синѣѣ*	*добрыѣ синѣѣ*	*добрая синяя*
Р. *добрыхъ(-ыихъ)*	*синихъ(-иихъ)*		
Д. *добрымъ(-ыимъ)*	*синимъ(-иимъ)*	как в мужском роде	
Т. *добрыми(-ыими)*	*синими(-иими)*		
М. *добрыхъ(-ыихъ)*	*синихъ(-иихъ)*		

Двойственное число

И. В.	*добрая*	*синяя*	*добрѣи синии добрѣи синии*
Р. М.	*доброю*	*синею*	как в мужском роде
Д. Т.	*добрыма(-ыима)*	*синима(-иима)*	

Примечание. Полное склонение прилагательных получилось из присоединения к падежным формам краткого соответствующих падежных форм определённого местоимения *и, я, е* (см. его склонение выше в § 432). Первоначально каждая форма (форма прилагательного и форма местоимения) склонялась отдельно, как два разных слова, но впоследствии произошло их слияние: *добра* + *я* > *добрая, добро* + + *е* > *доброе, добру* + *ю* > *добрую* и т. п.; в результате слияния образовались стяжённые формы: *добра* + *его* > *доброго* и т. д. На стяжённые формы оказало влияние склонение указательного местоимения *тъ, та, то: добра* + *его* > *доброго* — не без влияния *того* и т. п. О синтаксической функции полных прилагательных по сравнению с краткими ср. ниже в § 475 и сл.

Склонение сравнительной степени

	Мужской род, единственное число	Средний род, единственное число	Женский род, единственное число
И.	*хужьи новѣи*	*хуже новѣе*	*хужьши новѣиши*
Р.	*хужьша новѣиша*	как в мужском	*хужьшѣ новѣишѣ*
Д.	*хужьшю новѣишю*	роде	*хужьши новѣиши*
В.	*хужьи новѣи* (*-ьшь*) (*-ишь*)	*хуже новѣе* как в мужском	*хужьшю новѣишю*
Т.	*хужьшьмь новѣишьмь*	роде	*хужьшею новѣишею*
М.	*хужьши новѣиши*		*хужьши новѣиши*

	Двойственное число	Двойственное число	Двойственное число
И. В.	*хужьша новѣиша*	*хужьши новѣиши*	*хужьши новѣиши*
Р. М.	*хужьшю новѣишю*	как в мужском	*хужьшю новѣишю*
Д. Т.	*хужьшема новѣишема*	роде	*хужьшама новѣишама*

	Множественное число	Множественное число	Множественное число
И.	*хужьше новѣише*	*хужьша новѣиша*	*хужьшѣ новѣишѣ*
Р.	*хужьшь новѣишь*	как в мужском	*хужьшь новѣишь*
Д.	*хужьшемъ новѣишемъ*	роде	*хужьшамъ новѣишамъ*
В.	*хужьшѣ новѣишѣ*	*хужьша новѣиша*	*хужьшѣ новѣишѣ*
Т.	*хужьши новѣиши*	как в мужском	*хужьшами новѣишами*
М.	*хужьшихъ новѣишихъ*	роде	*хужьшахъ новѣишахъ*

Примечания. 1. Суффиксом сравнительной степени в общеславянском был суффикс ***-jьš-***. Он присоединялся либо непосредственно к корню прилагательного, либо к корню прилагательного, осложнённому гласной ***ѣ***. По последнему способу образованы формы типа *новѣи* (из *nově jьš* — с отпадением конечного ***š (ш)*** по закону открытых слогов). По первому способу образовалась сравнительная степень *хужьи* (из *xudjьš*); из *xudjьš* мы ожидали бы, собственно, *хужь*; ***и*** в *хужьи*, повидимому, перенесено из типа *новѣи*, где оно закономерно.

2. Первоначально склонение сравнительной степени шло по основам на согласный (конечное *ś* суффикса ***-jьš-***); старые окончания основ на согласный сохранялись в им. мн. мужского рода *хужьше*, им. ед. женского рода *хужьши*. Ещё в общеславянском языке это старое склонение сравнительной степени подверглось влиянию склонений других типов, как это видно из приведённой парадигмы.

3. Уже в общеславянском языке существовало, наряду с приведённым кратким склонением сравнительной степени, и склонение полное; формы полного склонения образовывались от кратких аналогично склонению положительной степени: *новѣишьи, новѣишия, новѣишее* (см. § 473); в дальнейшем им. женск. рода получал окончание *новѣишая* по аналогии к форме на ***-ая*** в женском роде положительной степени. Полная сравнительная степень легла в основу так называемой превосходной степени.

4. Краткая сравнительная степень утратила склонение; этот процесс начался уже в общевосточнославянскую эпоху. Постепенно обобщённой формой сравнительной степени стала форма им. пад. ед. ч. среднего рода типа *хуже, новѣе*. Причины этого явления ещё не вполне выяснены.

475. В древнерусском языке, как и в современном русском языке, существовали и краткие (нечленные, именные) прилагательные, и полные (членные, местоимённые). Но в древнерусском языке грамматическая функция и, следовательно, взаимное отношение этих двух видов прилагательных были иными, чем в современном русском языке. Система имени прилагательного в древнерусском, следовательно, качественно отличалась от системы имени прилагательного в современном русском языке.

476. В древнерусском языке краткие прилагательные выступали в предложении не только в качестве сказуемого-предиката, но и в качестве атрибута-определения. Приведём несколько случаев, когда, например, краткое прилагательное *великъ* выступает в качестве опре-

деления и при этом согласуется с определяемым существительным в роде, числе и падеже, т. е. склоняется. Примеры взяты из I Новгородской летописи и „Повести временных лет" по Лаврентьевскому списку.

„и плакася по неи сынъ ея... плачемъ *великомь*" (Лавр., под. 969 г.); „*великъ* страхъ и тьма бысть" (I Новг., под 1124 г.); „ на западѣ явися звѣзда *велика*" (I Новг., под 1065 г.); „не бысть снѣга *велика* ни *ясна* дни и до марта" (I Новг., под. 1145 г.); „и по семь творяху кладу *велику*" (Лавр., вводная часть) и т. п.

477. В современном русском языке краткие прилагательные выступают в качестве предиката и потеряли формы склонения; остатки форм склонения кратких прилагательных мы найдём лишь в некоторых падежах притяжательных прилагательных на ***-ов*** и ***-ин*** *(отцов, сестрин)*, да и то в живой речи они вырождаются, заменяясь соответствующими формами полных прилагательных. Изредка падежные формы кратких прилагательных встречаются в застывших лексикализованных выражениях вроде *на босу ногу, среди бела дня, по белу свету, от мала до велика* и т. п., а также в наречиях вроде *издавна, снова, смолоду* и пр. Употребление падежных форм кратких прилагательных как архаизмов найдём в фольклоре; возможны кое-какие остатки их и в диалектах. В стилистических целях формы кратких прилагательных употребляются в художественной литературе (в архаизирующих стилях, в высокой лирике XVIII—XIX вв., в произведениях, стилизованных под фольклор, и т. п.). Но всё это нисколько не меняет общей картины: в процессе развития русского языка краткие прилагательные перестали употребляться в качестве определений и в связи с этим утеряли склонение.

478. Но этим не ограничивается отличие системы имени прилагательного в древнерусском языке от его системы в современном русском языке.

В древнерусском, как и в современном русском языке, существовали прилагательные качественные и относительные. Но в то время как в современном языке относительные прилагательные могут существовать только в полной форме (и это их основной грамматический признак в отличие от качественных), в древнерусском языке относительные прилагательные выступали и в краткой, и в полной форме. Ср. краткую форму прилагательного относительного: „постави Перуна *древяна*, а главу его *сребрену*, а ус *златъ*"; „заложи Ладогу городъ *камянъ*" и т. п. В современном языке имеем только *серебряный, золотой, деревянный, каменный* и т. п.

479. В дальнейшем изложении мы должны дать, во-первых, ответ на вопрос, почему краткие прилагательные потеряли склонение в процессе развития русского языка, и, во-вторых, почему относительные прилагательные выступают в современном языке лишь в полной форме. Для того чтобы ответить на эти оба вопроса, мы должны поставить вопрос о генезисе прилагательных вообще и о происхождении полных и кратких прилагательных в особенности. Ответом на поставленные вопросы мы одновременно несколько осветим далеко ещё не ясную историю категории прилагательных в русском языке.

480. Имя прилагательное есть часть речи, обозначающая свойства-признаки предметов. Оно развивается на основе синтаксической категории определения. Естественно, что предпосылки развития определения (прилагательного) создаются лишь по мере того, как говорящие научаются выделять те или иные свойства предметов, сравнивая эти предметы между собой, познавая один предмет через другой. Это познание свойств предметов развивается не путём пассивного их созерцания и сопоставления, а в активном процессе производства, в процессе труда. Подлинные предпосылки для возникновения в мысли категории свойства-признака, а в языке — синтаксической категории определения и, далее, прилагательного создаются лишь по мере того, как говорящие научаются воспроизводить те или иные свойства предметов, т. е. делать что-либо круглым, красным, горьким и т. п. Так как свойства предметов раскрываются через другие предметы, то первоначально названия тех или иных свойств — это не что иное, как название предметов, которые с точки зрения говорящих являются преимущественными носителями этого свойства или признака. Так, первоначально свойство твёрдого выражается тем же словом, что и „камень", которое с точки зрения говорящих становится преимущественным носителем признака „твёрдости"; то же нужно сказать об обозначении „красного" через кровь или „голубого" через небо или же через другие предметы. Отсюда ясно, что на первоначальном этапе развития определения нет и не может быть речи об особой категории слов, выражающих признаки предметов, — выразителем свойств является та же грамматическая категория имён, названий предметов. Отсюда ясно также, что в своём генезисе все прилагательные являются относительными, семантически производными от какого-то названия предмета, через отношение к которому характеризуются другой или другие предметы.

481. Достаточно проанализировать любое качественное прилагательное, чтобы, при наличии соответствующего материала, открыть в нём отношение к какому-то конкретному предмету. Так, русскому качественному прилагательному *крутой* (др.-русск. *кругъ*, ст.-сл кр҃тъ) в литовском соответствует существительное *krantas* — „берег"; понятие „крутого" строилось в данном случае на основе образа „крутого берега"; ср. русск. *берег*, ст.-сл. бр҃ѣгъ и немецк. *Berg* — „гора". Лишь постепенно, с развитием отвлечённого мышления, признак обособляется как таковой, и мыслится отдельно. Тогда образуется качественное прилагательное, в котором образ предмета уже отсутствует. Качественное прилагательное — категория более отвлечённая, чем относительное.

482. Из того, что сказано выше, ясна глубокая генетическая связь между существительным как названием предмета и прилагательным как названием признака предмета, которое первоначально даётся также через название предмета. Поэтому справедливо указывают на то, что между существительным и прилагательным первоначально нет никакого грамматического различия; обе грамматические категории выделяются из общей категории имени, которое используется

то как название предмета, то как название признака. Первоначально группы имён закрепляемых для обозначения признака, ограничиваются чисто лексически; определённые имена специализируются для обозначения признаков; так, например, в турецком языке слово *ак* — „белый", ничем не отличаясь по форме от существительного, закреплено для выражения понятия „белый". Это, так сказать, лексическое определение. Но уже рано возникают и синтаксические формы определения-прилагательного. Так, в том же турецком языке имя *demir* — „железо", как и многие другие имена, может выступать и в качестве определения-прилагательного, и в качестве имени существительного; в первом случае оно ставится перед определяемым именем и не склоняется, например *demir kapı* — „железная дверь", собственно „железо-дверь". Такое положение вещей вовсе не говорит о том, что мышление турецкого народа архаичнее, чем у тех народов, которые выделили особую морфологическую категорию прилагательных; возможности выражения в языке той или иной мыслительной категории бесконечно разнообразны; турки мыслят теми же категориями мысли, что и мы; но у них категория признака-свойства, определения-прилагательного не получила специфического морфологического выражения; в других языках при благоприятных обстоятельствах определение-прилагательное оформляется и морфологически особыми суффиксами-окончаниями. Так случилось и в русском языке.

483. То обстоятельство, что и в славянских языках некогда существовали способы выражения определения-прилагательного, свойственные турецкому языку, доказывается нашими архаичными по структуре приложениями, определениями-существительными типа *жар-птица, душа-человек, царь-девица* и др. Здесь в качестве определения выступает имя существительное, поставленное перед другим существительным и не склоняемое: *жар-птица, жар-птицы, жар-птице* и т. д.

484. Глубокая связь между существительными и прилагательными в славянских языках грамматически выражается прежде всего в том, что склонение прилагательных кратких, т. е. древнейшего слоя прилагательных, тождественно со склонением существительных основ на *-о, -а*; *добръ, добра, добро* склоняются так же, как *столъ, жена, село*. Далее отмечено, что в ряде случаев сравнительная степень прилагательного формально образуется не от прилагательного, а от соответствующего существительного: *ниже* образовано от *низъ* (*низје*), а не от *низъкъ* (было бы *низъче*), *гаже* образовано от *гадъ* (*гадје*), а не от *гадькъ* (было бы *гадъче*). Отсюда ясно, что в эпоху образования этих степеней сравнения имена *низъ, гадъ* были столь же и существительными, сколь и прилагательными, обозначали и предмет, и свойства; иначе от них не могла бы быть образована степень сравнения; впоследствии *гадъ* в значении „гадкий" было оформлено суффиксом *-ък-*, *низ* в значении „низкий" — тем же суффиксом. Но сравнительная степень к этим отдифференцированным прилагательным осталась прежняя (*ниже, гаже*). Мы видим, следовательно, что расщепление единой категории имени сопровождалось специальной суффиксацией; многие суффиксы прилагательных

и существительных имели только эту словообразовательную функцию. Так, суффикс *-ец* (*-ьць*) дифференцировал от имени *молодъ*, которое первоначально обозначало и молодого человека, и свойства молодости, название „молодого человека" — *молодец*; в данном случае неоформленная суффиксом основа закреплялась за прилагательным *молодъ*, в то время как в *низъкъ* неоформленная основа закреплялась за существительным. Мы видим, таким образом, что специфические суффиксы существительных и прилагательных являются искони их существенными морфологическими признаками, восходя к эпохе, когда существительное и прилагательное выделялись из единой категории имени. Образование лексико-синтаксической категории прилагательных принадлежит ещё общеславянскому языку, но возникновение специальной морфологической категории прилагательных происходит уже в отдельных славянских языках в связи с возникновением в общеславянском языке категории полных прилагательных и их судьбой в дальнейшем развитии каждого языка. Так было и в русском языке.

485. Полные прилагательные образовывались от кратких путём прибавления к кратким определённого местоимения *и, я, е*. Первоначально местоимение сохраняло свою полную значимость, и в выражении *добръ-и, добра-я, добро-е* различались две части — собственно прилагательное и указательное местоимение *и, я, е*, которое хотя и ставилось при прилагательном, но относилось к определяемому имени существительному, функционируя в качестве определённого члена к этому имени существительному; в *добра я жена, я* относилось к *жена*, указывая на неё как на определённый, известный, упомянутый предмет. Таким образом, наличие местоимений при прилагательных в одних случаях и отсутствие их в других первоначально выражало категорию определённости и неопределённости в применении к существительным, которых определяло прилагательное. Первоначально наличие местоимения в соответствующих оборотах чётко ощущалось, ощущалась и указательность-релятивность этого местоимения. Ср., например, в Зографском евангелии: „приносоша ему ослабленъ (краткая форма!) жилами на одрѣ лежашть... и рече ослабленоуемоу" (этому) (местоимённая форма, поскольку речь идёт об уже известном расслабленном), или там же „и сѫрѣтосте и дъва бѣсъна" (краткая форма, потому что впервые говорится о неизвестных бесноватых). Любопытно, что переписчик Зографского евангелия так отчётливо ещё ощущал происхождение полных форм прилагательных от соединения краткой с местоимением, что порою даже оборот дательного самостоятельного, где это разграничение совершенно очевидно, принимал за форму полного прилагательного: „пришьдъшюмоу на онъ полъ в странноу Гергесинскѫ сѫрѣтосте и дъва бѣсъна..." вместо „пришьдъшю смоу" и пр. В оригинале Зографского евангелия ещё не было стяжённых форм слитных написаний типа „пришедъшюму"; писец Зографского евангелия уже „сливал" форму краткого прилагательного с членом *и, я, е*, ощущая, однако, сложность этих форм; по ошибке он „слил" и форму дательного самостоятельного, приняв его за членное прилагательное. Объяснение полной формы прилагательного как член-

ной (т. е. формы с артиклем, указывающим на определённость предмета) принадлежит ещё Миклошичу и является в своей основе совершенно справедливым. Однако бесспорно, что уже в древнейших славянских памятниках употребление полных и кратких форм колеблется, наблюдается как бы распад категории определённости и неопределённости, едва успевшей возникнуть в языке; всё более выдвигается роль кратких прилагательных как предикатов. В чём тут дело?

486. Дело тут в том, что в самом способе образования категории определённости и неопределённости в славянских языках, выражаемой различием членных (местоимённых, полных) и нечленных (именных, кратких) прилагательных, коренились причины её гибели. Исконная слабость этой категории в грамматическом строе русского и других славянских языков коренилась во многих обстоятельствах. Возникало как оформленное грамматическое значение лишь понятие определённости; это оформление заключалось в постановке артикля (местоимения *и, я, е*) после прилагательного; между тем как отсутствие члена выражало и понятие неопределённости и невозможность или ненужность применить в данном случае категорию определённости и неопределённости. А такие случаи, нейтральные по отношению к категории определённости и неопределённости, были. К ним относились, например, в области лексики собственные имена, названия общеизвестных „определённых" местностей, территорий, городов, городских кварталов, праздников и т. п. Здесь применение понятия определённости и неопределённости оказывалось совершенно лишним, так как определённость была заложена в их лексическом значении. Они выступали как определённые, совершенно независимо от того, упоминаются ли они впервые или упомянуты уже ранее в данном контексте. Ошибкой всех исследователей, занимавшихся нашей категорией, было то, что они понимали её узко синтаксически, контекстно, смешивая понятие лексико-семантической определённости с понятием „вышеупомянутости" и поэтому, дескать, определённости. Они забывали, что понятие определённости есть лексико-синтаксическое понятие, поскольку определённость может быть дана в самом лексическом значении слова.

Поэтому они становились в тупик перед такими фактами: в названии „Новъгородъ" прилагательное выступает всегда в краткой форме, а в названии „Новый торгъ" (Торжок) всегда в полной; в названии праздника „Великъ день" (Пасха) прилагательное всегда выступает в краткой форме, а в названии „масленая недѣля" всегда в полной, и т. п.

487. Эта „непоследовательность" объясняется, однако, весьма просто. Слово „Новъгородъ" является определённым по самому своему лексическому значению; поэтому при нём определённый член не нужен, может не стоять. Название „Новый торгъ" также определённое по самому своему значению; при нём член не нужен, но может и стоять, как бы грамматически оформляя определённость данную в лексике слова. Так же обстоит дело с названием „Великъ день" и „масленая недѣля". Аналогичные явления мы найдём и в языках

с ярко выраженной категорией определённости и неопределённости. Ср. во французском языке *Paris* — „Париж" без члена, потому что определённость дана в лексическом значении слова, что и *„Новгородъ"*, но *le Havre* — „Гавр" — с определённым членом по той же причине, что и „Новый торг". *Pâques* — „Пасха" — без члена, но *la Trinité* — „Троица" — с определённым членом. Однако между древнерусским и французским имеется и коренное отличие в этом отношении.

488. Во французском имеется три разных способа выражения для трёх разных случаев отношения предмета к категории определённости и неопределённости: в случае определённости предмета — определённый член (*le*), в случае неопределённости — неопределённый член (*un*), в случае нейтральности — отсутствие всякого члена. В древнерусском, как мы уже указывали, оформление в виде члена при прилагательном получал только случай определённости (полное прилагательное), отсутствие члена (краткое прилагательное) показывало как неопределённость (=неопределённому члену других языков), так и собственно отсутствие члена, нейтральность. Двоякая функция краткого прилагательного (неопределённость и нейтральность) ослабляла систему выражения определённости и неопределённости в древнерусском языке.

489. Далее, категория определённости выражалась в древнерусском (в отличие от французского) постановкой члена не при существительном, а при прилагательном, которое и становилось благодаря этому полным прилагательным. Это снова создавало непоследовательность в употреблении полных и кратких прилагательных, т. е. ослабляло выражение определённости и неопределённости. В самом деле, в ряде случаев прилагательное само по себе, по своему значению, без всякого дополнительного оформления в виде члена, целиком определяло предмет, выражало его как определённый. Так, притяжательные прилагательные не нуждались, собственно, ни в каком дополнительном оформлении в виде члена для выражения определённости — по той причине, что они сами по себе, по своему значению, характеризовали предмет как вполне определённый: „сынъ Ярославль" — это вполне определённый сын столь же определённого Ярослава; поэтому не было никакой надобности в помощи члена; оборотов типа „сынъ Ярославльи (=ии)" не было; полные прилагательные от притяжательных были, однако, теоретически возможны, потому что обороты с притяжательными выражали всё же определённость, даже единичность. Вот почему в древнерусском существовало и употребление полных прилагательных от притяжательных,— правда, в узко специализированном значении ж е н ы данного лица, обычно князя: „Всеволожая" — жена Всеволода, и т. п.

Аналогично обстояло дело и с относительными прилагательными принадлежности на *-ьскъ*, родственными по своему значению притяжательным. Здесь было возможно двоякое оформление: *чудьска земля* и *чудьская земля*. В этих прилагательных уже в древнерусском преобладала полная форма.

Оба отмеченные обстоятельства разлагали категорию определённости и неопределённости уже с самого начала её существования, коренясь, как мы говорили, в самом способе её образования в общеславянском языке. Старая противоположность *добръ* (неопределённость) — *добръи* (определённость) разрушалась.

Но основным моментом, приведшим к гибели категории определённости и неопределённости во всех славянских языках (вернее, те специальные формы её выражения, которые сложились в общеславянском), моментом, также коренящимся в способе образования этой категории, было третье обстоятельство, к выяснению которого мы сейчас и перейдём.

490. Исконная слабость категории определённости и неопределённости заключалась прежде всего в следующем. Местоимения *и, я, е* ставились при кратких прилагательных, превращая их в полные, только тогда, когда прилагательные выступали в качестве определений-атрибутов; когда же прилагательное стояло в качестве сказуемого-предиката, т. е. в предикативной функции, то при нём определённый член первоначально никогда не ставился. Это объясняется тем, что предикат в именном сказуемом выступает сам по себе как признак, приписываемый или открываемый в уже известном, определённом предмете; в этом случае существительное, к которому относится прилагательное (подлежащее), оказывается всегда определённым для высказывающегося. Раз я приписываю в именном сказуемом какой-нибудь признак какому-то предмету, то этот предмет мне уже известен. *Дом — камен, красен* могу сказать лишь об известном мне доме. Член здесь решительно излишен; он никогда не ставился в подобных случаях. Вот почему некоторые исследователи справедливо отметили, что в древнерусском полные прилагательные никогда в сказуемом не ставились. В сказуемом выступают лишь краткие прилагательные. Таким образом, внутри прилагательных с самого начала полные и краткие противопоставлялись как определённые и неопределённые, с одной стороны, и как атрибутивные и предикативные — с другой. Это обстоятельство и привело к разложению категории определённости и неопределённости, разрушаемой и отмеченными выше фактами.

Старое отношение

добръ (неопределённо) — *добръи* (определённо)

сосуществовало с отношением

добръ (предикат, сказуемое, но также и атрибут) — *добръи* (только атрибут-определение).

Противоположность предикативности и атрибутивности постепенно перевешивала противоположность неопределённости и определённости. Это объясняется чрезвычайной силой категории предикативности в языке.

491. Постепенно функция прилагательных-определений закреплялась только за полными прилагательными; краткие же прилагательные, специализованные для выражения сказуемого предиката, постепенно теряли формы согласования в падеже, переставали склоняться;

выступая в качестве предиката, они до некоторой степени оглаголивались, отходили от категории имён (прилагательных). Но функция определения есть основная функция прилагательного. Поэтому полные прилагательные стали представителями категории прилагательных вообще, прилагательными по преимуществу. Они имели особое, отличное от имён, оформление; и в их лице, на их основе в русском языке и возникла на глазах писанной истории особая морфологическая категория прилагательных.

Таким образом, в русском языке развилась на базе синтаксической категории определения морфологическая категория прилагательных. Это случилось не потому, что русские умнее тех народов, у которых до сих пор прилагательные выражаются только синтаксически, а исключительно потому, что у русских на определённом этапе развития их языка сложились подходящие условия в самом языке для морфологического воплощения (оформления) прилагательных (разложение категории определённости и неопределённости).

492. Итак, уже в общеславянском, в самый момент своего образования, по условиям этого образования, категория определённости и неопределённости оказалась слабой. Тем не менее в древнерусской письменности, отражающей архаичный язык, например в первом почерке I Новгородской летописи по Синодальному списку, ещё очень явственно отражается наличие категории определённости, выражаемой полным прилагательным (французск. *le*, немецк. *der*), и неопределённости, выражаемой кратким прилагательным (французск. *un*, немецк. *ein*). При попытке перевода соответствующего текста на французский язык эти отношения выступают очень ярко, хотя они отчасти уже нарушены. Приведём некоторые примеры (страницы указываются по изданию 1888 г.).

Примеры кратких прилагательных, относящихся к предметам, впервые упоминаемым, неизвестным и т. п. Случай неопределённости (французск. *un, une, des*).

„Освятиша церковь *каменяну* маия въ 1, а въ 2 перенесоша Бориса и Глѣба“ (год 1115, стр. 121; французск. *une* église en pierre).

„Павьлъ, посадникъ Ладожьскый, заложи Ладогу городъ *камянъ*“ (год 1116, стр. 121; французск. *une* ville en pierre). „...и възя *Медвѣжю Голову* на сорокъ святыхъ“ (год 1116, стр. 121). Притяжательные с суффиксом *-j-* выступали только в краткой форме; собственное имя имеет краткую форму по типу „Новъгородъ“.

„*Великъ* страхъ и тьма бысть“ (год 1124, стр. 123; французск. *une* grande terreur).

„Въ то же лѣто бяше буря *велика* съ громомь и градомъ“ (год 1125, стр. 123; французск. *une* grande tempête).

„И поставиша архиепископа Нифонта, мужа *свята* и зѣло боящяся бога“ (год 1130, стр. 125; французск. *un* homme saint).

„Дѣлаша мостъ вьсь чересъ Волхово по стороне *ветхаго* (всем известного, определённого.— *Л. Я.*) *новъ* вьсь“ (год 1144, стр. 135; французск. *un* pont tout neuf, но à côté du(=de *le*) vieux).

„Бысть котора *зла* въ людьхъ“ (год 1157, стр. 142; французск. *une* grande revolte).

„Той же зиме бяше *сильнъ* морозъ“ (год 1165, стр. 146; французск. *un* grand froid).

„Приде... въ вторую недѣлю по *велице* дни“ (год 1168, стр. 148; краткая форма — в общеизвестном празднике; тип французского „Pâques“ — без члена).

„И сѣдеша Новъгородци бес князя... до *велика* дни“ (год 1167, стр. 148; то же самое).

„И бяше с нимь одинъ кощей *малъ*“ (год 1174, стр. 152; французск. *un* petit esclave).

„И *великъ* мятежь бысть въ земли тои и велика бѣда, и множьство паде головъ“ (год 1174, стр. 152; французск. *une* grande révolte...).

„Въ то же лѣто постави церковь *нову* архиепископъ Гаврила“ (год 1189, стр. 163; французск. *une* nouvelle église).

„Сърубиша церковь *нову* святаго Власия“ (год 1184, стр. 159; французск. *une* nouvelle église).

Примеры полных прилагательных, относящихся к предметам, уже упомянутым, общеизвестным. Случай определённости (французск. *le, la, les*).

„Перевозися Ярославъ съ вои на *другый* полъ Дънѣпра“ (год 1016, стр. 83; французск. à *l'*autre côté).

„Заложена бысть святая София Новѣгородѣ“ (год 1045, стр. 90; французск. *la* sainte Sophie).

„А на заутрие обрѣтеся крѣстъ *честный* Володимирь у святѣй Софие Новѣгородѣ“ (год 1069, стр. 103; французск. *la* sainte croix).

„Въ то же лѣто... побѣди Мьстиславъ... Олга... въ *великое* говение“ (год 1097, стр. 118; французск. au grand carême, au (=à *le*). Общеизвестный церковный период по типу французского *la Trinité* в отличие от Великъ день и Pâques. „Ходи Всѣволодъ съ Новгородьци на Емь въ *вѣликое* говение“ (год 1123, стр. 123).

„И стоя всѣ лѣто осмьнъка *великая* по 7 резанъ“ (год 1137, стр. 131). Общеизвестная хлебная мера.

„Погорѣ търговый полъ отъ ручья *Плътьницьнаго*“ (год 1134, стр. 127). Общественные названия мест по типу *Новый торгъ*; *le Havre*, но не *Новъгородъ*, *Paris*.

„И пустиша митрополита Кыеву... въ *мясопустную* недѣлю“ (год 1134, стр. 127; *великое* говенье).

„И купляху кадку *малую* по 7 кунъ“ (год 1161, стр. 144), Общеизвестная мера сыпучих тел, рыбы.

„Избивъше стороже *двьрьныя* придоша къ сѣньмъ“ (год 1174, стр. 152; французск. *les* portiers).

493. В предыдущем изложении мы дали ответ на вопрос о том, почему краткие прилагательные перестали склоняться в процессе развития русского языка. Оказалось, что это обстоятельство было лишь оборотной стороной образования морфологической категории

прилагательных в русском языке. Различие между древнерусским и современным русским здесь заключается в том, что в древнерусском морфологическая категория прилагательных лишь складывалась, а к современности она вполне сложилась. Было бы благодарной задачей подробно исследовать по памятникам и диалектам весь этот вопрос, в ответе на который мы наметили лишь основные линии процесса. Теперь нам остаётся ответить на второй поставленный вопрос: почему, в отличие от древнерусского, относительные прилагательные в современном русском выступают лишь в полной форме.

494. Уже заранее ясно, что при объяснении того, почему в древнерусском относительные прилагательные выступали и в краткой, и в полной форме, а в современном только в полной, мы должны исходить из семантических и синтаксических особенностей качественных и относительных прилагательных, во-первых, и из тех основных линий развития категории прилагательных, которые намечены выше,— во-вторых.

495. Качественные прилагательные обозначают такой признак или свойство предмета, который можно условно назвать подвижным признаком или свойством, в том смысле, что признак или свойство, обозначаемое качественными прилагательными, может содержаться в предмете в большей или меньшей степени, может возникать в нём или исчезать в известной постепенности; в связи с этим именно стоит наличие степеней сравнения у качественных прилагательных (относительные их не имеют), а также соотнесённость их с глаголами; ср.: *красный — краснее, краснеть; белый — белее, белеть; добрый — добрее, добреть* и т. п.; при относительных прилагательных соотнесения с глаголами нет; глаголы вроде *каменеть, деревенеть* стоят при прилагательных относительных, употребляемых в значении качественных; ср. также такие сравнительные степени, как *каменней, суконней,* образуемые только от относительных прилагательных, употреблённых в значении качественных. В связи с этим следует особенно подчеркнуть соотнесённость качественных прилагательных с категорией времени: *стол (есть) красный* — это подлинное настоящее время, так как рядом с ним может стоять прошедшее — *стол был красным* (но полинял, постепенно потерял свой признак красноты) и будущее — *стол будет красным* (когда я его покрашу).

496. Относительные прилагательные не обладают вышеперечисленными свойствами качественных. Они обозначают такой признак или свойство предмета, который можно условно назвать неподвижным; признак или свойство, обозначаемое относительным прилагательным, не может содержаться в предмете в большем или меньшем количестве; никакой предмет не может быть более или менее деревянным, каменным и т. п.; в связи с этим стоит и отсутствие при относительных прилагательных степеней сравнения и отсутствие соотнесённости с глаголами, за исключением тех случаев, когда относительное прилагательное употреблено в значении качественного (см. пред. § 495). Особо следут подчеркнуть отсутствие у

относительных прилагательных соотнесённости с категорией времени в том смысле, как она имеется при качественных; *стол (есть) деревянный* вовсе не является настоящим временем в том смысле, в каком настоящим временем является *стол (есть) красный*, потому что при относительном прилагательном, в силу того что оно обозначает неподвижный признак, не может быть ни будущего времени (*стол будет деревянным* — бессмыслица), ни прошедшего (*стол был деревянным* — тоже бессмыслица). *Стол есть деревянный* это „настоящее" время в том же смысле, в каком настоящим временем является *собака (есть) животное;* иными словами, относительное прилагательное, по самому своему значению, может выступать в предикате, как всякое имя; никаких особых связей с предикатом оно не имеет.

497. Качественное прилагательное бесспорно связано многими нитями с предикатом-сказуемым и одной из его категорий — категорией времени; с предикатом связывают качественные прилагательные признаки, связывающие его с глаголом, этим предикатом по преимуществу, типичным для славянских языков предикатом.

498. Краткая форма прилагательных, как мы видели, в процессе развития русского языка оглаголивалась и была закреплена за выражением предиката-сказуемого. Этим и объясняется то обстоятельство, что связанные с глаголом по своему значению качественные прилагательные могли выступать в краткой форме (как и в полной), в то же время как относительные отталкивались от оглаголивающейся краткой формы и стали выступать только в полной.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

ИЗ ИСТОРИИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО

499. Склонение числительных.

	Мужской род	Средний род	Женский род
И. В.	*дъва*	*дъвѣ*	*дъвѣ*
Р. М.		*дъвою*	
Д. Т.		*дъвѣма*	

Примечания. 1. В современном языке числительное *два* также изменяется по родам в им. и вин. падежах, но форма *два* является формой мужского и среднего рода, а форма *две* только женского. Распространение формы мужского рода *дъва* на средний род объясняется близостью в склонении имён мужского и среднего рода.

2. Рядом с *дъвою* возникает в род.-местн. и форма *дъву* — по аналогии к форме род.-местн. двойственного склонения имён мужского и женского рода: *столу, сестру*. Рядом с *дву* возникает форма *двух* под влиянием местоимённого склонения (*двух, добрых*). Форма *дву* сохранилась лишь в некоторых сложениях типа *двуличный, двуполый;* ср. *двухэтажный;* форма *двою* — в сложении (*двою-*

родный. Рядом с *дъвѣма* (дат.-твор.) возможна и форма *дъвома* (по именному склонению).

3. Дат. пад. *двум* образовался под влиянием *трём, четырём* (см. ниже), а своё *у* получил из род.-местн. *двух*.

4. Твор. пад. *двумя* имеет *у* вместо *ѣ* (> *е*) по тем же причинам, а смягчённое *м* в окончании *-мя* (вместо *-ма*) получил из *трьми, четырьми*, где *м* было смягчённым. Таким образом, *-мя* в твор. получилось из контаминации *-ма* и *-ми*.

5. Как *дъва*, склонялось и числительное *оба*.

	Мужской род	Средний род	Женский род	Мужской род	Средний род	Женский род
И.	*трье*	*три*	*три*	*четыре*	*четыри*	*четыри*
Р.		*трьи*			*четыръ*	
Д.		*трьмъ*			*четырьмъ*	
В.		*три*			*четыри*	
Т.		*трьми*			*четырьми*	
М.		*трьхъ*			*четырьхъ*	

Примечания. 1. Как видим, *три* и *четыре* изменялись в древнерусском по родам в им.-пад., как и *два*.

Таким образом, и *два*, и *три*, и *четыре* выступали в этом отношении как прилагательные-определения, обозначая количественный признак предмета (см. § 504).

2. Род. пад. *трьхъ* > *трёх*, *четырьхъ* > *четырёх* возник в том же порядке, как и *двух* при *дву*, т. е. под влиянием склонения местоимений и прилагательных *(тех, добрых)*.

3. Твор. пад. *трьмя, четырьмя* имеет *-мя* по аналогии с *-мя* в *двумя*.

Единственное число	Множественное число	Двойственное число
И. *десять*	*десяте*	И. В. *десяти*
Р. *десяте (и)*	*десятъ*	Р. М. *десяту (ию)*
Д. *десяти*	*десятьмъ*	Д. Т. *десятьма*
В. *десять*	*десяти (е)*	
Т. *десятью*	*десятьми*	
М. *десяте*	*десятьхъ*	

Числительные *пять, шесть, семь* и др. склонялись, как существительные женского рода основ на-*ĭ*, но без множественного числа, числительное *сто* — как существительное среднего рода основ на-*о* (*село* и др.).

500. Имя числительное есть название отвлечённого числа. Числительное *пять* есть *пять* вообще, *пять* чего угодно, любых предметов. Наиболее полно отвлечённый характер числительного выступает в математике: *пятью пять — двадцать пять*.

501. Отвлечённое число есть одна из наиболее высоких абстракций человеческой мысли. Счёт путём слов — названий отвлечённых

чисел, счёт „в уме“ нужно резко отличать от конкретного ручного, счёта, счёта по пальцам и т. п. Некоторые народности, располагающие довольно развитой системой конкретного ручного счёта, располагают, однако, ничтожно малым количеством числительных, т. е. названий отвлечённых чисел.

502. У русских количество числительных слов росло лишь постепенно и число-предел лишь постепенно отодвигалось всё дальше и дальше. На заре писанной истории русских число-предел отошло очень далеко и равнялось числу 10 000, которое обозначалось словом „тьма“, „тъма“; возможно, что это — калька с греческого μυρίος — „бесчисленный“, „несметный“, μύριοι — „10 000“. Ср. в современном языке *тьма* — „великое множество“: *тьма народа, тьма тьмущая* и др.

503. Ранее числом-пределом была *тысяча* (ср. ст.-сл. **тысѫща**); это слово, как число-предел, было заимствовано из какого-то германского диалекта (ср. готск. *pusundi*; др.-в.-немецк. *tûsund*, совр.-немецк. *tausend*) и первоначально обозначало тысячу, как самое большое число, как бесчисленное множество.

504. Пережитком древних отношений является и существование в общеславянском и древнерусском категории чисел „малого количества“, в которую входили числа *два, три* и *четыре*, грамматически резко отличающиеся от *пяти, шести* и др. *Два, три, четыре* выступают в общеславянском и древнерусском как определения-прилагательные, согласующиеся с соответствующим существительным в роде, числе и падеже. Ср. *дъва стола* (им. дв. мужск. рода), *дъвѣ руцѣ* (им. женск. рода), *дъвѣ сътѣ* (им. средн. рода), *трьие столи, три рукы, три ста; четыре столи, четыри рукы, четыри ста.* В то же время числительные *пять* и выше являются ещё существительными, управляющими другими существительными; при них соответствующее существительное стоит в род. пад. множ. числа; *пять человѣкъ, пять столовъ* и пр. как *пятёрка человек, пяток яиц, копа яиц, коробка папирос* и т. п., т. е. числительное *пять* является собственно не названием отвлечённого числа, а обозначением конкретной совокупности и соответствует современному *пятёрка, пяток* и т. п. *Два, три, четыре* являются более отвлечённым обозначением количества, обозначением количественного признака предмета, в то время как *пять* и др. сами являются ещё предметными обозначениями совокупности из пяти, шести и т. д. предметов. Мы наблюдаем на этом примере постепенное развитие отвлечённого ряда числительных; *два, три, четыре* являются уже подлинными числительными, названиями отвлечённых чисел, определений; *пять, шесть* и др. — ещё сохраняют конкретность обозначения числа, хоть могут быть применены к любым предметам и в этом смысле являются отвлечёнными.

505. *Пять* и др. являются в древнерусском подлинными существительными; они склоняются, как существительные основ на *-ĭ*, — правда, только в единственном числе, хотя, например, *десять* имеет

и склонение во множественном числе. Но дело не только в этом; *пять* и др. как существительные могут иметь при себе определения и согласуются с глаголом в роде и числе; по-древнерусски вполне возможна фраза: *третья пять пришла.* В дальнейшем развитии русского языка числительное *пять* и др. постепенно теряют свои признаки существительного, сохраняя лишь именное склонение; при них уже не могут стоять определения, они перестают согласовываться с глаголом; ср.: *пять человек пришли* или *пришло.* Это стоит в связи с тем, что они втягиваются в орбиту выражения отвлечённого числа, превращаются в собственно числительные. В современном языке в выражении „пять человек" *пять* есть семантически количественное определение слова „человек". Поэтому в предложении „Пять человек купаются" современная грамматика правильно рассматривает выражение *пять человек* как подлежащее, не разлагая его на пять — подлежащее и *человек,* зависимое от него дополнение („кого?" „чего?"), между тем в древнерусском языке в качестве подлежащего выступало только *пять,* а *человѣкъ* было дополнением.

506. Мы убедились, таким образом, что даже числительные первого десятка, несмотря на внешнее сходство, давали в древнерусском и общеславянском качественно иную картину, чем в позднейшем русском и современном русском языке. Это в ещё большей мере относится к числительным второго десятка: *одиннадцать, двенадцать* и пр.

507. Числительные первого десятка являются в общеславянском и древнерусском простыми словами, выражающими простые понятия. В древнерусском и общеславянском не было уже такого положения, как в некоторых первобытных языках, где, например, *шесть* образуется путём сложения пяти и одного, семь — пяти и двух и т. п. или вычитания (8 = 10 без двух) и т. п. *Шесть, восемь* и др. воспринимались уже как самостоятельные понятия, выражаемые самостоятельными словами,— это свидетельствует, что система числительных первого десятка окончательно сформировалась. С другой стороны, в современном языке система числительных второго десятка *одиннадцать, двенадцать* и пр. также является сформировавшейся как система последующих простых понятий и слов. Слово *двенадцать* в современном языке есть простое слово, никто его не разлагает на *две-на-дцать,* как самое число 12 не понимается, как состоящее из 2 + 10, а понимается как простое целое число. Иначе было в древнерусском.

508. В древнерусском первоначально число *одиннадцать* обозначалось, как и *двенадцать, тринадцать* и пр., тремя словами: числительным *одинъ, дъва, три,* предлогом *на* и местным падежом числительного „десять": *десяте.* Имели, таким образом, *один на десяте, два на десяте, три на десяте.* Числительные 11, 12, 13 выражались, таким образом, сложно и понимались как составные, как „три сверх десяти", „два сверх десяти" и т. п. Простого целого понятия *одиннадцать* и др. ещё не было. Но оно постепенно скла-

дывалось в мысли, и это имело своим результатом образование и простых слов для обозначения соответствующих понятий.

509. Создание в мысли простого понятия *одиннадцать* привело к видоизменению выражения этого понятия в языке. Прежде всего выражение *один на десяте* получило одно ударение; это и выражало, что оно стало обозначать одно понятие *одиннадесяте;* внутри этого слова произошли фонетические изменения и забвение падежа *десяте; десяте* редуцировалось в *дьсять,* получилось целое и неразложимое слово *одиннадьсять* > *одиннадцать,* так же *двънадцать, тринадцать* и др. до *двадцати.*

Двадцать в свою очередь слилось из *два десяти* с аналогичными фонетическими и морфологическими изменениями; так же *три десяте, четыре десяте* (или *сорок*); далее был некоторый рубеж и, начиная с *пять десятъ,* имеем менее слитное сложное целое; склоняется лишь первая часть сложения, в то время как в числительных *одиннадцать — тридцать* склоняется всё слово как единое: *пятью десятъ,* ср. „семью десятъ жерелъ" (Лавр. л.).

Числительное *сорокъ* первоначально было специализированным количественным словом для обозначения сорока шкурок, составлявших комплект для пошивки шубы (типа таких специализованных количественных слов, как *копа* — 60 яиц и т. п.). То обстоятельство, что число 40 было каким-то рубежом в ряду чисел первой сотни, занимая какое-то особое место в этом ряду, способствовало замене названия *четыредесяте* особым названием *сорок.* Образование числительного *девяносто* вместо ожидаемого *девять десятъ* — неясно. Следует отметить ещё образование названий для целого с половиной: *полъвътора (> полтора), полътретья* — „два с половиной", *полъчетверьта* — „три с половиной" и подобные. Они имели значение „один плюс половина второго", „один плюс половина третьего" и т. п.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ИЗ ИСТОРИИ ГЛАГОЛА

510. Спряжение глагола.

Настоящее время

Единственное число	Множественное число
1-е л. *веду*	1-е л. *ведемъ, -мы, -мо, -ме*
2-е л. *ведеши, ведешь*	2-е л. *ведете*
3-е л. *ведеть, веде*	3-е л. *ведуть (веду)*

Двойственное число

1-е л. *ведевѣ, -ва*
2-е л. *ведета*
3-е л. *ведета*

Единственное число	Множественное число
1-е л. *хвалю*	1-е л. *хвалимъ, -мы, -мо, -ме*
2-е л. *хвалиши, -шь*	2-е л. *хвалите*
3-е л. *хвалить*	3-е л. *хвалять*

Двойственное число

1-е л. *хваливѣ, -ва*
2-е л. *хвалита*
3-е л. *хвалита*

Примечания. 1. Форма *ведешь* получилась из *ведеши*, вероятнее всего, по закону исчезновения неударного ***и*** в конце слова; перед отвердевшим ***ш*** ***е*** изменилось в ***о*** *(ведешь > ведёшь)*.

2. О форме 3-го лица *веде* рядом с *ведеть* (см. ниже, § 510).

3. В 1-м лице множественного числа ***е*** изменилось в ***о*** перед твёрдым ***м*** *(ведем > ведём)* (о вариантах личного окончания 1-го л. множ. числа ср. ниже, § 510).

4. В *ведёте* ***е*** после ***д*** появилось нефонетически по аналогии к *ведёшь, ведёт*, где имеем ***т*** твёрдое.

5. Формы двойственного числа вышли из употребления, как и категория двойственного числа.

Спряжение глагола *дамь*

Единственное число	Множественное число
1-е л. *дамь, ѣмь*	1-е л. *дамъ, -мы, -мо, ѣмъ (-мо, -ме)*
2-е л. *даси, ѣси*	2-е л. *дасте, ѣсте*
3-е л. *дасть, ѣсть*	3-е л. *дадять, ѣдять*

Двойственное число

1-е л. *давѣ (-а), ѣвѣ (-а)*
2-е и 3-е л. *даста, ѣста*

1. В спряжении этих глаголов (нетематических, потому что в них окончание непосредственно присоединяется к глагольному корню, который выступает в качестве основы) обнаруживается влияние тематических во 2-м лице единственного числа (*дашь*, вместо *даси, ѣшь*, вместо *ѣси*). Во множественном числе от основы 3-го лица *дад, ѣд* по типу *велю* образованы 1-е лицо *дадим, ѣдим*, 2-е лицо *дадите, ѣдите*.

2. Об окончании 1-го лица единственного числа см. § 510.

Спряжение вспомогательного глагола *есмь*

Настоящее время

Единственное число	Множественное число
1-е л. *єсмь*	1-е л. *єсмъ -мы, -о, -е*
2-е л. *єси*	2-е л. *єсте*
3-е л. *єсть*	3-е л. *суть*

Двойственное число

1-е л. *ѥсвѣ (-а)*
2-е л. *ѥста*
3-е л. *ѥ́ста*

Аорист

Единственное число	Множественное число
1-е л. *быхъ*	1-е л. *быхомъ*
2-е л. *бы*	2-е л. *бысте*
3-е л. *бы (-сть)*	3-е л. *бышя*

Двойственное число

1-е л. *быховѣ (-а)*
2-е л. *быста*
3-е л. *быста*

Имперфект

Единственное число	Множественное число
1-е л. *бяхъ*	1-е л. *бяхомъ*
2-е л. *бяше*	2-е л. *бясте*
3-е л. *бяше (-ть)*	3-е л. *бяху (-ть)*

Двойственное число

1-е л. *бяховѣ (-а)*
2-е л. *бяста*
3-е л. *бяста*

Прошедшее совершенное сложное (перфект)

Единственное число

1-е л. *ѥсмь несль, велъ* и т. п.; *несла, вела; несло, вело*
2-е л. *ѥси* „ „ „ „ „ „
3-е л. *ѥсть* „ „ „ „ „ „

Множественное число

1-е л. *ѥсмъ несли, неслы, несла; вели, велы, вела*
2-е л. *ѥсте* „ „ „ „ „ „
3-е л. *суть* „ „ „ „ „ „

Двойственное число

1-е л. *ѥсвѣ (-а) несла, неслѣ; вела, велѣ*
2-е л. *ѥста* „ „ „ „
3-е л. *ѥста* „ „ „ „

Перфект образуется из спряжения настоящего времени вспомогательного глагола *ѥсмь* и причастия прошедшего времени на *-лъ*.

Спряжение давнопрошедшего

1. Образуется из спряжения имперфекта глагола *есмь* и причастия на *-лъ: бяхъ несль, велъ* и т. д.

2. Образуется из спряжения перфекта глагола *есмь: есмь былъ* и причастия на *-лъ* спрягаемого глагола: *есмь былъ несль, ходилъ* и т. д. Эта форма давнопрошедшего является более поздним образованием.

Аорист

Единственное число	Множественное число
1-е л. *ведохъ*	1-е л. *ведохомъ, -мо, -ме*
2-е л. *веде*	2-е л. *ведосте*
3-е л. *веде*	3-е л. *ведошя*

Двойственное число

1-е л. *ведоховѣ*
2-е л. *ведоста*
3-е л. *ведоста*

Единственное число	Множественное число
1-е л. *хвалихъ*	1-е л. *хвалихомъ, -мы, -мо, -ме*
2-е л. *хвали*	2-е л. *хвалисте*
3-е л. *хвали*	3-е л. *хвалишя*

Двойственное число

1-е л. *хвалиховѣ*
2-е л. *хвалиста*
3-е л. *хвалиста*

Примечание. Формы аориста вышли из употребления в живой древнерусской речи к концу XI в.

Имперфект

Единственное число	Множественное число
1-е л. *ведяхъ*	1-е л. *ведяхомъ*
2-е л. *ведяше*	2-е л. *ведясте, ведяшете*
3-е л. *ведяше (-ть)*	3-е л. *ведяху (-ть)*

Двойственное число

1-е л. *ведяховѣ*
2-е л. *ведяста*
3-е л. *ведяста*

Единственное число	Множественное число
1-е л. *хваляхъ*	1-е л. *хваляхомъ*
2-е л. *хваляше*	2-е л. *хвалясте, ведяшете*
3-е л. *хваляше (-ть)*	3-е л. *хваляху (-ть)*

Двойственное число

1-е л. *хваляховѣ*
2-е л. *хваляста, хваляшета*
3-е л. *хваляста*

Примечание. Формы имперфекта рано вышли из употребления в живой древнерусской речи.

Сослагательное (желательное, условное) наклонение.

Единственное число	Множественное число
1-е л. *быхъ неслъ, велъ* и т. п.	1-е л. *быхомъ несли, вели* и т. п.
2-е л. *бы* „ „	2-е л. *бысте* „ „
3-е л. *бы (-сть)* „ „	3-е л. *бышя* „ „

Двойственное число

1-е л. *быховѣ несла, вела* и т. д.
2-е л. *быста* „ „
3-е л. *быста* „ „

1. Современная частица сослагательного наклонения *бы* есть по своему происхождению 2-е и 3-е лицо аориста от *быть*. По мере того как формы *неслъ, велъ* и т. п. начали восприниматься как спрягаемые формы прошедшего времени, спряжение аориста от *быть* перестало быть необходимым; формы аориста от *быть* стали выражать лишь значения сослагательности, желательности, и для выражения этого значения были обобщены формы 2-го и 3-го лица *бы*, входившие и в состав всех остальных форм спряжения аориста от *быть*. Частица *бы* как форма сослагательного наклонения появляется уже в памятниках XIII—XIV вв.

Повелительное наклонение.

Единственное число

2-е л. *неси, берези, знаи, ходи, буди*
3-е л. „ „ „ „ „

Двойственное число

1-е л. *несѣвѣ(-а), березѣвѣ(-а), знаивѣ(-а), ходивѣ(-а), будѣвѣ(-а)*
2-е л. *несѣта, березѣта, знаита, ходита, будѣта*

Множественное число

1-е л. *несѣмъ (-о, -е), березѣмъ (-о, -е) знаимъ (-о, -е), ходимъ (-о, -е), будѣмъ (-о, -е)*
2-е л. *несѣте, березѣте, знаите, ходите, будѣте*

Примечания. 1. Славянское, в том числе и древнерусское, повелительное наклонение является по своему происхождению индоевропейским желательным наклонением, суффиксом которого был диф-

тонг *oi̯*. Этот суффикс *-oi̯* отражается в единственном числе в виде *и (i)*; славянск. *nesi*, *beri* соответствуют греческ. φεροι. Наличие в этих формах дифтонга *oi̯*, изменившегося здесь в *i̯*, доказывается тем, что, как это мы и ожидаем (см. § 253), заднеязычные *г*, *к* смягчаются по второму смягчению, давая *з* и *с*; ср. *берези* от *берегу; пеци* от *пеку* и т. п. Этот дифтонг *oi̯* в середине слова давал, как это и закономерно, не *и (i)*, а *ѣ (е)*: *несѣмъ, берѣмъ; несѣте, берѣте* в глаголах с основой на твёрдую согласную в настоящем времени (1-е лицо) (*беру, несу, везу* и т. д.). В глаголах с мягкой согласной или *j* в 1-м лице настоящего времени *(знаю, хожу)* в соответствии с *oi̯* находим *и (i)*: *знаимъ, ходимъ, знаите, ходите*.

2. От глаголов нетематических *дамь, ѣмь, вѣмь* и от глагола *видѣти* форма повелительного наклонения 2-го и 3-го лица единственного числа образовывалась суффиксом *jь: ѣдjь* > *ѣжь* (современное *ешь*), *вѣдjь* > *вѣжь, видjь* > *вижь* (ср. современную частицу *вишь: вишь какой* — смотри какой).

511. Личные окончания глаголов, как давно устанавливало сравнительное языкознание, являются по своему происхождению личными местоимениями. Возникновение личного спряжения глаголов свидетельствует о том, что в мысли человека уже образовалось понятие об активно действующем лице. Далеко не всегда можно с достаточной убедительностью показать связь данного личного окончания с формой личного местоимения этого же языка. В славянских языках эта связь полно раскрывается в 1-м лице единственного, двойственного и множественного числа.

Так, в 1-м лице единственного числа славянские языки знали окончания *-мь* (в определённом классе глаголов *есмь, дамь, вѣмь, ѣмь*) и *ǫ* — ст.-сл. *ѫ* (из *ō* + *m*), в котором скрывается то же *m*, но без *ь*. Бесспорно, что эти окончания связаны с корневым элементом *m* личного местоимения 1-го лица.

Окончание 1-го лица двойственного *вѣ (ва)* есть непосредственно им. пад. двойственного числа личного местоимения 1-го лица *вѣ*.

Различные варианты древнерусского окончания 1-го лица множественного числа *-мъ, -мы, -мо, -ме* по своему корневому элементу связаны с личным местоимением *мы*, притяжательным *мой*.

Связь 2-го лица единственного и множественного числа *-ши, -си (несеши, даси)* и *-те (несете)* с личными местоимениями на славянской почве не ясна.

Третье лицо глаголов как в единственном, так и во множественном числе, первоначально выступает в славянских, как и во многих других языках, неоформленно. Формы вроде *несе, бере, несу, беру*, засвидетельствованные памятниками и наличные в разных славянских диалектах, являются (с точки зрения славянской) более архаичными, чем формы с *-ть* или *-тъ*. Неоформленность 3-го лица состоит в несомненной связи с тем, что самое понятие 3-го лица в системе личных местоимений появляется поздно (см. § 467 и сл.).

Окончания *-ть* и *-тъ*, независимо от их более точного разъяснения, стоят в бесспорной связи с указательным местоимением *тъ*,

та, то. Однако с точки зрения индоевропейской неоформленность 3-го лица в славянском является вторичной; ещё до возникновения праславянского языка 3-е лицо единственного числа имело оформление *t (bere < beret)*, которое отпало по закону открытых слогов; 3-е лицо множественного числа имело оформление *nt* (*беру*, ст.-сл. берѫ < < **beront*), суффикс *-nt* тожествен с суффиксом индоевропейского причастия. Таким образом, форма 3-го лица множественного числа оказывается по происхождению собственно причастной формой, что мы имеем для выражения 3-го лица единственного и множественного числа, например, в прибалтийско-финских языках.

Категория вида

512. История категории вида в славянских языках вообще и в древнерусском (русском) в частности представляет глубокий интерес, тем более что история этой категории теснейшим образом переплетается с историей категории времени в этих языках. К сожалению, эти процессы ещё недостаточно исследованы. Однако общую линию развития мы можем наметить с достаточной определённостью.

513. „Чтобы составить себе общее представление об индоевропейской системе глагола,— говорит Мейе [1],— нужно прежде всего забыть то „спряжение", какое является в латинском, германском, балтийском, славянском, армянском, новогреческом и т. д.; одни только гомеровские, ведийские и авестийские образования позволяют видеть существенные черты этой системы.

В латинском, например, основа настоящего времени amō, amā-, и основа перфекта amāuī, от amāre „любить" образуются от одного и того же корневого элемента; „спряжение глагола amāre таково, что все формы связаны между собой, и если дана форма amat, можно, за вычетом аномальных случаев, определить все остальные формы" [1].

514. Легко заметить, что такое же положение вещей мы наблюдаем и в древнерусском языке; и здесь все формы связаны между собой, и, если дана форма *ведеть*, можно, за вычетом аномальных случаев, определить остальные формы: аорист *вед-охъ*, имперфект *вед-яхъ* и т. п. (см. выше парадигмы).

515. В индоевропейском (как он раскрывается в гомеровских, ведийских и авестийских текстах), наоборот,— говорит Мейе,— каждая глагольная основа была независима от остальных и характеризовалась особым составом корня; эти независимые друг от друга основы были связаны всё же между собой чередованием корня, т. е. отношениями внутренней флексии. Так, от глагола греческ. λείπω — „оставляю" в настоящем времени имеем основу λειπ-, также инфинитив λείπειν — „оставлять".

В аористе имеем основу λιπ-: ἔλιπε — „оставил". В перфекте имеем удвоенную основу: λέλοιπα.

---

[1] „Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков", М., 1938, стр. 211.

Таким образом, основы „настоящего", „аориста" и „перфекта" разделены и связаны между собой отношениями внутренней флексии. Таким образом, подобно тому как в именах, под слоем внешнефлективного склонения, мы видим более архаичное внутрифлективное, здесь, под слоем господствующего во всех индоевропейских языках внешнефлективного „спряжения", внешнефлективного выражения времён, мы находим внутрифлективное „спряжение", внутрифлективное выражение „времён", в частности. Это обстоятельство имеет исключительно важное значение для понимания истории глагола во всех индоевропейских языках, в том числе и в древнерусском.

516. Важно также наблюдение Мейе о самом содержании понятия времён в индоевропейском. Мейе указывает, что понятие настоящего времени для индоевропейского — это собственно не понятие абстрактного настоящего времени, как оно существует в сознании современных людей, выражаясь и в грамматическом строе их языков, но понятие о развивающемся действии; понятие об аористе — это вовсе не понятие о каком-то оттенке прошедшего времени в нашем смысле абстрактного прошедшего времени, но понятие о действии самом по себе, включающее момент завершения действия. Перфект, по Мейе, обозначает законченное действие. Привлекая материалы ещё других индоевропейских языков (кроме греческого), Мейе отмечает разновидность основы с инфиксом ***n***, обозначающую переход к началу действия. Отсюда Мейе делает совершенно справедливый и очень существенный вывод: «индоевропейские так называемые „временные" основы не обозначают собственно времени... Значение индоевропейских „временных" основ сходно, следовательно, со значением славянских „видов", а не германских или латинских „времён"» (стр. 213). Это замечание Мейе о характере „времён" в индоевропейском вполне соответствует и общим соображениям, по которым понятие времени с его подразделениями: „прошедшего", „настоящего" и „будущего", как высокое отвлечение, есть относительно позднее явление истории мысли.

517. Таким образом, мы убеждаемся, что в индоевропейском, на стадии его развития, предшествующей стадии, отражённой большинством древнеиндоевропейских памятников письменности, существовала развитая категория вида, выражаемая внутренней флексией. Отсюда ясно, что категория вида в славянских языках по своему содержанию, вернее — по истокам его, но не по форме, отнюдь не является славянским новообразованием; наоборот, она в какой-то мере продолжает и развивает отношения глубокой индоевропейской древности.

518. Внешнефлективное спряжение в индоевропейском вырастало на основе развития выражения лица; в качестве внешней флексии, морфем-окончаний, выступали личные местоимения. Развитие внешнефлективного спряжения должно было неизбежно приводить к разрушению старого выражения видов и, возможно, к исчезновению самой категории вида в индоевропейских языках. Этот процесс сопровождался развитием понятия отвлечённого времени, понятия о действии,

протекающем во времени, настоящем, прошедшем или будущем, о действии, освобождённом от первобытных конкретно-видовых характеристик. Само собой разумеется, что новые отношения и их выражение не возникали на голом месте; новые отношения вступали в связь со старыми, собственно временные с видовыми, и стремились воплотиться в тех формах, в которых выражались видовые различия, если для этого были благоприятные условия; так, категория настоящего времени вступает в вполне понятное взаимодействие с видом развивающегося действия; поэтому основа греческ. λειπ-, выражавшая как раз развивающееся действие, становится выражением настоящего времени: греческ. наст. время λείπω — „оставляю"; основы, выражавшие те или иные оттенки завершения действия (греческ. λιπ-, λοιπ-), естественно вступают в взаимосвязь с понятием прошедшего действия, ограничивая при этом понятие „завершённости" действия завершённостью в прошлом; с другой стороны, прежние видовые различия ограничивают общее понятие „прошедшего", создавая его „разновидности", оттенки: так возникают „прошедшие" времена, аорист и имперфект, используя основы различного выражения оттенков завершённости действия.

519. Однако этот процесс вытеснения, „замещения" старых видовых оттенков временными, вернее, процесс преобразования старых видовых различий во временные, не протекал так просто. Старые видовые оттенки выражались, как мы видели, внутренней флексией основ-корней. Новые временные отношения, в какой-то мере базируясь на выражении старых видов, в какой-то мере используя старые видовые основы, не могли, однако, получить своё полное выражение в внутренней флексии, так как этому решительно препятствовало развивающееся внешнефлективное спряжение по лицам. Внутрифлективные отношения могли сохраниться как пережитки, что и случилось в греческом: настоящее λείπω, аорист ἔλιπον, перфект λέλοιπα.

520. Почему внешнефлективное спряжение (как и склонение, см. § 518) допускает сохранение внутрифлективных способов выражения грамматических отношений лишь как второстепенных, несущественных, пережиточных? Потому что сутью внешнефлективного выражения грамматических отношений является смена аффиксов; при этом безразлично, будут ли это аффиксы-окончания типа индоевропейских языков (собственно флексии), или аффиксы-прилепы типа турецких языков, или, наконец, префиксы. Во всех этих случаях сутью грамматического выражения является смена аффиксов при хотя бы относительной неизменности основы в противоположность изменению основы при внутренней флексии. Противоположность сменяющихся аффиксов и неизменяемой основы — это суть внешнефлективного строя языка. Вот почему и в греческом настоящее, аорист и перфект постепенно начинают различаться собственно не столько унаследованным от прошлого различием основ, сколько окончаниями и приставочными элементами.

настоящее	аорист	перфект
λείπω	ἔλιπον	λέλοιπα

Пережиток внутренней флексии (чередование ei:i:oi) оказывается совершенно второстепенным, в то время как для выражения древних видов внутренняя флексия была основным средством выражения. Если в греческом уничтожить чередование основ, то времена останутся полностью выраженными:

lipō *elipon* *lelipa*

Вот почему в латинском, представляющем более последовательный внешнефлективный тип развития, различные времена связаны между собой общим корневым элементом и пережитков внутрифлективного выражения времён почти нет. Такое же положение вещей мы находим и в славянских языках.

521. В древнерусском различие между настоящим, аористом и имперфектом выражается в конце концов исключительно системой окончаний, т. е. последовательно-внешнефлективным способом. Ср.

настоящее	аорист	имперфект
-у	-охъ	-яхъ
-ешь	-е	-яше
-еть	-е	-яше (-ть)
-емъ	-охомъ	-яхомъ
-ете	-осте	-ясте, яшете
-уть	-шя	-яху (ть)

В этом отношении между ходом развития в славянских языках и ходом развития в других индоевропейских языках не было никакого принципиального различия.

522. Мы указывали, что категория времени, как грамматическое значение, развивается в связи со старой категорией вида, преобразуя её, но вместе с тем и сама в какой-то мере строится в зависимости от неё. Этим объясняется то, что возникающие в индоевропейских языках прошедшие времена (аорист, перфект и имперфект), являясь прежде всего по преимуществу временами, соотносящимися с настоящим и будущим временами, в своей противоположности друг другу внутри категории прошедшего времени выступают как некоторые всё же видовые оттенки с элементом перфективности, „совершенности" в аористе и имперфективности („несовершенности") в имперфекте. Это относится и к современным европейским языкам, знающим перфект и имперфект; вот почему, хотя и с неполной точностью, европейские перфект и имперфект могут быть переводимы современным русским прошедшим совершенного и несовершенного вида (и обратно). Трудность понимания и употребления русских видов для французов, немцев и других заключается в том, что в русском категория вида имеет всеобщий характер, выражаясь во всех личных и именных формах глагола, между тем как во французском, немецком, а также в древнеевропейских языках, как латынь, она в какой-то мере проявляется лишь в прошедшем времени, т. е. проявляется узко, ограниченно; категория вида является здесь пережиточной, она поглощена категорией времени, а в русском она существует как вполне самостоятельная, хотя и взаи-

модействующая с категорией времени. В древнерусском языке, если отвлечься от некоторых важных частностей, отношение между имперфектом и аористом есть также отношение между прошедшим несовершенного и совершенного вида. В этом отношении между древнерусским и другими индоевропейскими языками, на первых порах его развития, не было принципиального различия. Образовавшиеся в общеславянском прошедшие времена сохраняют некоторые переживания видовой семантики. Это тем более естественно для славянских языков в силу одной замечательной особенности их развития.

523. Замечательной особенностью развития славянских языков, проявившейся с наибольшей отчётливостью в древнерусском, русском и других восточнославянских языках, оказывается то, что в них, наряду с выработкой категории времени в формах, аналогичных другим индоевропейским языкам, проявилась тенденция к сохранению старых видовых различий, к сохранению старого богатства конкретно-видовых определений действия глагола. Независимо от преобразования системы спряжения, действие продолжало осознаваться не только в плане отвлечённо-временных отношений прошедшего, будущего и настоящего, но и в плане старых видовых определений действия. Категория вида продолжала сохраняться как живая категория в системе грамматических значений славянских языков (общеславянского языка), хотя и лишилась старой индоевропейской формы своего выражения — внутренней флексии — по причинам, о которых мы уже говорили выше; она, естественно, стремилась найти себе новые формы выражения — в духе внешнефлективной системы спряжения.

524. Выражение видовых особенностей в окончаниях спрягаемого глагола оказывалось затруднительным, так как эти окончания уже имели достаточную смысловую нагрузку, выражая прежде всего категорию лица, а затем, как мы видели, в своей совокупности — и категорию времени. Трудно себе представить, каким образом при наличной структуре славянского спряжения эти окончания могли бы принять на себя ещё и выражение вида, при этом по каждому из времён. К тому же, поскольку вид в славянских языках стремился стать (и стал в древнерусском и русском) всеобщей глагольной категорией, он не мог оформляться в присущих только спрягаемым формам глагола окончаниях.

В славянских языках был найден новый способ выражения видовых различий, соответствующий внешнефлективному строю спряжения, во-первых, и всеобщности вида, как глагольной категории, во-вторых. Этот способ был найден в использовании глагольных приставок-префиксов [1].

[1] Само собой разумеется, что, как всем известно, видовые различия в славянских языках вообще и в русском в частности выражаются частично и иными средствами, например суффиксами, отчасти и чередованием глагольных основ. Но это, во-первых, не всегда собственно видовые различия (как, например, отношения кратности, многократности, длительности и однократности действия); во-вторых, приставочное выражение видов явилось наиболее всеобщим, осчовным способом выражения видов, и именно оно, как увидим, сыграло огромную роль в истории русского глагола.

525. Глагольные приставки, как и предлоги, возникают в отдельных индоевропейских языках из более древних наречий, главным образом локального (местного) и временного значения. В индоевропейском эти наречия занимали в предложении самостоятельное место по отношению и к имени и к глаголу. В дальнейшем, присоединяясь к имени, они превращались в предлоги (или послелоги); сливаясь с глаголом, они превращались в глагольные префиксы-приставки. Эти наречия, сливаясь с глаголом и превращаясь в приставки, привносили тот или иной оттенок в лексическое значение глагола; но вместе с тем, независимо от своего лексического значения (*в* — внутрь, *при* — около и т. п.), они как нельзя лучше годились для выражения значения так называемого „совершенного" вида. Совершенный вид мы не должны понимать в буквальном смысле „совершённости", т. е. завершённости действия; во многих случаях это действительно так, ср.: *курить* и *выкурить;* но в других случаях этого нет; ср.: *курить* и *закурить;* в зависимости от лексического значения приставок и от лексического значения самих глаголов имеется множество оттенков так называемого совершенного вида, изучение которых является задачей лексикологии. Совершенный вид как грамматическую категорию в отличие от несовершенного вида характеризует следующее; в несовершенном виде действие представляется как неограниченно развивающееся, как действие вообще; в совершенном виде действие представляется как ограниченное, определённое в пространстве или во времени, или в каком-нибудь ином отношении: *плакать* (несоверш. вид) — плакать вообще, *заплакать* (соверш. вид) — начать плакать, *поплакать* — некоторое время плакать и перестать плакать и т. п. (оттенки ограниченности, определённости действия могут быть очень разнообразны).

Не нужно себе представлять дело так, что присоединение приставки механически превращало глагол несовершенного вида в глагол вида совершенного или что приставку присоединяли для того, чтобы превратить глагол несовершенного вида в глагол совершенного вида. Такой упрощённой телеологической механики в живом развитии языка не бывает; она встречается только в наивных представлениях людей, которые сложившиеся в языке отношения превращают в историю, думая, что если в современном языке от присоединения приставки глагол несовершенного вида превращается в глагол совершенного вида: *несу — принесу* и т. п., то так происходило и в истории языка. В действительной истории языка было совсем не так.

526. Приставочные глаголы возникали в славянских языках, как и в других индоевропейских, по причинам, которые далеко ещё не разъяснены и которых здесь мы не имеем возможности касаться. Первоначально приставочные глаголы не имели в славянских языках, как и в других индоевропейских, никакого отношения к истории видов. В других индоевропейских языках они и в дальнейшем не получили почти никакого отношения к категории вида по той простой причине, что в этих языках эта категория, как мы видели, сходила на нет, пережиточно отражаясь лишь в противопоставлении перфективного (аориста, перфекта) и имперфективного прошедшего времени.

В славянских языках категория вида продолжала существовать как живая категория. В славянских языках с постепенным развитием приставок в глаголах, с увеличением количества приставочных глаголов начинает устанавливаться связь между глагольными приставками, имевшими способность ограничивать в локальном или временном отношении значение действия — глагола, и значением совершенного вида, которое и состояло в том, что действие мыслилось не как неограниченно развивающееся, а как ограниченное в локальном или временном отношении. Каждая отдельная приставка вносила в значение глагола своё узкое, присущее только ей, вытекающее из её лексического значения локальное или временное ограничение; так, например, приставка *въ-* в глаголе *въбѣжать* локально ограничивала выражение действий указанием на его направление во внутрь чего-нибудь. Понадобился, повидимому, очень длительный процесс развития, чтобы, на основании тысяч и тысяч случаев повседневного употребления приставочных глаголов в живой речи, говорящими могло быть отвлечено от множества этих узких специфических „ограничений", связанных с лексическим значением отдельных приставок, обобщённое грамматическое представление о том, что приставка вообще ограничивает выражение действия — глагола. Именно в такой обобщённой форме (отнюдь, конечно, не уничтожавшей богатства отдельных „узких" ограничений, но включавшей их в себя) ограничивающая (в локальном или временном отношении) функция приставки вступила в связь с обобщённой категорией совершенного вида, существовавшей в системе грамматических значений славянских языков. С этого момента приставка стала формой выражения совершенного вида, что имело, как увидим, громадное значение для истории глагола.

527. Из всего изложенного ясно, что процесс развития происходил не так, что приставкам была исконно присуща таинственная способность превращать глаголы несовершенного вида в глаголы вида совершенного, но так, что приставки получали эту способность, сливаясь либо с глаголами в перфективном прошедшем времени (аористе), либо вообще с глаголами, которым был свойственен только так называемый совершенный вид. Включаясь в состав подобных глагольных форм, приставки проявляли, развивали зачатки перфективности, заложенной в их лексическом значении, зачатки совершенного вида, становясь в конце концов господствующей в языке (но не единственной) формой выражения так называемого совершенного вида. Сливаясь с глаголами и глагольными формами несовершенного вида, приставка не получала перфективной функции и первоначально вовсе и не „превращала" эти глаголы в глаголы совершенного вида.

Обратимся теперь к некоторым фактам древнерусского языка.

528. Древнерусские памятники дают бесконечное количество примеров аориста приставочных глаголов, в которых значение совершенного вида вполне бесспорно и тожественно значению современного прошедшего совершенного; приведём несколько примеров: „Ярославъ *събра* (собрал) вои многы, Варягы и Словѣни, *приде* Кыеву и *вниде*

в городъ свои... Ярославъ *выступи* из града и *исполчи* дружину..." (Лавр., под 1036 г.). Встречаем в древнерусском и имперфект приставочных глаголов: „Улучи и Тиверьци сѣдяху бо по Днѣстру, *присѣдяху* къ Дунаеви"; „не хожаше зять по невѣсту, но *привожаху* вечеръ, а заутра *приношаху* по ней что вдадуче. А Древляне живяху... скотьски, *убиваху* другъ друга, *ядяху* все нечисто и брака у нихъ не бываше, но *умыкиваху* у воды дѣвица;... *схожахуся* на игрища... и ту *умыкаху* жены собѣ" (Лавр., вводная часть).

529. По поводу этих фактов мы можем отметить, во-первых, что хотя приставки в древнерусском начинают получать перфективную функцию, однако противоположность прошедшего совершенного (*собра, приде, вниде* и т. п.) и прошедшего несовершенного (*приношаху, убиваху, привожаху* и т. п.) выражается ещё не наличием и отсутствием приставки, как в современном *принёс, нёс, увёл, вёл* и т. п., но системой личных окончаний аориста, с одной стороны, и имперфекта — с другой. С этим стоит в связи и то обстоятельство, что прибавление приставки к форме прошедшего несовершенного не „превращает" его в прошедшее совершенное (ср. *ношаху, приношаху*) — *приносили*, причём ***при-*** имеет лексическое значение „с собой", и не делает глагол перфективным. Таким образом, положение вещей в древнерусском было отличным от современного, что и понятно, поскольку в живой речи продолжали существовать аорист и имперфект. Приставки уже начинали выражать совершенный вид (на что указывают некоторые явления древнерусского языка, см. ниже), но те нормы выражения видов, которые имеются в современном языке, ещё не сложились. Приставочное выражение видов ещё не получило той всеобщности и последовательности, которые оно имеет в современном русском языке.

530. Одним из доказательств того, что с приставочными глаголами связывалось уже представление о совершенном виде, является, как кажется, широкое распространение в древнерусском языке, именно в приставочных глаголах, суффикса ***-ива-, -ыва-,*** посредством которого от приставочных глаголов совершенного вида образуются глаголы несовершенного вида. Думаем, что наличие суффикса ***-ыва-, -ива-*** в древнерусских приставочных глаголах свидетельствует, что тем глаголам, от которых образованы глаголы на ***-ива-, -ыва-,*** в древнерусском было свойственно значение совершенности, перфективности. Приведём некоторые примеры: *съставливати* от *съставляти* „(Мефодий и Константин) начаста *съставливати* писмена азъбуковьная словѣньски..." (Лавр., под 898 г.). В Академическом списке и в Ипатьевской летописи читаем: *съставляти*, но это нисколько не должно подвергать сомнению древность чтения *съставливати*, которое засвидетельствовано древнейшими списками — Лаврентьевским и Троицким и наличествует в Радзивиловском. Скорее *съставляти* есть новообразование в списках „Повести временных лет" под влиянием церковнославянского, которому глаголы на ***-ива-, -ыва-*** вообще чужды.

привязывати от *привязати*
обертывающе от *обертати*
поверзывающе от *поверзати*
„(Ольга) повелѣ коемуждо голуби и къ воробьеви *привязывати* цѣрь, *обертывающе* въ платки малы, нитъкою *поверзывающе* къ коемуждо ихъ“ (Лавр., под 946 г.).
спускивати: „аже капь чимь то весятѣ, излъмльна будѣте, а любо льгче будѣть то ть *спускивати* обѣ въ едино мьсто...“ (Смоленск. грам., 1229 г.; в др. сп. *спускати*).
утвьрживати (там же, Срезн., под словом).
повабливати: „и рече имъ Всеволодъ: *повабливаеть* мене Володиславъ лядьскии князь на брата своя“ (Ипатьевск., под 1145 г.)
побадыватися: „и начаша *побадыватися* копьи и мнози язвени быша“ (Ипатьевск., под 1281 г.).
управливати: (Срезн., под словом);
укладываю: „пакы ли рать годно, а я на тобѣ *укладываю*“ (Ипатьевск, под 1148 г.)

и многие другие случаи.

Любопытно, что суффикс ***-ыва-, -ива-*** встречается даже в имперфекте от приставочных глаголов; ср. „(Древляне) *умыкиваху* у воды дѣвица“ (Лавр., вводная часть). Это указывает на то, что даже в имперфекте приставочных глаголов начали ощущать оттенок совершенного вида, а это в свою очередь сигнализирует о начале конца имперфекта, весь смысл существования которого и заключался в том, что это было прошедшее несовершенное.

531. В индоевропейском не было особой формы выражения будущего времени. Эта форма вырабатывалась уже в отдельных индоевропейских языках. В общеславянском для выражения будущего времени употреблялась форма настоящего времени, причём контекст решал вопрос о том, имеем ли мы в данном случае выражение будущего или настоящего времени. Пережитки такого употребления настоящего времени мы находим в древнерусском языке (см. § 537). На близкую связь будущего и настоящего времени указывает, например, то обстоятельство, что в современном русском языке (в особых, правда, стилистических условиях) форма настоящего времени может употребляться в значении будущего. С другой стороны, уже в общеславянском формировалось сложное будущее (с связками: *хочу, имy, начну, почну, буду* и инфинитивом спрягаемого глагола, см. парадигмы); повидимому, сложное будущее возникало потому, что выражение будущего времени формой настоящего могло в иных случаях вызывать недоразумение.

532. Первоначально эти два способа выражения будущего времени не имели никакого отношения к видам глагола, приставочное выражение которых находилось в стадии формирования, когда оба эти способа уже существовали. В дальнейшем развитие приставочного выражения совершенного вида преобразовывает систему выражения будущего времени.

533. Настоящее время выражает неограниченно развивающееся действие, и ему по самой его сути присущ несовершенный вид. После того как приставки получили способность переводить глаголы несовершенного вида в глаголы вида совершенного, возникло настоящее время „совершенного" вида типа *приду, внесу* и т. п. Покуда перфективизирующая функция приставок не стала окончательной нормой, законом, „настоящее совершенное" могло пониматься как обычное настоящее, а приставки выступали только в своём лексическом значении; пережитки такой „переходной" нормы мы находим в древнерусском (см. § 535); но долго продолжаться такое положение вещей не могло: в „настоящем совершенном" скрывалось внутреннее противоречие; вот почему „совершенность", в данном случае с содержанием завершённости, законченности, неизбежно превращала настоящее в будущее: настоящее может завершаться лишь в будущем, будущее и есть завершённое настоящее, настоящее „совершенного вида". Когда создалась форма будущего простого совершенного вида, сложное будущее закрепилось для выражения будущего несовершенного вида. В древнерусском мы находим ещё употребление будущего сложного от приставочных глаголов, осознаваемых как глаголы совершенного вида.

534. Очень интересную картину даёт анализ будущего времени в древнерусских памятниках.

Будущее простое выражается приставочной формой настоящего: в десятках и сотнях случаев не удаётся подметить никакого отличия от употребления простого будущего в современном языке.

535. Однако далеко не всегда положение вещей таково; оказывается, что при видимом тожестве древнерусского и современного употребления будущего времени во м н о г и х случаях, н е к о т о р ы е случаи убеждают нас в том, что норма, характерная для более позднего и современного русского языка, ещё не установилась. Ср. например: „из него же озера потечеть Волховъ и вътечеть в озеро великое Нево; ...а отъ Царягорода прити в Понтъ море, въ не же втечеть Днѣпръ рѣка. Днѣпръ бо потече из Оковьскаго лѣса и потечеть на полъдне..." (Лавр., вводная часть).

536. Формы *вътечеть, потечеть, потече* с точки зрения современных норм следовало бы посчитать будущим временем; но этому решительно препятствует общий смысл отрывка; по смыслу здесь возможно только настоящее время; поэтому в *втечеть* нужно видеть настоящее время с приставкой *в*, которая не даёт значения перфективности и, следовательно, не „превращает" настоящее время в будущее [1]; она имеет лексическое значение „внутрь", „в"; так же нужно толковать и *потече(ть)*. Для переписчиков списков XV в., которые более вольно обращались с текстом, чем собственно древне-

[1] Ср. аналогичное употребление приставочного настоящего, пережиточно сохранившееся в известном присловии о бабке и дедке, которые тянут репку: „тянут, потянут, вытянуть не могут". Здесь глаголу *потянут* никак нельзя придать значение будущего времени.

русские переписчики, и для которых современные нормы выражения будущего времени уже были законом, формы *втечеть, потечеть*, понимаемые ими по-современному, как будущее время, представлялись здесь противоречащими смыслу (как и нам), и они заменяли их настоящим временем. Такая замена производилась непоследовательно, так как авторитет оригинала тяготел всё же над переписчиками XV в., но в нашем отрывке в Радзивиловском и Академическом списках вместо *вътечеть* стоит *течеть*, вместо *потече(-ть)* — *течеть*.

537. С другой стороны, мы встречаем употребление настоящего времени в значении будущего, как отражение того периода, когда простого будущего не было, а в соответствующих случаях будущее выражалось формой настоящего, причём различие между этими временами понималось семантико-синтаксически, так как тогда морфологического выражения будущего времени не было.

Ср., например, следующий отрывок:

„И рече Ределя къ Мьстиславу: что ради *губивть* дружину межи собою? Но *снидеве* ся сами боротъ; да еще *одолѣеши* ты, то *возмеши* имѣнье мое, и жену мою, и дѣти моѣ, и землю мою ...и рече Ределя ко Мьстиславу: не оружьемь ся *бьевть*“ (Лавр., под 1022 г.).

Формы *снидевеся, одолѣеши, возмеши* являются обычными и для нас формами простого будущего с приставкой; они аналогичны современным *сойдёмся, одолеешь, возьмёшь*, но формы *губивть* и *ся бьевть* являются формами настоящего времени (дв. числа); по норме, выраженной в *снидеве, одолѣши, возмеши* (с приставками *сн-, о-, воз-*) ожидали бы *погубивть, ся побьевть;* отсюда заключаем, что нормы образования будущего простого ещё не сложились в древнерусском. Примеры, подобные приведённым, конечно, не единичны.

538. Неустановленность норм выражения будущего времени выражается ещё и в том, что будущее сложное образуется в древнерусском не только от глаголов несовершенного вида, но и от глаголов вида совершенного. Напомним, что связкой в древнерусском будущем сложном выступают *буду* (редко), *начьну, почьну, хочю, иму*.

Ср.:

„*Хочю* вы *почтити* наутрия предъ людьми своими“ (а не *почту*) (Лавр., под 945 г.).

„Онъ же не внимаше того глаголя: „како азъ *хочю* инъ законъ *приати* единъ (а не *прииму*)? а дружина сему смѣяти ся начнуть“. Она же рече ему: „аще ты крестишися, вси *имуть* то же *створити*“ (а не *створят*) [1] (Лавр., под 955 г.).

„Аще не подступите заутра, *предатися имамъ* печенѣгомь“ (а не *предадимся*) (Лавр., под 968 г.).

---

[1] Этот пример любопытен и в другом отношении; он показывает, как ещё неустойчиво было употребление сложного будущего в древнерусском: на протяжении двух-трёх строк наблюдаем три разные связки: *хочу, начну, иму*.

„Аще ли сего не *хощеши створити*, не можемъ дати сестры своее за тя“ (а не *сотворишь*) (Лавр., под 988 г.).

„Аще не идеши (пойдёшь!), то же *имуть створити* намъ“ (а не *створять*) (Лавр., под 988 г.).

„Сребромь и златомъ не *имамъ налѣсти* дружины, а дружиною налѣзу сребро и злато“ (Лавр., под 996 г.). Этот пример любопытен тем, что в нём наличествует и переходная форма *имамъ налѣсти* и новая устанавливающаяся и установившаяся *налѣзу* (= найду, добуду).

539. Мы видели, какое значение в истории образования будущего времени в русском языке сыграло развитие приставочного выражения видов; но этим не ограничивается значение этого развития для истории категории времени в русском языке.

Развитие приставочного выражения видов сыграло решающую роль в судьбе аориста и имперфекта.

В самом деле, по мере того как приставки становились способом выражения совершенного вида, а в аористе, как прошедшем совершенного вида, они получали эту функцию в первую очередь, центр тяжести выражения вида в аористе переносился на приставку, а система окончаний, выражавшая ранее прошедшее совершенное, теряла это своё значение. Этот процесс перенесения в аористе центра тяжести выражения вида на приставку был тем более неизбежен, что в древнерусских текстах количественно приставочные аористы подавляющим образом преобладают над бесприставочными; так, например, в летописном отрывке об убийстве Игоря и мести Ольги (под 945 г.) бесприставочные аористы находятся в отношении 1:6 к приставочным, причём большинство бесприставочных аористов относятся к глаголу *рече (рече — рекоша)*. Поскольку противоположность совершенного и несовершенного вида в прошедшем времени глагола всё более стала выражаться отсутствием или наличием приставки, выражение этой противоположности ещё различными системами окончаний аориста и имперфекта теряло всякое значение; эти две системы окончаний перестали быть необходимыми, они теряли почву под ногами. Вместе с тем теряло всякий смысл существование двух разных прошедших времён: аориста и имперфекта. Таким образом, именно развитие приставочного выражения видов привело к такому важнейшему явлению в истории русского глагола, как падение аориста и имперфекта. В условиях ослабления аориста и имперфекта на первый план выступало выражение прошедшего времени через сложное прошедшее время (так называемый п е р ф е к т), которое и явилось родоначальником формы прошедшего времени современного русского языка (см. следующую главу).

К истории современного прошедшего времени

540. В общеславянском, наряду с другими причастиями, существовали причастия прошедшего времени с суффиксом *-л;* они могли существовать в краткой и полной форме. Полные формы причастий

на *-л (-лый)* сохранились в современном русском языке в качестве прилагательных, потеряв грамматическую связь с глаголом, кроме словообразовательной. Ср.:

усталый	*устал*
смелый	*смел, посмел*
спелый	*спел, поспел*
унылый	*уныл, приуныл*
вялый	*вял, увял, завял*
постылый	*постыл, остыл*

Как видно из приведённых двух столбцов, краткие формы причастий на *-л* оказались родоначальниками современного прошедшего времени. Следует, однако, отметить, что рядом с современными прилагательными на *-лый,* могли вновь образоваться по аналогии с другими прилагательными краткие прилагательные на *-л,* которые по значению и употреблению нужно чётко отличать от форм прошедшего времени, возникших из старых кратких причастий. Ср.: „как ты *смел*" (в значении „какой ты смелый" — прилагательное) от „как ты *смел* это сделать", где *смел* — прошедшее время глагола; „цветок *вял* уже в течение нескольких дней и, наконец, завял" (глагол) и „этот мальчик очень *вял*" (краткое прилагательное).

541. Каким же образом из древнерусских кратких причастий на *-л* образовалась форма современного прошедшего времени?

Причастия на *-л* в полной и краткой форме могли первоначально выступать в качестве определения, но краткая форма могла выступать ещё и в качестве именного сказуемого (полная форма, как и полная форма прилагательных, в качестве сказуемого не могла выступать). Вот из этого краткого причастия на *-л* в функции сказуемого и растёт наше современное прошедшее время. Так как сказуемому как члену предложения свойственна категория лица, выражаемая в спрягаемом глаголе личным окончанием, то и при именном сказуемом эта категория лица должна была быть выражена; в данном случае она выражалась связкой *есмь, еси* в 1-м и 2-м лице, а в 3-м лице связка не была нужна; нуль связки и выражало 3-е лицо. Если в древнерусских текстах и встречается 3-е лицо со связкой *есть,* то это скорее всего результат книжного подравнения: поскольку имелось *ходилъ есмь, ходилъ еси,* то считали более „правильным" писать и *ходилъ есть* вместо просто *ходилъ.*

542. Во всяком случае в текстах, заведомо отражающих живой древнерусский язык, уже с древнейших времён не имеем связки; так, в Тмутороканской надписи (1068 г.) читаем: „Глѣбъ князь *мѣрилъ* море по леду", где причастие *мѣрилъ* выступает как именное сказуемое без связки (не *мѣрилъ есть*).

543. Первоначально причастие *мѣрилъ* в обороте типа „Глѣбъ князь мѣрилъ" и др. вовсе не осознавалось как особое „время" глагола, оно было причастием, употреблённым в функции сказуемого. Но постепенно, повидимому, ещё в общеславянском языке, по мере того как это причастие отрывалось от категории причастий, теряя

формы согласования по падежам, формы *мѣрилъ есмь, мѣрилъ еси, мѣрилъ, мѣрили есмы, мѣрили есте, мѣрили* стали пониматься как своего рода спряжение, как одна из спрягаемых форм глагола *мѣрить*, одна из форм прошедшего времени, так как само причастие на *-л* было причастием прошедшего времени. Это прошедшее время в грамматике называют прошедшим сложным по его структуре (поскольку оно составилось из двух слов — причастия и связки).

544. Так как связка *есмь, еси* выражала здесь, главным образом, л и ц о, то впоследствии она целиком была вытеснена личными местоимениями; вместо *далъ есмь, далъ еси, далъ* и т. п. стали говорить *я далъ, ты далъ, (он) далъ* и т. п.

545. Как причастие, формы на *-л* согласовывались в роде и числе с именем, к которому относились; наличие этого согласования в современном русском языке является остатком того времени, когда современная форма прошедшего времени ощущалась ещё как причастие (ср. *стол стоял, скамья стояла, село стояло*). Во множественном числе наше причастие имело различные окончания в зависимости от рода: мужской род *-и* (*ходили*, как в склонении имён на *-о* мужск. рода), женский род *-ы* (*ходилы*, как в склонении имён на *-а*), средний род *ходила* (как в склонении на *-о* средн. рода). Но в дальнейшем было обобщено окончание мужского рода *-и;* это произошло потому, что формы прошедшего сложного ассоциировались прежде всего с личными именами (с лицом как субъектом действия), а в личных именах (в названиях лиц, позднее одушевлённых предметов вообще) в древнерусском обобщалось окончание *-и* — из склонения на *-о* мужского рода.

546. По своему значению прошедшее сложное первоначально обозначало, повидимому, результативность действия, совершившегося в прошлом; в грамматиках его называют обычно перфектом; это условное название сохраним и мы в дальнейшем изложении. Однако нужно отметить, что этот термин плох тем, что, навязывая прошедшему сложному содержание перфективности, т. е. совершенности, он никак не отмечает, что прошедшее сложное, действительно обозначая действие совершившееся, завершившееся в прошлом, представляет результаты его продолжающимися и в настоящем. Эта соотносительность перфекта с настоящим, несомненно, выражается и связкой *есть*, которая, служа прежде всего выражением лица, всё же проецирует прошлое (выраженное причастием) в настоящее, обусловливая, наряду с оттенком перфективности, совершенности, и оттенок продолжения действия (его результатов), т. е. незавершённости. Можно, пожалуй, в какой-то мере сравнить значение перфекта на *-л* с употреблением современных причастий на *-т* в сказуемом; выражение *стол накрыт* обозначает действие, совершившееся в прошлом (*накрыт* — причастие прошедшего времени), но вместе с тем результаты его продолжаются в настоящем; *стол накрыт* (без связки) — это и прошедшее, и настоящее одновременно (он и сейчас накрыт). Оттенок настоящего, который был присущ перфекту и выражался в связке *есть*, соотносил его с несовершенным видом. Вот почему с развитием приставочного

выражения видов и падением аориста и имперфекта (см. § 522 и сл.) перфект оказался способным выражать (с приставкой) совершенный вид и (без приставки) вид несовершенный. Он оказался в высокой степени обобщённым выражением прошедшего времени, подлинным прошедшим вообще, какого не было и нет в других индоевропейских языках, где выражение прошедшего времени разбито на „части" соответственно оттенкам прошедшего времени (имперфект, перфект, плюсквамперфект и т. п.). В этой своей функции прошедшего вообще перфект вытеснил и существовавшие в древнерусском другие формы прошедшего сложного (два вида давнопрошедшего, см. парадигмы).

Как ясно из всего предыдущего, возникновение обобщённой формы прошедшего времени на *-л* лишний раз показывает, какое огромное значение имело для истории русского глагола развитие приставочного выражения видов.

Категория залога

547. Залог есть грамматическая категория, выражающая отношение субъекта к объекту. В данном случае имеется в виду отношение субъекта к объекту, осуществляющееся в действии или состоянии субъекта; поэтому залог есть категория глагола, т. е. той части речи, которая выражает действие или состояние.

В основе понятия залога лежит представление об отношении субъекта к собственно объекту, т. е. к какой-то части действительности, на которую непосредственно распространяется деятельность субъекта, воздействующая на эту часть действительности или преобразовывающая, видоизменяющая её, непосредственно на неё переходящая. Залог в этом смысле слова мы будем называть переходным залогом, а глаголы, обладающие этим залоговым значением,— переходными глаголами.

548. Однако понятию залога должно быть придано и более широкое значение, а именно: под залогом, как отражением отношения субъекта к объекту, мы будем разуметь и грамматические значения глаголов, отражающие отношения субъекта к объекту, понимаемому как всякая часть действительности, с которой субъект вступает в отношения, в взаимодействие, в соприкосновение. Залог, понимаемый в этом смысле, мы будем называть непереходным залогом, а глаголы, обладающие этим залоговым значением,— непереходными глаголами.

549. Для иллюстрации сказанного приведём несколько примеров переходного и непереходного залогов из современного русского литературного языка. Переходный залог: *пилю* (дрова), *помогаю* (отцу), *люблю* (брата), *рублю* (топором) и т. п. Непереходный залог: *сплю* (на кровати), *сижу* (за столом), *путешествую* (с женой), *пишу* (на бумаге) (но *пишу* письмо — переходный).

В составе переходного и непереходного залогов могут быть различные подвиды — разновидности этих залогов.

550. Первоначально переходность или непереходность глагола не получила специального грамматического выражения, а выражалась в самом лексическом значении, в семантике данного глагола. Осознание субъектно-объектных отношений, осуществляющихся в глаголе, как действии или состоянии субъекта, привносило в значения глаголов грамматические значения переходности или непереходности; так, глаголы типа *рублю*, способные выражать и выражавшие действие, исходящее от субъекта и переходящее на объект *(дрова)*, оказывались переходным, а глаголы типа *сижу*, не выражавшие подобных значений, оказывались непереходными *(сижу на земле)*.

551. Постепенно формируется грамматическое выражение глагольных залогов. Оно проявляется в различном способе связывания переходных или непереходных глаголов со словами-дополнениями, обозначающими объекты, отношение которых к субъекту выражают эти глаголы. В конце концов ещё на древнейшем этапе этого развития (для славянских языков — уже в общеславянском языке) устанавливается беспредложная связь глагола с объектом для переходных глаголов и предложная — для непереходных.

552. Таким образом, мы видим, что одной из важнейших причин использования прежних самостоятельных наречий в качестве предлогов является возникновение противоположности переходного и непереходного залогов. Предлоги, по своему происхождению наречия с локально-временным содержанием, как нельзя лучше могли выражать непереходную связь субъекта через глагол с объектом; непереходная связь субъекта и объекта и была как раз в первую очередь связью сосуществования, локально-временной связью.

553. Переходная связь субъекта с объектом, осуществлявшаяся через глагол, т. е. непосредственное воздействие субъекта на объект, выражалась непосредственным (без посредства предлога) присоединением к глаголу слова, обозначавшего объект и стоявшего в том или ином падеже. При этом для выражения различных оттенков переходности стали использоваться разные падежи: для выражения полной переходности — преимущественно винительный падеж (падеж объекта, прямого дополнения), для выражения неполной переходности — дательный падеж, для выражения так называемой орудийной переходности (когда воздействие субъекта на объект приводит к тому, что объекты выступают как орудие субъекта) — творительный падеж. Образование различных способов выражения различных оттенков переходного залога приводило, как видим, к образованию различных типов дополнений, или, что то же, различных значений беспредложных падежных оборотов.

554. Различные беспредложные падежи, специализируемые для выражения тех или иных переходных отношений, с развитием субъектно-объектного строя и залоговых отношений, постепенно освобождаются от выражения обстоятельственных (локально-временных и др.) значений. Этот процесс осуществлён в общеславянском, но его завершение прослеживается ещё в древнерусском языке (см. § 396 и сл.). С другой стороны, старый местный падеж, употреблявшийся без

предлога, но выражавший непереходное отношение субъекта к объекту (например, „князь Всеволодъ сѣде Кыевѣ"), с установлением нормы, по которой непереходные отношения выражаются предложными падежными оборотами, неизбежно опредложивается. Опредложивание местного падежа происходит в общеславянском языке; в древнерусском мы отмечаем лишь пережиточное употребление в определённых случаях беспредложного местного, который уступает своё место предложному в древнерусском же языке (см. § 418). Мы видим, таким образом, что явления из истории склонения, связанные с развитием субъектно-объектного строя предложения (см. § 396 и сл.), тесно связаны с развитием противоположности переходного и непереходного залога; это и понятно: история развития залога в нашем пониманиі есть лишь часть истории развития субъектно-объектного предложения; оба эти явления оказываются отражением осознания противоположности субъекта и объекта.

555. Дополнительным способом выражения некоторых залоговых значений выступает в славянских языках использование для выражения этих значений форм (по преимуществу энклитических) возвратного местоимения. Внутренний смысл использования форм возвратного местоимения для выражения залоговых значений заключался в том, что этот способ приводил к возможности образования морфологической категории залога в глаголе. Действительно, в самом начале использования возвратного местоимения для выражения залоговых значений местоимение выступает ещё в какой-то мере как самостоятельное слово, и использование возвратного местоимения на этом начальном периоде ещё не выводит выражение залога из области синтаксических форм выражения грамматических значений. Такое положение вещей мы находим ещё отчасти в древнерусском. Но уже в самом начале развития эта синтаксическая форма выражения залога получает тенденции к превращению в морфологическую. Объясняется это тем, что энклитические формы (безударные и семантически ослабленные) возвратного местоимения не являлись самостоятельными словами в полном смысле этого слова даже тогда, когда в предложении они были отделены от глагола другим словом (как в древнерусском). Энклитические формы возвратного местоимения тяготеют уже в древнерусском к глаголу и стремятся слиться с ним; семантически они сливаются с ним ещё до того, как сливаются с ним фонетически и морфологически, т. е. приклеиваются к концу глагола в виде частицы. Это семантическое слияние и обусловливает в дальнейшем слияние фонетическое и морфологическое. Этот процесс в русском языке получил полное выражение и завершение (в отличие, например, от украинского, где, особенно по говорам, сохраняются в значительной мере древнерусские отношения); „бывшее" возвратное местоимение в русском стало неразрывной частью глагола, морфологическим выражением залогового значения. В русском языке образовалась, таким образом, морфологическая категория залога в глаголе. В древнерусском положение вещей, как мы уже говорили, было существенно иным.

556. Прежде всего следует указать, что в то время как в современном литературном языке частица *ся* является морфологическим элементом глагола, стоящим обязательно в конце глагола, в древнерусском *ся* выступает ещё в известной мере как отдельное слово, не „приклеившееся" ещё к глаголу; *ся* может стоять перед глаголом и может быть отделено от глагола другими словами; *ся* выступает в древнерусском ещё как краткая форма винительного падежа местоимения *себя*, хотя и проявляется тенденция к превращению *ся* в частицу. Приведём несколько примеров:

„кто *ся изоостанеть* въ манастыри" (Мстиславова грам., 1130 г.);
„а гдѣ *ся* тяжя *родить* ту ю кончати" (грам. Александра Невского, 1262—1263 гг.);
„тои же осени много зла *ся створи*" (I Новг., под 1215 г.) и др.

Но встречается часто и *ся* после глагола:

„тъгъда же Мьстиславъ *перебродя ся* Днѣпрь прѣиде..." (I Новг., под 1224 г.);
„а деревляне *затвориша ся* въ градѣ" (Лавр., под 946 г.);
„ради *ся* быхомъ *яли* по дань" (Лавр., под 946 г.) и др.

557. Второй особенностью употребления возвратного местоимения для выражения некоторых залоговых значений в древнерусском является то, что в этой функции употребляли не только краткие формы винительного падежа *ся*, но и краткие формы дательного падежа *си*. Употребление дательного падежа *си* при глаголах сравнительно очень редко в древнерусских памятниках. Однако в литературе приводится ряд таких примеров: *жалити си, съжалити си, стужати си, судити си, препинати си, прѣткнути си, съгрустити си* и др. (А. И. Соболевский, Лекции по истории русского языка, изд. 4, стр. 101).

558. Что касается глаголов с *ся*, то они первоначально представляли обычную переходную конструкцию, в которой *ся*, как винительный падеж местоимения, обозначает объект; это значение конструкции с *ся* сохраняется до нашего времени в собственно возвратных глаголах типа *моюсь*, а отчасти и в других глаголах, например в так называемых взаимных. Однако семантическое, а затем и фонетическое слияние *ся* с глаголом приводило к тому, что залоговое значение глаголов с *ся* стало определяться не только значением частицы *ся*, но и лексическим значением глаголов и их употреблением. Таким образом, первоначально собственно возвратное значение *ся* стало во многих случаях затемняться; происходили многообразные семантические сдвиги, порождавшие всё новые значения глаголов на *ся*. Вот почему так затруднительна семантическая классификация глаголов на *ся* в современном языке. Этот анализ затрудняется ещё и тем, что, повидимому, ещё в древнерусском частица *ся* обобщалась за счёт *си*; это обобщение полностью завершилось в современном русском языке. Во многих случаях в современном русском языке частица

ся стоит вместо вытесненной ею частицы *си*. В то же время в некоторых русских диалектах частица *си* обобщается за счёт *ся* и вытесняет её.

559. Первоначальное значение конструкций с *си* и первоначальная функция частицы *си* при глаголах сохраняется, пожалуй, наиболее отчётливо в некоторых западноукраинских диалектах. В качестве примера мы возьмём материалы, собранные Ю. А. Яворским [1].

560. В этих украинских диалектах сохранились краткие формы местоимений: *мя, ми, тя, ти, ся, си*; местоимения *ся, си* употребляются при глаголах, выражая залоговые значения; *си* употребляется также в качестве дательного падежа возвратного местоимения; место *си* и *ся* в предложении не фиксировано, как в древнерусском; полная форма дательного падежа *соби* также употребляется для выражения залогового значения. Ниже мы приводим ряд примеров употребления *си* и *соби* для выражения залогового значения, расположив материал по отдельным глаголам. Предварительно приведём несколько примеров употребления *ся*.

561. Примеры на *ся*. „Вси три *ся* с моёу донькоў (дочкой) женыты нэ можэтэ"; „Там дэ *ся* вси опыри (упыри) и чариўныки злитают"; „Пристры *ся*, обрусыку (скатёрка)! Тай обрусык *ся простэр*..."- „Тай му *ся схотило* спаты"; „То оны *ся* его *пытают* (спрашивают)"; „Тай *зачали ся* балюваты" и мн. др.

Приведём несколько примеров употребления *си* в качестве собственно дательного падежа: „Иде наистарший брат гори тоў гороў, алэ зломыў *си* кинь голову"; „Зломыў тай его кинь *си* ногу"; „Взяў *си* муки"; „Взяў *си* то пысьмо" и мн. др.

562. Примеры на залоговое *си*. Особенно часто *си* с глаголами *есть* и *пойти*.

сесть:

и тогды сиў *сы* (=*си*) на горбочку тай як завыў (о волке)

сидеть:

пасутся заяци, а вин *соби сыдыть* та грае
и *силы соби* на дерево
сиў си на еднэго коня
а сам *си сиў* и зачаў йисты паланыцю
злиз с дэрэва тай *сиў сы* на свого коня
а вин *соби сиў* тай плачэ

зайти, пойти:

воўк взяў пса, ззиў и *пишоў соби* гэть (прочь)
так вин *пишоў сы* с тоў травоў
тай так *сы* той пан *заишоў* с енчымы панамы у бэсенду
они *пишлы сы* спокойно до дому

---

[1] Ю. А. Яворский, Памятники галицко-русской народной словесности, вып. 1, Киев, 1915 (под редакцией А. А. Шахматова).

пишоў сы зноў на помованье
бида прышла, набыла го, намотлошыла и *пишла сы*
дурный *пишоў соби* до едного пана на службу...

лечь:

тай тогды *ляг сы* на запичь спаты
и *ляг соби* под ялыцей
а сам *сы ляг* в кутык пид лавыцю
пишоў до покою и *ляг сы* пид столык
и *лежыт соби* на лижку
и вин зварыў и *ляг сы* спаты

стать:

стаў сы на двух лапках (о зайце)
стаў сы в кутычку цэрквы
пишоў вин с тым на сторожу и *ставъ соби* на тим колэси
иды там у лис, *стань сы* за дуба и стій

жить:

обое *жылы соби* счаслыво аж до смэрты
и вин так *сы* с жинкоў *жыў*

спевать:

и *спивала соби* всэ, як наилипший канарок

вылезти:

вылиз соби на ялыцю

вылететь:

вылетиў соби на дах тай запіяў
а они *соби* тогды *полетилы* обое гэть

ночевать:

тай каже: та *ночуй сы* там дэ в кухни с служныцямя

потанцевать:

наи *сы потанцюю* трохи

поесть (собств. — *попоесть*):

як уже *сы попойиў*, и напыўся
тай тогды *сы* тои вороны добрэ *попойилы* тай зараз помэрлы вси три

поехать:

а Иван *сы пойихаў* як пан

газдуваты (хозяйничать):

газдуваў соби за тоты маетки

опочивать:

пан с панеў *опочивают сы* в лижку

563. Как показывает приведённый список, дательный падеж возвратного местоимения *си (=сы)* ставится при непереходных глаголах или глаголах, употребляемых в непереходном значении. Значение *си, соби* в западноукраинских диалектах соответствует примерно современному русскому *себе* в таких выражениях, как: „шёл я *себе* по улице, вдруг навстречу Иван Иванович"; „жил *себе* Петухов спокойно и тихо, пока не приехала племянница"; „стал я *себе* на углу и поджидал приятеля" и т. п. Русское *себе*, как и украинское *си, соби*, бесспорно имеет в этих случаях залоговое значение, его задача, как и украинского *си, соби*, не заключается нисколько в том, чтобы „превращать" переходные глаголы в непереходные, а в том, чтобы подчёркивать, дополнительно выражая непереходность глагола, обращая действие по направлению к субъекту, отгораживая субъект в какой-то мере от объекта или объектов. Местоимение винительного падежа *ся*, выступая первоначально в качестве объекта, равного субъекту, т. е. в значении объекта, ставилось, естественно, при переходных глаголах; оно также, хотя и в другом смысле, обращало действие на субъект, „превращая" глагол из переходного в непереходный; возвратное *ся* становилось, таким образом, суффиксом непереходности глаголов (независимо от частных значений этой непереходности). В этой сбытовавшейся „родственности" функций *ся* и *си* и была заложена возможность обобщения *ся* за счёт *си* и обратно, смешения этих частиц.

564. Обращаем внимание на то, что в современном русском литературном языке формы с *ся* в перечисленных выше глаголах невозможны (*шёлся, стался, жился* и т. п.), но в приставочных образованиях от этих глаголов они иногда возможны. Так,

невозможно	*шёлся*,	но возможно	*сошёлся, пришёлся*
„	*селся*	„	„	*уселся*
„	*лёгся*	„	„	*улёгся, разлёгся*
„	*стался*	„	„	*остался*
„	*жился*	„	„	*зажился, ужился*
„	*спался*	„	„	*проспался, выспался*
„	*елся*	„	„	*объелся, наелся*
„	*ехался*	„	„	*проехался*

Причина этого явления мне неясна.

565. Наличие *ся* и *си* в древнерусском (восточнославянском) доказывается, конечно, не приведёнными Соболевским примерами (см. § 557), которые собраны им, по обычаю наших старых филологов, с бору по сосенке, из разных, преимущественно церковных, памятников. Эти примеры показывают, вероятно, лишь то, что уже в некоторых древнерусских диалектах *си* начало вытеснять *ся* и это *си* прорывается сквозь церковнославянскую норму *ся* (где *си* не было?); это бесспорно, например, для севернорусской Лаврентьевской летописи, где нормой является *ся*, но изредка появляется *си: сотснути си;* заведомо вторично *си* в *възвратиси* (Лавр.); здесь *си* невозможно семантически

(*възвратить* — переходный глагол!) и стоит в церковнославянском слове.

Наличие *ся* и *си* в восточнославянском доказывается, во-первых, показанием некоторых севернорусских говоров, знающих только *си* (в них, как мы говорили, *ся* вытеснено через *си*, которое, следовательно, тоже существовало), во-вторых, показанием западноукраинских диалектов (типа описанных Яворским в его сборнике), где находим и *ся* и *си*.

566. Как мы уже говорили, возможность вытеснения *ся* через *си* или *си* через *ся* обусловливалась сходством их функций; это обстоятельство само по себе могло приводить и приводило к замене одной частицы через другую уже в древнерусскую эпоху. Но следует указать, что падение глухих решительно подтолкнуло этот процесс. Мы знаем, что с падением глухих падало и конечное безударное ***и*** (см. § 317); местоимение *си* постепенно приклеилось в русском к концу слова и было в неударном положении (*си* употреблялось, как и *ся*, энклитически); поэтому *си* фонетически закономерно изменилось в ***с***: *осталаси* изменилось в *осталась*, *осталоси* в *осталось*. Но в мужск. роде создавалось неудобное сочетание двух согласных в конце слова — *остался;* то же в инфинитивах — *остатсь*, в настоящем — *придетсь* и т. д.; вот вместо этого *сь* и распространялось в первую очередь *ся: остаться, придётся, остался*.

567. С этим и стоит в связи норма распределения *ся* и *сь* в современном русском литературном языке: *сь* восходит к *си*, но распространилась на все случаи возвратной частицы после гласных, где фонетически такое *сь* оказывалось приемлемым; *ся* ограничено положением после согласных, где оно заменило и *ся* и *си* (>*сь*).

Причастия настоящего времени

568. Основа причастий настоящего времени оканчивалась в общеславянском на ***-ontj***; ***-ontj*** давало в ст.-сл. жшт (церк.-сл.-***ущ***), в др.-русск. ***-уч***. Таким образом, от основы *nesontj-* получилась основа причастия несжшт- (ст.-сл.), *несущ-* (церк.-сл.), *несуч-* (др.-русск.) в глаголах с ***i*** в конце основы инфинитива *(ходити, носити, хвалити)* вместо ***-ontj*** под влиянием этого ***и*** получалось ***-intj***, что давало по ст.-сл. ходашт- (церк.-сл. *ходящ-*), по др.-русск. *ходяч-*. Эти основы выступают в склонении во всех падежах, за исключением им. пад. ед. ч. мужск. и средн. рода, где имеем иные образования (см. склонение), удовлетворительного разъяснения которых не имеется. В древнерусском языке от глаголов на ***-i*** в им. ед. мужск. и средн. рода имеем окончание ***-'а(-я)***, присоединённое к глагольному корню: *хваля, ходя, нося* (в ст.-сл. а (хвалѧ, ходѧ, носѧ), ѧ — от глаголов с основой, оканчивающейся на ***-j*** — знаѧ). В остальных глаголах в древнерусском было окончание ***-а*** после твёрдого согласного *(ида, мога)*, присоединяемое к глагольному корню, а в ст.-сл. ***-ы*** (нды, могы, несы и т. п.).

	Мужской род	Средний род	Женский род
	Единственное число		
И.	*неса, хваля, зная*	*неса*	*несучи*
Р.	*несуча, хваляча, знаюча*	как в мужск.	*несучъ*
Д.	*несучу* и т. д.	роде	*несучи*
В.	*несучь*	*несуче*	*несучу*
Т.	*несучьмь*	как в мужск.	*несучею*
М.	*несучи*	роде	*несучи*
	Двойственное число		
И. В.	*несуча, хваляча, знаюча*	*несучи*	*несучи*
Р. М.	*несучу* и т. д.	как в мужск.	*несучу*
Д. Т.	*несучема*	роде	*несучама*
	Множественное число		
И.	*несуче, хваляче, знаюче*	*несуча*	*несучъ*
Р.	*несучь* и т. д.	как в мужск.	*несучь*
Д.	*несучемъ*	роде	*несучамъ*
В.	*несучъ*	*несуча*	*несучъ*
Т.	*несучи*	как в мужск.	*несучами*
М.	*несучихъ*	роде	*несучахъ*

Примечания. 1. Формы типа *неса, ида* и т. п. уже в древнерусском вытеснялись формами на *-'а(-я)* из глаголов типа *хвалити* и пр.: *идя, неся.* Пережитком причастий на *-а* считают в русском языке некоторые существительные мужского рода на *-а*: *пройда, рева,* так же как *пустомеля, розиня* рассматривают как причастие от *молоти: меля* и *розинути: розиня* (Соболевский).

2. Наряду с краткими причастиями настоящего времени существовали и полные: от *неса — несаи,* от *несучи — несучия,* в среднем роде *несучее; берегаи, берегучия, берегучее, ходяи, ходячее, ходячия;* пережитком причастий на *-аи* является, например, архангельск. *голодай* — „голодающий человек" (словарь Подвысоцкого). Впоследствии в полных причастиях была обобщена основа на *-уч, -яч*, а окончания подравнены по окончаниям прилагательных: *ходячии, ходячая, ходячее* и т. п. Соответствующие церк.-сл. полные причастия настоящего времени звучали *ходящии, ходящая, ходящее* с тем же обобщением основы на *-щ* и подравнением по склонению прилагательных.

3. Полные причастия на *-чий* употребляются в древнерусском в значении прилагательных; рядом с ними могут существовать и краткие прилагательные на *-чь.* В древнерусский же период заимствуются из церковнославянского языка формы причастий на *-щий.* Ср. ниже в левом столбце прилагательные на *-чий* (б. причастия), в

правом — причастия на ***-щий,*** заимствованные из церковнославянского языка:

горячий (горячь)	*горящий*
ходячий	*ходящий*
стоячий	*стоящий*
живучий (живучь)	*живущий*
колючий (колючь)	*колющий*
летучий	*летящий*
жгучий (жгучь)	*жгущий*
могучий (могучь)	*могущий*

4. Формы им. ед. и мн. числа кратких причастий на ***-я, -чи, -че*** стали рано употребляться в значении деепричастий (см. § 572).

569. Причастие прошедшего времени.

Единственное число

Мужской род	Средний род	Женский род
И. *несъ*	*несъ*	*несъши*
Р. *несъша*	как мужск.	*несъшѣ*
Д. *несъшу*	роде	*несъши*
В. *несъшь*	*несъше*	*несъшу*
Т. *несъшьмь*	как мужск.	*несъшею*
М. *несъши*	роде	*несъши*

Двойственное число

несъша	*несъши*	*несъши*
несъшу	как в мужск.	*несъшу*
несъшема	роде	*несъшама*

Множественное число

несъше	*несъша*	*несъшѣ*
несъшь	*несъшь*	*несъшь*
несъшемъ	*несъшемъ*	*несъшамъ*
несъшѣ	*несъша*	*несъшѣ*
несъши	*несъши*	*несъшами*
несъшихъ	*несъшихъ*	*несъшахъ*

Примечания. 1. Формы им. ед. мужск. и женск. рода и форма им. мн. стали рано употребляться в качестве деепричастий (см. § 572).

2. В основах на гласный вместо **ъ** имеем **въ**: *знавъ, знавъша* и т. д., *пустивъ, пустивъши* и т. п.

3. Помимо приведённых выше двух типов активных (действительных) причастий в древнерусском существовали два типа пассивных (страдательных) причастий:

наст. вр.: *несомъ, -а, -о; знаемъ, -а, -о* и т. п.
прош. вр.: *несенъ, -а, -о; хоженъ, -а, -о* и т. п.

4. О причастии прошедшего времени на ***-лъ, -ла, -ло*** см. § 540.

К происхождению деепричастий

570. Деепричастия возникают в древнерусском языке из причастий. Непосредственным источником образования деепричастий являются формы именительного падежа причастий кратких действительных (активных).

571. Формы косвенных падежей кратких причастий выходят в древнерусском из употребления. Это объясняется тем, что краткие причастия теряют способность выступать в качестве определений. В этом отношении их судьба сходна с судьбой кратких прилагательных, с тем, однако, отличием, что краткие причастия, как обладающие большей связью с глаголом и, следовательно, с предикатом, чем краткие прилагательные, теряют способность выступать в качестве определений ещё ранее, чем краткие прилагательные. Так, в I Новгородской летописи по Синодальному списку, где краткие прилагательные ещё выступают в качестве определений, краткие причастия в этой функции почти уже не выступают. Они выступают, главным образом, в качестве второстепенного сказуемого. Господствующей формой выражения именного сказуемого в древнерусском является именительный падеж, согласованный с именительным падежом подлежащего. В связи с этим стоит и утрата краткими причастиями косвенных падежей, т. е. склонения. Приведём несколько примеров, иллюстрирующих употребление кратких причастий в древнерусском: „а Володимира и княгыню его *имъше*, половци *поведоша* в землю свою"; „*слышавъше* же то князи рустии, *поидоша* за Днѣпрь"; „*учювъ* Мьстиславъ Мьстиславовиць зло то, *въѣха* въ Новъгородъ".

572. В этих примерах, как и вообще в I Новгородской летописи, наблюдаем ещё согласование причастия с подлежащим; ср. *половци — имъше* (им. мн.), *князи — слышавъше* (им. мн.), *Мьстиславъ — учювъ* (им. ед. м. р.); в I Новгородской летописи три именительных падежа (им. ед. м. р., им. ед. ж. р.) употребляются ещё правильно, но в дальнейшем согласование уже не соблюдается, значение падежа, рода и числа в причастиях кратких везде исчезает, и они перерождаются в деепричастия. Из трёх конкурирующих „падежей" в конце концов возобладал им. пад. мужск. рода на ***-я*** в настоящем и на ***-ъ — -въ*** в прошедшем времени; ср. современные деепричастия *хваля, нося, хвалив, носив;* однако в прошлом рядом с ними существовали, а отчасти существуют и теперь, им. пад. женск. рода: *идучи, смѣючись, хвалѝвши, носивши.* Формы им. мн. на ***-че*** и ***-ше (-вше)*** вышли из употребления раньше всех.

К истории инфинитива

573. Инфинитив имеет в древнерусском два оформления: ***-ти*** и ***-чи.*** Оформление ***-чи*** находим лишь в глаголах с корнем, оканчивающимся на ***-г*** и ***-к***, как *теку, стерегу: течи, стеречи;* ***-ч*** в этих инфинитивах получалось фонетически из сочетания *kt* и *gt* (> *kt*) перед передней гласной ***і*** (см. § 300): *tekti* > *течи, stergti* > *sterkti* > *стере-*

чи. В церковнославянском в подобных случаях имеем *щ* (ст.-сл. шт): *тещи, стрѣщи*. Таким образом, по существу оба оформления инфинитива исторически сводятся к одному *-ti*. Современное оформление инфинитива на *-ть* (*-т'*) объясняется отпадением конечного неударного *и*.

574. По своему происхождению инфинитив есть дательный падеж единственного числа глагольного имени, оформленного суффиксом *-ть* и некогда склонявшегося по основам на *-ĭ* (> *ь*), как *кость* и др.; дат. пад. *-ти*. Это глагольное имя было втянуто в систему глагола и получило глагольные категории вида и залога. До сих пор в русском языке можно отметить близкую связь некоторых инфинитивов с именами 3-го склонения:

мочь (<*мочи*) инф. и *мочь* сущ.: *во всю мочь*
помочь (<*помочи*) инф. и *помочи* сущ. мн. ч. — „подтяжки"
ср. церк.-сл. *мощь, мощи* сущ. и *мощи* (инф.)
стать (<*стати*) инф. и *стать* сущ.: *с какой стати*
пасть (<*пасти*) инф. и *пасть* сущ.
пропасть (<*пропасти*) инф. и *пропасть* сущ.
течь (<*течи*) инф. и *течь* сущ. — например в корабле
печь (<*печи*) инф. и *печь* (сущ.)

Инфинитивы существуют и в других индоевропейских языках, и в них они являются по происхождению глагольными именами, втянутыми в систему глагола. Так, глагольными именами являются по происхождению немецкие инфинитивы на *-en*; соотнесённость с именем очень ярко выражена в немецких инфинитивах: достаточно поставить перед немецким инфинитивом определённый член, чтобы „превратить" его в имя существительное: *leben* — „жить", но *das Leben* — „жизнь" и т. п.

575. В систему глагола было втянуто ещё одно глагольное имя, получившее значение достигательности (достигательное наклонение, или супин). Супин по своему происхождению есть винительный падеж отглагольного имени, оформленного суффиксом *-тъ* и склонявшегося по основам на *-ŭ* (> *ъ*). Тожественный по образованию супин находим и в латинском языке.

Ср. примеры супина из древнерусского языка: „приде Борисъ *посадницатъ* въ Новъгородъ" (чтобы посадничать); „Русину не звати латиня на полѣ *битъся*" (чтобы биться на поле).

Уже с XI в. супин начинает вытесняться инфинитивом, который принимает на себя его функции. Однако в памятниках формы супина встречаются ещё и в XIV в.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДЛОГОВ И СОЮЗОВ

576. История предлогов и союзов, как служебных слов, выражающих отношения и связи, представляет глубокий интерес с точки зрения истории мысли и истории языка, особенно исторического синтаксиса. Особенный интерес представляет изучение того, как на основе

развития труда, практической деятельности людей, вытекая из этой деятельности, всё более и более углубляется понимание закономерности объективной связи явлений.

577. В. И. Ленин, комментируя введение к „Лекциям по истории философии" Гегеля, указывает: „Стр. [45—46] — превосходно за строгую историчность в истории философии, чтобы не приписывать древним такого „развития" их идей, которое нам понятно, но на деле отсутствовало еще у древних.

У Фалеса, например, нет еще понятия ἀρχή (как *принципа*), нет еще понятия *причины*..." [1] И далее В. И. Ленин приводит цитату из Гегеля „...существуют целые народы, которые совсем еще не имеют этого понятия (причины); для этого требуется высокая ступень развития...(47)" [1].

Хотя понятие каузальности (причинности) уже понятия всеобщего универсального взаимодействия, но представляет собой дальнейшее углубление в познание объективного мира и поэтому возникает (как научное понятие) позднее благодаря практической деятельности человека [2].

578. Всеобщие связи внешнего мира отражались в голове первобытного человека как связи сосуществования. Ср. В. И. Ленин, Философские тетради, Огиз, 1947, стр. 193: „...от сосуществования к каузальности и от одной формы связи и взаимозависимости к другой, более глубокой, более общей".

Прежде всего осознаются, как известно, связи сосуществования в пространстве, связи пространственные, затем, в связи с ними, связи временные; для выражения временных отношений используются в значительной мере те же слова, что и для выражения пространственных; в русском языке нет, например, ни одного временного предлога, который по своему происхождению не был бы пространственным (пространственные значения обычно сохраняются наравне с временными); ср. хотя бы такие предлоги, как *за, по, к* и др.; и это — закон для всех языков, знающих предлоги или послелоги.

579. Осознание собственно причинных (каузальных) связей возникает на почве уже осознанных связей сосуществования в результате более глубокого и обобщённого понимания действительности, с развитием производства и общественных отношений, как новый этап в истории мысли. Вот почему в самых разнообразных языках большинство предлогов, выражающих причинные отношения, по своему происхождению являются предлогами пространственно-временными; по большей части они в дальнейшем сохраняют и прежние значения. Так обстоит дело и в русском языке. Например:

Предлог *за*, употребляющийся в русском языке в пространственном и временном значении (и это — его древнейшие значения, причём пространственное, конечно, древнее временного), употребляется также и в причинном значении. Ср. — с вин.. пад.. „наказать *за* проступок";

---

[1] В. И. Ленин, Философские тетради, Огиз, 1947, стр. 232. (Ред.)
[2] См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 405.

„ценить *за* ум"; „любить *за* красоту"; „я его *за* философию прогнал" (Чехов); „слегка *за* шалости бранил" (Пушкин); „книжка, купленная *за* курьёзную дешевизну" (Гаршин) и др.; с твор. пад.: „*за* потехою и дела не помнит"; „*за* ветром ничего не слышно"; „уволен *за* старостью"; „брошены *за* ненадобностью"; „*за* древностию лет к свободной жизни их вражда непримирима" (Грибоедов); „*за* мной дело не станет" и др. [1].

Предлог *за* в причинном значении употребляется уже в памятниках древнерусской письменности [2]; любопытно, что в старославянских церковно-литературных переводах с греческого предлог *за* передаёт греческ. διά, ὑπέρ, т. е. не является голой калькой греческого предлога (в этом случае ожидали бы скорее, в соответствии с греческ. διά, — предлог *чрьзъ*, др.-русск. *через*); переводя греческое διά, переводчики использовали предлог *за*, как уже имевший, очевидно, причинное значение.

Причинное значение предлога *за* находим и в союзах *зане* — „потому что", „так как", *занеже* — „потому что", „так как" [3]; *зане* образовано из предлога *за* плюс особая форма *(не)* вин. пад. средн. рода указательного местоимения *и, я, е*; таким образом, по своему образованию *зане* аналогично нашему *зато*, *зато что* (*за* плюс *то*); ср. также *за что* в значении „из-за чего", „по какой причине". Причинное *за* находим и в устарелом ныне причинном союзе *затем что*: „а вора он *затем* не устерёг, что хлебы печь тогда собрался" (Крылов); „и не попал он в цех задорный людей, о коих не сужу, *затем что* к ним принадлежу" (Пушкин); „и снова я с людьми, *затем что* я поэт, *затем что* молнии сверкали" (Брюсов).

Предлог *по*, употребляющийся в русском языке в пространственном и временном значении, употребляется также и в причинном. Ср.: „*по* болезни", „*по* глупости", „*по* ошибке", „*по* недоразумению"; „Об этом можно было тотчас догадаться *по* истёртым старомодным сюртукам и *по* изысканным нарядам жён и дочерей" (Лермонтов); „Контрабандист работает *по* страсти, *по* призванию" (Достоевский).

Причинное значение *по* находим в *потому, почему, поэтому, потому что. По тому* имело причинное значение уже в памятниках древнерусской письменности [4]; союз *потому что* широко распространён уже в XVII в. В древнерусских, главным образом церковно-литературных памятниках, предлог *по* с вин. пад. имеет и причинное значение; в связи с этим стоит и образование *почто* в значении „почему", а также *поне, понеже* (*по* плюс *не, по* + *не* + *же*) в значении „потому что", „так как" [5]. Ср., наконец, старинный причинный союз *поелику*.

---

[1] См. В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. I, изд. 3.

[2] И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, т. I.

[3] Там же, *зане* употребляется не только в церковно-литературных памятниках, но, например, и в „Русской правде".

[4] Там же, т. II.

[5] Там же.

Предлог *от* также употребляется в причинном значении; ср. „*От* работы спина болит"; „Он умер *от* раны"; „*От* горя и плачется"[1]; „Чувствительные дамы охали *от* ужаса..." (Пушкин); „С улыбкой взор её сомкнулся *от* блеска утренних лучей" (Пушкин) и др. Причинное значение *от* налицо также в словах *отчего, оттого, оттого что*. Предлог *отъ* в причинном значении существует уже в памятниках древнерусской письменности[2].

Причинное значение имеют и некоторые другие, первоначально пространственно-временные, предлоги; ср. *из* („из вежливости", „из почтения"), *из-за, с* („с горя", „с голоду", „со страха"), *через* („Вы все глаза через него проревели", А. Толстой) и др.

580. Любопытно, что в ряде языков причинный союз созвучен со сравнительным (а также временным, и это не случайно); ср., например, французск. *comme* — „как" (ср.), „так как", „когда". Аналогично этому и в русском союз *как* употребляется в сравнительном значении (это его основная функция в современном литературном языке), во временном (отчасти в современном разговорном языке, широко распространён в литературном языке XVII в.) и, наконец, в причинном. Для последнего значения сравните: „Но *как* Иван Кузьмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашёл другого способа, кроме ..." (Пушкин); „Но *как* вино подавалось у нас только за обедом ..., то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке" (Пушкин); „А *как* от того может произойти несчастье, то я отдал строгий приказ..." (Пушкин); „И *как* уголок их был почти непроезжий, то и неоткуда было почерпать известия о том, что делается на белом свете" (Гончаров); „А *как* я хотел не только ловить бабочек, но и собирать гусениц, то Фукс объяснил мне..." (Аксаков); „А *как* потом Панаев задумал в военную службу, то мы ждали..." (Аксаков).

581. В современном литературном языке *как* сохранилось преимущественно в качестве союза, выражающего сравнение, образ действия; в причинном значении его заменил союз *так как*, также представляющий собой по происхождению формулу сравнения. Союз *как* в причинном значении широко распространён и в диалектах; мы встречаем его в стилизациях диалекта в современной литературе (ср., например, у А. Н. Толстого: „С малолетства на хозяев работал и работал плохо, с точки зрения, *как* у меня кила" („Из записной книжки", в сборнике „Решающий год", стр. 30). Ср. также контаминированный союз *потому как* (не литературный).

582. Ещё Потебня указывал на возникновение понятия причины, между прочим, и из понятия сходства: „Первоначальное возникновение вышеупомянутых выражений с большим основанием может быть отнесено к тому глубоко древнему состоянию мысли, при коем отношение причины и следствия возникает (между прочим)

---

[1] В. И. Даль, Толковый словарь, т. II.

[2] И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, т. II.

из отношения сходства, так что следствие является лишь видоизменённым подобием причины“ [1]. Осознание „сходства“, „подобия“ несомненно принадлежит „глубоко древнему состоянию мысли“; столь же несомненно, что отношения „сходства“ и „подобия“ осмыслялись как „причинные“, знаменательные, „неслучайные“, как бы ни были они случайны объективно. Отсюда и возможность использования впоследствии слов, выражающих отношения сходства и подобия, для выражения собственно каузальных отношений. Позднейшее выражение: *Comparaison n'est pas raison* („Сравнение не есть доказательство“) предполагает такую эпоху в истории мышления, когда „*comparaison*“ (т. е. установление сходства, подобия) как раз и было „*raison*“. Установление сходства (частичного или полного) приводило к отожествлению соответствующих объектов, к их уравнению, сравнению; сходство как бы поглощало различия; поэтому-то слово „сравнение“ (т. е. установление равенства, тожества) употребляется в значении установления „сходства“, „подобия“. Такое осмысление „подобия“ получило своё выражение в известных магических приёмах, подобно тому как послужило основой для ряда магических приёмов и суеверий осмысление „неслучайности“ сосуществования объектов в пространстве и времени. Интересующие нас связи отношений „сходства“ и „причины-следствия“ могут быть освещены анализом существующих в русских диалектах слов, однокоренных со словом „следствие“. Ср., например, *следь* (вост.), „вид“, „образ или подобие человека“; *стень* как видение или двойник: „Увидел я *стень* свою, знать, к смерти. *Следь* моя причина“; *след* — „повод“, „причина“, „надобность“: „наговаривать след, насылать порчу, болезнь знахарством“; *заковать след* — „воткнуть гвоздь в след человека или скотный — заставить хромать“; *вынимать след* — „вынимать часть земли, на которую ступил человек, и творить чары над этим следом“.

583. В целом ряде языков обращает на себя внимание теснейшая связь между словами, выражающими причинные отношения, и словами, выражающими отношения целевые. Так, например, в латинском языке слово *propter* (первоначальное значение — пространственное: „рядом“, „близ“, „возле“, „подле“, „у“, „при“ и др.) имеет значения и причинное („по причине“), и целевое („для“, „ради“); в том же латинском падеж от слова *causa* — „причина“ употребляется в значении „для“, „ради“. В немецком языке предлог *wegen* обозначает и „по причине“, и „для“; во французском *à cause de* — „для, ради“, но *à cause que* — „потому что“; во французском же *pourquoi*, обозначающее „почему“ (ср. *le pourquoi suffisant* — „достаточное основание“), разлагается на *pour* — „для“ и *quoi* — „что“, „чего“, т. е. в „буквальном“ переводе значит „для чего“. В эстонском языке подчинительный союз *et* употребляется и как целевой, и как причинный.

---

[1] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. III, стр. 504 (разрядка моя.— *Л. Я.*). Особенно подчёркиваю поставленное Потебнёй в скобках „между прочим“; здесь скрывается чрезвычайно правильная мысль о различных источниках возникновения современного понятия каузальности.

В японском языке оборот цели, который мы переводим „для того чтобы", выражается существительным *tame* („польза") или *tame ni* („для пользы") в том случае, если оно стоит после глагола в настоящем времени, но то же самое *tame* или *tame ni* после глагола в прошедшем времени переводится „ввиду того что", „из-за того что", и всё предложение классифицируется как причинное придаточное предложение. В монгольском языке слово *tula* или *tulada* — „для, ради" с именем в род. или им. падеже выражает целевое отношение; оно же с род. или им. падежом законченного или будущего причастия выражает причинность. Подобные примеры можно было бы значительно умножить. Соответствующий материал имеется и в русском языке.

584. Многие из выше перечисленных русских причинных предлогов (по происхождению — пространственно-временных) употребляются и в целевом значении; отправляем читателя к соответствующим словарям. Причинный союз *зане* употребляется и в целевом значении („чтобы"). Слово *зачем* употребляется в целевом значении, а слово *затем*, являющееся как бы „ответом" на него, входит в состав устаревшего причинного союза *затем что* (см. выше). Особенно любопытно употребление предлога *для* и сложных с ним наречий и союзов. По своему происхождению предлог *для* — пространственный; в литературном языке его пространственное значение сохранилось в *подле* (*по-дле; дле* — вариант *для*); в диалектах *дли* значит „возле": *дли* ворот — „возле ворот" [1]. В современном литературном языке предлог *для*, как и предлог *ради*, употребляется исключительно в целевом значении.

В древнерусском семантически соответствующие современному *для* предлоги *дѣля, дѣльма, ради, радьма* употреблялись и в целевом, и в причинном значении (многочисленные примеры см. у И. И. Срезневского. Материалы ..., под соответствующими словами).

В русской письменности до начала XIX в. включительно весьма обычно употребление предлогов *для* и *ради* (в выражениях „для чего", „для того", „того ради" и др.) в причинном значении — „почему", „потому", „поэтому". Приведу некоторые примеры.

„И ево Алексея допросить, *для чего* он Алексей боярского хлеба сам не присматривает" [2].

„Мы де и за Васильем Опраксинам жили да лух травлевали, а ты де нас запер, а и нонеча де нам *для чева* не травить" (передача слов крестьян в письме приказчика) [3].

„*Для чего* царь Московской пишется въ христианские государства полными большими титлами... Что есть тому за причина?" [4]

---

[1] Ср. также украинск. *для, дли* — „возле", „близ", словинск. *dle (dlje)* — „вскоре, тотчас" (т. е. тоже „возле, близ". но во временном аспекте).

[2] „Хозяйство крупного феодала-крепостника XVII в." („Хозяйство боярина Б. И. Морозова", ч. I), Л., 1933, № 100, стр. 84.

[3] Там же, № 113, стр. 92.

[4] Г. Котошихин, О России в царствование Алексея Михайловича, изд. 4, 1906, стр. 39.

„И *для того* всякое знание хулят“ (Кантемир).

„Около трёх недель лежал я на постеле и *для того* не писал к Вам“ (Карамзин).

„Что было с нами, всё проели, а путь ещё далёк! И *для того* посмели зайти к тебе и бить челом“ (Дмитриев)[1].

„А бочки *для чего* не дать“ (Крылов).

Ср. выражение *для какой причины* в значении „почему“.

„И Аннушка в то время была в великом страхе, что и в лице вся переменилас, что могли все деушки догадатца, а *для какой причины* — того не знали“ („Повесть о Фроле Скобееве“, Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ“, т. I, стр. 293).

„И *того ради* и от обидников вельми надлежит их охранити“ (Посошков)[2].

„*Того ради* не мог я чрез долгое время сам в себя притти (Тредиаковский, Соч., т. III, стр. 699).

585. Особенно любопытную картину даёт анализ союза *для того что*, употреблявшегося до начала XIX в. включительно в причинном значении наряду с союзом *потому что*.

Активнейший в современном русском языке причинный союз *потому что* встречается уже в русских памятниках письменности XVII в. Приведу примеры.

„И впредь, государыня, никако не чаемъ себѣ живота, съ часу на часъ ожидаемъ себѣ смерти, *потому что* у насъ въ осадѣ шатость и измѣна великая“ (из письма Ксении Годуновой)[3].

„А зола и дрова им сергатцким крестьяном велеть ставить по указу, *потому что* у них лес блиско“[4].

„А сами де починковские крестьяня быть тут не смели, *потому что* де на них мокшанские крестьяня грозятца убойством и пожогом и всяким разореньем“[5].

„А стороннему, государь, тое вотчину никто не купит, *потому что* стало промеж твоими государевыми пустошей“[6].

„А велел яз холоп твой жить, *потому что* писано от тебя государя ко мне холопу своему, что велел ты, государь, ...“[7].

„...И меня чернь не отпускает, *потому что* здесь на Ветлуге кричат, бояря появляютца, и где чернь наедут, и рубят“ („воровское“ письмо И. Иванова, 1670 г.)[8].

„И вам бы, черне, в осаду в Цывилск не ходить, *потому что*

---

[1] Е. Ф. Будде, Очерк истории современного литературного русского языка, стр. 126, 69.

[2] Там же, стр. 125.

[3] „Акты исторические“, т. II, стр. 213.

[4] „Хозяйство крупного феодала-крепостника“, № 156, стр. 124.

[5] Там же, № 5, стр. 14.

[6] Там же, № 103, стр. 86.

[7] Там же, 105, стр. 87.

[8] „Крестьянство и националы в революционном движении. Разинщина“, Центрархив, М.—Л., 1931, стр. 312.

над вами учинят обманом, всех в осаде вас прорубят ...“ („воровская“ память)[1].

„Вышли мы, великое войско Донское, з Дону Донцом ему, в. г., на службу, *потому что* у нево, в. г., царевичев не стала и от них, изменников — бояр, и мы, великое войско Донское ...“ („прелестная“ грамота 1670 г.)[2].

586. Наряду с *потому что* в причинном значении употребляется *потому чтоб* — в целевом; ср.: „И вам бы, атаманом-молотцом ... стать с нами ... заедина ... за всю чернь, *потому чтоб* нам всем от них, изменников бояр, в конец не погинуть“ („прелестная“ грамота 1670 г.)[3]; и ещё: „а сено бы тебе косить *по тому* ж *чтоб* ненасье не захватило“[4].

Однако наряду с причинным союзом *потому что* в том же XVII в. (а может быть и раньше) и далее, как выше сказано, до начала XIX в. включительно употребляется и причинный союз *для того что*, включающий в свой состав предлог *для*, имеющий в современном литературном языке исключительно целевое значение. Например:

„Послал я холоп твой павловскова дьячка *для того что* указал ты, государь, поставить в попы“[5].

„Къ перситцкому шаху посылается съ послы, ... всякими звѣрми, битыми и живыми, и птицами, *для того что* персидцкой король присылаетъ къ Москвѣ въ дарѣхъ самъ много ...“ (Котошихин, стр. 58).

„А пишетъ крымской ханъ и Калмыки въ грамотахъ своихъ о всякихъ дѣлехъ коротко ..., *для того что* у нихъ бываетъ приказъ словомъ съ послами ...“ (Котошихин, стр. 38).

Любопытно у Котошихина синонимическое употребление *потому что* и *для того что* в одном контексте: „А государства своего за князей и за бояръ замужъ выдавати ихъ (царевен.— *Л. Я.*) не повелось, *потому что* князи и бояре ихъ есть холопи ... а иныхъ государствъ за королевичей и за князей давати не повелось, *для того что* не одной вѣры (Котошихин, стр. 15).

„Больше сыскать не могъ, *для того что* въ Гамбургѣ явился пестъ“ (из письма Петра I).

„Но я притворялся при ней быть весма печалным, *для того что* она в жестоте своей твердо стояла, и сказывал ей ...“ (Тредиаковский, Соч., т. III, стр. 716).

„Я себя нашол весма шастлива, *для того что* я ростался с моим купидоном ...“ (там же, стр. 703).

Любопытно, что Тредиаковский в „Разговоре о правописании“, говоря о постановке запятой, в качестве примера „винословного“ (т. е.

---

[1] „Крестьянство и националы в революционном движении. Разинщина“, Центрархив, М.—Л., 1931, стр. 310.
[2] Там же, стр. 309.
[3] Там же.
[4] „Хозяйство крупного феодала-крепостника“, № 102, стр. 85.
[5] Там же, № 84, стр. 75.

причинного) союза приводит именно союз *для того что:* „(запятая ставится) пред винословными (союзами) как: и вас я велел записать, *для того что* вы также там не были" (т. III, стр. 176, примеч.). Ломоносов в „Грамматике" приводит в качестве примера союз *потому что*: „Винословных сила есть в сопряжении причин предложенной мысли: Крез много может, *потому что* богат. Часто предходят причины мыслям: *для того* (потому.— *Л. Я.*) и союзами винословными речь начинается . . .". (§ 564). Ср., однако, здесь же употребление *для того* в значении „потому", а также в другом месте той же „Грамматики" (§ 10): „Образованием названо здесь сие изменение голоса, *для того что* представляет в себе образы животных и бездушных вещей с их голосом".

„Первую книгу я *для того* отправил к вам, *что* не успел тогда внести имена субскрибентов в книгу почты" (Карамзин).

587. Отмеченное переплетение в одних и тех же словах значений причинных и целевых отнюдь не случайно. Как его понять?

Энгельс указывает: „Эмпирическое наблюдение само по себе никогда не может доказать достаточным образом необходимости. Post hoc, но не propter hoc. . . . Но доказательство необходимости заключается в человеческой деятельности, в эксперименте, в труде: если я могу *сделать* некоторое post hoc, то оно становится тождественным с *propter hoc*"[1]. Там же[2] указывается на слова Гегеля: „Эмпирическое наблюдение . . . доставляет нам восприятие следующих *друг за другом* изменений, но оно не показывает нам *необходимости* связи". Таким образом, путь от сосуществования к каузальности лежит через развитие человеческой деятельности, производства, труда. Но в этом пути каузальность впервые выступает в форме „полезности", целесообразности, в процессе осознания полезных, целесообразных действий[3].

558. Там же Энгельс говорит: „...параллельно с развитием руки шаг за шагом развивалась и голова, возникало сознание — сперва условий отдельных практических полезных результатов, а впоследствии, на основе этого, у народов, находившихся в более благоприятном положении, — понимание законов природы, обусловливающих эти полезные результаты"[4]. Таким образом, развитие понятия причины неизбежно проходит через этап нерасчленённого понятия „причины-цели" или вернее (сперва!) „цели-причины". Этот „телеологический" аспект причинности коренится в повседневных практических, производственных действиях людей, рождается из гущи их материальной жизни; он глубоко материалистичен по генезису и существу; из него непосредственно растёт (вместе с ним рождается) понимание закономерности, необходимости, причинности; но в нём и таится опасность „отлёта от действительности", опасность „фантазии", и эта опасность реализуется в идеалистической философии с древнейших

---

[1] Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1952, стр. 182. (Ред.)
[2] Там же, стр. 275, примеч. № 30. (Ред.)
[3] Ср. вышеприведённое японское *tame* — „польза".
[4] Там же, стр. 14.

времён, где абсолютизированный „телос" (цель) становится ядром различных философских систем вплоть до откровенно поповских.

589. Анализ слов, обозначающих „цель", прекрасно иллюстрирует весьма земное происхождение этого понятия. Самое греческое τέλος обозначает первоначально „конец", „окончание" какого-нибудь дела, какого-нибудь производственного акта и стоит в связи с глаголом τέλλω — „производить, совершать". Столь же материальны корни в немецк. *Ziel* — „цель". Ср.[1], при др.-в.-немецк. *zil*, готск. *tils*, *gatils* — „пригодный, удобный"; англ.-саксонск. *tilian* — „усердствовать, обрабатывать поле" (!), английск. *to till* — „пахать" (!); нидерландск. *telen* — „производить, работать". Древнерусское *дѣля* (и соответствующие формы других славянских языков)[2] — „для, ради" связано со словом *дело* (первоначально не „дело вообще" как это слово употребляется в современном русском литературном языке, а конкретное дело, конкретный производственный акт).

590. Создаётся, таким образом, смутное, фантастическое представление о всеобщей связи вещей, о всеобщей закономерности, о неведомых причинах всего совершающегося, о роке, судьбе и т. п. Анализ слов, обозначающих „неведомую причину", даёт интересный материал для суждения о генезисе самого понятия причины. Многие из этих слов стали впоследствии современными философскими терминами, но какой огромный путь они проделали, прежде чем стать этими терминами!

591. Обратим внимание на русское слово *урок*. Даль даёт такие его значения: „изуроченье, порча, сглаз, насылка, ворожбита. Больше говорят *уро́ки* (*у́роки* влгд.), зап. *уро́ци*, особенно о детских болезнях, родимчике. *Уроки*, призоры, прочь отойдите! *Уроки брать*, занемочь от сглазу (оренб.). *Уроки взяли*, дитя занемогло от неведомой причины". Слово это сохранилось в русских диалектах постольку, поскольку сохранились „неведомые причины", но оно ведёт нас к тому этапу в развитии общества, когда иных „причин", кроме „неведомых", не было. Это слово осложнено приставкой *у*. Освобождённое от приставки, оно оказывается исторически тожественным с словом *рок* — „судьба"; слово *рок*, являясь технически, быть может, более древним (без приставки), даёт идеологически более позднюю стадию развития, выступая как религиозно-философский термин. В сербском языке есть слово *узрок, узроковати, узрочан;* сербск. *узрок* по своему образованию аналогично русск. *урок* и распадается на *уз-рок*; *уз* — предлог со значением „на", „подле", „в", „во время", семантически сходный в одном из своих значений с русским *у*. Каковы значения сербских слов? Сербск. *узрочан* значит „несчастный", как *несрећан*[3] „с несчастной судьбой"; в этом значении слово *узрочан* перекликается с словом *рок*, с русск. *урок*; но слово *узрок* в серб-

---

[1] Fr. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.

[2] А. Преображенский, Этимологический словарь; под словом дѣля.

[3] Вук Караджич, Српски Рјечник, под словом.

ском литературном языке значит „причина", как философский термин [1].

Но если в сербском языке *узрочан* значит „несчастный" (при *узрок* — „причина"), то в русских диалектах самое слово *причина* имеет значение „беда", „помеха", „неприятный случай" [2]; в этом значении оно просочилось даже в литературу: „и всё бы хорошо, да сделалась *причина*: в дозорных появился вср" (Крылов); ср. также в одном из вариантов повести о Фроле Скобееве (Скомрахове) [3]: „а сестра Фрола Скомрахова весма в печали великой, сожелея брата своего, и надеитца (чается), что уже конечно будет *причина*", т. е. несчастье; в другом варианте более обобщённое употребление слова *причина*, но близкое к этому: „И Аннушка в то время была в великом страхе, что (так что) и в лице вся переменилас, что могли все деушки догадатца, а для какой *причины* — того не знали" [4] (из-за какого несчастья).

592. Анализ слова *причина* в диалектах ещё более любопытен. Ср. смоленское *причина* — „несчастье": „Да случилыся на бярезу три *причины*: первая причина лютэя марозы, другая причина — дробныя дожжи, третья причина — буйные ветры" [5]; олонецк., курск. *причина* — „падучая немочь": „его причина взяла, причина бьёт". „Причина тебя побей" [6]; *причинный человек* — „больной падучей"; олонецк. *причинное место* „место, где случалась беда, несчастье"; *причинный случай* — „несчастный случай" (обратите внимание на соединение слов *причинный* и *случай*); смоленск. *причина* — „вина", смоленск., олонецк., *причинен* — „виновен": „што свиньи картошки накапали тут нет маей ни якый причины"; „Я за вами знаю причину" [7]. (Здесь мостик к пониманию русск. *вина* в значении „причина", греческ. αἰτία в значении и „причина", и „вина", но это — особый вопрос.)

593. Слово *причина* в его философском значении утвердилось в русском языке, насколько мне известно, в XVIII в. (хотя продолжало употребляться и слово *вина*, известное в этом значении уже в древнерусских памятниках письменности [8]; *причина*, как перевод

---

[1] Некоторые лингвисты (ср. А. Погодин, Следы корней-основ в славянских языках, стр. 209) толковали сербск. *узрок*, как переиначенное в славянских языках немецк. *Ursache*; это нелепо.

[2] В. И. Даль, Толковый словарь, т. III, под словом.

[3] „Труды Отдела древнерусской литературы", — ИРЛИ, т. I, стр. 269.

[4] Там же, стр. 293.

[5] В. Н. Добровольский, Смоленский областной словарь, стр. 726.

[6] В. И. Даль, Толковый словарь, т. III, под словом.

[7] В. Н. Добровольский, Смоленский областной словарь, стр. 726; Г. Куликовский, Словарь областного Олонецкого наречия, стр. 94.

[8] Ср. И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, т. I. Возможно, что слово *вина* утвердилось в церковно-литературном языке под влиянием греческого, где αἰτία значит и „причина", и „вина"; но предпосылки для такого словоупотребления несомненно были и в живом языке; ср. выше *причина* в значении „вина" в диалектах и *вина* в значении „причина" в диалектах же. Для XVIII в. ср. в архаизированном языке Радищева: „Какая же ради *вины* обуздывает он свои хотения? почто поставляет над собою власть?.."

латинского *causa* имеем уже у Тредиаковского („Слово о премудрости" Соч., т. I, стр. 505, 509, 553 и др.[1])

594. Предисторию „причины" прекрасно разоблачает его семантический аналог (двойник) в диалектах — слова *притка* и *притча*.

В б. Архангельской губернии[2] слово *притча* имеет два основных значения: 1) „неприятный случай", „беда". „Така у нас *притча* сталасе ноне, что не знаш, как и быть-то". По старинному суеверному обычаю, под кровать новобрачных кладут в первую ночь ухват и кочергу,— для оберега от притчи. 2) „Причина". „Кто его знат, кака *притча* болести; он вишь, сказывали, все лешкался да чертился". В б. Олонецкой губернии *притча, притця* — „беда", „несчастье", „неожиданная неприятность". „Эка *притця!*", „*Притця* тебе придти"[3]. В б. Смоленской губернии *притч, притча* — „нечаянная роковая причина", „случайность"; там же *притка* — „нечаянная случайность, влекущая за собой болезнь"; в основе случайности лежит большей частью фиктивная причина: влияние дурного глаза и пр.[4]. Даль даёт следующую характеристику значений слова *притка* в диалектах:

„*Притка,* оренб. *притки,* новг. *притча; причта, приток* (тка), м.— нечаянность, внезапный, нежданый случай, и притом дурной, несчастный; роковая помеха, помха, нечаянная препона. Внезапная болезнь, о которой говорят „схватило", припадок; женская болезнь, истерика или обмороки; кликушество; чёрная немочь или падучая.

Банная притка, хворь, прикинувшаяся в бане. *Бабьи притки* — припадки и причуды. *Притка* — ломота (каз.).

Порча или сглаз, призор, озёв, урок: он с *притку* захворал. В нём *приток, притка* ходит. От *притки* не уйдёшь. Эк тебя *притка* принесла! нелёгкая сила. *Притка* его ведает — кто знает! Он с *притку* вырос — больно велик"[5].

Приведённые здесь факты отнюдь, конечно, не исчерпывают даже соответствующий материал русского языка.

---

[1] „... оно (любомудрие) есть Знание, по Волфию, Возможных, по елику суть Возможные; а разум сего: по елику Вещи доказываются Причинами Естественности их, и бытности ... так что, Любомудрие есть Знание Вещей сущих, или будущих, и также Причин или Начал, чего ради оне суть, или бывают, или быть могут... Оно есть Знание, по Аристотелю, истинное и достоверное по Причинам. Оно есть наконец Знание, по Платону, Вещей Божественных и человеческих, и купно Причин, коими сии Вещи содержатся" (стр. 553).

„Физика, предлагающая вероятным, по крайней мере, доказательством, естественных вещей Причины по их Производствам, и также оных Способы делания" (509).

[2] А. Подвысоцкий, Словарь областного Архангельского наречия, стр. 140.

[3] Г. Куликовский, Словарь областного Олонецкого наречия, стр. 93.

[4] В. Н. Добровольский, Смоленский областной словарь, стр. 723, 724.

[5] В. И. Даль, Толковый словарь, т. III, под словом.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЗАМЕЧАНИЕ О СЛОЖНОПОДЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

595. Сравнивая между собой русские сочинительные и подчинительные союзы, мы убеждаемся, что объяснение сочинительных союзов вроде *и, но, да* представляет значительные затруднения и требует специального монографического исследования; в то же время объяснение подчинительных союзов вроде *что, чтобы, так как, потому что, который, когда, если* и др. не представляет никаких затруднений: это в большинстве вчерашние местоимения или местоимённые наречия и их комбинации между собой или с частицами. Отсюда мы заключаем, что тот строй сложного предложения (т. е. подчинение, гипотаксис), в котором местоимения и местоимённые наречия переосмыслялись в союзы, превращались в союзы, является более новым, имеет в русском языке недавнее по сравнению с сочинением, паратаксисом, происхождение и развитие. Ряд других наблюдений подтверждает этот вывод.

596. В древнерусском литературном языке мы имеем уже более или менее развитое сложноподчинённое предложение. Но некоторые его особенности указывают на его сравнительно недавнее происхождение, на малую ещё его разработанность, а некоторые структурные типы сложноподчинённого предложения показывают даже, откуда в древнерусском языке растёт сложноподчинённая, гипотаксическая конструкция.

597. Одной из ярких особенностей древнерусского сложноподчинённого предложения является то, что оно ещё не обладает развитой и дифференцированной системой подчинительных союзов, как мы это имеем в современном русском литературном языке. Это выражается, в частности, в многозначимости подчинительных союзов в древнерусском.

598. Воспользуемся для иллюстрации этого положения материалами очень ценной работы проф. Е. С. Истриной „Синтаксические явления в I Новгородской летописи по Синодальному списку", 1923, стр. 186—188.

Из этой работы мы заключаем, например, что союз *яко* выступает в древнерусском в самых разнообразных значениях.

Яко может присоединять к главному предложению дополнительные придаточные предложения:

„и услышаша Новѣгородѣ, *яко* Святопълкъ идеть къ нимъ".
„ и разумѣ Ярославъ, *яко* въ нощь велить сѣцися".

Яко присоединяет к главному предложению прямую речь, т. е. различие прямой и косвенной речи ещё не установилось:

„и присла въ Новъгородъ, *яко* не хощю у васъ княжити".
„рекуче, *яко* ти на зло князя водять".

Яко присоединяет предложения следствия, или изъяснительные:

„потомь наиде дъжгь, *яко* не видехомъ ясна дни ни до зимы".
„измроша кони Новѣгородѣ и по селомъ, *яко* нѣлзѣ бяше поити смрады никуда же".
„толми бяше лютъ пожаръ, *яко* по водѣ огнь горяше".

Яко присоединяет причинные придаточные предложения:

„Новгородьци же ... створиша вѣче на посадника Дмитра ... , *яко* ти повѣлѣша на новгородьцихъ сребро имати".

Яко присоединяет сравнительные предложения:

„и отыниша тыномь весь около, *яко* же инии гради имаху".

Яко присоединяет предложения цели:

„хотя погубити безбожныя сыны...
яко да отмьстять кръвь крестьяньску".

Яко присоединяет временные предложения:

„и *яко* быша на озѣре Серегери, приставися... Мартурий".

Таким образом, древнерусское *яко* соответствует современным *что, так что, потому что, как, чтобы, когда.*

599. Такая же многозначимость была свойственна некогда и союзу *что*; вот почему этот союз выступает ядром различных союзов с уточнённым уже значением, обрастая различными уточняющими словами; ср.:

что (причинное) → *потому что*
что (целевое) → *чтобы*
что (сравнительное) заменено через *как* (ср. „нос, *что* оглобля").
что (следствие) → *так что* и др.

Это следует сказать и о союзе *как*, употреблявшемся некогда в причинном значении, ср. *так как*; сравнительном; временном, ср. *как скоро, как только*; ср. „*как* придёшь домой, позвони мне".

600. Многозначимость подчинительных союзов свидетельствует о малой ещё разработанности сложноподчинённого предложения. Эта многозначимость характерна для любого раннего литературного языка. Лишь постепенно в литературном языке вырабатывается сложная дифференцированная система подчинительных союзов со специализацией отдельных союзов для выражений отдельных отношений. Подчинительный союз на этих ранних этапах развития литературного языка выступает скорее как общий показатель подчинения, гипотаксиса, по сравнению с сочинением, паратаксисом.

601. Что касается структуры сложноподчинённого предложения в древнерусском, то обратим прежде всего внимание на следующие случаи из I Новгородской летописи по Синодальному списку:

„и яко скопиша вое и выслаша из города къ воеводѣ".
„и яко быша на рѣче на Омовыжи нѣмьци, и ту обломишася".
„и яко внидоша в землю ихъ, и роздѣлишася на 3 пути".

Эта конструкция проходит через весь Синодальный список I Новгородской летописи. В чем её особенность?

Особенность этой конструкции заключается в том, что она совмещает в себе и сочинительную, и подчинительную конструкции и является, как справедливо отметила Е. С. Истрина, переходной от сочинения к подчинению. В самом деле, выбросив союз *яко*, имеющий в данном случае временное значение, получим типичную сочинительную конструкцию, в которой второе предложение присоединено к первому союзом *и*, типичным сочинительным союзом:

„и скопиша вое и выслаша из города къ воеводѣ".

Развитие сложноподчинённой конструкции на основе сложносочинённой состояло в том, что в одно из сочинённых предложений вводился союз, в данном случае *яко*. В этом и заключался один из путей (первый путь) развития сложноподчинённой конструкции в древнерусском языке (на основе преобразования сложносочинённой конструкции).

602. Второй путь развития сложноподчинённого предложения на основе сложносочинённого заключался в том, что в главном предложении сказуемое выражалось личной формой глагола, а в придаточном — причастием. Ср., например, из I Новгородской летописи по Синодальному списку:

„а вы плотници *суще*, а приставимъ вы хоромъ рубити" (под 1016 г.).
„и *сѣдѣвъше* на Лукахъ, воротишася домовь" (под 1196 г.).
„много же князь *нудивъ*, и не яшася по путь" (под 1228 г.).
„той же нощи *просивъше* мира, и не да имъ посадникъ съ ладожаны" (под 1228 г.).
„зажьжеся пожаръ Новегородѣ въ недѣлю на всѣхъ святыхъ, въ говѣние, *идуче* въ заутрьнюю" (под 1194 г.).
„Якуна яша на Плисѣ..., *обнаживъше*, яко мати родила" (под 1141 г.).

603. Этот второй путь развития не стал, однако, генеральным путём развития сложноподчинённого предложения в русском литературном языке. Он положил лишь начало так называемым причастным и деепричастным оборотам. Генеральным путём развития сложноподчинённого предложения стал первый путь. Почему? Потому что первый путь развития давал возможность посредством постановки союзов с их дальнейшей дифференциацией и специализацией выразить самые разнообразные оттенки зависимости придаточных предложений. Второй путь не давал этой возможности. Он давал возможность выразить неравноправность двух входящих в одно сложное предложений, показывал, какое из этих предложений оказывается зависимым (то, в котором сказуемое выражено причастием), но исключал возможность уточнить характер этой зависимости.

Необходимое примечание к грамматике

604. В отделе грамматики мы изучили целый ряд грамматических явлений, которые в своей совокупности привели к образованию грамматического строя древнерусского языка и обусловили ряд грамматических процессов, протекавших в самом древнерусском языке.

Все эти грамматические явления отнюдь не выступают как отдельные разрозненные изменения: они являются взаимосвязанными.

605. Наиболее общим признаком, связывающим все эти изменения, является то, что все они отражают постепенное развитие человеческой мысли от конкретности к всё большей способности к отвлечению и обобщению. При этом решительно преобразуется ряд старых грамматических категорий; так, подвергается решительному преобразованию столь важная грамматическая категория, как категория числа (исчезновение двойственного числа, возникновение представления о множественном вообще, о противоположности единственного и множественного числа), категория падежа (возникновение обобщённых падежных значений в связи с разрушением старой системы лексикализованных падежных форм), разрушение древней системы локально-указательных определений предметов и развитие современной системы указательных местоимений, сперва трёхчленной, а затем и двучленной. При этом формируются и отдельные новые грамматические категории, как прилагательные и числительные, сюда же относится и развитие отвлечённых глагольных времён в тесном взаимодействии со старыми видовыми характеристиками действия и состояния.

606. Развитие обобщающей способности мысли не есть результат её самостоятельного развития (её самодвижения), но всецело определяется развитием человеческой практики; в развитии труда развивается и более глубокое понимание окружающей действительности, развивается способность человеческого мозга к отвлечению и обобщению, к анализу и синтезу, к умению познавать окружающую действительность во всех её многообразных частных и единичных проявлениях на всё более и более высоком уровне обобщения.

Древнерусский
литературный
язык

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК ДРЕВНЕЙ РУСИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМАХ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

607. Церковнославянский язык сыграл значительную роль в истории древнерусского литературного языка. Было бы нелепо, исходя из наивных „антирелигиозных побуждений и из совершенно условного термина „церковнославянский", отрицать эту его роль. Это было бы тем более нелепо, что, как мы видели, церковнославянский язык в X — XI вв. вовсе не был специально церковным языком, обслуживающим узко церковные нужды и интересы, а был литературным языком широкого охвата и государственным языком Киевской Руси. Однако было бы столь же нелепо считать, что древнерусский литературный язык произошёл из церковнославянского путём постепенного „обрусения" этого последнего. На этом „понимании" роли церковнославянского языка в истории древнерусского языка мы ещё впоследствии остановимся. Роль церковнославянского языка в развитии древнерусского литературного языка хотя и была крупной, но заключалась лишь в том, что в древнерусский литературный язык было заимствовано более или менее значительное количество церковнославянских форм и слов.

608. Взаимодействие между древнерусским и церковнославянским языками облегчалось тем, что церковнославянский язык хотя и был языком *иноземным*, завезённым в Киевское государство извне, но вместе с тем был языком, *близко сходным* с древнерусским, *близко родственным* ему. Он был, таким образом, языком *чужим*, но *не совсем чуждым*. Этим объясняется то обстоятельство, что в древнерусский язык проникали не только отдельные церковнославянские слова, но и грамматические формы. Так, например, проникали в древнерусский язык некоторые церковнославянские флексии, была заимствована целая грамматическая категория причастий настоящего времени на *-щий* (соответствующие древнерусские образования на *-чий* функционировали уже как прилагательные; ср. *го-*

рящий и *горячий* и др.). Таким образом, влияние церковнославянского языка на древнерусский неоспоримо; оно проявлялось и в лексике, и в грамматике. Вот почему почти в любом древнерусском литературном тексте мы найдём кое-какие церковнославянские элементы. Однако для правильного учёта этих элементов нужно иметь в виду, что они могли быть разного качества. Разберёмся в этом вопросе.

609. Во-первых, во многих случаях церковнославянские элементы в древнерусском тексте отличаются особыми фонетическими признаками. Сюда относятся, например, такие различия между русским и церковнославянским, как наличие полногласия в первом и его отсутствие во втором: др.-русск. *голодъ* и церк.-сл. *гладъ;* др.-русск. ***ч*** (в чередовании с ***т***) и церк.-сл. ***щ:*** *хочешь* : *хощешь;* др.-русск. ***о*** в начале слова (из ***е***) и церк.-сл. ***е:*** *одинъ : единъ* и др.

610. Эти по объективным признакам отличаемые церковнославянские элементы имеют большое значение при анализе соответствующего древнерусского литературного материала, и мы будем уделять им особое внимание. Это тем более существенно, что некоторые из этих фонетических признаков церковнославянского языка осознавались, по-видимому, как таковые и самими древнерусскими книжниками (например, неполногласные формы, ***щ*** вм. ***ч***.). Автор, стремившийся писать в церковнославянской традиции, старался употреблять неполногласные формы, а также параллельные древнерусским формам с ***ч*** церковнославянские формы с ***щ*** и т. п.

611. Следует иметь в виду, что не всегда церковнославянское слово с неполногласной структурой имело соответствующий полногласный вариант (например, рядом с *благословить* не было др.-русск. *бологословить*). Здесь у автора не было выбора между церковнославянским и древнерусским вариантом. Подобные случаи должны рассматриваться особо. Особо нужно рассматривать и такие случаи, когда древнерусская форма имеет иное значение, чем церковнославянская. Например, церк.-сл. *брашьно* имело значение „еда вообще", „пища", а соответственное др.-русск. *борошьно* — „ржаная мука". Здесь положение вещей, конечно, совершенно иное, чем в случаях *городъ: градъ,* где значение обоих слов тожественное. В этих последних случаях мы имеем церковнославянизм в „чистом" виде: оба слова отличаются только тем, что одно древнерусское, а другое церковнославянское. К церковнославянским элементам следует отнести и такие слова, в которых нет никаких специальных фонетических признаков их принадлежности к церковнославянскому языку, но которые по своей семантике ведут нас к церковнорелигиозной книжности, к религиозному контексту. Здесь может идти речь не только об отдельных словах, но и о целых выражениях, о фразеологических единицах, например: „во имя отца и сына и святого духа" и под.

612. Само собой разумеется, что уже с древнейших времён ряд церковнославянских слов попадал в разговорный язык образованных людей; здесь эти слова переставали быть церковнославянизмами,

обрусевали. Так, повидимому, очень рано вошло в древнерусский язык слово *время* (др.-русск. *веремя*), слово *власть* в отвлечённом значении „власть“ и некоторые другие.

613. При оценке церковнославянизмов у отдельных писателей и в отдельных памятниках всегда нужно учитывать, имеем ли мы дело с уже вошедшим в разговорный язык автора церковнославянским словом, которое он привносит, следовательно, из своего разговорного языка, или же употребление данного слова объясняется желанием автора поставить не разговорное слово, а церковнославянское, которое он берёт из известной ему церковнославянской письменности; лишь в этом последнем случае можно говорить о церковнославянизмах в собственном смысле этого слова. В этом последнем случае следует различать, употребляет ли автор церковнославянское слово механически, пассивно, подчиняясь церковнославянской традиции, примешивая церковнославянизмы к древнерусскому языку, или же он использует церковнославянское слово или выражение в стилистических целях, когда говорит о важных материях, высоким стилем и т. п. Такое стилистическое использование тех или иных элементов церковнославянского языка имеет особо важное значение (см. ниже в § 705—706).

614. Само собой разумеется, что в языке образованных людей больше заимствованных церковнославянских слов, чем в языке необразованных, в языке горожан — больше, чем в языке сельского населения. Однако было бы совершенно неправильно думать, что в древнейшую эпоху церковнославянские слова вовсе не проникали в язык сельского населения. Они проникали в язык крестьянства из городов, поскольку существовала связь между городом и селом, их разносили монастыри и монахи, владевшие сёлами и деревнями и соприкасавшиеся с крестьянским населением.

Замечания о термине „древнерусский язык“

615. Под термином „древнерусский язык“ мы понимаем, как уже указывалось выше, совокупность тех областных (территориальных) диалектов, которые складывались и сложились на основе восточнославянских диалектов с разложением у восточных славян родового общества и развитием у них общества классового и политических объединений. Отсюда ясно, что мы не представляем себе древнерусский язык, как нечто абсолютно единое. Однако различия между древнерусскими диалектами были невелики. Это особенно относится к эпохе до XII в.

616. С распадением Киевского государства, в условиях интенсивного роста феодальных отношений и феодальной раздробленности, создаются предпосылки, делающие возможным большие расхождения между древнерусскими областными диалектами. И действительно, падение глухих с сопутствующими ему явлениями (так называемые последствия падения глухих) проходит в северных и южных древнерусских диалектах в разное время и в разных формах.

Со второй половины XII в. намечаются более значительные различия между южными и северными древнерусскими диалектами (ср. судьбу гласных *о* и *е* в новых закрытых слогах и др.). После захвата Польшей и Литвой в XIII — XIV вв. некоторых западных и юго-западных древнерусских областей создаются условия для еще более интенсивного развития различий между соответствующими группами древнерусских диалектов. Постепенно начинают оформляться три восточнославянских языка: русский, украинский и белорусский.

617. С развитием разделения труда и классовых противоречий намечаются и иные расхождения внутри древнерусского языка. Так, намечаются различия между речью городского и сельского населения. Самый процесс образования крупных городов (вроде Новгорода, Киева) подразумевал объединение в них людей различных областей. В дальнейшем, возникшие крупные города неизбежно привлекали население из различных местностей. Поэтому в крупных городах сглаживались наиболее резкие черты местного диалекта, образовывались своего рода **койнэ** (общие языки, объединяющие особенности разных диалектов). На это обстоятельство впервые указал, имея в виду конкретно диалект Киева, А. А. Шахматов. „Несомненно,— говорит он,— что в Киеве вырабатывалась своеобразная койнэ, отличная от говора сельских жителей Польской земли (земли Полян)“[1].

Однако иллюстрировать различия между городскими и соответствующими сельскими диалектами представляется очень затруднительным за отсутствием соответствующих материалов. Различия между городским говором и сельским замечалось и в самой древности; так, в Киево-Печерском патерике говорится об одном монахе: „сии же преподобный Спиридон бяше невежа словом, но не разумом: не от града приде в чернечество, но от некоего села“.

618. И в городах и в стране в целом, несомненно, различалась по лексическому составу речь господствующих слоёв и особенно интеллигенции от речи городских низов и сельского населения. Так, в частности, господствующие слои, верхушка общества, интеллигенция в первую очередь воспринимала и закрепляла в своём языке различные иноземные слова (греческие, тюркские и др.) В разговорный язык этих общественных слоёв в первую очередь проникали и церковнославянские элементы.

619. Пользуясь термином **древнерусский язык**, нужно твёрдо помнить, что в этом термине слово **русский** употребляется в другом смысле, чем мы его употребляем теперь (т. е. в значении „русский, великорусский“). В древнерусскую эпоху не было ещё ни русских-великорусов, ни украинцев, ни белорусов. В термине **древнерусский язык** слово *русский* производится от слова *Русь*, которым называли себя и свою землю и предки собственно русских (великорусов), и предки украинцев и белорусов.

---

[1] А. А. Шахматов, Введение в курс истории русского языка, II, 1916, стр. 80—81.

К истории государственного языка древней Руси

620. В X и в начале XI в. письменным (государственным и собственно литературным) языком Киевского государства был церковнославянский язык. В XI в. возникает письменность на древнерусском языке. Прежде всего происходит перелом в истории государственного языка: государственным языком, взамен церковнославянского, в первой половине XI в. становится древнерусский язык (см. ниже § 625 и сл.). В первой половине XI в. начинают появляться и литературные произведения на древнерусском языке; начинает развиваться древнерусский литературный язык. Однако господствующим литературным языком в XI в. всё ещё остаётся церковнославянский язык. Он теряет свои господствующие позиции к XII в. Этот перелом в истории письменного языка Киевского государства должен, конечно, найти своё объяснение в ходе внутреннего развития этого государства.

621. Акад. Б. Д. Греков в своей замечательной книге „Киевская Русь" (изд. Академии наук СССР, 1939) следующим образом характеризует основные линии развития Киевского государства (стр. 196—197): „...к IX в. у народов, населявших бассейн Волхова-Днепра, уже налицо классовый строй, остатки родового общества заметно уходят в прошлое; в нескольких местах этой большой территории уже наметились политические объединения, выросшие на развалинах племенного строя; к концу IX в. можно говорить о наличии „варварского" государства с Киевом во главе, беспрерывно и быстро растущего в течение X и в начале XI в.; высшая точка развития этого государства (т. е. начало XI в.— *Л. Я.*) есть в то же время и момент созревания сил, готовых его разрушить ..."

Таким образом, мы видим, что хронологически период „беспрерывного и быстрого" роста Киевского государства совпадает с периодом быстрого развития и расцвета письменности на церковнославянском языке, с периодом господства церковнославянского языка. А „момент созревания сил", готовых разрушить Киевское государство, совпадает с „моментом созревания сил", разрушающих господство церковнославянского языка. Но это совпадение не только хронологическое: между обоими явлениями вскрывается глубокая внутренняя связь.

622. Как разъясняет акад. Греков, распад лоскутного Киевского государства был не только распадом; он был оборотной стороной интенсивного экономического и политического роста отдельных его частей с крупными городами во главе: „Этот рост связан не только с повышением экономической силы этих городов, но и с подъёмом политического значения городской массы, с которой вынуждены считаться не только верхи общества, но и размножившиеся князья" (стр. 197, разрядка моя.— *Л. Я.*). В связи с подъёмом политического значения городской массы стоит и развитие деятельности веча, о котором почти ничего не слышно „ни в X, ни в первой половине XI в. Для развития вечевого строя благоприятных условий

в Киеве нет. Власть киевского князя слишком сильна, город политически ещё слишком слаб, чтобы рядом с нею могло процветать городское вече" (Греков, стр. 199, разрядка моя.—*Л. Я.*). Подъём значения вечевых собраний падает на вторую половину XI и на XII в. Но „тот процесс, который обнаружился в других частях Киевского государства во второй половине XI в., для Новгорода стал уже несколько более ранним фактом", здесь „упоминание о вече относится к 1016 г." (Греков, стр. 203—204).

623. Таким образом, в „процессе подъёма политического значения городской массы" Новгороду принадлежало передовое место. Повышение экономической силы Новгорода, связанное с развитием торговли и ремесла, привело к тому, что уже в начале XI в. Новгород настолько усилился политически, что стал тяготиться зависимостью от Киевского великого князя и перестал платить дань Киеву. Владимир собирался идти войной на Новгород, но умер. Основой политической силы Новгорода были городские массы в лице веча; именно они оказали энергичную поддержку Ярославу в его борьбе за великокняжеский престол. Став великим князем, Ярослав продолжал считаться с политической силой новгородцев, с самостоятельностью Новгорода. Ярослав дал новгородцам особые грамоты, которые они считали основой своей конституции". При заключении договоров с князьями новгородцы требовали присяги от князей „на всех грамотах Ярославлих" (Греков, стр. 255—258).

624. Церковнославянский язык, в силу конкретных исторических причин, с которыми мы познакомились выше, стал языком письменности в Киевском государстве. Это было исторически закономерно; церковнославянский язык сыграл большую прогрессивную роль в развитии цивилизации у восточных славян. Но церковнославянский язык, хотя и сходный с древнерусским, был всё же по отношению к нему языком другим, языком, как выражается А. А. Шахматов, иноземным; он не имел корней в живой древнерусской речи. Таким образом, языком письменности в Киевском государстве стал язык, не имеющий корней в живой речи населения, язык чужой. Здесь мы имеем некоторую аналогию с тем, как в Западной Европе, правда, по совсем другим конкретным историческим причинам и в других условиях, письменным языком стал латинский язык, чужой для населения любой западноевропейской страны.

625. Положение вещей менялось по мере того, как росли и крепли города, по мере того, как росло политическое значение городских народных масс. Выход городских народных масс на политическую арену, активное их участие в политической жизни и было основной причиной, вызвавшей изменения в развитии письменного языка.

Церковнославянский язык вступил теперь в противоречие с ходом общественного развития. Пришедшую к активной политической жизни городскую массу не удовлетворял письменный язык, не имеющий корней в её живой речи, иноземный язык, которому нужно было специально учиться. В новых условиях древнерусский язык неизбежно

должен был получить своё выражение в письменности как в юридических актах, деловых документах, так и в собственно литературных произведениях.

626. Церковнославянский язык уступает своё место древнерусскому прежде всего как государственный язык. Здесь влияние живого разговорного языка населения было прямое и непосредственное. Самое содержание юридических актов, идущее из гущи повседневной жизни и её материальных интересов, стремилось найти в этой повседневной жизни, т. е. в повседневном разговорном языке, и способы своего выражения. Повидимому, у нас, как и на Западе (при замене латыни местными языками), первая брешь в господстве чужого государственного языка (латинского, церковнославянского) была пробита в частных юридических актах, хотя точно установить это мы не можем за недостатком материалов. Для Западной Европы это устанавливается с совершенной точностью.

627. Развитие имущественных отношений, развитие торговли приводило к тому, что количество юридических документов (купчих, завещаний, дарственных и др.), находившихся в непосредственном обращении среди горожан, беспрерывно росло. Эти документы писали по заказу горожан, для них; эти документы стали и писать на их языке, т. е. на древнерусском языке. Естественно, что здесь церковнославянская традиция должна была быть сломана в первую очередь. Раз проникнув в канцелярскую практику, впервые оформившись как письменный язык, древнерусский язык получил, естественно, тенденцию к дальнейшему расширению своей функции в письменности, тем более, что для этого были благоприятные условия.

628. Изменения в развитии собственно государственного языка, т. е. языка государственных актов (законов, договоров, грамот и т. п.), произошли в первой половине XI в. Первый записанный закон Киевского государства „Русская правда", составление древнейшей, **краткой** редакции которой, несомненно, относится к первой половине XI в. (см. об этом в § 655 и сл.), был записан на **древнерусском,** а не на церковнославянском языке. На древнерусском языке были написаны и те самые Ярославовы грамоты, которыми так дорожили новгородцы как основой своей самостоятельности.

629. К сожалению, ни подлинные тексты этих грамот, ни копии с них до нас не дошли. Но зато до нас дошёл целый ряд позднейших (с XIII в.) новгородских грамот, в которых новгородцы договаривались с приглашаемыми ими князьями. Акад. А. А. Шахматов справедливо указывал на то, что этим дошедшим до нас договорным грамотам, несомненно, предшествовали другие и что известная часть их содержания восходит ещё к Ярославовым грамотам, на которые они постоянно ссылаются; он же указывал на то, что даже написание отдельных слов в этих позднейших грамотах восходит к их древнейшим предшественникам. В связи с этим становится несомненным, что и общий характер их языка (древнерусский, а не церковнославянский) восходит к Ярославовым грамотам, т. е. что эти последние также были написаны по-древнерусски, а не по-церковно-

славянски. I Новгородская летопись относит составление Ярославовых грамот к 1016 г. Все известные нам древнерусские княжеские и городские государственные документы XII—XIV вв. написаны уже на древнерусском языке (о языке этих документов см. ниже в § 642 и сл.). Возникновение обычая писать юридические акты на древнерусском языке сыграло необычайно важную роль в дальнейшем развитии русского письменного языка.

630. Перелом в развитии письменного языка, в частности государственного языка, аналогичный тому, который произошёл в Киевском государстве, имел место и в Западной Европе. В период империи Карла Великого мало что известно о каких-нибудь памятниках на местных языках, в особенности на французском языке. В период империи Карла Великого процветает латинский язык: изучается латинский язык, создаются поэтические произведения и учёные сочинения на латинском языке. Государственным языком является также латинский язык. В дальнейшем местные языки становятся государственными языками в отдельных западноевропейских странах, возникших на развалинах империи Карла (умер в 814 г.). Однако вытеснение латинского языка как государственного запаздывает в Западной Европе по сравнению с Восточной, где распад империи Рюриковичей намечается позднее, чем распад империи Карла (в первой половине XI в.). Так, на территории Франции судебные акты на местном языке появляются лишь в конце XI в. в наиболее передовой, в смысле развития торговли и промышленности, южной Франции, в Провансе; в северной Франции юридические документы на местных диалектах появляются лишь с начала XIII в., по преимуществу это частные юридические акты; в средней Франции первые французские юридические документы появляются лишь в середине XIV в. В парижской королевской канцелярии окончательный переход на французский язык осуществляется лишь в XIV в.

В Англии французский язык (на котором говорили завоевавшие Англию норманны) появляется в частноправовых актах в первой половине XIII в. Лишь во второй половине XIV в. появляются первые юридические документы на английском языке. В Германии первые юридические документы на немецком языке появляются лишь в 40-х годах XIII в. Императорская канцелярия переходит на немецкий язык лишь в 20-х годах XIV в. Таким образом, в Западной Европе в течение столетий латинский язык продолжает существовать как государственный язык. Между тем как у нас при первых признаках распада единого Киевского государства (первая половина XI в.) государственным языком, взамен церковнославянского, становится древнерусский язык. Это запоздание Западной Европы по сравнению с Киевским государством обращало на себя внимание исследователей, например акад. А. А. Шахматова.

631. Акад. Шахматов, объясняя это явление, исходил исключительно из сопоставления церковнославянского и древнерусского языков, с одной стороны, и латинского и западноевропейских местных

языков — с другой. Указывая на общность исторического развития у нас и в Западной Европе в том смысле, что „древняя Русь не избежала того самого явления, которое было пережито на Западе всеми народностями: свои чувства и думы пришлось выражать не на родном, а на иноземном языке“,— А. А. Шахматов видит причину отставания Запада в том, что на Западе этим языком был язык, совершенно чуждый западноевропейским, особенно германским, народам, а у нас был заимствован родственный язык, по терминологии Шахматова древнеболгарский (церковнославянский) [1].

Поэтому, указывает Шахматов, „в противоположность, например, немцам, у которых родной язык с трудом пробивал себе права гражданства (например, в юридические акты он проник не раньше второй половины XIII в., в 1570 г. из общего числа напечатанных в Германии книг 70% принадлежали книгам, напечатанным по-латыни, только в 1681 г. впервые число немецких книг превысило число латинских, ещё в 1730 г. 30% падает на долю латинских книг), в противоположность немцам у нас, русских, родной язык получает права гражданства очень скоро: в XIII в. имеем ряд грамот, где с трудом отыскивается редкий болгаризм (церковнославянизм), где речь совершенно народная; у народного языка на Руси оказался менее упорный и стойкий противник, чем на Западе“ [2] (разрядка моя.— *Л. Я.*).

632. Это объяснение А. А. Шахматова неправильно. Оно неправильно, во-первых, потому, что оно абстрактно, не исторично, так как исходит из голого сопоставления соответствующих языков без учёта общего хода исторического развития у нас и на Западе, без учёта социальной функции латыни на Западе и церковнославянского языка у нас. Исходя только из сопоставления языков, можно было бы прийти к выводам, совершенно противоположным тем, к которым пришёл Шахматов, а именно можно было бы рассуждать так: в силу того, что латинский язык был совершенно чуждым и непонятным для западноевропейских народов, он должен был скорее уступить место западноевропейским языкам, чем церковнославянский, который был всё же более доступен говорящим по-древнерусски, чем латынь — говорящим по-французски, по-немецки или по-английски. Рассуждая абстрактно, можно „доказать“, что угодно.

633. Объяснение Шахматова могло бы быть принято лишь в том случае, если предполагать заранее, а так именно и думает Шахматов, что древнерусские элементы постепенно проникали в ткань церковнославянского языка, который постепенно обрусевал; в этом случае близкое сходство древнерусского и церковнославянского языка в высшей степени способствовало бы этому постепенному процессу обрусения; в этом случае было бы понятно и запоздание Запада: здесь ни о каком проникновении местных языков в латинский язык и о по-

---

[1] А. А. Шахматов, Литографированный курс истории русского языка, ч. 1, стр. 200 и сл.

[2] Там же, стр. 201.

степенном офранцуживании или онемечении латинского языка не могло быть и речи, так как языки коренным образом различны. Но как раз факты показывают, что и в нашем случае ни о каком постепенном проникновении древнерусских элементов в государственный церковнославянский язык нет речи; в действительности происходит замена одного языка другим, церковнославянского древнерусским (см. ниже, особенно § 659 и сл.). Таким образом, и с этой стороны объяснение А. А. Шахматова не может быть принято: оно не соответствует фактам.

634. А. А. Шахматов не учёл, что более быстрое торжество древнерусского языка над церковнославянским в юридических документах объясняется хотя бы отчасти более интенсивным развитием торговли и ремесла, более интенсивным развитием городских общественных отношений, большей политической силой городской народной массы в XI—XII вв. Не учёл он также и того, что быстрая победа древнерусского языка над церковнославянским объясняется не только тем, что у нас родной язык имел менее упорного и стойкого противника, чем латынь на Западе (хотя и это верно), но также и тем, что церковнославянский язык у нас имел более сильного противника, чем латынь на Западе.

635. С другой стороны, объяснение Шахматова неправильно потому, что, как мы уже указывали, он совершенно не учитывает социальной функции церковнославянского языка у нас и латинского на Западе. Несомненно, что между значением латинского языка в средневековой Западной Европе и значением церковнославянского языка в нашем средневековье есть известное сходство, но есть и глубокое различие. Сила латинского языка заключалась в том, что он был международным языком разноязычной средневековой Европы; это в высшей степени усиливало его позиции в каждой отдельной западноевропейской стране: подобной роли церковнославянский язык у нас не играл: новгородцам и киевлянам, полочанам и ростовцам, для того чтобы общаться друг с другом, вовсе не нужен был церковнославянский язык, как нужна была латынь для французов и немцев, англичан и итальянцев. Они понимали друг друга, говоря каждый на своём диалекте, потому что древнерусские диалекты были очень близки друг другу; не нужен был церковнославянский язык, по этой же причине, и как междуобластной язык культурного общения, как междуобластной литературный язык.

Сила латинского языка опиралась ещё на политическую силу римской церкви: церковные организации в отдельных европейских странах были в значительной степени автономны по отношению к местной государственной власти, подчиняясь единому церковному главе — римскому папе, — первосвященнику и государю; политическая сила римской церкви была такова, что порою даже германским императорам приходилось босиком в зимнюю стужу ползти в папскую Каноссу.

Ничего подобного у нас не было; в общем церковь была у нас государственным учреждением, подчинённым князьям, несмотря на некоторые автономистские тенденции церковников и поползновения Византии подчинить русскую церковь непосредственно греческому пат-

рнарху, для того чтобы хозяйничать в русском государстве. Вот почему „у народного языка на Руси оказался менее упорный и стойкий противник, чем на Западе".

636. Следует отметить передовую роль Новгорода в процессе замены церковнославянского языка как государственного древнерусским языком. Это объясняется тем, что, как мы указывали выше, соответственные общественные условия сложились в Новгороде раньше, чем в других древнерусских областях; Новгород в первой половине XI в. был наиболее передовой древнерусской областью в смысле экономического и политического развития. Древнейшие написанные по-древнерусски государственные документы, о которых мы знаем, связаны с Новгородом, — это Ярославовы грамоты. С новгородским севером несомненно связана и древнейшая редакция „Русской правды". Новгородские веяния, которые привёз с собой из Новгорода Ярослав, став князем в Киеве, возможно, ускорили развитие этого процесса в Киеве и других областях. В связи с вопросом о роли Новгорода в развитии древнерусского письменного языка, остановлюсь кратко, несколько забегая вперёд, на одном любопытном, новгородском по происхождению, церковно-литературном памятнике — на „Поучении" Луки Жидяты (сокращение древнерусского имени Жидислав, образованного от того же корня, что и глагол „ждать", „ожидать"). „Поучение" Луки составлено в первой половине XI в. Древнейший известный список его относится к XIV—XV вв.

637. Епископ Лука был первый новгородский епископ из русских (а не из греков); он вступил на епископскую кафедру в 1034 г. Его „Поучение" было, повидимому, „Словом", которое он произнёс при вступлении на кафедру. Лука занял новгородскую епископскую кафедру после бурных событий начала XI в., связанных со смертью Владимира и борьбой его сыновей за великокняжеский престол, в которой Новгород показал свою силу, а новгородские граждане — большую политическую активность и инициативу. Значение „Поучения" Луки заключается, по словам акад. Обнорского, в том, что оно может считаться первым собственно русским (а не церковнославянским) произведением духовной литературы. Поучение написано на древнерусском языке, хотя в нём имеются отдельные церковнославянские элементы; часть из них, возможно, привнесена позднейшим писцом XIV—XV вв. Но значение „Поучения" Луки состоит ещё и в том — и это, пожалуй, более важно,—что оно написано необычайно простым языком; автор пишет короткими фразами, вовсе не употребляет длинных фраз и периодов, риторических фигур, метафор и сравнений; в нём нет ни грана красноречия в стиле, например, современника Луки — Илариона. „Поучение" рассчитано на широкого новгородского слушателя. Помимо обычной церковно-христианской морали, „Поучение" содержит некоторые, очень любопытные с политической точки зрения, советы нового епископа своей бурной новгородской пастве: „бога боитеся, а княза чтите. Раби пьрвое будете божии. Та же господу (= господ, хозяев) чтите отъ всего сердьца. Ерея божия чтите..." и т. п.

638. „Поучение“ Луки лишний раз показывает, что господствующий класс вынужден был считаться с подъёмом политического значения городской массы, в данном случае новгородской. В создавшейся политической обстановке нельзя было ограничиться только вооружённым насилием для приведения городских масс к повиновению; приходилось действовать убеждением, прибегать к авторитету церкви, к церковно-политической пропаганде. Приходилось разговаривать с народом не на чужом, церковнославянском, а на общенародном языке.

639. Любопытно, что аналогичное явление мы наблюдаем и в Западной Европе; ещё при жизни Карла Великого, в 813 г., на поместном соборе в Туре (Франция) было отмечено, что население плохо понимает проповедь на латинском языке, и было указано епископам, чтобы они произносили свои поучения на простонародном романском, т. е. французском, или на немецком языке. „Забота“ правящих кругов о том, чтобы народ понимал епископские проповеди, была вызвана здесь сходными политическими причинами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О ЯЗЫКЕ ДРЕВНЕРУССКИХ ГРАМОТ

640. Государственным языком Киевской Руси в X в. и, повидимому, в начале XI в. был, как мы видели, церковнославянский язык. В дальнейшем положение вещей меняется, и древнерусские государственные документы начинают писать на древнерусском, а не на церковнославянском языке.

641. От XI в. не сохранилось ни одного подлинного документа древнерусских государственных канцелярий, если не считать ничтожной по объёму Тмутороканской надписи 1068 г.:

> ⁘въ лѣто ѯ҃ф҃о҃(с). і҃н҃і҃ѯ҃ глѣбъ кнаꙁь мѣриλъ ы
> по леду ѿ тьмуторокана до кърчєвa ѧ҃ и ѧ҃ сажо

В этой надписи нет ничего специфически церковнославянского, она скорее производит такое впечатление, что писец делал свою запись на своём живом древнерусском языке; так, например, он употребил форму перфекта *мѣриλъ*, характерную для разговорной древнерусской речи. Однако Тмутороканская надпись слишком мала по объёму и лингвистическому материалу и слишком своеобразна (не типична) по содержанию, чтобы на её основании можно было делать какие-нибудь выводы. В XII в. и позднее древнерусские государственные документы пишут только по-древнерусски.

642. От первой половины XII в. сохранился лишь один документ киевской великокняжеской канцелярии. Это дарственная грамота киевского великого князя Мстислава Владимировича и его сына новгородского князя Всеволода новгородскому Юрьеву-Георгиеву монастырю, так называемая Мстиславова грамота (около 1130 г.). Мстиславова грамота — первый древнерусский юридический документ, сохранившийся в подлиннике (великокняжеские договоры X в. сохранились,

как мы знаем, лишь в поздних копиях). Мстиславова грамота написана по-древнерусски, а не по-церковнославянски. Приведём для иллюстрации хотя бы такие её особенности. При отсутствии неполногласных церковнославянских форм находим в нашей грамоте полногласные: *володимирь* (ср. на монете великого князя Владимира: *владимиръ на столѣ*), *всеволодъ, всеволодъ;* отметим также слова *серебрьно, серебра* в древнерусской огласовке (ср. на монете Ярослава церковнославянское *сребро* и частое в древнерусских книжных текстах церковнославянское *сребро*); укажем ещё *осеньнее* при церк.-сл. ѭсень. Личное местоимение 1-го лица ед. числа употребляется в самом тексте грамоты в древнерусской форме: *язъ, я*[1]. В грамоте находим типичные древнерусские флексии: *ѣ* (вин. пад. мн. числа) при ст.-сл. ѧ (ѩ), церк.-сл. *а* (ѧ) в названии села *Боуицѣ;* братиѣ (им. мн. в значении звательной формы); за моѣ дѣти (вин. мн.). Характерно отсутствие употребления церк.-сл. союза *аще* = „если“: в двух условных оборотах, встречающихся в грамоте, находим древнерусский союз *даже* = „если“. Из живого разговорного языка идёт в грамоте обозначение числительного 25: *полътретия десяте*. Древнерусскому (но не церковнославянскому!) языку свойственно употребление слова *коли* в значении союза „когда“ или „если“: *на обѣдѣ, коли игуменъ обѣдаеть*.

643. В обширной договорной грамоте смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригой и Готским берегом (1229 г.) мы находим в изобилии материал, иллюстрирующий древнерусский, а не церковнославянский характер её языка[2]. Многочисленны в грамоте полногласные формы: *вѣремьнемь* (= веременемь), *города, берьго* (= берегъ), *берьгомь, серебра, голъву* (=голову), *холъпь* (=холоп), *дѣревъмь* (=деревомь), *пьрьпрѣти* (=перепрѣти), *пьреже* (=переже), *сорома, пьревѣсти* (=перевести), *чересъ, сторону, пересуда, пьредъ* (=передъ), *золѣта* (=золота), *жеребьй, напьрьд* (=наперёд), *вълѣсти* (=волости) и др. Наряду с этим встречаем в грамоте и другие типичные древнерусские черты языка; так, например, имеем только *ч* в соответствии с церк.-сл. щ: *хъчѣть* (=хощеть), *въсхочеть* (=восхощеть), *горячему, помъчи* (=помочи, церк.-сл. *помощи*); имеем *одиножр, однемь, ѣдино* (=одинъ) при церк.-сл. ѭдинъ. Древнерусский характер имеет также морфология и синтаксис грамоты. Для выражения прошедшего времени употребляется только перфект. В многочисленных условных конструкциях употребляется только древнерусский союз *аже*, церк.-сл. *аще* не встречается. Имеются в грамоте характерные местные диалектные формы: *уздумал* (< въздумалъ), *узяти* (< възятн), *у Ризѣ* (< в Ризѣ= „в Риге“), *устоко* (< въстокъ=„восток“); *гочкий* вместо *гоцкый* из *готьский, бирица* вместо *бирича, купьчь* вместо *купець* и др.

644. По-древнерусски написана договорная грамота Новгорода с тверским великим князем Ярославом Ярославовичем (1264—1265 гг.).

---

[1] О церковнославянском *азъ* в зачине грамоты см. ниже § 650.

[2] Необходимо учесть особенности орфографии этой грамоты, в которой смешиваются *ѣ, е* и *ь,* с одной стороны, и *о* и *ъ* — с другой.

Ср. полногласные формы: *волость, перевода; осень* при церк.-сл. *сѣнь*, *осетрьникъ* при церк.-сл. *сѣтръ*; *тобѣ* при церк.-сл. *тебѣ;* второе полногласие: *на торожку, перемь* (< *тьржьку, пьрмь* — название города и народности); *бояре* по древнерусской норме (при церк.-сл. *боляре*). Обильны в грамоте характерные древнерусские флексии; некоторые из них являются новообразованиями на древнерусской почве по сравнению с более ранним этапом развития древнерусского языка: род. ед. *пожне* (< пожьнѣ), *от лодье*; им. мн. *бѣжицѣ* (название населённого пункта), *закладниковъ, повозовъ, купцевъ* — новая форма род. мн. вместо -*ъ*; местн. пад. *торожку*, род. ед. *от лну* и др. Отметим ещё диалектную форму *есме*, приставку *вы* — *выводити* при церк.-сл. *изводити*. В грамоте употребляется перфект без связки: *дѣялъ, отдалъ, цѣловали;* формы аориста не встречаются. Помимо формы *есме*, в грамоте встречаются и другие диалектные черты, например цоканье и чоканье: *на цѣль, отчя* (= отца), *заволоцье* и др.

645. Подобный — древнерусский — характер языка имеет и договорная грамота Александра Невского и новгородцев с немцами (1262—1263). Здесь, например, при полном отсутствии неполногласных форм имеем полногласные: *берегъ, березѣ, берега, голове, новьгородѣ, новьгородци* и др.; ср. также: *серебра*. В качестве условного союза употребляется *оже;* церк.-сл. *аще* не употребляется; употребляется перфект со связкой или без связки: *платили есмы, вьпросили есмы, отступили, цѣловали, не потаили есмы*[1].

646. По-древнерусски написаны и другие известные нам государственные, княжеские и городские, документы XII и следующих веков. Нам нет необходимости прослеживать дальше эти документы, приведённых иллюстраций вполне достаточно. Но для того, чтобы нагляднее показать отличие их языка от языка известных нам документов X в., мы приведём наиболее поздний из этих документов — договорное обязательство Святослава от 971 г. и дадим краткую его лингвистическую характеристику.

„Равно другаго свѣщанья, бывшаго при Святославѣ, велицѣмь князи Рустѣмь, и при Свѣналъдѣ, писано при Фефелѣ синкелѣ и к Ивану, нарицаемому Цѣмьскию, царю Гречьскому, въ Дерестрѣ, мѣсяца июля, индикта въ 14, в лѣто 6479 (=971). Азъ Святославъ, князь Руский, якоже кляхъся, и утвержаю на свѣщаньѣ семь роту свою: хочю имѣти миръ и свершену любовь со всякимь великимь царемъ Гречьскимъ съ Васильемъ и Костянтиномъ, и съ богодохновеными цари, и со всѣми людьми вашими, и иже суть подо мною Русь, боляре и прочии, до конца вѣка. Яко николиже помышлю на страну вашю, ни сбираю вои, ни языка ни иного приведу на страну вашю и елико есть подъ властью Гречьскою, ни на власть Корсуньскую и елико есть городовъ ихъ, ни на страну Болгарьску; да аще инъ кто помыслить на страну вашю, да и азъ буду противенъ ему и борюся с нимъ. Якоже кляхъся ко царемъ Гречьскимъ, и со мною боляре и Русь вся, да схранимъ правая съвѣщанья; аще ли о тѣхъ самѣхъ

[1] Об употреблении форм аориста в этой грамоте см. ниже в § 653.

прежереченыхъ (не) съхранимъ, азъ же и со мною и подо мною, да имѣемъ клятву отъ бога, въ него же вѣруемъ, в Перуна и въ Волоса, скотья бога, и да будемъ золоти яко золото, и своимъ оружьемь да исѣчени будемъ. Се же имѣйте во истину, якоже сотворихомъ нынѣ къ вамъ, (и) написахомъ на харатьи сей и своими печатьми запечатахомъ".

По своему лексическому составу договорное обязательство Святослава носит ярко церковнославянский характер. Отметим неполногласные формы: *страну* (4 раза), *съхранимъ* (2 раза), *подъ властью, на власть Корсуньскую* (в значении „на волость, область Корсуньскую", т. е. не в отвлечённом значении „власть"), термины *равно* — „копия" (калька с греческ. τὸ ἴσον, с церк.-сл. ***ра*** — при др.-русск. ***ро:*** *ровьнь* и др.) и *свѣщанье* — „договор" (2 раза) с церк.-сл. ***щ,*** чередующимися с ***т*** в *съвѣтъ*; др.-русск. вѣче, отвѣчати и др.; сложные слова *прежеречеными* и *богодохновеными;* в церковнославянской форме дано слово *боляре* (2 раза) (др.-русск. *бояре*). Личное местоимение 1-го лица ед. числа употребляется только в церковнославянской форме: *азъ* (2 раза), в качестве условного союза употребляется только церк.-сл. *аще* (2 раза). Отметим два единичных русизма, принадлежащих, повидимому, одному из позднейших переписчиков текста: *хочю имѣти* (при церк.-сл. *хощю*) и *городовъ* в выражении *елико есть городовъ ихъ;* последняя форма, несомненно, принадлежит позднейшему переписчику, как на это указывает заведомо новое окончание род. мн.-***овъ;*** в первоначальном тексте здесь стояло, вероятно, *грдъ* („градъ" под титлом), причём место было испорчено, и переписчик, например, протооригинала Ипатьевского списка „Повести временных лет" сперва прочитал и записал это место: *елико есть годъ ихъ*, а затем букву ***д*** переправил на ***в,*** а на нижнем поле записал вставку *родо,* получив путём этих переделок *городовъ;* в Хлебниковском и Погодинском списках читаем *градовь* (т. е. с церк.-сл., ***ра,*** но с новым окончанием ***-овь -овъ***). Полногласные формы в формуле клятвы: *да будемъ золоти яко золото, и своимь оружьемь да исѣчени будемъ* — совершенно закономерны: клятва записана была примерно так, как произносилась изустно, т. е. по-древнерусски.

647. В предыдущих параграфах мы убедились, что древнерусские государственные документы XII и последующих веков писали на древнерусском, а не на церковнославянском языке. Это нужно сказать и о древнерусских гражданских (частных) юридических документах соответствующего периода. Так, по древнерусски написан небольшой по объёму древнейший из известных нам документов этого рода — вкладная грамота некоего Варлаама Хутынскому монастырю близ Новгорода (конец XII в). Отметим в ней: полногласные формы *огородъ, корова;* ***ч*** в соответствии с церк.-сл. ***щ*** в *хочеть*. Из живого языка идёт в грамоте характерное для северных древнерусских диалектов окончание ***-е*** в им. пад. ед. числа мужск. рода: *Варламе* (но есть и *Варламъ*), *коле* (вместо *колъ* > кол), *вьдале* (вместо *вьдалъ* > вдал; эта форма встречается 3 раза, но рядом в грамоте есть и *далъ*). Из живого языка идёт в этой грамоте и встречающаяся только в ней форма *вху* (<*вьху*) в значении „всю" — вин. пад. ед. числа женск.

рода от местоимения *вьхъ — вьсь*. Формы аориста в грамоте не употребляются; есть отражение цоканья: *цьто* (чьто)[1].

648. По-древнерусски написано духовное завещание новгородца Климента (вторая половина XIII в.). Здесь обильны полногласные формы: *колода, огородомь, жеребечь* (жеребец), *боровъ, городьскый, голодна, передъ;* ср. также *розделить* (при церк.-сл. *раз-*), *серебра, серебро; ц* из *ч* в *постриици* (при церк.-сл. *постриищи*) и др. Такой же древнерусский характер имеет и язык других древнерусских частных юридических документов XII и последующих веков.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЯЗЫКЕ ДРЕВНЕРУССКИХ ГРАМОТ

649. Как в государственных, так и в частных древнерусских документах XII и следующих веков, написанных, как мы видели, по-древнерусски, встречаются отдельные церковнославянизмы. Церковнославянские элементы, встречающиеся в них, могут быть разбиты на несколько категорий.

650. К первой категории относятся церковнославянизмы, встречающиеся в зачинах и концовках грамот. Известно, что зачины и концовки грамот являются наиболее традиционными их частями и могут сохранять вследствие этого архаичные черты языка. В наших грамотах церковнославянские элементы, встречающиеся в зачинах и концовках, также являются архаизмами и свидетельствуют о том, что некогда (в X и в начале XI в.) юридические документы писали по-церковнославянски. Приведём пример. В Мстиславовой грамоте в самом тексте грамоты употребляются древнерусские формы личного местоимения 1-го лица ед. числа *язъ* и *я*, но в зачине читаем: *се азъ Мьстиславъ...* с церковнославянской формой этого местоимения; то же имеем в начале договорной грамоты Александра Невского и новгородцев с немцами: *се азъ князь Олександръ*; то же в духовном завещании новгородца Климента: *се азъ рабъ божий Климянтъ*. Этот зачин с личным местоимением и именем лица, от которого дана грамота, глубоко традиционен, и мы встречаем его ещё в договорном обязательстве Святослава: *азъ Святославъ князь руский*. Однако в дальнейшем и в этом зачине закрепляется древнерусское *яз* и *я*; примеры этого мы имеем в различных древнерусских областях: в духовных завещаниях московских князей Ивана Калиты (1327—1328): *се язъ грѣшныи худыи рабъ бий Иван(ъ)...*, Симеона Гордого (1353), с одной стороны, в грамоте галицкого старосты Бенка (1398) с другой: *А се а (=я) панъ Бенко староста галицькии...*, а также и в других документах XIV в.

651. К другой категории церковнославянизмов относятся отдельные церковнославянские слова, которые появляются в тех местах

[1] О церковнославянских элементах в этой грамоте см. ниже в § 649 и сл.

грамот, в которых обнаруживается церковно-религиозное содержание, — обращение к богу и т. п. Так, появляются отдельные церковнославянизмы в формулах заклинаниях, направленных против тех, кто захотел бы нарушить выраженную в грамоте волю вкладчика или завещателя. Ср. например, в вкладной грамоте Варлаама: аще кто дїаволъмь на(уч)енъ и злыми чл҃вкы наваженъ цьто хочеть w҃ати w҃ нивъ ли w҃ пожьнь ли или w҃ ловищь, а буди емоу противенъ стыи спсъ и въ сь вѣкъ и в будущии, или в завещании Климента, где завещатель угрожает нарушителю его воли: да не со мною съ однимь станеть прѣ (=прѣдъ) бмь (=богомь) съ всимь моимь пламенемь.

Не случайно в предшествующей части этой формулы встречается единственный во всей этой довольно большой грамоте случай употребления аориста: *написахъ*. Само собой разумеется, что появление церковнославянизмов в местах грамот со специальной религиозной тематикой не обязательно; так, например, в той же формуле грамоты Климента рядом с церк.-сл. *прѣ(дъ)* встречается и *перед бмь*. Сказанное здесь нужно понимать, следовательно, лишь в том смысле, что специальное церковно-религиозное содержание благоприятствует, способствует появлению в данном месте грамоты тех или иных церковнославянских элементов, но появление их всё же остаётся единичным, случайным.

652. До сих пор мы говорили о таких церковнославянских словах и формах, рядом с которыми существовали соответствующие древнерусские, тождественные по значению: *азъ : язъ, я; аще : аже, оже, даже; предъ : передъ*. К третьей категории относятся церковнославянские слова или целые выражения, рядом с которыми соответствующих русских слов не было. К ним принадлежат, например, часто встречающиеся в новгородских грамотах слово *благословение* (древнерусского варианта *бологословение* вовсе не было), слово *владыка* в значении „епископ“(древнерусского варианта *володыка* не было), *рабъ божии* (*робъ* или *холопъ божии* не было) и др. Сюда же могут быть отнесены и целые формулы, вошедшие из церковной фразеологии и употребляемые в подходящих случаях; в зачине духовных завещаний часто встречается, например, формула: *въ имѧ оц҃а* и *сн҃а* и *стго дха*. Всё это в сущности своей не церковнославянизмы в обычном смысле слова; это слова и выражения, перешедшие в древнерусский язык из церковнославянского языка и включённые в его лексический и фразеологический инвентарь.

653. Употребление аориста в древнерусских грамотах не может считаться церковнославянизмом, хотя возможно, что в некоторых случаях появление его в литературных памятниках обязано влиянию церковнославянского языка. Аорист, как известно, употреблялся в повествовательных жанрах древнерусского литературного языка (летопись, „Слово о полку Игореве“ и др.), где он выступает, как архаизм от времён, когда он был живой формой в древнерусском разговорном языке. Таким образом, употребление аориста есть знак влияния на язык данной грамоты не собственно церковнославянского, а — шире —

книжного языка вообще. Обычно формы аориста встречаются в грамотах редко и как единичные случаи. Особенное положение занимает договорная грамота Александра Невского и новгородцев с немцами (1262—1263). В начале грамоты довольно густо выступают аористы: *докончахомъ (докончахъмъ), отложихъмъ, поставихомъ, выдахомъ;* эти формы встречаются на первых 20 строках грамоты; далее идёт 17 строк грамоты, в которых форм прошедшего времени вовсе нет; после этого перерыва на следующих, последних, 8 строках формы аориста исчезают и употребляется только перфект в том же значении, в каком раньше аорист: *есмы отступили, цѣловали, не потаили есмы.*

Писец грамоты задумал было писать грамоту важным книжным слогом и сперва уснастил текст книжными формами аориста, но после перерыва сбился с тона, и в его изложении выступили живые для его разговорной речи формы перфекта.

654. Анализ языка древнерусских грамот показывает, насколько ничтожны и нехарактерны для их языка выступающие в них церковнославянские элементы.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

О ХАРАКТЕРЕ ЯЗЫКА „РУССКОЙ ПРАВДЫ"

655. От XI в. не сохранилось, как мы видели, ни одного подлинного древнерусского государственного документа. Это обстоятельство мешает нам выяснить с достаточной определённостью, как и по каким причинам произошёл в древнерусских государственных канцеляриях переход от церковнославянского к древнерусскому языку. Однако наше положение облегчается показаниями „Русской правды", первая редакция которой относится как раз к XI в., ко времени Ярослава.

656. Показания „Русской правды" тем более важны, что она не является рядовым или случайным юридическим документом. „Русская правда" — первый записанный закон Киевского государства. В „Русской правде" нашло своё выражение правовое мировоззрение Киевского государства; она сыграла большую роль в дальнейшем формировании этого мировоззрения в более позднее время. В этом смысле „Русская правда", примыкая, с одной стороны, как памятник письменности к другим юридическим древнерусским документам, так называемым грамотам, по своему значению далеко выходит за их пределы, выступая в истории нашей культуры как выдающийся памятник древнерусской литературы и древнерусского литературного языка.

657. Известны три редакции „Русской правды": так называемая **краткая,** так называемая **пространная** и так называемая **сокращённая.** Последняя редакция, сокращённая из пространной, не представляет для нас особого интереса, как заведомо позднейшая. Составление древнейшей части краткой редакции относится ко времени Ярослава, т. е. первой половине XI в.; эта древнейшая часть краткой

редакции была дополнена при сыновьях Ярослава во второй половине XI в.; таким образом, краткая редакция в целом восходит к XI в. Впоследствии „Русская правда" подверглась дальнейшим дополнениям и переоформлениям; таким образом возникла более поздняя, пространная редакция: её относят обычно к XII в.

658. К сожалению, ни одна из редакций „Русской правды" не сохранилась в подлиннике или в копии, близкой ко времени составления. Древнейшие списки краткой редакции сохранены в составе Академического (принадлежащего Академии наук) и Комиссионного (принадлежащего Археографической комиссии) списков I Новгородской летописи; оба списка летописи относятся к XV в., причём Академический — ко второй его половине. Список краткой редакции „Русской правды", сохранённый в Академическом списке I Новгородской летописи, текстологически более исправен; этим списком мы и будем пользоваться в дальнейшем. Древнейший список пространной редакции „Русской правды" сохранён в Новгородской Кормчей 1282 г.

659. Известные нам списки „Русской правды", конечно, не могут служить источниками для сколько-нибудь достоверных суждений о фонетической и морфологической стороне древнейшего текста „Русской правды" XI в. За время от составления древнейшего текста „Русской правды" до конца XIII в. (древнейший список пространной редакции) и до XV в. (древнейшие списки краткой редакции) произошли большие изменения в фонетике древнерусского языка (падение глухих и пр.) и довольно значительные изменения в его морфологии (например, в системе склонения). Даже внимательный переписчик невольно подновлял фонетико-орфографическую и морфологическую сторону древнейшего текста по направлению к языку своего времени, сохраняя лишь в некоторых случаях, непоследовательно, отдельные написания и формы XI в. Но для суждения о лексической и синтаксической стороне древнейшего текста, а, особенно, для суждения об общем характере его языка (т. е. по-церковнославянски или по-древнерусски написан древнейший текст) известные нам древнейшие списки „Русской правды" дают драгоценнейший материал. Обратимся сперва к древнейшему списку пространной редакции, т. е. к списку, сохранённому в Новгородской Кормчей 1282 г.

660. В последнее время язык списка 1282 г. обследовал акад. С. П. Обнорский[1]. С. П. Обнорский с исчерпывающей убедительностью показал, что этот список писан на древнерусском языке. Количество церковнославянизмов в нём ничтожно, и они имеют случайный характер; ряд церковнославянизмов приходится на испорченные места рукописи. Приведём для иллюстрации один пример. „Русская правда" по своему содержанию представляет разбитое по статьям последовательное изложение ряда обусловленных правовых норм, выраженных в форме условных синтаксических конструкций, например: *аже кто ударить мечемь ...или рукоятью, то 12 гривне продаже*

[1] С. П. Обнорский, „Русская правда" как памятник русского литературного языка. „Известия Академии наук СССР", 1934.

за обиду и т. п. В связи с этим в тексте „Русской правды“ мы находим множество условных союзов; это всё типичные древнерусские союзы: *аже, аже, аче* и др.; и лишь один раз во всём обширном тексте 1282 г. мы встречаем церковнославянский союз *аще*. Такой же случайный характер имеют и другие, ничтожные по количеству, церковнославянизмы текста 1282 г. Так, при очень большом количестве полногласных форм имеем лишь две неполногласные: *чрево* (др.-русск. *черево*) и *вражду* (от того же корня, что *ворог, ворожить*), но оба эти случая падают, по свидетельству акад. С. П. Обнорского, на испорченные места текста.

661. Показания текста 1282 г. очень важны, потому что этот именно текст является древнейшим известным нам списком „Русской правды“. Но показания списков, сохранённых Новгородской летописью, не менее важны; список 1282 г. хотя и является древнейшим известным нам списком „Русской правды“, но отражает её позднейшую пространную редакцию, а списки XV в. хотя и являются позднейшими как списки, но отражают древнейшую краткую редакцию „Русской правды“. На них мы остановимся несколько подробнее, тем более, что они с точки зрения языка ещё не обследованы. Ниже будем условно обозначать Академический список через А., а Комиссионный через К.

662. Лексика списков XV в. чрезвычайно интересна. Они сохранили много старинных древнерусских слов, причём некоторые из них отсутствуют не только в списках пространной редакции, но или вовсе не засвидетельствованы пока ни в каких других памятниках древнерусской письменности, или встречаются в памятниках исключительно редко, единично. К таким словам принадлежат, например: *надъраженъ* (А.), *надражень* (К.) от глагола *надъразити* (поразить, ударить); *ринеть* (А., К.) от *ринути* в конкретном значении „толкнуть“, „бросить“ (в других списках вместо *ринеть* стоит *попъхнеть* от *попъхнути* с тем же значением); *емьчю* (К.), *емъцю* (А.) — дат. пад. от *емьць* (от основы глагола *емати* — „брать“) со значением, вероятно, „судебного чиновника, исполнителя“, „кто изымаетъ“, получает деньги, штраф; ср. выражение „скотъ (=деньги) емати“ в значении „получать причитающиеся деньги“; слово *старый* в значении „старший по должности“ *(старый конюх)*. Интересно, что только в А. и К. из глубокой старины донесено слово *миръ* в значении „сельской общины“.

663. Церковнославянские элементы в лексике А. и К. ничтожны. Это тем более замечательно, что оба списка относятся к XV в., а как раз с конца XIV в. и особенно в XV в. по причинам, о которых мы здесь не имеем возможности говорить, в русской письменности усиленно насаждался церковнославянский язык со своеобразной искусственно архаизированной орфографией. Следы этой орфографии мы находим в наших списках в совершенно единичных написаниях: *знамениа* (А., К.), *рускаа* (К.) — отсутствие йотации перед *а*, *пръстъ* (вместо *перстъ*) по искусственно возрождённой старославянской норме.

664. Древнерусские полногласные формы представлены в обоих списках в значительном количестве: *голова, голову* (в значении „труп“), *бородъ, холопъ* (2 раза), *холопа, хоромъ, коровьи, корову, солоду,*

переди, борошна, городници, переореть (в значении „перепашет"), *Всеволодъ, Перенѣгъ*. Неполногласные церковнославянские формы засвидетельствованы всего в двух случаях: *въ среду* (в значении дня недели) и предлог *предъ* (ср. отмеченное выше наречие *переди*); оба эти слова могли существовать как заимствования в древнерусском разговорном языке XI в., но могли быть привнесены и позднейшими переписчиками; отметим, что имеющееся в списке 1282 г. написание *въ сре*$\bar{}$ (под титлом) должно быть скорее всего раскрыто, как *въ среду* (с неполногласным *ре*, а не как *въ середу*). В начале слова имеем в соответствующих случаях *ро* и *ло* по древнерусской норме: *роба, робу, лодью* (2 раза), *лоньщину;* исключение составляет слово *разбой*, которое засвидетельствовано с церковнославянским написанием *ра* и в списке пространной „Правды" 1282 г.

665. Из других церковнославянских элементов отметим *хощеть* (др.-русск. *хочеть*), *единъ*, но рядом с этим *одну* — по древнерусской норме. В К. в качестве условного союза обобщён церковнославянский союз *аще*, в А., наряду с преобладающим *аще*, в ряде случаев находим древнерусский союз *оже*, один раз *аже*. Привнесение союза *аще* в текст „Правды", вне всякого сомнения, принадлежит поздним переписчикам.

666. В морфологии и синтаксисе тексты А. и К., совпадая во многих особенностях с текстом 1282 г., резко противостоят церковнославянским договорам X в. Так, формы аориста в А. и К. вовсе не употребляются, в тексте 1282 г. очень редкие формы аориста встречаются либо в позднейших вставках, либо в испорченных или сомнительных местах рукописи; как и в списке 1282 г., перфект 3-го лица употребляется обычно без связки: *не вдалъ, совокупилъ, уставилъ, изималъ, убили, видѣли* (лишь один раз: *есть изломилъ*); единственный случай перфекта 2-го лица даётся со связкой: *еси взялъ*, как это обычно для 1-го и 2-го лица в тексте 1282 г.; в договорах X в. аорист встречается часто, а перфект — очень редко: в договоре 971 г. его вовсе нет, в договоре 911 г. один случай, в договоре 944 г. — четыре случая.

667. В А. и К. формы будущего сложного образуются с помощью глагола *начну: начнеть лежати, начнеть храмати, онъ ся запирати начьнеть* (так в К., в А. *почнеть), начнеть не дати его, начнеть хотѣти его держати у себе, начнеть примѣтати;* образование будущего сложного с помощью глагола *буду* совершенно отсутствует в А. и К. В списке 1282 г. обычным вспомогательным глаголом в будущем сложном также является глагол *начну;* несколько раз встречается в этой функции глагол *почну;* глагол *буду* встречается в составе будущего сложного лишь один раз, да и то в месте с порчей в тексте. Обратное находим в договорах X в.: господствующим является образование будущего сложного с помощью глагола *буду:* вспомогательный глагол *начну* встречается лишь два раза в договоре 911 г. и один раз в договоре 944 г.

668. В А. и К. частица *ся* употребляется обычно препозитивно: *онъ ся запирати начнеть, а той ся ведеть,* или *ся пригоди;* имеется

один пример с постпозитивным *ся: скрыеться*; в тексте 1282 г. частица *ся* употребляется и препозитивно, и — обычно — постпозитивно. В договорах X в. частица *ся* обычно употребляется постпозитивно; лишь в договоре 911 г. попадаются случаи препозитивного употребления *ся*. Примеры расхождений между договорами X в. и „Русской правдой" можно было бы и увеличить; очень ярко проявляются они в условных синтаксических конструкциях (см. § 671 и сл.).

669. Итак, язык древнейших известных нам списков и краткой, и пространной редакций „Русской правды" — древнерусский язык. Отсюда мы заключаем, что и запись „Русской правды" в XI в. была сделана на древнерусском, а не на церковнославянском языке. Было бы совершенно невероятным предполагать, что запись „Русской правды" была сделана в XI в. по-церковнославянски, а затем в процессе „обрусения" этой записи позднее получился её древнерусский вариант, который и лёг в основу текста, дошедшего до нас в наших списках. Ни анализ текста дошедших до нас списков, ни какие-либо другие данные не позволяют нам сделать такое предположение. Имеющиеся в известных нам списках церковнославянские элементы никак нельзя понять как остаток большего их количества, бывшего будто бы в первоначальном тексте „Правды"; тем более их нельзя рассматривать как доказательство того, что этот первоначальный текст был написан по-церковнославянски. Наоборот, церковнославянизмы наших списков в своём большинстве являются отклонениями позднейших переписчиков в сторону знакомого им церковнославянского языка, хотя отдельные церковнославянские элементы могли, конечно, иметься и в первоначальном тексте: ведь те, кто его писали, несомненно знали церковнославянский язык. Таким образом, первая запись законов была сделана в Киевском государстве на древнерусском языке; так как древнейшая запись „Русской правды" относится ко времени Ярослава (ум. в 1054 г.), то по крайней мере *начало* употребления древнерусского, а не церковнославянского языка в древнерусских государственных документах следует отнести к первой половине XI в.

670. Было бы совершенно неправильно представлять себе дело так, что древнерусский характер языка государственных документов получился в результате постепенного, незаметного проникновения древнерусских элементов в первоначально церковнославянский язык киевских государственных канцелярий. Да, церковнославянский язык был первоначальным, древнейшим государственным языком киевских канцелярий в том смысле, что в X в. государственные акты писали по-церковнославянски, а с XI в. стали их писать по-древнерусски; но это было не постепенное развитие, а *замена* одного языка другим. Никаких промежуточных звеньев, иллюстрирующих постепенность перехода от церковнославянского к древнерусскому мы не имеем. Наоборот, древнейший известный нам записанный по-древнерусски документ „Русская правда" не говорит нам ни о какой постепенности, но сразу даёт стройную систему древнерусского языка, в которой отдельные церковнославянизмы имеют совершенно случайный характер. Явление замены одного языка другим можно отчётливо проил-

люстрировать на сравнительном анализе условных синтаксических конструкций в договорах X в. с одной стороны, в „Русской правде“ и древнерусских грамотах — с другой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ОБ УСЛОВНОЙ СИНТАКСИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

671. Условная синтаксическая конструкция отнюдь не является второстепенным или случайным элементом изложения законов и договоров. Наоборот. Условная синтаксическая конструкция является важнейшим, основным структурным элементом этого изложения. Мы видим, что „Русская правда“ со стороны изложения вся состоит из последовательной цепи условных синтаксических конструкций. Такая особенность синтаксического строя законов и договоров вытекает из самого их содержания.

672. Условная синтаксическая конструкция очень ярко выступает в киевских великокняжеских договорах X в. Вот примеры из договора Олега (911 г.): „*Аще* кто убьеть или хрестьанина Русинъ, или хрестьянинъ Русина, *да умрeть*, идѣже... сотворить убийство. *Аще* ли убежить сотворивый убийство, *да* аще есть домовитъ, да часть его, сирѣчь иже его будеть по закону, *да возметь* ближний убьенаго... *Аще* ли ударить мечемъ, или убьеть кацѣмъ любо сосудомъ, за то ударение или бьенье *да вдасть* литръ пять сребра по закону Рускому; *аще* ли не имовитъ тако сотворивый, *да вдасть* елико можеть, *да соиметь* себе и ты самыа порты, в нихже ходить...“. Из договора Игоря (944 г.): „*Аще* убьеть хрестеянинъ Русина, или Русинъ хрестеянина, *да держимъ будеть* створивый убийство отъ ближнихъ убьенаго, *да убьють* и. *Аще* ли ускочить створивый убой и убѣжить, *аще* будеть имовитъ, *да возмуть* имѣнье его ближьнии убьенаго; *аще* ли есть неимовитъ и ускочить же, *да ищють* его, дондеже обрящется; *аще* ли обрящется, *да убьенъ будеть*...“

Из договорного обязательства Святослава (971 г.): „... *аще* инъ кто помыслить на страну вашю, *да* и азъ *буду противенъ* ему и борюся с нимъ... *аще* ли о тѣхъ самѣхъ прежереченыхъ (не) съхранимъ, азъ же и со мною и подо мною, *да имѣемъ* клятву отъ бога, въ егоже вѣруемъ, в Перуна и въ Волоса, скотья бога...“

673. В главном предложении условных конструкций обычно выражена какая-то обязательная норма поведения, обязательная при наличии условия, выраженного в придаточном предложении. Необходимость выразить обусловленные нормы поведения и делает условную синтаксическую конструкцию столь подходящей для изложения законов и договоров. Ср. пример: „А оже лодью украдеть, то за лодью платити 30 рѣзанъ („Русская правда“). Здесь в главном предложении указана обязательная норма поведения: „нужно платить 30 резан“, но она обязательна лишь при условии, выраженном в придаточном предложении, т. е. 30 резан нужно платить, если украдут лодку, тем, кто украл лодку. Условная синтаксическая кон-

струкция, более или менее осложнённая и распространённая, является классической формой выражения статьи закона или основного элемента этой статьи.

674. Вот примеры условной синтаксической конструкции из краткой редакции „Русской правды“ по списку А.

„*Оже* ли себе не можеть мьстити, *то взяти ему* за обиду 3 гривнѣ, а лѣтцю (ошибочно вместо лѣчьцю) мьзда .... А *оже* уведеть чюжь холопъ любо робу, *платити ему* за обиду 12 гривнѣ. А *оже* лодью украдеть, *то* за лодью *платити* 30 рѣзанъ... А *оже* украдуть чюжь песъ, любо ястребъ, любо соколъ, *то* за обиду 3 гривны... *Оже* ли утнеть руку и отпадеть рука любо усохнеть, *то* 40 гривенъ; *аще* будеть нога цѣла, или начьнеть храмати, тогда чада смирять...

Оже ли кто вынезь мечь, а не тнеть, то тъ гривну положить... *Аще* ли челядинъ скрыеться любо у Варяга, любо у Кольбяга ... *то изымати* ему свои челядинъ, а 3 гривнѣ за обиду ... *Аще* поиметь кто чюжь конь, любо оружие, любо портъ, а познаеть въ своемь миру, *то взяти ему* свое“, и т. п.

675. Вот несколько примеров из списка 1282 г.:

„*Ажь* убьеть мужь мужа, *то мьстити брату* брата ... *Оже* придеть кръвавъ муже на дворъ или синь, *то* видока *ему не искати*, нъ *платити емоу* продажю...

... *Аже* кто познаеть челядинъ свои украденъ, а поиметь и, *то оному вести* и по кунамъ ... *Аже* начнеть не знати у кого купилъ, *то ити* по немь тѣмь видокомъ на търгу на роту ... *Аче* же и кръвавъ придеть или будеть самъ почалъ, а выступять послуси, *то тоему* за платежь оже и били ...“ и т. п.

676. Значительный материал по условным конструкциям мы находим в договорной грамоте Смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригою и Готским берегом (1229 г.). Вот примеры из этой грамоты: „*Аже* не будѣтѣ порукы, то у жельза *усадить* ... Который вълъчанинъ възмьть латиньскыи товаръ чересъ вълъкъ вѣсти, а что погынеть от того товара что ему приказано, *тъ платити всемъ вълъчанъмъ* ... *Аже* русинъ купить у латинеского чл҃вка товаръ, а възмьть к собѣ, *тоть латинескому не взяти* товара на успять... *Аже* капь чимь то весятѣ излъмльна будѣте, а любо льгче будѣть *тоть спускати обѣ* в ъдино мьсто ... *Аже* латинескыи гость (с) смолняны приедѣть на вълъкъ, *тоть мьтати* жеребѣи кого напьрьдъ вѣсти ко смольньску ... *Аже* будѣте русину платити латинескому, а не въсхъчеть платити, *тоть латинескому просити* дѣтского у тиуна. *Аже* дасть наемь дѣтьскому, а не исправить за 8 дн҃и товара у русина, *тоть дати ему* на събѣ порука ... *Аже* будѣте холъпъ убитъ, 1 гривна серьбра *заплатити* ... *Аже* будѣть свободѣный чл҃вкъ убитъ, 10 гривенъ серебра за голъву... *Аже* извинить ся русинъ у Ризе или на Гочкъмь березе, у дыбу его *не сажати*. *Аже* извинить ся латининъ у смольнѣскѣ не мьтати его у погрѣбъ ...

Аже латининъ дасть русину товаръ свои у дълго у Смольнске, *заплатити* немчину пьрвѣе хотя бы инъму кому виноватъ былъ росину (=русину) ... *Аже* латининъ дасть княжю хълопу въ заемъ или инъму добру чл҃вку, а умрете не заплативъ, а кто емльть его остатъкъ тому *платити* немчину ... *Аже* латинескыи чл҃вкъ учинить насилие свободнь жене, а будѣть пьреже на ней не былъ сорома, за то *платити* гривьнъ 5 серебра ... *Аже* будѣте пьрвѣе на нѣи съръмъ былъ, *взяти* еи гривна серьбра за насилие. *Аже* насилуето робѣ, а будуть на него послуси, *дати ему* гривна серебра ... *Аже* тиунъ услышить латинескыи гость пришелъ, *послати ему* люди с колы пьревѣсти товары ..." и т. п.

677. Разберёмся в представленном материале. Условная конструкция договоров X в. построена по следующему принципу. В первой её части стоит условное придаточное предложение с церковно-славянским союзом *аще* (др.-русск. *аче*) в начале; во второй части (главное предложение) имеем соотносительное слово местоимённого происхождения *да,* получающее в контексте осмысление „пусть"; сказуемое главного предложения — личная форма глагола; главное предложение, таким образом, личное. Образцом такого построения может послужить хотя бы следующее предложение: ***Аще ли ударить мечемъ или убьеть кацѣмь любо сосудомъ, за то ударение или бьенье да вдасть литръ пять сребра по закону Рускому.*** Эта схема может быть осложнена различными вставными элементами, но наличествует во всех случаях условной синтаксической конструкции договоров X в.

678. Иное мы находим в списках „Русской правды" и в договоре 1229 г. Здесь в первой части стоит условное придаточное предложение с древнерусскими союзами *аже* и др.[1]; во второй части (главное предложение) имеем соотносительное слово *то, тоть* (*то* + *ти*, где *ти* — особая частица также местоимённого происхождения); сказуемое главного предложения — инфинитив; главное предложение, таким образом, безличное; в случае, если субъект действия в главном предложении выражен, он стоит в дательном падеже. Образцом такого построения может послужить хотя бы следующее предложение: ***Оже ли себе не можеть мьстити, то взяти ему*** *за обиду 3 гривнъ* ... Эта схема может быть осложнена различными вставными элементами; главное предложение может выступать без соотносительного слова; иногда может быть опущено сказуемое (инфинитив) в главном предложении, когда оно выражает лишь размер налагаемого штрафа.

В договоре 1229 г. встречаются случаи, когда сказуемое главного предложения в условной конструкции выражено не инфинитивом, а личной формой глагола, т. е. главное предложение оказывается личным. Но все эти случаи семантически отличны от первых. Сказуемое выражается инфинитивом (безлично) там, где в главном предложении устанавливается общеобязательная, имеющая характер закона, норма, обусловленная содержанием придаточного предложения.

[1] О союзе *аще* в списках А. и К. „Русской правды" см. § 660. Здесь союз *аще* безусловно привнесён позднейшими переписчиками.

Там же, где выполнение действия, выраженного в главном предложении, предоставляется личному усмотрению того или иного лица, сказуемое выражается личной формой глагола. Примеры: *Латинескому не ехати на вѣину съ княземь ни съ русию. **Аже** самъ хъчьть, **тоть** едѣть* (а не: ***тоть ехати ему!***, потому что это не обязательно, никто его не заставляет, хочет едет, а хочет не едет). ***Аже** надобѣ ему болше помъчи, **тоть наимуи** при послусѣхъ* (а не: ***тоть наимати ему!***, потому что он волен нанимать или не нанимать дополнительную помощь для перевозки товаров). ***Аже** не слоушаеть старосты, **тоть** можеть на него дѣтского приставити* (а может и не приставлять).

679. Отличие церковнославянской условной конструкции договоров X в. от древнерусской состоит, таким образом, в следующем: 1) в первой имеем церковнославянский союз *аще*, во второй — древнерусские союзы *аже, оже* и др.; 2) в первой мы имеем соотносительное слово *да*, во второй — соотносительные слова *то, тоть*. Главнейшим отличием первой конструкции от второй является следующее: 3) общеобязательная норма поведения выражается в первой **личным предложением**, предложением с личной формой глагола в сказуемом; эта же норма выражается во второй **безличным инфинитивным предложением**, с инфинитивом в сказуемом. Исходя из этого, мы можем условную конструкцию: ***аще** ли ударить мечемь, или убьеть кацѣмь либо сосудомъ ... **да вдасть** литр пять сребра ...*, приведённую в § 677 в качестве образца первой схемы, „перевести“ во вторую; мы получим тогда: ***оже*** (или *аже*) *ли ударить мечемъ, или убьеть кацѣмь любо сосудом ... **то вдати ему** литр 5 серебра ...* И обратно: конструкцию, приведённую в § 678 в качестве образца второй схемы: ***Оже** ли себе не можеть мьстити, **то взяти ему** ...*, можем „перевести“ в первую схему: ***Аще** ли не можеть себе мьстити, **да възьметь** ...*

680. Простое сопоставление обоих типов условных конструкций показывает, что вторая (древнерусская) не могла получиться из первой (церковнославянской) путём её постепенного обрусения. Вторая конструкция вовсе не является новой, возникшей из церковнославянской в XI — XII вв. Она восходит к глубокой древности. Переход от одной конструкции к другой есть замена одной конструкции другой. Эта замена прекрасно иллюстрирует замену церковнославянского языка древнерусским в практике государственных канцелярий Киевского государства.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Древнерусский литературный язык

ГЛАВА ШЕСТАЯ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

681. Древнерусский литературный язык существовал в XI—XIV вв. как особый, отличный от церковнославянского литературный язык. Его существование доказывается наличием таких литературных памятников, как „Русская правда", „Поучение" Луки, „Поучение" Владимира Мономаха, „Слово о полку Игореве", отдельные части летописей, а также и некоторых других литературных произведений, среди которых отметим ещё дошедшее до нас начало замечательной древнерусской поэмы „Слово о погибели русской земли". Все эти литературные произведения принадлежат к числу самых выдающихся памятников нашей древнерусской литературы; достаточно указать, что в число их входит гордость нашего народа — „Слово о полку Игореве".

682. Древнерусский литературный язык возникает не путём постепенного преобразования церковнославянского литературного языка, не в результате постепенного обрусения этого языка (как думал акад. Шахматов). С изменением общественно-политической обстановки в XI в., с развитием самобытной древнерусской культуры, уходящей своими корнями в народ и питающейся его соками, лучшие люди древней Руси стали выражать свои мысли и чувства в письменной форме не на иноземном, а на родном древнерусском языке, пользуясь буквами церковнославянского письма. Отказывать древнерусскому обществу в самостоятельном литературном языке — это значит превращать его в какую-то византийско-болгарскую тень, что не находит себе абсолютно никакого подтверждения в фактах и основано на ложном представлении о низкой культуре и отсталости древней Руси.

683. Основой древнерусского литературного языка является вовсе не церковнославянский язык, а прежде всего живой разговорный язык древнерусских писателей. В иных случаях древнерусские

писатели продолжают традиции устного народного литературного языка, существовавшего задолго до появления церковнославянской письменности в произведениях народных певцов („Слово о полку Игореве"). В иных случаях источником древнерусского литературного языка оказывается язык устного обычного права, уходящий в своём генезисе в глубочайшую древность („Русская правда"). „Русская правда" — памятник уже классового общества, но те грамматические способы выражения правовых норм, которыми она пользуется, уходят ещё в доклассовую древность. Условная синтаксическая конструкция, которая лежит в основе всего изложения „Русской правды", является исконной древнерусской народной синтаксической конструкцией, которая никак не может быть выведена из церковнославянского языка, как, впрочем, и лексико-морфологический состав „Русской правды" (см. § 655 и сл., § 666 и сл.). Церковнославянских элементов мы здесь не найдём.

684. Бесспорно, что церковнославянский язык играл значительную роль в развитии древнерусского литературного языка, особенно в развитии некоторых его жанров; так, например, в языке летописания, особенно киевского, мы наблюдаем значительное количество церковнославянских элементов; это объясняется тем, что летописи в Киеве велись учёными монахами Киево-Печерского монастыря, которым было труднее всего отвлечься от церковнославянщины при изложении своих мыслей. Церковнославянщина, тяготевшая над ними как традиция старины, навязывалась им повседневно всем строем их жизни и деятельности, коренилась в их профессиональной принадлежности. Однако и на языке летописания изменения в развитии письменного языка сказались очень ярко (см. § 689 и сл.).

685. Влияние церковнославянского языка на писателей, писавших по-древнерусски, объясняется, конечно, и тем, что церковнославянский язык продолжал оставаться языком церкви и церковной книжности. При господстве в средневековье религиозной идеологии это не могло не отразиться и на развитии литературного языка. При Ярославичах, стремившихся сохранить политические и культурные традиции „империи", переписываются с болгарских церковнославянских оригиналов для одного из них (Святослава) известные „Изборники" 1073 и 1076 гг. Святослав культивирует церковнославянскую книжность, но его племянник, Владимир Мономах, хорошо знавший эту книжность, сам пишет не на церковнославянском, а на древнерусском языке. Церковнославянский язык ограничивается в своей функции; из некогда господствующего и даже единственного литературного языка он превращается в стилистическую разновидность древнерусского литературного языка; им начинают пользоваться в специальных стилистических целях, в специальных жанрах, например в панегириках князьям; придворные панегиристы подражают похвале Владимиру, данной в „Слове" Илариона. Автор „Моления Даниила Заточника" (XIII в.), обращаясь к одному из князей, считает своим долгом писать по-церковнославянски, хотя под внешним покровом многочисленных и густых церковнославянизмов заметно просве-

чивает живой древнерусский язык автора (к сожалению, язык „Моления“ ещё не исследован). Таким образом, традиция церковнославянского языка с переломом в развитии литературного языка древней Руси не исчезает вовсе, но резко сужи-вается и ограничивается в своей функции. Церковнославянский язык поступает на службу древнерусскому литературному языку, его лексика образует один из его стилистических слоёв.

686. Стилистическое использование церковнославянского языка в системе древнерусского литературного языка имеет очень важное значение. Оно показывает высокий уровень развития древнерусского литературного языка, древнерусской культуры вообще, осваивающей со своей точки зрения, в своих целях культурное наследие предшествующего периода. Стилистическое использование церковнославянских элементов мы находим в „Поучении“ Мономаха, в „Слове о полку Игореве“, в летописи. Приведу один пример. В „Повести временных лет“ (по Ипатьевскому списку) под 1103 г. приводится деловое выступление Мономаха на съезде князей в Долобске. На заявление дружины Святополка („не веремя веснѣ воевати. Хочемь погубити (=погубим) смерды и ролью имъ“) Владимир сказал: „дивно ми, дружино, оже лошади кто жалуеть, еюже ореть кто, а сего чему не расмотрите, оже начнет смердъ орати и Половчинъ приѣхавъ вдарить смерда стрѣлою, а кобылу его поиметь, а в село въѣхавъ поиметь жену его и дѣти и все имѣнье его возметь. То лошади его жалуешь, а самого чему не жалуешь?“ После выступления Мономаха было решено организовать поход на половцев.

687. Это выступление Мономаха, как и заявление дружины Святополка, написано летописцем на чистейшем древнерусском языке, причём он явно стремился сохранить даже интонации разговорной речи. После победы над половцами на новом собрании князей летописец вкладывает в уста Мономаха следующую торжественную речь: „се день иже створи господь, възрадуемься и възвеселимься во нь, яко богъ избавилъ ны есть от врагъ нашихъ и покори враги наша и скруши главы змѣевыя и далъ есть господь брашно ихъ намъ“. Эта торжественная речь Мономаха даётся летописцем на церковнославянском языке и представляет собой вариацию на темы из псалтыри. Нас вовсе не интересует, конечно, насколько точно передаёт летописец слова Мономаха (возможно, что он вовсе не говорил ничего подобного); для нас важно, что летописец пользуется для передачи делового выступления Мономаха древнерусским языком, а для передачи его торжественной речи — языком церковнославянским. Так уже в древнерусскую эпоху намечается закрепление церковнославянского языка за так называемым „высоким штилем“.

688. Ниже мы остановимся на некоторых памятниках древнерусского литературного языка для подтверждения и иллюстрации высказанных в этой главе положений. В первую очередь обратимся к „Повести временных лет“ — как к одному из важнейших памятников древнерусского летописания.

ОТРАЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗВИТИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ДРЕВНЕЙ РУСИ В „ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ“

689. „Повесть временных лет“ есть, как это общеизвестно, летописный свод, составленный в Киеве в начале XII в. Составитель свода использовал более древние летописные материалы, отдельные сочинения, оригинальные и переводные, отдельные документы (договоры князей X в. с греками и др.), устные народные предания и пр. Сводчик внёс и много своего, пополняя и продолжая доступные ему материалы, комментируя их.

690. В введении к „Повести временных лет“ имеется статья об основании Киева. Эта статья относится к числу более древних наслоений „Повести“ и не принадлежит сводчику XII в., так как она наличествует и в I Новгородской летописи. В I Новгородскую летопись она заимствована из более древнего, чем „Повесть временных лет“, киевского летописного свода; она отражает литературный язык более древней поры, чем начало XII в., когда формируется древнерусский литературный язык, сменяющий господство церковнославянского. Приведём эту статью в редакции Новгородской летописи:

„Живяху кождо съ родомъ своимъ на своихъ мѣстехъ и странахъ, владѣюща кождо родомъ своимъ; и быша три братия: единому имя Кий, второму же имя Щекъ, третьему же имя Хоривъ, а сестра ихъ Лыбедь. И сѣдяше Кый на горѣ, идѣже нынѣ увозъ Боричевъ, и бѣ с родомъ своимъ, а братъ его Щекъ на друзии горѣ, отъ него же прозвася Щековица, а третии Хоривъ, отъ него же прозвася Хоривица. И сотвориша градокъ во имя брата своего старѣишаго, и наркоша имя Кыевъ... и бѣша мужи мудри и смысленѣ, нарѣчахуся Поляне и до сего дне, отъ них же суть Кыянѣ“.

Мы видим, что во всех случаях, где для летописца был выбор между древнерусской и церковнославянской формой слова, он систематически предпочитает вторую *странахъ* (а не *сторонах*), *владѣюща* (а не *володѣюща*), *единому* (а не *одиному*), *градокъ* (а не *городок*).

691. В Лаврентьевском списке „Повести“ мы имеем в соответствующей статье некоторые редакционные отличия от Новгородской её редакции, но характер языка остаётся тот же: имеем *владѣюще, единому, градъ, около града;* полногласных и других специфических древнерусских форм не имеем.

692. Но в Лаврентьевском списке эта статья предваряется вводной фразой, связывающей её с предшествующим изложением и принадлежащей, вне всякого сомнения, сводчику начала XII в. Вот эта фраза: „Полемъ же жившемъ особѣ и володѣющемъ роды своими, иже и до сее братьѣ бяху Поляне и живяху кождо...“ Здесь уже начинается общий текст. В этой вставке начала XII в. мы находим сразу две специфические древнерусские формы: *володѣющемъ* (ср. *владѣюща* в основном более древнем тексте) и *сее братьѣ* (с древнерусским

окончанием родительного падежа). В то же время в основном более древнем тексте имеем *три братия* (с церковнославянским окончанием *я*).

693. Чрезвычайно интересны показания Ипатьевского списка „Повести временных лет". Установлено, что существует три редакции „Повести". Первая (т. е. основной, первоначальный текст её) принадлежит учёному монаху Киево-Печерского монастыря Нестору; эта редакция закончена в 1113 г. Вторая редакция, составленная в 1116 г., принадлежит тоже монаху, игумену киевского Выдубецкого монастыря Сильвестру. Третья редакция составлена в 1118 г. Личность третьего редактора нам неизвестна, но зато мы знаем ту среду, в которой вращался третий редактор и по заказу которой он работал. Дело в том, что «в 1117 г. Владимир Мономах по каким-то, нам неясным, соображениям решил вызвать на юг своего старшего сына и наследника по Киеву — Мстислава, занимавшего тогда Новгородский стол. Мстислава Мономах „удержал подле себя в Киеве до самой своей смерти". Вот с этим семейным событием Мономаха находится в связи появление... третьей редакции „Повести временных лет"» [1]. „Третья редакция есть произведение, вышедшее из кругов, близких к этому князю (к Мстиславу)" [2]. „Для работы составителя этой третьей редакции „Повести временных лет" характерно значительное количество приписок в тексте второй редакции, касающихся князя Всеволода и его семьи (Всеволод был отцом Мономаха.— *Л. Я.*), что разумеется, говорит за принадлежность этой работы дому Мономаха" [3]. Вот та среда, из которой вышел автор третьей редакции „Повести временных лет"; это и отразилось в Ипатьевском её списке. Этой средой был не монастырь, а придворное окружение, „дом Мономаха". Мы знаем, что сам Мономах писал по-древнерусски (см. ниже § 702 и сл.), составленная им „летопись" написана на чистейшем древнерусском языке. Сын его Мстислав приехал из Новгорода, где церковнославянская традиция литературного языка была неизмеримо слабее, чем в Киеве. Автор третьей редакции, кто бы он ни был (возможно, и церковник), писал в духе той литературной традиции, которая господствовала в окружении Мономаха: он писал на древнерусском литературном языке. В этом направлении шла и его редакторская работа. В его редакции значительно сглажен церковнославянский налёт, сохранённый в Лаврентьевском списке. Так, имеем *городокъ* (Лавр.: *градъ*), *около города* (Лавр. *града*) [4].

---

[1] М. Д. Присёлков, История русского летописания XI — XV вв., стр. 41.
[2] Там же, стр. 41—42.
[3] Там же, стр. 41.
[4] Нужно иметь в виду, что в Ипатьевском списке „Повести", помимо руки редактора XII в., отражается ещё рука писца XV в., который, по обычаю того времени, проводил обратную тенденцию, т. е. церковнославянизировал язык своего источника. Этим и объясняется то, что Ипатьевский список „Повести" иногда даёт замечательный древнерусский язык (это — от редактора XII в.), а иногда густую церковнославянщину по сравнению с Лаврентьевским списком (это — от писца XV в.). Возможно, что были ещё и другие промежуточные переделки языка. Исследование языка Ипатьевского списка является одной из первоочередных задач истории древнерусского литературного языка.

694. Во всех списках „Повести временных лет“ непосредственно за приведённым в § 690 отрывком об основании Киева даётся статья, несомненно принадлежащая редакторам XII в. и отсутствовавшая в более древнем летописном своде: её нет в I Новгородской летописи. В этом отрывке составитель „Повести“ полемизирует с разными неправильными, по его мнению, известиями о Кие, отрицавшими его княжеское происхождение. По Лаврентьевскому списку в этом отрывке мы находим полногласные формы: *перевозникъ, перевозъ, стороны, Царюгороду, городище*. В Лаврентьевском списке находим, с другой стороны, *градокъ*, но близкие к Лаврентьевскому Радзивиловский, Академический и Троицкий списки единогласно дают форму *городокъ; городокъ* имеем и в Ипатьевском списке; поэтому нужно предполагать, что и в протооригинале всех этих списков была форма *городокъ;* далее, в Лаврентьевском списке имеем в этой статье ещё неполногласную форму *градъ*, но Ипатьевский даёт и здесь *городъ*. Сопоставление этих двух статей, стоящих в „Повести временных лет“ рядом, но отражающих её различные хронологические слои (XI и XII вв.), прекрасно иллюстрирует тот перелом в развитии литературного языка к началу XII в., о котором мы говорили выше. Если в первой статье летописец, имея возможность выбрать между церковнославянской и русской формой, выбирает всегда церковнославянскую, то во второй он выбирает уже всегда древнерусскую.

695. В составе „Повести временных лет“ имеется, между прочим, два рассказа, несомненно, фольклорного происхождения, основанные на каких-то устных народных рассказах, преданиях. Один из них, под 968 г., повествует о том, как неизвестный юноша помог спасти своею хитростью и храбростью княгиню Ольгу и её внуков из Киева, осаждённого печенегами во время отсутствия Святослава. Этот рассказ общ „Повести временных лет“ и I Новгородской летописи и восходит поэтому к более древнему по времени составления летописному материалу. Этот рассказ принадлежит к более древним слоям „Повести“. Второй рассказ, под 997 г., повествует о том, как благодаря хитрости неизвестного старца жители Белгорода были спасены от неминуемой сдачи печенегам, осаждавшим город. Этот рассказ отсутствует в I Новгородской летописи и вставлен в „Повесть“, повидимому, самим составителем её в начале XII в. Хотя оба рассказа в своих устных „оригиналах“, несомненно, излагались народным языком, их литературная обработка отличается, как небо от земли: первый рассказ, записанный в летопись, повидимому, в начале XI в., написан по-церковнославянски, в нём — ничтожное количество специфических древнерусских форм, наличие которых объясняется тем, что летописец был русский. Второй рассказ написан по древнерусски, в нём находим ничтожное количество церковнославянских форм, объясняющееся тем, что летописец был монах, воспитанный на церковнославянской книжности. Сопоставление языка этих двух рассказов служит нам прекрасной иллюстрацией тех изменений в развитии литературного языка, которые намечались на пороге XI и XII вв. Ниже мы приводим текст каждого из этих отрывков по Лаврентьев-

скому списку „Повести временных лет“ и сопоставляем особенности языка.

696. „В лѣто 6476 (=968). Придоша Печенѣзи на Руску землю первое, а Святославъ бяше Переяславци, и затворися Волга (=Ольга) въ градѣ со унуки своими, Ярополкомъ и Ольгомъ и Володимеромъ, въ градѣ Киевѣ. И оступиша градъ в силѣ велицѣ, бещислено множьство около града, и не бѣ льзѣ изъ града вылѣсти, ни вѣсти послати; изнемогаху же людье гладомъ и водою. Собравшеся людье оноя страны Днѣпра в лодьяхъ, об ону страну стояху, и не бѣ льзѣ внити в Киевъ ни единому ихъ, ни изъ града к онѣмъ. Въстужиша людье въ градѣ и рѣша: „Не ли кого, иже бы моглъ на ону страну доити и рече (=рещи) имъ: аще (не подступите заутра) кто не приступить с утра, предатися имамъ Печенѣгомъ“. И рече единъ отрокъ: „азъ преиду“, и рѣша: „иди“. Онъ же изиде изъ града с уздою и ристаше сквозѣ Печенѣги, глаголя: „не видѣ ли коня никтоже?“ бѣ бо умѣя Печенѣжьски, и мняхуть и своего. Яко приближися к рѣцѣ, сверга порты сунуся въ Днѣпръ, и побреде; видѣвше же Печенѣзи, устремишася на нь, стрѣляюще его, и не могоша ему ничтоже створити. Они же видѣвше с оноя страны, и приѣхаша в лодьи противу ему, и взяша и в лодью и привезоша и къ дружинѣ; и рече имъ: „аще не подступите заутра къ городу, предатися хотять людье Печенѣгомъ“. Рече же воевода ихъ, имянемъ Прѣтичь: „подъступимъ заутра в лодьяхъ, и попадше княгиню и княжичѣ умчимъ на сю страну; аще ли сего не створимъ, погубити ны имать Святославъ“. Яко бысть заутра, всѣдъше в лодьи противу свѣту и въструбиша вельми, и людье въ градѣ кликнуша; Печенѣзи же мнѣша князя пришедша, побѣгоша разно отъ града; и изиде Ольга со унуки и с людми к лодьѣ. Видѣвъ же се князь Печенѣжьский, възратися единъ къ воеводѣ Прѣтичю и рече: „кто се приде?“, и рече ему: „лодья оноя страны“. И рече князь Печенѣжьскии: „а ты князь ли еси?“ онъ же рече: „азъ есмь мужь его, и пришелъ есмь въ сторожѣхъ, по мнѣ идеть полкъ со княземъ, бес числа множьство“; се же рече, грозя имъ. Рече же князь Печенѣжьскии къ Прѣтичю: „буди ми другъ“; онъ же рече: „тако створю“. И подаста руку межю собою, и въдасть Печенѣжьскии князь Прѣтичю конь, саблю, стрѣлы; онъ же дасть ему бронѣ, щитъ, мечь. Отступиша Печенѣзи отъ града, и не бяше льзѣ коня напоити: на Лыбеди Печенѣзи. И послаша Кияне къ Святославу, глаголюще: „ты, княже, чюжея земли ищеши и блюдеши, а своея ся охабивъ; малы бо насъ не взяша Печенѣзи, матерь твою и дѣти твои; аще не поидеши, ни обраниши насъ, да паки ны возмуть; аще ти не жаль отчины своея, ни матере, стары суща, и дѣтии своихъ“. То слышавъ Святославъ вборзѣ всѣде на конѣ съ дружиною своею, и приде Киеву...“

697. Обратимся к языку этого рассказа. В нём решительно преобладают церковнославянские неполногласные формы. Так, имеем: *въ градѣ, въ градѣ Киевѣ, градъ, около града, изъ града, изъ града, въ градѣ, изъ града, въ градъ, отъ града, отъ града;* на эти одиннадцать случаев неполногласного *градъ* встречаем лишь один раз

къ городу, причём в I Новгородской летописи и в этом случае находим *къ граду*. Имеем: *страны, страну, страну, страны, страну, страны;* на эти шесть случаев употребления неполногласной формы *страна* (все в значении „сторона", а не „страна"!) не встречаем ни одного случая употребления полногласной формы *сторона*. Отметим ещё: *предатися* (а не *передатися*), *преиду, предатися, възратися (= възвратися), обраниши* (др.-русск. *оборониши*). Полногласие имеем в слове *сторожѣхъ* („и пришел есмь въ сторожѣхъ"); употребление здесь русской полногласной формы *сторожѣхъ* объясняется тем, что это слово было военным техническим термином и означало „передовой отряд, авангард", слово же *страж* (церк.-сл.!) употреблялось в древнерусской письменности в общем значении „стражи, охраны"; употребление одного слова вместо другого вызывало бы недоразумение. Из других церковнославянских особенностей отметим: *аз* (2 раза); древнерусские формы *язъ* и *я* вовсе не употребляются, *побѣгоша, разно* (др.-русск. *розно*); *единъ* (2 раза; др.-русск. *одинъ* не употребляется вовсе); *аще* в значении „если" (3 раза); *изиде* (с приставкой *из-* по-церковнославянской норме, а не *вы-*, но, рядом с этим *вылѣсти*, а не *излѣсти*); окончание прилагательного род. пад. ед. числа *я* (ст.-сл. ѧ): *оноя страны* (2 раза), *чюжея земли, своея* (земли), *отчины своея, матере, стары суща;* но, с другой стороны, вин. мн. на *ѣ: на конѣ* („всѣде на конѣ"), *княжичѣ*; причастные формы на *щ: стрѣляюще*. Специфически др.-русск. формой является встречающееся в этом рассказе слово *лодья* (церк.-сл. *ладии*), но церк.-сл. *ладии, ладия* если и встречается вообще в древнерусской письменности, то исключительно редко; по крайней мере в „Материалах для словаря древнерусского языка" Срезневского нет ни одного примера на слово *ладья*, между тем как слово *лодь (лодия)* иллюстрировано множеством примеров, в том числе и в чисто церковнославянских текстах (например, в Галицком четвероевангелии 1144 г. и др.); встречается *лодия* и в Олеговом договоре 912 г., написанном, как мы знаем, по-церковнославянски. Древнерусская форма *княжичѣ* стоит в нашем отрывке потому, что соответствующая церковнославянская *княжича* (ст.-сл. кнажича) совпадала бы с вин.-род. ед. числа *княжича*, между тем как княжичей, внуков Ольги и детей Святослава, было несколько. Употребление формы *княжичѣ* устраняло эту двусмысленность. Форма *на конѣ* (по древнерусской норме) объясняется, повидимому, тем, что выражение *на конѣ*, вероятно, было техническим военным термином, как современное военное (архаичное) *на конь* при обычном литературном *на коня*.

698. Обратимся теперь к тексту второго рассказа.

„В лѣто 6505 (=997) Володимеру же шедшю Новугороду по верховьниѣ воѣ на Печенѣгы, бѣ бо рать велика бес перестани, в се же время увѣдѣша Печенѣзи, яко князя нѣ ту, придоша и сташа около Бѣлагорода. И не дадяху вылѣсти из города, и бысть гладъ великъ в городѣ, и не бѣ лзѣ Володимиру помочи, не бѣ бо вои у него, Печенѣгъ же множьство много. И удолжися остоя в городѣ, и бѣ

гладъ великъ, и створиша вѣче в городѣ, и рѣша: „се уже хочемъ померети отъ глада, а отъ князя помочи нѣту; да луче ли ны померети? дадимъ ся Печенѣгомъ, да кого живять, кого ли умертвять; уже помираемъ отъ глада“; и тако свѣтъ (=совѣтъ) створиша. Бѣ же единъ старець не былъ на вѣчи томь, и въпраша: „что ради вѣче было?“ И людье повѣдаша ему, яко утро хотятъ ся людье передати Печенѣгомъ. Се слышавъ посла по старѣишины градьскыя и рече имъ: „слышахъ, яко хочете ся передати Печенѣгомъ“. Они же рѣша: „не стерпять людье глада“. И рече имъ: „послушаите мене, не передаитеся за 3 дни, и я вы что велю, створите“. Они же ради обѣщашася послушати, и рече имъ: „сберѣте аче и по горсти овса, или пшеницѣ, ли отрубеи“; они же шедше ради снискаша. И повелѣ женамъ створити цѣжь, в немьже варять кисель, и повелѣ ископати колодязь, и вставити тамо кадь, и нальяти цѣжа кадь. И повелѣ другыи колодязь ископати, и вставити тамо кадь, и повелѣ искати меду; они же шедше взяша меду лукно, бѣ бо погребено в княжи медуши; и повелѣ росытити велми и вльяти в кадь в друзѣмь колодязи. Утро же повелѣ послати по Печенѣгы; и горожане же рѣша, шедше к Печенѣгомъ: „поимѣте к собѣ таль нашь, а вы поидѣте до 10 мужь в градъ да видите, что ся дѣеть в градѣ нашемъ“. Печенѣзи же ради бывше, мняще, яко предатися хотять, пояша у нихъ тали, а сами избраша лучьшиѣ мужи в городѣхъ и послаша в градъ да розглядають в городѣ, что ся дѣеть. И придоша в городъ, и рекоша имъ людье: „почто губите себе? коли можете престояти [1] насъ? аще стоите за 10 лѣтъ, что можете створити намъ? имѣемъ бо кормлю отъ землѣ; аще ли не вѣруете, да узрите своима очима“. И приведоша я къ кладязю, идѣже цѣжь, и почерпоша вѣдромь и льяша в латки, и яко свариша кисель, и поимше придоша с ними к другому кладязю, и почерпоша сыты, и почаша ясти сами первое; потомь же Печенѣзи. И удивишася, и рекоша: „не имуть вѣры наши князи, аще не ядять сами“. Людье же нальяша корчагу цѣжа и сыты отъ колодязя, вдаша Печенѣгомъ; они же пришедше повѣдаша вся бывшая. И варивше яша князи Печенѣзьстии, и подивишася и поимше тали своя и онѣхъ пустивше, въсташа отъ града, въ свояси идоша“.

699. Различие по языку между обоими рассказами весьма существенное. В первом церковнославянские элементы решительно господствуют, а отдельные специфические русизмы имеют случайный характер; во втором — обратное: второй рассказ написан по-древнерусски, а отдельные церковнославянизмы имеют случайный характер. Они появляются, кстати, без всякой видимой мотивировки во второй половине рассказа, особенно после обращения горожан к печенегам: „поимѣте къ собѣ таль нашь“. Они являются, так сказать, церковнославянской примесью, а не органической частью лексики летописца. Остановимся сперва на взаимоотношении полногласных и неполногласных форм. От основы *город-* (церк.-сл. *град-*) имеем *Бѣлагорода, из города, в городъ, в городъ, горожане, в городѣхъ, в городѣ, в го-*

[1] В Радзивиловском и Академическом списках: *переетояти*.

родъ; на эти восемь случаев полногласия находим: *в градъ, в градъ, в градъ, отъ града* и *старѣишины градьскыя* [1]. Слово *гладъ* три раза встречается в неполногласной церковнославянской форме; возможно, что употребление неполногласной формы имеет здесь стилистическую функцию: для обозначения голода как стихийного народного бедствия, а не просто ощущения голода, взято „высокое" слово из церковного языка; о „высоком" стиле говорит и эпитет *великъ: бѣ гладъ великъ*". Голод, как и „нашествие иноплеменных", рассматривался как наказание, посылаемое богом; существовали и церковные молитвы „от глада", которые и могли непосредственно навязывать форму *гладъ* [2]. Рядом с *колодязь* (2 раза), *в... колодязи, отъ колодязя* имеем *кладязю* (2 раза) без видимой мотивировки; отметим ещё: *померети, передати (ся), передаитеся*, но также *предатися, престояти*, хотя в Радзивиловском и Академическом списках „Повести" имеем полногласное *перестояти; бес перестани.* Слово *время* было, повидимому, заимствовано в разговорный древнерусский язык. Для соответствия др.-русск. *ч* церк.-сл. *щ* сравните: *хочемъ, хочете, помочи* (глагол), *помочи* (сущ.), но *обѣщашася, мняще.* Форма *обѣчати(ся)* с *ч* по древнерусской норме если и встречалась в древнерусских памятниках, то исключительно редко; по крайней мере в „Материалах" Срезневского для собственно древнерусского периода не приведено ни одного примера на эту форму. Его примеры на *обѣчивати ся* и на *обѣчатися* относятся оба к XV в. Повидимому, церковнославянская форма с *щ* существовала в разговорном древнерусском языке как заимствование из церковнославянского, подобно тому как она существует и в современном русском языке. Наряду с *аче* в значении „хотя бы" во втором рассказе встречаем и *аще* „если". Очень характерно употребление во втором рассказе формы личного местоимения *я* (при *аз* — в первом). Приставка *роз-* употребляется в древнерусской форме: *росытити (розсытити), розглядають* (не *раз-*). Форма род. пад. ед. числа женск. рода — на *ѣ* по древнерусской норме; равно как и вин. мн.: *по верховиѣ вонь, пшеницѣ, лучшиѣ мужи, отъ землѣ;* однако в церк.-сл. слове *градьскыя* имеем и церк.-сл. *я* в окончании. Общий древнерусский характер языка второго рассказа подчёркивается ещё наличием бытовой древнерусской лексики: *медуша, цѣжь, латки, корчага* и др.

По всей совокупности языковых особенностей язык второго рассказа, в отличие от языка первого, должен быть охарактеризован как древнерусский, в котором, однако, имеется некоторая церковнославянская примесь, очень незначительная.

700. В Ипатьевском списке „Повести временных лет" (XV в.) наш рассказ подвергся значительной правке; текст значительно церковнославянизирован; так: вместо полногласных форм *город-* везде поставлены неполногласные *град-*; слово *колодязь* даётся только в непол-

---

[1] Ср. *старьци градьскиѣ* в Лавр. лет., под 987 г.

[2] Ср. у Пушкина: „Бог посылал на землю нашу глад; народ завыл, в страданьях погибая..."

ногласной форме *кладязь;* вместо *померети* (2 раза) стоит *помрети* и *умрети*, вместо *я* поставлено церк.-сл. *азъ*. Вместо др.-русск. формы *отъ землѣ* поставлено церк.-сл. *отъ земля*. Хотя ряд русизмов наличествует и в Ипатьевском списке, но совершенно очевидно общее направление его правки писцом XV в., когда церковнославянский язык снова начинает оказывать сильное влияние на развитие русского литературного языка; для книжника XV в. тот тип литературного языка, который дан в нашем втором отрывке, оказывается неприемлемым и подлежащим выправлению.

701. Мы дали здесь лишь небольшие иллюстрации по вопросу о том, как отразилось изменение типа литературного языка древней Руси (на пороге XI и XII вв.) в древнерусском летописании. Дальнейшее изложение материала по этому вопросу было бы затруднительным ввиду большой сложности необходимого анализа и критики текста „Повести" для соответствующих выводов. Но и приведённые факты достаточно убедительны.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

„ПОУЧЕНИЕ" МОНОМАХА КАК ПАМЯТНИК ДРЕВНЕРУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

702. „Поучение" Владимира Мономаха (род. 1053 г.— ум. 1125 г.) является одним из важнейших памятников древнерусской литературы и древнерусского литературного языка. Оно написано в конце XI или в первой четверти XII в. „Поучение" Мономаха написано на древнерусском, а не на церковнославянском литературном языке.

„Поучение" по своему составу сложно. Мы остановимся прежде всего на языке так называемой „летописи" Мономаха, в которой он в назидание детям и другим читателям описывает свои ратные и охотничьи подвиги.

Хотя „Поучение" Мономаха обращено в первую очередь к его детям, но оно и по замыслу, и по выполнению отнюдь не является частным документом, частным завещанием, а представляет собой подлинное литературное произведение, рассчитанное и на постороннего читателя. Сам Мономах в начале „Поучения" говорит: „Да дѣти мои или инъ кто, слышавъ сю грамотицю, не посмѣитеся..."

„Поучение" Мономаха дошло до нас в Лаврентьевском списке „Повести временных лет" под 1096 г.

703. Обратим прежде всего внимание на соотношение полногласных и неполногласных форм в „летописи" Мономаха. Приведу материал, расположенный в порядке изложения летописи.

головнѣ	„тое же зимы тои посласта Берестию брата на *головнѣ*,
	иде бяху пожгли
городъ	тои ту блюд(ох)ъ *городъ* тѣхъ
золота	и вдахъ отцю 300 гривенъ *золота*
полонъ	а се мечи и *полонъ* весь от(ъ)яхомъ

городъ	изъѣхахомъ *городъ*, и не оставихомъ у него ни челядина, ни скотины
передъ	и на весну посади мя отець в Переяславли *передъ* братьею
городу	и ѣдучи к Прилуку *городу*
напередъ	но оружье бяхом услали *напередъ* на повозѣхъ
городъ	и внидохомъ в *городъ*
городъ	и потомь на Торческый *городъ*
сторонѣ	и паки на тои же *сторонѣ* у Красна Половци побѣдихомъ
перевоза	и ѣхахомъ сквозѣ полкы Половьчскиѣ... и с дѣтми и с женами, и облизахутся на насъ акы волци стояще, и отъ *перевоза* и з горъ
невредени	богъ и святый Борисъ не да имъ мене в кориcть, *невредени* доидохомъ Переяславлю
голода	многы бѣды прияхомъ отъ рати и отъ *голода*
переѣздилъ	днемъ есмъ *переѣздилъ* до вечерни
чередамъ	исѣкъ, вметахъ в ту рѣчку въ Славлии; по *чередамъ* избьено не съ 200 в то время лѣпшихъ
время	см. предыдущий пример
молодыхъ	и инѣхъ кметии *молодыхъ* 15
невредена	и богъ *невредена* мя съблюде
голову	*голову* си розбихъ дважды
вередихъ	и руцѣ и нозѣ свои *вередихъ*
вередихъ	въ уности своеи *вередихъ*
головы	ни щадя *головы* своея
потребна	и не лѣнива мя былъ створилъ (богъ), худаго, на вся дѣла человѣчьская *потребна*

704. Из 24 случаев, приведённых в предыдущем параграфе и исчерпывающих весь соответствующий материал „летописи“, только в трёх случаях: *в то время* (= тогда), *невредени*, „невредимы“ и *невредена* мы имеем неполногласные формы. При этом выражение *в то время*, как и самое слово *время* могло бытовать в повседневном разговорном языке образованных людей Киева, как заимствование из церковнославянского, уже обрусевшее (ср. *время* в современном литературном языке). Для автора, повидимому, в этом случае не было выбора между полногласной и неполногласной формой; он употребил единственно ему свойственную неполногласную форму *время*, как употребляет её каждый из нас. Что касается форм *невредени*, *невредена*, то, повидимому, с этим словом были связаны какие-то религиозные ассоциации — в том смысле, что своей невредимостью после испытанных опасностей человек обязан богу; на это определённо указывает контекст, в котором появляются эти два слова в „летописи“ (см. в предыдущем параграфе); с другой стороны, когда речь идёт о совершенно конкретном членовредительстве („и руцѣ и нозѣ свои вередихъ“), этот же корень употребляется в полногласной форме. Как бы то ни было, как видно из приведённого материала, древнерусские полногласные формы в „летописи“ Мономаха совершенно подавляющим образом преобладают над церковнославянскими неполногласными, хотя перед автором и была возможность, как это мы и встречаем в других

текстах, написать вместо *городъ — градъ*, вместо *голодъ — гладъ*, вместо *золото — злато*, вместо *молодыхъ — младыхъ* и т. п.

705. Отметим соотношение форм с *ч* в соответствии с церковнославянским *щ* (за исключением причастных форм).

помочь (церк.-сл. *помощь*) та к Новугороду на весну Глѣбови в *помочь*

тысячь и срѣтоша ны внезапу Половечьскыѣ князи 8 *тысячь*

дчерь створихомъ миръ съ Аепою, и поимъ у него *дчерь*

ночь то самъ есмь створилъ дѣла на воинѣ и на ловѣхъ *ночь* и день

Как видим, в этой категории слов форм с *щ* вовсе нет.

Особо укажем на соотношения *щ* и *ч* в причастных формах.

ѣдучи и *ѣдучи* к Прилуку городу

вдадуче бишася дружина моя с нимь... и не *вдадуче* имъ въ острогъ

горящихъ съжаливъ си хрестьяныхъ душь и селъ *горящихъ* и манастырь

стояще и ѣхахомъ сквозѣ полкы Половьчскиѣ не в 100 дружинѣ, и с детми и с женами и облизахутся на насъ акы волци *стояще*

терпяче и потомь ходихомъ къ Володимерю на Ярославця, не *терпяче* злобъ его.

Горящих с *щ* употреблено потому, что форма *горячих* (с *ч*) имела бы значение прилагательного, как и в современном русском языке. В древнерусской письменности употребляется и прилагательное *горячий:* ср. в Лаврентьевском списке „Повести временных лет“ под 992 г. „И налѣзоша быкъ великъ и силенъ, и повелѣ раздраждити быка; возложиша на нь желѣза *горяча,* и быка пустиша...“ Здесь была бы невозможна форма *горяща* (с *щ*). Форма *стояще* (вместо *стояче*), возможно, навеяна всем предшествующим риторическим оборотом, подсказавшим церковнославянский, стилистический „высокий“ вариант причастия: *облизахутся акы волци (стояще).*

Ср.: *Прочитаюче сю грамотицю прочитаючи*
славяще славяще бога с святыми его
бояче смерти бо ся дѣти не боячи

Мы видим, таким образом, что и в этом случае древнерусские формы с *ч* подавляющим образом преобладают над формами с *щ* (при этом употребление форм с *щ* находит себе объяснение в контексте), хотя и здесь перед автором была возможность, если бы в его литературном языке была установка на церковнославянщину, написать *помощь, тысящь, дщерь, нощь* и др.

706. В соответствии с церковнославянским *е* в начале слова имеем в летописи только *о*, равно как в соответствии с церковнославянским *ю — у:*

одиного толко Семцю яша *одиного*

одиного и миров есмъ створилъ ... безъ *одиного* 20

оленъ *олень* мя одинъ болъ

одинъ см. предыдущий пример
осень и на ту *осень* идохомъ... к Мѣньску
уности въ *уности* своеи вередихъ

Отметим типичные (по сравнению с церковнославянскими ***я, а;*** ст.-сл. **а**) древнерусские флексии на ***-ѣ*** (***>е***) в род. ед. ж. р.:

тое же зимы *тое же зимы* тои посласта брата
тое ночи и бѣжаша на Сулу *тое ночи*
с Вороницѣ идохомъ другое с *Вороницѣ*

Но имеем и

головы своея не щадя *головы своея*

Вин. множ.:

Вятичѣ идохъ сквозѣ Вятичѣ
на головнѣ посласта Берестию брата на *головнѣ*
вежѣ с Ростиславомъ же у Варина *вежѣ* взяхомъ
половьчскиѣ ѣхахомъ сквозѣ полкы *половьчскиѣ*
своѣ а дая скота много и многы порты *своѣ*
дикиѣ ималъ есмъ своима рукама тѣже кони *дикиѣ*

Но имеем и (им. множ.):

другия идохомъ на вои ихъ за Римовъ и богъ ны поможе, избиша и, а *другия* поимаша

В окончании род. пад. ед. числа прилагательных мужск. рода как будто преобладает флексия ***-аго,*** господствовавшая, впрочем, на письме и в старой нашей орфографии (до 1917 г.):

Чешьскаго ходивъ ... до *Чешьскаго* лѣса
сѫтго на *сѫтго* Бориса (под титлом, вероятно, *святаго*)
худаго *худаго* смерда и убогыѣ вдовицѣ,
грѣшнаго иже мя *грѣшнаго* и *худаго* селико лѣтъ сблюдъ
худаго и не ленива мя былъ створилъ *худаго*
церковнаго и *церковнаго* наряда и службы самъ есмъ призиралъ

707. Флексия ***-аго*** (и *худаго* и *грешнаго*) объясняется тем, что это словосочетание (*худый* и *грешный*) и каждое из них в отдельности является обычнейшим в церковнославянской фразеологии выражением самоуничижения, христианского смирения: ср. в самом начале „Поучения“ Мономаха: „Азъ, худый, дѣдомъ своимъ Ярославомъ благословленымъ славнымъ нареченѣмь въ крещении Василии, русьскымь именемь Володимиръ“; и несколько дальше: „и похвалихъ бога, иже мя сихъ дневъ грѣшнаго допровади“. Церковнорелигиозные ассоциации, связанные с этими словами, способствовали употреблению церковнославянской флексии. Флексия ***-аго*** в *церковнаго* понятна без комментариев.

Наряду с ***-аго*** встречаем в „летописи“ не в церковнорелигиозном контексте и флексию ***-ого:***

живого только Семцю яша одиного *живого*

Количество примеров на флексию род. ед. прилагательных мужск. рода настолько незначительно, и они так однообразны лексически, что делать какие-нибудь выводы на основании их не приходится.

708. В „летописи“ употребляется древнерусская форма личного местоимения 1-го лица:

я а *я* с Половци на Одрьскъ воюя
язъ и *язъ* паки Смолиньску
язъ оже бо *язъ* от рати и от звѣри и от воды от коня спадаяся

Но встречается и церковнославянское *азъ*:

азъ и *азъ* всѣдъ съ Черниговци
азъ и *азъ* шедъ съ Черниговци

Дательный падеж местоимения возвратного только с ***о*** по древнерусской норме:

к собѣ и возвахъ и къ *собѣ*
собѣ не дая *собѣ* упокоя

Особо отметим такую характернейшую живую древнерусскую форму, как

уганивал (с суффиксом ***-ива-***) а и-Щернигова вышедъ и д(осег) о лѣта по сту *уганивалъ*

709. Очень любопытно употребление в „летописи“ Мономаха форм аориста, с одной стороны, и перфекта — с другой. В живом разговорном древнерусском языке в XI в. аорист выходил из употребления. Но в древнерусском литературном языке формы аориста (и имперфекта) продолжали употребляться. Они стали как бы грамматическими признаками литературного языка, языка книжности, в отличие от разговорного языка, с одной стороны, и от языка нелитературной письменности (например, языка юридических документов, грамот) — с другой. Возможно, что церковнославянский язык способствовал в той или иной мере сохранению употребления аориста и имперфекта в древнерусском литературном языке, но считать употребление аориста и имперфекта церковнославянизмами в древнерусском литературном языке было бы неосмотрительно, так как аорист и имперфект употребляются и в таких памятниках древнерусского литературного языка, в которых церковнославянское влияние ничтожно (как, например, и в „летописи“ Мономаха). С другой стороны, формы аориста и имперфекта сохранялись, повидимому, и в древнерусском устном литературном языке; на это указывает систематическое употребление форм аориста и имперфекта в „Слове о полку Игореве“, которое по языку стоит в теснейшей связи с устным народным эпосом. Аорист и имперфект являются, таким образом, не церковнославянизмами, а архаизмами в древнерусском литературном языке XII и последующих веков, архаизмами по отношению к живому разговорному языку этого времени.

По устному сообщению проф. Л. В. Щербы, аналогичное явление мы находим в лужицком языке, где формы аориста, вышедшие

из употребления в живой речи, сохранились, однако, в народной поэзии. Различие между разговорным и литературным языком по возможности употребления или неупотребления некоторых форм прошедшего времени мы находим, например, в современном французском языке, где *passé défini* и *imparfait* являются грамматическими признаками литературного языка и в живой разговорной речи невозможны.

Сохранение аориста и имперфекта происходило, несомненно, в повествовательных жанрах литературного языка, где общеславянская сложная система прошедших времён являлась особенно уместной.

710. В своей „летописи", за исключением описания охотничьих подвигов, Мономах систематически употребляет аорист; примеров нет смысла приводить, их очень много. Случаев употребления перфекта (со связкой) ничтожно мало — всего три, причём все они сгущены на протяжении нескольких строк: „днемъ есмъ *переѣздилъ* до вечерни; а всѣхъ путии 80 и 3 великихъ, а прока не испомню меншихъ, и миров ъ *есмъ створилъ* съ Половечьскыми князи безъ одиного 20 и при отци и кромѣ отца, а дая скота много и много порты своѣ; и *пустил есмъ* Половечскыхъ князь лѣпшихъ изъ оковъ..."

Больше примеров перфекта в этой части „летописи" нет.

Другое дело в описании охотничьих подвигов. В этой части, занимающей 18 строк печатного издания, на 8 случаев аориста имеем 11 случаев перфекта:

ловил есмъ всякъ звѣрь
а се в Черниговѣ *дѣял есмъ*
конь дикихъ своима рукама *связалъ есмь*
по Рови ѣздя *ималъ есмь*...
тура мя 2 *метала*
олень мя одинъ *болъ*
одинъ ногами *топталъ*
а другыи рогома *болъ*
вепрь ми на бедрѣ мечь *оттялъ*
медвѣдь ми у колѣна подъклада *укусилъ*
лютыи звѣрь *скочилъ* ко мнѣ на бедры

Накопление перфектов в описании охотничьих подвигов имеет, по-моему, стилистическое значение. Воспоминания об охотничьих подвигах были, повидимому, наиболее живыми и дорогими воспоминаниями старика Мономаха, писавшего „поучение детям", и в описании этих живых и дорогих для него охотничьих развлечений, удач и невзгод он отходит от книжного стиля, максимально сближая своё изложение с живым разговорным языком, как бы забывая о необходимости выдерживать, согласно сложившейся традиции, аористные формы; любопытно, что и самое повествование его в описании охотничьих подвигов становится более порывистым, более энергичным, чем в предшествующем изложении. Чтобы не быть голословным, приведу соответствующий отрывок из „летописи".

„А се тружахъся ловы дѣя: понеже сѣдохъ в Черниговѣ, а и-Щернигова вышедъ, и д(о сег)о лѣта по сту уганива(лъ) и имь даромъ

всею силою кромѣ иного лова, кромѣ Турова, иже со отцемь ловилъ есмъ всякъ звѣрь. А се в Черниговѣ дѣялъ есмъ: конь дикихъ своима рукама связалъ есмь въ пушахъ 10 и 20 живыхъ конь, а кромѣ того иже по Рови ѣздяималъ есмъ своима рукама тѣже кони дикиѣ. Тура мя 2 метала на розѣхъ и с конемъ, олень мя одинъ болъ, а 2 лоси, одинъ ногами топталъ, а другыи рогома болъ, вепрь ми на бедрѣ мечь оттялъ, медвѣдь ми у колѣна подъклада укусилъ, лютыи звѣрь скочилъ ко мнѣ на бедры и конь со мною поверже; и богъ невредена мя съблюде".

711. Сначала в этом отрывке идут аористические формы: *тружахъся, сѣдохъ,* затем автор переходит к перфекту — *ловилъ есмъ* и др. и, далее, в описании столкновений с различными опасными животными — турами, оленем, лосями, медведем и лютым зверем (тигром?), там, где повествование становится напряжённым и взволнованным: *метала, болъ, топталъ, болъ, оттялъ, укусилъ, скочилъ.* В конце отрывка автор возвращается к формам аориста, характерным для его начала: *поверже, съблюде,* т. е. традиционно-книжный характер изложения восстанавливается. Это наблюдение над языком описания охотничьих подвигов интересно не только для характеристики стилистических особенностей „летописи" Мономаха и, следовательно, его „Поучения" в целом, но ещё и потому, что оно совершенно неопровержимо доказывает тожество грамматических значений аориста и перфекта в древнерусском литературном языке в конце XI — начале XII в. В самом деле, в предложении, например; *лютый звѣрь скочилъ ко мнѣ на бедры и конь со мною поверже,* значение перфекта *скочилъ* и аориста *поверже,* как форм прошедшего времени,— тожественны. Тожественны по своему значению формы аориста и перфекта и на всём протяжении. Ясно, что лишь одна из этих тожественных грамматических форм могла быть живой, активной формой разговорной речи; это, как показывает дальнейшая её судьба, была форма перфекта; форма же аориста была уже мёртвой в разговорной речи и существовала лишь как особенность литературного языка.

712. Приведённый выше материал с полной определённостью доказывает, что летопись Мономаха действительно написана на древнерусском литературном языке, а не на церковнославянском, и что количество церковнославянизмов в ней совершенно ничтожно. Но значение „летописи" заключается не только в том, что она является одной из ярких памятников древнерусского литературного языка и одним из доказательств (поскольку это приходится доказывать) его отдельного, особого от церковнославянского литературного языка, существования. Значение „летописи" Мономаха заключается ещё в том, что её писал образованный человек, хорошо знакомый с книжной церковнославянской литературой, хорошо знающий церковнославянский язык. Следовательно, автор писал по-древнерусски не потому, что он не умел писать по-церковнославянски, а потому, что он хотел писать именно по-древнерусски и избегал даже механически вводить в свой

текст отдельные церковнославянские слова, как это мы находим в некоторых других памятниках древнерусской литературы. Значение „летописи" Мономаха возрастает при сопоставлении её языка с другими составными частями его „Поучения". К этим другим составным частям „Поучения" мы сейчас и обратимся, оставив пока в стороне цитаты из псалтыри и др. Дальнейший анализ начнём со слов „си словца прочитаюче..., т. е. с начала собственно поучения".

713. Та часть „Поучения" Владимира Мономаха, которая является собственно поучением, обращённым к детям, начинается со слов „си словца прочитаюче" и тянется вплоть до начала „летописи"; она предварена религиозными размышлениями с обильными цитатами из библии. Обратимся к языку собственно „поучения".

Полногласные и неполногласные формы

бес престани „Господи помилуи" зовѣте *бес престани*

блгословленье взимаите от них (епископов, попов и игуменов) *блгословленье*

хороните и в земли не *хороните*, то ны есть великъ грѣхъ

молодыя старыя чти яко отца, а *молодыя* яко братью

сторожь и *сторожь* сами наряживаите

брашномъ чтите гость... аще не можете даромъ (подарком) — *брашномъ* и питьемъ

власти жену свою любите, но не даите имъ надъ собою *власти*

сорома и мнѣ будеть бе-(= без) *сорома* и вамъ будеть добро

Формы с *ч* и *щ*

ночь не грѣшите ни одину же *ночь*

мочи а ли вы ся начнеть не *мочи*

ночь и *ночь*, отвсюду нарядивше около вои, тоже лязите

привѣчавше человѣка не минѣте, не *привѣчавше*, добро слово ему дадите

лечи или *лечи* спати: спанье есть отъ бога присужено полудне

Союз *аще* употребляется только в церковнославянской форме с *щ* (встречается 8 раз). Союз *аще* и является единственным примером формы с *щ* в этой части „Поучения". Больше таких примеров имеем в причастных формах.

Причастные формы

прочитаюче си словца *прочитаюче*, дѣти моя...

рекуще аще вы богъ умякчить сердце, и слезы своя испустите о грѣсѣхъ своихъ, *рекуще:* „яко же блудницю и разбойника и мытаря помиловалъ еси, тако и насъ грѣшныхъ помилуи"

ѣздяче аще и на кони *ѣздяче* не будеть ни с кымъ орудья

могуще всего же паче убогыхъ не забывайте, но елико *могуще* по силѣ кормите

молвяче Рѣчь *молвяче*, и лихо и добро, не кленитеся богомь, не хреститеся, нѣту бо ти нужа никоеяже

приходящии да не посмѣются *приходящии* к вамъ и дому вашему, ни обѣду вашему

ходяще куда же *ходяще* путемъ по своимъ землямъ

мимоходячи ти бо *мимоходячи* прославять человѣка по всѣмъ землямъ

умѣючи его же *умѣючи*, того не забывайте доброго

восходящю потомъ солнцю *въсходящю*

творяще добрѣ же *творяще*, не мозите ся лѣнити

Причастия-прилагательные на ***-щии*** можно не принимать во внимание; они не являются церковнославянскими в собственном смысле этого слова, привнесёнными в своё сочинение самим Мономахом; они были заимствованы, как категория, в древнерусском литературном языке и, несомненно, бытовали и в разговорном языке образованных людей; параллельные древнерусские формы на ***-чии*** если и существовали, то имели значение прилагательных; ср. то, что сказано выше (§ 705) о слове *горящий*. Из восьми примеров остальных причастных форм (употребляющихся уже в „наречном" деепричастном значении) мы имеем четыре церковнославянских (с ***щ***) и четыре русских (с ***ч***).

714. Церковнославянских форм с начальными ***ра, ла, е*** в этой части „Поучения" вовсе нет, но встречаются древнерусские:

розглядавше а оружья не снимаите с себе вборзѣ не *розглядавше* лѣнощами, внезапу бо человѣкъ погыбаеть

одину не грѣшите ни *одину* же ночь

Что касается соотношения флексий на ***-ъ*** (древнерусское) и на ***-я*** (церковнославянское; ст.-сл. ѧ), то в род. ед. имён существительных женского рода имеем:

душѣ своеѣ да не погубите... *душѣ своеѣ*

лжѣ *лжѣ* блюдися и пьяньства,

но имеем также и:

нужа никоея же нѣ ту бо ти *нужа никоея же*

душа никакоя же а *душа* не погубляите *никакоя же*

В винительном падеже множественного находим всего лишь один пример (и притом с ***ѣ***):

сторожѣ и *сторожѣ* сами наряживаите

В родительном единственном прилагательных и причастий мужского рода

давшаго похвалите бога, *давшаго* намъ милость свою

худаго и се отъ *худаго* моего безумья наказанье

доброго его же умѣючи, того не забываите *доброго*

715. Мы видим, таким образом, что и собственно „поучение", обращённое к детям, написано по-древнерусски. Правда, количество церковнославянских элементов в нём больше, чем в „летописи", но это объясняется тематикой „Поучения", где, особенно в первой части, Мономах даёт множество религиозно-нравственных советов. Это особое, по сравнению с „летописью", содержание „Поучения", несомненно, активизировало тот запас церковнославянских слов и оборотов, который был известен Мономаху, как человеку начитанному в церковных книгах. Таким образом, некоторое увеличение церковнославянизмов в „Поучении" имеет стилистическое значение. В иных случаях церковнославянское оформление слова непосредственно подсказывается контекстом; ср., например, *бес престани, рекуще* (§ 713), *давшаго* (§ 714) и др. Впрочем, контекст не обязательно вызывает появление церковнославянского оформления слова, потому что Мономах пишет вообще по-древнерусски; он только создаёт предпосылку для этого.

С другой стороны, церковнославянизмы появляются и там, где непосредственного религиозного контекста нет; поэтому увеличение церковнославянизмов в „Поучении" по сравнению с „летописью" нужно относить скорее за счёт характера содержания „Поучения" в целом.

716. В иных случаях Мономах не мог употребить в „Поучении" древнерусский вариант данного слова за его отсутствием: так, рядом с церк.-сл. *благословение* никакого *болгословения* не было. В иных случаях употребление церковнославянского слова определяется семантической дифференциацией: русский и церковнославянский варианты имеют или закрепляются за разными значениями; в этих случаях церковнославянский вариант заимствуется в древнерусский язык, обогащая его лексику. Так, например, уже в древнерусском языке заимствуется церковнославянское *власть* в значении „власти", а древнерусское *волость* закрепляется для обозначения территориальной единицы. В этом смысле нужно понимать употребление Мономахом слова *власть* (см. § 713). Аналогично обстоит дело со словом *брашно* (см. § 713) — „еда вообще, пища"; древнерусское *борошно* имело значение „мука, ржаная мука".

717. Древнерусский, а не церковнославянский характер языка собственно „Поучения" и летописи очень ярко подчёркивается теми местами „Поучения", где наличествует непосредственно религиозная тематика, где мы имеем чисто религиозные размышления или молитвенные обращения. Не только многочисленные цитаты из церковно-религиозных книг переданы по-церковнославянски, но и самостоятельные размышления Мономаха на религиозные темы. В написанном в целом по-древнерусски произведении Мономаха церковнославянский язык занимает, таким образом, специальное место, выполняет специальную функцию, уже выступая как некая стилистическая разновидность древнерусского языка и теряя значение самостоятельного литературного языка. Приведу в качестве примера один отрывок из вводной части „Поучения", где как раз Мономах предаётся религиозным размышлениям. По своему характеру язык этого отрывка

резко отличен от разобранных нами выше частей „Поучения". Этот отрывок начинается со слов: „Поистинѣ, дѣти моя", и непосредственно примыкает к собственно „Поучению".

премилостивъ	како ти есть человѣколюбець богъ милостивъ и *премилостивъ*
владѣя (а не *володѣя)*	а господь нашь, *владѣя* и животомъ и смертью...
врагы (а не *ворогы*)	господь нашь показалъ ны есть на *врагы* побѣду
главы	господь... согрѣшенья наша выше *главы* нашея терпить
привлачить	Господь... яко отець, чадо свое любя, бья, и пакы *привлачить* е...

Имеем во всём отрывке (около 40 строк) всего лишь одну полногласную форму *голодъ*

хощемъ	*хощемъ* и пожрети и кровь его прольяти вскорѣ
суще	мы человѣци, грѣшни *суще* и смертни...
имѣюще	егда же не повелиши (т. е. бог) имъ, языкъ же *имѣюще* онемѣють

Форм с *ѣ* по древнерусской норме вовсе нет.

разумѣите	*разумѣите,* како ти есть человѣколюбець богъ
разумъ	никакѣже *разумъ* человѣческъ не можеть исповѣдати чюдесъ твоихъ

велии (др.-русск. *великъ*) *велии* еси, господи, и чюдна дѣла твоя

Церковнославянская лексика и фразеология переполняет этот отрывок. Однако кое-где встречаются и специфические древнерусские образования: *одинъ, одиной, рознолични, собѣ* и др. Этот отрывок примыкает по языку к выпискам из церковных книг, имеющимся в вводной части „Поучения". Такой же характер языка имеет и 7 строк „Поучения", начинающиеся воззванием Мономаха к самому себе „О многострастныи и печалны азъ"; это воззвание резко противостоит по интонации предшествующим строчкам, написанным в тоне непринуждённой беседы с обращением к детям: „Смерти бо ся, дѣти, не боячи..." и т. д., в этих предшествующих строчках находим такие древнерусские формы, как *боячи* (а не *бояще), язъ* (а не *азъ),* союзы *оже* и *оче;* в тексте заключительных строк уже в первой фразе находим церковнославянское *азъ* и, несомненно, позаимствованное из церковнославянской фразеологии слово *многострастный;* в дальнейшем тексте заключения (имеющего всего шесть с небольшим строк) встречаются 4 цитаты из библии и специфические церковнославянские образования: *сущи, предъ* и др.

718. Вслед за „Поучением" Владимира Мономаха в Лаврентьевском списке летописи под тем же 1096 г. помещено его же письмо к князю Олегу Святославовичу; оно было писано в 1098 г. после Муромского сражения, в котором был убит сын Владимира Изяслав;

в письме Владимир предлагает Олегу, виновному в смерти его сына, помириться. Язык письма Мономаха по своему характеру тот же, что и в „Поучении". В первой части письма, изобилующей увещеваниями и написанной „высоким" торжественным тоном встречаются церковнославянские слова; заметно влияние церковной фразеологии.

Два раза встречается церковнославянская форма местоимения 1-го лица — *азъ: „азъ* видѣхъ смѣренье сына своего, сжалихси, и бога устрашихся"; *„азъ* человѣкъ грѣшенъ есмь паче всѣхъ человѣкъ". Два раза встречаем *хощеть,* оба раза по отношению к богу; два раза употреблён инфинитив *рещи,* оба раза в сугубо церковнославянском контексте; в этом же контексте — причастные формы *стояще* и *вникнущи.* Формы с *ч* представлены лишь одним случаем: „дьяволъ бо не *хоче* (без оформления *ть*!) добра роду человѣчскому". Из церковнославянской лексики отмечу ещё *претерпѣ, владѣя* и др.

Во второй части письма, в которой Мономах переходит от общих увещеваний к конкретным предложениям, стиль его несколько снижается и церковнославянских элементов становится гораздо меньше. Причастий на *щ* вовсе нет, но читаем: „хлѣбъ *ѣдучи* дѣдень; аки горлица на сусѣ древѣ *желѣючи*"; глагол *хочю* трижды употреблён с *ч (хочю, хочю, хочеши),* но один раз *хощеши.* Употребляется только древнерусская форма местоимения *язъ.* Трижды употреблены неполногласные формы: *прежде, обратиши* и *древо.* Но слово *прежде* издавна вошло в разговорный язык образованных людей, а отсюда получило широкое распространение в народных диалектах; распространено в диалектах и слово *древо.*

719. Вслед за письмом Мономаха в летописи под тем же годом помещён довольно обширный текст с чисто религиозным содержанием, который, по мнению акад. Истрина и других, переписан писцом Лаврентьевского списка из той же рукописной тетрадки, в которой он нашёл „Поучение" и письмо Мономаха; весьма вероятно, что этот текст был записан Мономахом. Как бы то ни было, нельзя было бы найти лучшего образца литературного изложения, совершенно отличного от того, который мы имеем в „летописи" и в собственном „Поучении" Мономаха. Проанализируем этот текст.

Неполногласные формы: *възбрани, благая, презри, препѣтая, непрестаи, градъ, схрани, брани, препѣтая, пресвятого, плѣненья, вражья, градъ, прегрѣшенья, презри* и пр. Случаев полногласия нет ни одного. Нет вовсе форм с *ч,* но многочисленны формы с *щ,* в том числе причастные. Местоимение 1-го лица *азъ.* Вся фразеология отрывка ориентирована на церковнослужебные тексты.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О ЯЗЫКЕ „СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ"

720. „Слово о полку Игореве" является самым замечательным памятником древнерусского литературного языка. „Слово" является подлинно народным произведением искусства. Это не нужно по-

нимать в том смысле, что оно есть простая запись народноэпического произведения (былины) XII в. Совершенно бесспорно, что авторство „Слова" принадлежит определённому лицу, высокообразованному человеку, прекрасно знакомому с книжной литературой своего времени, наделённому огромным поэтическим талантом. „Слово" является подлинно народным произведением прежде всего потому, что автор его воодушевлён общенародной идеей борьбы с насильниками-кочевниками и что смысл его поэмы — „призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монголов" (Маркс). Эта народная идея, народный „смысл" поэмы приводит автора к народной эпической поэзии как к источнику вдохновения, к её мироощущению, её образам, её языку. По основам своего языка автор „Слова" продолжает традицию устного народного литературного языка, существовавшего задолго до возникновения письменности в творениях народных певцов. Но автор „Слова" использует и отдельные элементы церковнославянского языка, получившего высокую литературную обработку в литературе XI—XII вв. Иначе и быть не могло. Писатель XII в., человек своего времени, поэма которого „носит христиански-героический характер" (Маркс), не мог, конечно, избежать влияния церковнославянского языка, явившегося продуктом развития на Руси христианской византийской культуры и проводником этой культуры. Но церковнославянские элементы в „Слове" ассимилированы русской народной стихией языка, поставлены ей на службу. Изучение церковнославянских элементов в „Слове" представляет глубокий интерес для истории древнерусского литературного языка.

721. Анализ языка „Слова" представляет значительные трудности. Текст „Слова" дошёл до нашего времени в единственном списке и притом в списке позднем (повидимому, конца XV — начала XVI в.). Но список этот сгорел во время московского пожара 1812 г., и мы располагаем в качестве источника лишь первым печатным изданием „Слова", сделанным Мусиным-Пушкиным в 1800 г., и копией принадлежавшего ему списка, сделанной для Екатерины II.

722. Несомненно, что на протяжении своей длительной истории, с XII по XV—XVI вв., текст „Слова" мог подвергаться некоторым видоизменениям под пером поздних переписчиков. К счастью, эти видоизменения были не столь значительны, как можно было бы ожидать. Но всё же они были и как раз в сторону некоторой церковнославянизации текста в период с конца XIV, в XV и в первой половине XVI в.

723. В это время русская литература испытала сильное южнославянское влияние, и русские книжники, подражая южнославянским церковнославянским образцам, стремились церковнославянизировать многие тексты, написанные на древнерусском литературном языке, заменяя в них древнерусские слова и формы, с большей или меньшей последовательностью, словами и формами церковнославянскими. Такой обработке подверглись древнерусские летописные тексты, „Русская правда"; не избежало её и „Слово о полку Игореве". Правка „Слова" отличалась непоследовательным и случайным характером, и переписчик XV—XVI вв. не исказил основной русской народной сущности

языка „Слова". В некоторых случаях эти новые, не свойственные древнейшему тексту церковнославянизмы „Слова" легко снимаются.

724. Рука книжника XV—XVI вв. сказывается прежде всего в орфографии „Слова", непоследовательно выправленной им по господствовавшей у нас в это время южнославянской орфографической моде; сюда относится, например, проявляющееся кое-где смешение букв *ъ* и *ь*, *ы* и *и*, опущение йотации перед *а*, написания *рѣ, лѣ, рь* вместо *ор, ол, ер* из древнерусских *ър, ъл, ьр* и др. В связи с этим находим в „Слове" такие написания, как *плъку, прѣсты* (вм. *пьрсты*), *наплънився, бръзыя, връху* (вм. *вырху*) *чрьныя* (вм. *чьрныя*); иногда, в связи с тем что переписчик (а может быть, и издатель 1800 г.) стремился прояснить *ъ* и *ь* (т. е. заменить *ъ* через *о*, а *ь* через *е*), находим в „Слове" совершенно дикие написания, вроде *сморци* из *смьрчи* (с цоканьем, которое характеризует наш список): здесь в силу замены *ь* через *ъ* получилось написание *смърци*, а с прояснением *ъ* в *о* — *сморци!* или: *простршася* вместо *простьршася*, где замена *ь* через *ъ*, перестановка гласного и прояснение *ъ* в *о* дали ни в каком славянском языке или диалекте не существующее, совершенно искусственное слово. Южнославянской орфографической модой объясняются и такие написания, как *Ярославнынъ, полунощы* и др. (с меной *ы* на *и* и обратно); *вѣщица, граахуть* и пр. (с отсутствием йотации перед *а*). Непоследовательность орфографической правки книжников XV—XVI вв. явствует, например, из того, что, опуская в иных случаях йотацию перед *а*, они во многих других случаях её сохраняют; так, они пишут *с зараниа*, но и *с зарания, сиа*, но и *тоя, веселиа*, но и *величия, нелюбия, граахуть*, но и *граяхуть, възграяху*. Эту непоследовательность орфографической правки нельзя приписать издателям первого издания „Слова"; она принадлежала писцу списка, так как, например, все случаи отсутствия йотации принадлежат не только первому изданию „Слова", но и копии, сделанной со списка Мусина-Пушкина для Екатерины II. Это замечание о непоследовательности работы писца нам понадобится в дальнейшем.

725. Гораздо большее значение, чем указанные выше и другие примеры орфографических изменений в первоначальном тексте „Слова", произведённых писцом (или писцами?) XV—XVI вв., имеет для нас почти систематическая замена *жс* (чередующегося с *д*) посредством соответствующего церковнославянского сочетания звуков *жд*. Именно в эпоху южнославянского влияния XV—XVI вв. сочетание *жд* сделалось одним из наиболее ярких фонетико-лексических показателей книжного литературного языка по сравнению с „просторечием". В древнейшей русской письменности, в том числе и в XII в., при переписке даже церковных книг оно систематически вытеснялось написанием *жс*. Наоборот, в XV — XVI вв., увлечённые церковнославянщиной русские книжники иногда заменяли через *жд* написание *жс* даже тогда, когда это *жс* не чередовалось с *д*, когда по-церковнославянски в данном слове было *жс*. В тексте XII в. не могло быть так полно проведено написание *жд*, как это мы имеем в известном нам тексте; замена *жс* через *жд* в известном нам тексте принадлежит писцу

XV — XVI вв. Приведём соответствующий материал из „Слова“: *порождено, междю, прихождаху, нужда, вижду, побѣждаютъ, жаждею*. Даже *Дажь-бог* выступает один раз в форме *Даждь-бог*, между тем как *ж* в этом названии происходит из *г* и никаких оснований для написания *жд* здесь нет. Неуклюжая церковнославянизация ярко выступает в форме *междю:* в оригинале, которым пользовался наш писец, было, несомненно, написание *межю;* желая оцерковнославянить это написание, писец механически заменил *ж* через *жд,* но сохранил букву *ю,* которая в церковнославянском *между* не могла иметь места, так как церк.-сл. *жд* произносилось твёрдо.

726. „Задонщина“ (1470 г.), переписанная в самый разгар южнославянского влияния, не имеет, однако, никаких признаков южнославянской орфографии и не отражает свойственных этому времени стремлений оцерковнославянить текст. Автор „Задонщины“ (конец XIV — начало XV в.) и переписчик её древнейшего списка продолжают писать в традициях древнерусского литературного языка. Известно, что автор „Задонщины“ писал под сильнейшим влиянием „Слова о полку Игореве“, заимствуя из „Слова“ его образы и целые выражения, почти цитируя „Слово“. Автор „Задонщины“ располагал текстом „Слова“ более древним, чем тот список XV — XVI вв., которым располагаем мы. Вероятно, текст этого списка и определил характер языка „Задонщины“. И вот любопытно, что языку „Задонщины“ совершенно чуждо написание *жд,* наоборот, встречаем только *ж* и притом частью в тех же корнях и словах, что и в „Слове о полку Игореве“: *межю, изобижены, рожены, межю, вижю.* Едва ли бы автор „Задонщины“ избежал написаний *жд*, если бы доступный ему список „Слова“ навязывал ему подобные написания. Вот почему показания „Задонщины“, не знающей *жд*, косвенно подкрепляют наше предположение о том, что оригинал „Слова“ не знал *жд* и это сочетание привнесено в текст „Слова“ писцом XV — XVI вв. В рукописи „Слова“ конца XIV — начала XV в., которая оказала такое громадное влияние на автора „Задонщины“, *жд* также не было. В известном нам тексте „Слова“ старое *ж* сохранено лишь в следующих примерах: *дажьбожи, чужи* и *вережени.*

727. То обстоятельство, что оригинал „Слова“ был написан более чистым древнерусским языком, чем известный нам список XV — XVI вв., совершенно точно доказывается цитатой из „Слова“, сделанной переписчиком псковского „Апостола“ 1307 г. в виде отдельной записи. Переписчик „Апостола“ 1307 г. применил цитату из „Слова“ к современным ему событиям — борьбе московского князя Юрия Даниловича с Михаилом Тверским. Приведём эту цитату и соответствующий текст слова.

Текст „Слова“	Текст „Апостола“ 1307 г.
Тогда при Олзѣ Гориславличи сѣяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждьбожа внука, въ княжихъ крамолахъ вѣци человѣкомь скратишась	При сихъ князѣхъ сѣяшется и ростяше усобицами, гыняше жизнь наша, въ князѣхъ которы и вѣци скоротишася человѣкомъ

Как видим, в цитате из „Апостола“ исчез *Дажьбогъ;* совершенно правильно поняв, что дажьбожи внуки — это русские, переписчик „Апостола“ вместо *жизнь* (достояние) *дажьбожа внука* написал *жизнь наша;* человек церковного, вероятно, звания, переписчик церковно-богослужебной книги не хотел упоминать имя языческого бога. В остальном запись „Апостола“ 1307 г. довольно точно следует „Слову“, с тем лишь отличием, что текст записи даёт несколько более архаичные формы, чем текст „Слова“. (Это и понятно! Ведь автор записи располагал списком „Слова“ конца XIII — начала XIV в.: он писал в 1307 г., а наш список относится к XV — XVI вв., и язык его неизбежно подвергся некоторому подновлению.) Но самое главное, что запись „Апостола“ 1307 г. представляет цитату из гораздо более древнего списка, чем известный нам. Сравним оба текста.

728. В тексте „Слова“ имеем следующие церковнославянизмы: *растяшеть, крамолахъ, скратишась*; всем этим случаям в тексте записи соответствуют древнерусские: *ростяше, которы, скоротишася;* „церковнославянскому“ ***жд*** в *Даждьбожи внуки* нет соответствия в записи, так как это слово в нём опущено, наконец в тексте „Слова“ находим ***ь*** вместо ***ъ*** в *человѣкомь,* в то время как в записи по древнерусской норме — *человѣкомъ* с ***ъ***.

Это сопоставление текста записи 1307 г. и текста „Слова“ с абсолютной точностью доказывает, что в оригинале „Слова“ народная древнерусская стихия языка представлена ещё шире и полнее, чем в известном нам тексте „Слова“.

Отдельно нужно сказать о соотношении слов *крамола* и *котора.*

729. Непосредственным древнерусским соответствием церк.-сл. *крамола* является слово *коромола.* Слово *коромола* было мало употребительно в древнерусском литературном языке; по крайней мере в „Материалах для древнерусского словаря“ Срезневского приводится лишь два примера на это слово, относящиеся к юридическим текстам конца XIII и середины XIV в. и притом со специальным значением „заговор“. Церковнославянское *крамола* употребляется: 1) со значением „мятеж, бунт“ (причём все примеры на это значение приведены Срезневским из текстов религиозного содержания); 2) со значением „раздор, распря“. В этом значении, которое нас и интересует, слово *крамола* изредка попадается в литературных текстах светского содержания, написанных по-церковнославянски (например, в Хронике Георгия Амартола), а также в летописях; один раз в примере из I Новгородской летописи слово *крамола* непосредственно применено к княжеским междоусобиям: „Въздвиже *крамолу* межи русьскыми князи“. Но здесь мы имеем религиозный контекст: „Не хотя исперва оканьныи всепагубныи дьяволъ роду человѣчьскому добра, въздвиже крамолу межи русьскыми князи... о томь бо ся злыи радуеть кровопролитию крестьяньску (= христианскому)“. Употребление церковнославянского слова *крамола* здесь вполне понятно.

730. Обычным словом для обозначения княжеских междоусобий было в древнерусском литературном языке слово *котора* (примеры см. у Срезневского). Тем более удивительно, что в тексте „Слова“

мы встречаем в ряде случаев церковнославянское *крамола* Ср.: „И начяша князи про малое се великое млъвити а сами на себѣ *крамолу* ковати“ или „а князи сами на себе *крамолу* коваху“ или ещё: „въ княжихъ *крамолахъ* вѣци человѣкомь скратишась“ (см. выше об этом месте в § 728); „вы бо своими *крамолами* начясте наводити поганыя на землю Рускую“.

Мы знаем, что в оригинале „Слова“ в одном из этих случаев было наверняка слово *котора,* заменённое писцом XV — XVI вв. через слово *крамола* (в третьем случае). Думаю, что так было и в других случаях. Ср. дальнейший контекст четвёртого примера: „вы бы своими *крамолами* начясте наводити поганыя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю; *которою* (в тексте первого издания и екатерининской копии стоит *которое*) бо бѣше насилие отъ земли Половецкыи“; здесь слово *которою* стояло в твор. пад. причины, и всё выражение нужно понимать так: из-за которы, из-за междоусобия случилось насилие от земли половецкой, от половцев. Гораздо вероятнее, что и в начале этого примера в оригинале стояло слово *котора,* и весь отрывок читался так: „вы бо своими *которами* начясте наводити поганыя на землю Рускую; *которою* бо бѣше насилие отъ земли Половецкыи“. Повидимому слово *котора* было мало понятно писцу, особенно в творительном падеже, где он его смешивал с местоимением *который;* отсюда и написание *которое,* где дано ложное „согласование“ со словом *насилие.* Слово *котора* сохранилось в тексте „Слова“ ещё раз и тоже с превращением его в местоимение, т. е. не узнанное переписчиком. „Уже лжу убуди *которую*“. Здесь поставлен вин. пад. женск. рода, „согласованный“ с *лжу.* Когда писец узнавал слово *котора,* он заменял его привычным ему церк.-сл. *крамола.*

731. Можно думать, что и в ряде других случаев церковнославянизмы известного нам списка „Слова“ являются вторичными и отсутствовали в оригинале „Слова“. Но критика текста „Слова“ и попытка восстановления оригинального текста не входит в наши задачи.

732. Бесспорно, что ряд церковнославянских элементов был присущ и первооригиналу „Слова“. Эти церковнославянские элементы могут быть разбиты на три группы. К первой группе относятся такие церковнославянизмы, которые бытовали в разговорном языке образованных людей древней Руси. Это, например, слово *время:* „по былинамъ сего *времени*“, слова *предъ, чрезъ* и, возможно, некоторые другие.

733. Ко второй группе относятся такие церковнославянские слова, употребление которых в „Слове“ семантически или стилистически отлично от употребления соответствующих древнерусских слов. Так, например, слово *брань* в значении „битва“ употребляется в церковнославянской форме (ср. современное „на поле брани“ = „на поле битвы“, а также *брань* = ругань): „Олговичи, храбрыи князи, доспѣли на *брань*“; для выражения понятия „обороны“, как и в современном русском языке, употребляется полногласная форма: „Яръ туре Всеволодѣ! стоиши *на борони,* прыщеши на вои стрѣлами, гремлеши о шеломы мечи харалужными“. Слово *голова* в конкретном значении „голова“ употребляется в древнерусской полногласной форме: „камо, туръ, по-

скочяше, своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая, тамо лежатъ поганыя *головы* половецкыя", или: „тяжко ти, *головы*, кромѣ плечю; зло ти, тѣлу, кромѣ головы". „На Немизѣ снопы стелютъ *головами*, молотятъ чепи харалужными, на тоцѣ животъ кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла".

Но в тех случаях, когда слово *голова* выступает в метафорических выражениях и его собственное значение поглощено общим значением всего выражения, употребляется неполногласная форма: „хощу *главу* свою приложити, а любо испити шеломомь Дону (первое предложение значит „погибну"); „и многи страны... сулици свои повръгоша, а *главы* своя поклониша подъ тыи мечи харалужныи" (второе предложение значит „покорились").

734. К третьей группе церковнославянских элементов „Слова" принадлежат такие церковнославянизмы, рядом с которыми в тождественном значении существуют соответствующие русские формы. Использование этих церковнославянизмов автором „Слова" имеет стилистическое значение; поэма его является поэмой героической, и употребление церковнославянских слов способствует торжественности повествования, соответствует важности описываемых событий. В связи с этим стоит очень частое употребление церковнославянских слов в эпитетах, играющих большую роль в системе поэтических приёмов автора „Слова". Так, слово *злат* встречается в качестве эпитета свыше 10 раз в сочетании с разными существительными: *златъ столъ, златъ стремень, злато ожерелие, сѣдло злато* и т. п.; слово *храбръ* около 15 раз: *храбрыя плъкы, храбрая сердца, храбро тѣло* и т. п.

Встречаем ещё: *сребрено стружие, сребренеи сѣдинѣ, сребреными струями, сребреныхъ *брезѣхъ, злачеными стрѣлами, злачеными шеломы, златокованнѣмъ столѣ, златовръсѣмъ теремѣ, млада князя, преднюю славу, въ пламянѣ розѣ* и др. Такое широкое употребление церковнославянских слов в эпитетах „Слова" показывает, что они не являются случайными элементами в „Слове", но включены в систему тех изобразительных и выразительных средств, которыми пользуется автор. Они включены в систему изобразительных и выразительных средств „Слова" ещё и с другой стороны: в ряде случаев они, как кажется, помогают осуществлению звуковой организации соответствующей части текста, т. е. выступают как средства звуковой выразительности поэмы.

„Слово" не является стихотворной поэмой, до сих пор никому не удалось открыть в „Слове" какую-нибудь систематически проведённую метрическую схему, но, с другой стороны, никто не сомневается, что „Слову" присущ ритмический строй, ритмическая мерность. Ритмическая мерность неизбежно приводит и к звуковой организации поэмы, к наличию в ней аллитераций и других звуковых повторов. Однако система тех или иных звуковых повторов не проведена в „Слове" систематически, как, например, система аллитерации в германском или карело-финском эпосе. Иногда аллитерация выступает очень ярко: „се ли створисте моей сребреней сѣдинѣ". Но чаще находим в „Слове" внутренние звуковые повторы, иногда соединённые с аллитерацией.

И вот в этих случаях церковнославянские слова выступают в своей звуковой форме как элементы этих повторов; с заменой церковнославянского слова соответствующим русским повтор разрушился бы. Приведём примеры:

„Тогда по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть,
нъ часто врани граяхуть".

Слово *вран* употребляется в „Слове" почти исключительно в церковнославянской неполногласной форме и притом в сочетании с глаголом *граяти,* образуя таким образом звуковой повтор ***ра—ра*** Древнерусское *ворон* употребляется лишь один раз и вне сочетания с *граяти:* „Чръный *воронъ* поганый половчине". Сравните: „Всю нощь съ вечера бусови *врани възграяху*"; „тогда *врани* не *граяхуть*". Приведу ещё другие примеры:

Страны ради, гради весели
Отня злата стола поблюсти
Стрѣляеши съ отня злата стола салтани за землями
Отвори врата Новуграду
Стлавшу ему зелѣну траву на своихъ сребреныхъ брезѣхъ и др.

Выше мы говорили, что церковнославянские элементы подчинены в „Слове" древнерусской народной языковой стихии, поглощены ею, поставлены на службу русскому языку. Мы находим объективное подтверждение этому в следующем обстоятельстве.

735. Рано скончавшийся русский лингвист В. А. Аносов написал неопубликованную, к сожалению, работу о церковнославянизмах в былинах. Об этой работе мы знаем по рецензии А. А. Шахматова в „Отчёте Петербургского университета за 1912 г.". Аносов сопоставил церковнославянизмы былин с церковнославянизмами „Слова" и, по отзыву Шахматова, пришёл к следующим правильным выводам: он доказал близость, однородность церковнославянизмов былин к церковнославянизмам „Слова о полку Игореве" путём сравнения распространённых в „Слове" и в былинах „неполногласных" слов. Так, шесть слов, очень частых в „Слове", принадлежат к словам, очень распространённым в былинах; при этом Аносов обратил внимание на то, что такие редкие и характерные образования „Слова", как *златокованный, златоверхий* встречаются и в былинах.

736. Выводы Аносова очень важны. Они показывают, что язык „Слова" нельзя считать церковнославянским или смешанным „славянорусским" на основании того, что в нём есть некоторое количество церковнославянизмов. Иначе пришлось бы это самое сказать о языке былин, чего ни один серьёзный человек не сделает. Церковнославянские элементы у автора „Слова", как и у Владимира Мономаха, выступают уже как определённый слой, поступивший на службу древнерусскому литературному языку, обогащая его стилистические возможности. Практика народных певцов, авторов и распространителей былин является критерием „истинности" языка „Слова" в смысле его подлинной народности.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА.

737. Древнерусский литературный язык имел такие особенности, которые резко отличают его от литературного языка позднейших эпох и в особенности от современного литературного языка.

738. Современный литературный язык подчинён единой общенациональной норме. Если кто-нибудь из говорящих или пишущих на современном литературном языке употребляет местные диалектные формы, то это считается неправильным. Если диалектные формы и появляются в современном литературном языке, то лишь в художественных произведениях, в стилистических целях (например, в произведениях из жизни крестьян). Выросший на основе концентрации (объединения) диалектов, современный литературный язык освободился от их раздробленности, от их местной ограниченности. Такой литературный язык есть продукт и фактор развития национального общества, нации.

Совсем иное мы находим в древнерусском литературном языке.

739. Славянское население Киевской Руси говорило на различных областных диалектах, на основе которых впоследствии образуются **русский** (великорусский), **украинский** и **белорусский** языки. Эти областные диалекты образовались, в свою очередь, в эпоху разложения родового общества и развития феодального, на основе восточнославянских племенных диалектов. Хотя в Киевской Руси и действовали объединительные силы, но экономическая и политическая связь её отдельных областей была не настолько сильна, чтобы, преодолев языковую раздробленность, создать литературный язык, единый для всей страны. Больше того, общественный строй Киевской Руси поддерживал языковую раздробленность, порождал её. Правда, областные диалекты Киевской Руси не очень сильно отличались друг от друга; правда и то, что образованные люди Киевской Руси вырабатывали некоторую общность языка, в которой сглаживались более резкие местные особенности. Но осуществить слияние областных диалектов в едином литературном языке было невозможно в условиях феодальных общественных отношений. Областные диалекты неизбежно получают своё отражение в памятниках древнерусского литературного языка. То, что для современного литературного языка является недопустимым, для древнерусского оказывается закономерным.

740. Особенно наглядно отражаются в памятниках древнерусского литературного языка черты местного областного произношения. Так, например, в новгородских диалектах существовало так называемое цоканье (произношение ***ц*** вместо ***ч***, смешивание ***ц*** и ***ч***); оно отразилось в новгородских памятниках в смешении букв ***ц*** и ***ч***; писали, например, ***купець*** вместо ***купець***, ***вѣцѣ*** вместо ***вѣче*** и т. п. В псковских памятниках отражалось свойственное древнепсковскому диалекту смешение ***с*** и ***ш***; в новгородских памятниках слово „дождь“ писали

дъжгь, а в некоторых южных — *дъжчь*, отражая разное произношение соответствующих звукосочетаний. Число подобных примеров можно было бы значительно увеличить.

Отражаются, конечно, в памятниках древнерусского литературного языка не только фонетические, но и грамматические и лексические особенности областных диалектов.

741. Однако история показывает нам, что литературные памятники, созданные в отдельных областях, несмотря на то, что в них отражались особенности областных диалектов, имели распространение по всей стране. Так, например, составленное на юге „Слово о полку Игореве" было известно в Пскове, где его в 1307 г. процитировал переписчик одной богослужебной книги, и на северо-востоке, где уже в XIV — XV вв. его использовал автор „Задонщины", поэмы о Куликовской битве. Новгородские летописи использованы в Киеве при составлении в XI в. так называемого „Начального летописного свода", и, обратно, южные летописные своды широко используются на северо-востоке и в Новгороде. Подобных примеров можно было бы привести множество. Этот постоянный литературный обмен между различными областями Киевской Руси не только допускает, но и требует, чтобы мы говорили о древнерусском литературном языке в целом, как о выражении общей культурной жизни всех древнерусских областей. Но этот литературный язык по своему качеству отличался от современного; в современном литературном языке отражения диалектных различий недопустимы, а в древнерусском — закономерны. Существенные различия между древнерусским и современным литературным языком идут и дальше.

В современном литературном языке существуют твёрдые грамматические нормы, правила. Изложение их и является задачей нормативной грамматики современного литературного языка. Если в современном литературном языке и встречаются отдельные незначительные колебания в употреблении грамматических форм, то это исключения из общего правила, с которыми стараются бороться. Иначе обстоит дело в древнерусском литературном языке. Колебания в употреблении грамматических форм являются для него обычнейшим явлением.

742. Во всех древнерусских диалектах как раз в XI — XIV вв. происходят большие изменения в фонетическом и грамматическом строе. Разрушаются старые отношения, намечаются, но ещё не устанавливаются новые; новые грамматические образования существуют наряду со старыми; возникают параллельные, тожественные по значению грамматические формы. Так, например, в древнейший период развития русского языка существовало три основных типа склонения существительных мужского рода; слова, склонявшиеся по первому типу (*стол, конь* и очень многие другие), имели в родительном падеже единственного числа окончание ***-а(-я)***, а в дательном ***-у (-ю)***; во втором типе склонения (*сын* и некоторые другие) родительный падеж оканчивался на ***-у***, а дательный — на ***-ови***; наконец, в третьем типе (*путь* и др.) и родительный, и дательный падежи оканчивались на ***-и***. Эти три типа склонения существительных мужского рода отли-

чались друг от друга и по окончаниям других падежей единственного и множественного числа. С разрушением старой системы склонения эти различные типы склонения стали смешиваться, окончания одного типа стали переходить на слова, склонявшиеся первоначально по другому типу, при этом продолжали употреблять и старые окончания; в результате получалось, например, что слово *конь* могло иметь в дательном падеже и *коню*, и *коневи*, а слово *сынъ* и *сынови*, и *сыну*; в родительном множественного слово *конь* могло иметь и *конь*, и *коневъ*, и *коньи (конии, коней)*. Можно было бы привести очень и очень много примеров подобных и иных колебаний в грамматическом строе древнерусского литературного языка. Часто они встречаются в одном и том же памятнике, чуть ли не рядом.

743. Не нужно, однако, думать, что в грамматическом строе древнерусского литературного языка царила бессистемность. От слова *сынъ* дательный падеж единственного числа мог быть или *сыну*, или *сынови*, но никакая третья форма невозможна; от слова *конь* родительный падеж множественного числа мог быть или *конь*, или *коневъ*, или *коньи (-ии, -ей)*, но никакая четвёртая форма невозможна. Вот почему мы говорим не об отсутствии норм в древнерусском литературном языке, а об их колебании. Это колебание норм, в силу изложенных выше причин, и было, если так можно выразиться, нормой для древнерусского литературного языка.

744. Колебания в употреблении грамматических форм в древнерусском литературном языке зависело ещё от того, что переписывая старые рукописи, иногда большой давности, переписчики отчасти воспроизводили старый текст, а отчасти подновляли его соответственно своему языку. Переписывая рукопись, составленную в чужой области, они отчасти сохраняли её областные особенности, а отчасти отражали в своём списке особенности своего областного диалекта. Таким образом, пестрота грамматического строя древнерусского литературного языка связана в известной мере с рукописным способом распространения литературных произведений. Эта пестрота зависела, наконец, ещё и от влияния церковнославянского языка на грамматический строй древнерусского литературного языка; к различным грамматическим вариантам, создававшимся в процессе развития древнерусских диалектов, присоединялись ещё и грамматические варианты церковнославянского языка.

745. Лишь с развитием русского государства и образованием русской нации, с развитием книгопечатания и просвещения в работе ряда выдающихся мастеров слова развивается общенациональный литературный язык с твёрдыми грамматическими нормами, которые закрепляются, наконец, в грамматиках и распространяются через школу. Предстоял длинный и сложный путь развития, который выходит за пределы древнерусского периода и завершается лишь в XVIII и первой половине XIX в.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Иноземные элементы в древнерусском литературном языке

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ГРЕЧЕСКИЕ СЛОВА В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

746. Взаимодействие лексических составов древнерусского и греческого языков было довольно значительным. Иногда думают, что заимствование греческих слов в древнерусский язык ограничивалось лишь (или главным образом лишь) словами, обозначающими различные понятия христианского религиозного культа. Так думают те, кто рассматривает византийско-древнерусские связи сквозь призму истории русской церкви и предполагает, что единственным результатом этих связей явилось возникновение на Руси христианства византийского толка. Думая так, забывают, что заимствование христианской религии от греков само было возможно лишь при условии предшествующих длительных и разносторонних экономических и политических связей между греками и восточными славянами, что оно явилось результатом, итогом этой предшествующей истории.. Некоторые думают, что большинство греческих слов, заимствованных в древнерусский язык, попало в этот язык книжным путём, через старославянскую или древнеболгарскую письменность или через самостоятельные переводы греческих текстов на Руси. И это неверно. Множество греческих слов проникло в древнерусский язык через непосредственное общение с греками (изустно). Несомненно, что значительное количество греческих слов, проникших в древнерусский язык, является религиозными терминами; столь же несомненно, что многие из них попали в древнерусский язык книжным путём, но вовсе не эти слова составляют большинство древнерусских заимствований из греческого языка и не они характеризуют содержание и размах древнерусско-греческих языковых взаимоотношений.

747. Некоторые древнерусские заимствования из греческого языка восходят к глубокой дохристианской древности. Это доказывается как данными истории греческого языка, так и данными истории русского и других славянских языков. Приведём примеры. Греческое *υ* произносилось в древнегреческом языке в древнейший период его раз-

вития, как *и*, в дальнейшем, ещё в древнегреческий период в ряде диалектов υ стало произноситься как *ü*.

Доказано, что в эллинистическую эпоху развития греческого языка (хронологически примерно: с начала IV в. до н. э., т. е. с распадения монархии Александра Македонского в 323 г. до н. э., до покорения Греции и Востока Римом, т. е. до середины II—I в. до н. э.) υ произносилось, как *ju*. Некоторые восточнославянские заимствования восходят к той эпохе, когда греческ. υ произносилось ещё, как *ju*. Сюда относятся: *Чурила* — собственное имя из греческ. *κυρίλλος*, эллинистическ. *kjurillos*. Древность заимствования доказывается не только греческой (ещё эллинистической) формой этого имени с *kju* в начале, но и тем, что в восточнославянском это сочетание претерпело ту же судьбу, что и исконно славянское сочетание *kju*, т. е. изменилось в *чю*. Это имя стоит вне ряда заимствованных из греческого христианских имён; официальным христианским древнерусским соответствием греческому Κυρίλλος является имя *Кирилл*, заимствованное в позднейшую эпоху, когда в новогреческом языке развился так называемый итацизм, т. е. произношение υ, как *i*, а замена *k* перед *j* и передними гласными через *ч* перестала быть обязательной в восточнославянских языках. Хотя имя *Чурила* и не вошло в христианские древнерусские святцы, тем не менее оно было некогда широко распространено. Это доказывается тем, что *Чурилой* назван один из героев русского былевого эпоса: *Чурила Пленкович*. Подобного рода звуковые изменения мы имеем и в имени *Чупро* (откуда и фамилия *Чупров*) — из греческ. Κυπρος — эллинистическ. *kjupr-*, *kju* здесь также отражается на славянской почве в виде *чу*.

К очень древним заимствованным греческим именам относится и *Ничипор* (украинск. *Ничипір* — из греческ. Νικηφόρος); греческ. φ, как и в других древнейших изустных заимствованиях, заменено наиболее близким к φ глухим губным *п*; сочетание заднеязычный *к* плюс *и* (*ē*=*i* в новогреческом языке) передано, как и в исконно славянских словах, через *чи*. Украинск. *і* появилось перед слогом с исчезнувшим *ъ*.

Наконец, к этой же группе очень древних заимствований из греческого относится ещё др.-русск. *чюр* — из греческ. *κύριος*, др.-греческ. *κύριος* — „господин". Здесь опять греческ. *kju* > вост.-сл. *чу*. Рядом с *чюр* имеется и более позднее заимствование *кир* (ср. отношения *Чурило* и *Кирилл*) в том же значении.

В более поздних заимствованиях из греческого греческое *к* + передняя гласная передаётся в древнерусском через *к* + передняя гласная (изменения *k* в *ч* уже нет); ср. *киноварь* — из греческ. *κινναβάρι*, *кивот* — из греческ. *κιβωτός*, *кит* — из греческ. *κῆτος*, *келья* — из греческ. *κελλίον*, *кедр* — из греческ. *κέδρος* и т. п.

С именами вроде *Чурило*, *Чупро*, *Ничипор* и со словом *чур* — „господин" восточные славяне познакомились, как видим, в очень древнюю эпоху, повидимому, ещё до нашей эры, в непосредственных сношениях с греками. Эти заимствования проходили ещё в общеславянскую эпоху, когда восточные славяне не отделялись ещё от других славян.

748. Из греческого языка заимствованы в восточнославянские языки многие слова, обозначающие различные понятия из области материальной культуры, названия различных так называемых „культурных" растений, культуре которых восточнославянские народности научились у греков, названия различных предметов домашнего обихода, быта и т. п. Приведём некоторые примеры.

Свёкла из *севкла* (форма *севкла* засвидетельствована в „Изборнике" Святослава 1073 г.) из греческ. σεῦκλον. Слово воспроизводит не единственное число греческого слова, в этом случае оно звучало бы *севклъ* или *свеклъ*, а множественное σεύκλα. Заимствование слова в форме множественного числа показывает, что это заимствование изустное, а не книжное; при книжном заимствовании была бы, конечно, заимствована исходная в парадигме форма им пад. ед. числа.

Вишьня — из греческ. βυσσινιά. Это заимствование принадлежит к числу древнейших, так как здесь неударное греческ. *і* передаётся через *ь*. Очевидно, в эпоху заимствования этого слова вост.-слав. *ь* имел ещё характер короткого *і* и мог передавать греческ. *і* (без ударения). Слово первоначально должно было звучать *висьня*; после исчезновения слабого *ь* звук *н'*, оказавшийся рядом с *с*, превратил это *с* в *ш*, как и в некоторых исконно славянских словах; ср. *весна*, но *вешнии; квашня* из *квасьня* от *квасить* и др.

Огурец — из греческ. ἄγουρος. Это тоже древнее заимствование: здесь греческое *α* (= *а*) под ударением передаётся через восточнославянское *о*, которое в это время должно было быть ещё открытым звуком, близким к *а* (как это и предполагается для общеславянского *о*). Слово первоначально должно было звучать *огур*, а затем уже на восточнославянской почве было распространено с суффиксом *-ец* (*-ьць*). В более поздних заимствованиях греческ. *α* под ударением передаётся через вост.-слав. *а*: *ангель* — греческ. ἄγγελλος, *аминь* — греческ. ἀμήν, *артус* („хлеб") — греческ. ἄρτους, др.-русск. *скорода* — „сорт чеснока", греческ. σκορδον — „чеснок", в древнегреческом это слово звучало σκόροδον; звуковая форма σκόρδον — уже в эллинистическом греческом языке. Восточными славянами слово было усвоено в форме множественного числа *скорда*; это слово принадлежит к числу наиболее древних заимствований из греческого, так как греческое сочетание *ор* между согласными (тип звукосочетания *tort*) претерпевает здесь ту же судьбу, что и исконно славянское *tort* в таких словах, как *город* из *gordъ*, *борода* из *borda* и др. Таким же образом греческ. σκορδα даёт *скорода*. Подобную трактовку греческ. *tort* мы находим ещё в слове *скоропиа*, *скоропии* — „скорпион", из греческ. σκορπίος; в старославянском это слово звучит соответственно *скрапии*, с неполногласным *ра* в соответствии с др.-русск. полногласным *оро*; греческ. *tart* → *torot* имеем в др.-русск. *мороморъ* — из греческ. μάρμαρος, в старославянском соответственно *мраморъ*. Современное русское *мрамор* — из церковнославянского.

749. С целью разносторонне осветить вклад греческого языка в древнерусскую лексику отметим ещё некоторые категории слов, например некоторые жилищно-строительные термины: *терем* — из греческ.

τέρεμνον. Слово это было первоначально заимствовано в виде *теремьнъ* с вставным *ь* между *т* и *п* греческого слова, так как сочетание звуков *тп*, дающее закрытый слог, было невозможно в древнерусском языке до X—XII вв. Это *теремьнъ* было понято как имя прилагательное с распространённейшим др.-русск. суффиксом *-ьн-*, и от него было образовано существительное *теремъ*. Слово *терем* не имело в древнерусском языке значения рядового жилища, рядового дома. Оно имело значение *дворец, большой высокий дом, замок*. Это обычно жилище князя, епископа или какого-нибудь знатного человека. Княгиня Ольга ждёт гостей в своём *тереме*: „Волга сѣдящи *в теремѣ* посла по гости" („Повесть временных лет"). Терем способен построить себе епископ: „Той же осени постави владыка *теремъ* великыи" (I Новг. летопись). К слову *терем* в народной поэзии часто присоединяется эпитет *златоверхий*; ср. ещё в „Слове о полку Игореве": „Уже дъскы (=доски) безъ кнѣса въ моемъ *теремѣ златоврьсѣмъ*" (=златоверхом). Терем, повидимому, увенчивался куполами (ср. выражение *терем златоверхий*); во всяком случае слово *терем* имело в древнерусском языке также значение „купол", „сень", „балдахин". Заимствование этого слова свидетельствует о значительном развитии строительного искусства в древней Руси. Это нужно сказать и о слове *палата* из греческ. παλάτα. И это слово обозначало в древнерусском не рядовое жилище, а дом-дворец, палаты. Ср. позднейшее выражение *царские палаты*. Ср. также *палата* для обозначения большого здания так называемых присутственных мест, а отсюда и такие названия, как *судебная палата, казённая палата* и т. п. *Палатой* назывались также большие помещения с верхним светом и верхними пристройками (хорами), а также и самые эти пристройки, например хоры в церкви, придел в верхнем ярусе церкви, помещение на верху церкви, а отсюда и такие значения, как *полати* — „чердак", „полок в бане", „нары", устраиваемые в избе рядом с русской печью, но выше её для спанья семьи, и др.

750. Среди названий предметов домашнего обихода отметим такие заимствования, как *кровать* — из греческ. κραββάτι(ον); это заимствование принадлежит к очень древним, потому что уже эллинистический язык имел κρεββάτιον, в современном новогреческом также κρεββάτι (с ε, а не с α после ρ); из эллинистической и новогреческой формы получилось бы в древнерусском *кревать*, а не *кровать*.

Скамия — из греческ. σκαμνί, мн. число σκαμνιά. Первоначально это слово звучало по-русски *скамня*, как на это указывают заимствованное из русского горно-марийск. *skamn'a*, а также украинск. *скамница, скомница* — „скамья".

Фонарь и *фитиль*; эти заимствования более поздние, так как в них греческ. φ передаётся не через *п* (см. выше под словом *Ничипор* и ниже под словом *парус*), а через *ф*.

Из слов, обозначающих пищевые продукты, укажем на *уксус* — из греческ ὄξος. Это старинное и изустное заимствование. Здесь второе *у* отражает сужение безударного вокализма в северных новогреческих диалектах. Греческое *о* под ударением, которое в новогрече-

ских северных диалектах сохранялось как *о*, отражается в русском так же, как *у*, потому что древнерусское *о* в древнейшую эпоху, как мы уже видели ранее, произносилось открыто, близко к *а*; поэтому оно было непригодно для передачи греческ. *о*, бывшего закрытым и лабиализованным звуком; др.-русск. *у* было поэтому в большей мере пригодно для передачи греческ. *о*.

Оладья — из греческ. ἀλάδι и др.

751. Из греческого заимствовано в древнерусский язык несколько терминов водного транспорта:

парус — из греческ. φάρος. Окончание *-ус* древнерусского слова отражает северногреческое сужение безударного вокализма (ср. *уксус*). Следовательно, слово *парус* изустное, а не книжное заимствование. На это указывает и замена отсутствовавшего в древнейший период в древнерусском языке звука φ через ближайший глухой губной звук *п* (см. *Ничипор*). Это последнее обстоятельство указывает и на относительную древность заимствования.

Кубара (род судна — из греческ. κουμβάρα). В этом слове греческое сочетание ουμβ было передано в древнерусском через *ǫb* (*ǫ* носовое), получившееся из **ǫb*. Следовательно, это заимствование относится ещё к той эпохе (не позднее половины X в.), когда в древнерусском языке ещё существовали носовые гласные.

752. К заимствованным из греческого в древнерусский язык религиозным терминам относится, например, ряд названий для лиц церковной иерархии, для духовенства разных сортов и рангов:

патриарх — из греческ. πατριάρχης, в греческом образовано от πατριά „происхождение по отцу, род, племя, поколение“ (греческ. πατήρ — „отец“ и ἄρχω — „начинаю“), т. е. первоначально значило „родоначальник, праотец“, а затем в христианскую эпоху было использовано для обозначения высшего духовного лица церкви (ср. употребление слов *отец, батюшка* для обозначения рядовых священников, духовных „отцов“). *Патриарх — праотец* — это глава, отец всех духовных „отцов“. Ср. также в латинском языке употребление слова *pater* — „отец“ для обозначения священника, отсюда то же значение в романских языках: французск. *père*, итальянск. *padre* и пр. Отсюда и в русском языке слово *патер* для обозначения католического священника.

Митрополит — из греческ. μητροπολίτης; в греческом образовано от μητρόπολις (μήτηρ — „мать“ и πόλις — город) „мать городов“, митрополия (название главного города по отношению к его городам-колониям); затем „главный город“, „столица“; таким образом, μητροπολίτης — „епископ главного города, столичный епископ“. Древнерусское выражение „мати градомъ“ о Киеве, которое составитель летописи вкладывает в уста Олега: *„се буди мати градомъ Русьскимъ*, едва ли не есть семантическое заимствование (калька) из греческого μητρόπολις; возможно что монах-летописец видел в этом предсказание об образовании в Киеве русской церковной митрополии с митрополитом во главе.

Епископ — из греческ. ἐπίσκοπος, в греческом образовано от приставки ἐπι — „на“ и глагольной основы σκοπ-(σκοπέω — „смотрю,

взираю"); таким образом, это слово первоначально значило „наблюдатель, надзиратель"; в христианскую эпоху получило значение „глава церковной общины".

Поп — из греческ. παπᾶς — „священник"; *попадья* — из греческ. παπαδιά. Слово *поп* не имело первоначально того отрицательно-обидного оттенка, который оно получило впоследствии и имеет в современном литературном языке. Оно не имеет, например, этого оттенка значения в таких контекстах древнерусского языка, как: „Аз *поп* Упирь Лихыи". „Епископы и *попы* и игумены... любите и набдите". („Поучение" Владимира Мономаха). „Прислалъ въ Ригу своего лучьшего *попа*..." (Договор 1229 г.) и др. Этот отрицательный оттенок значения слово *поп* получило уже на русской почве, как оценку деятельности и поведения попов в народе.

Иерей, ерей — „священник" — из греческ. ἱερεύς; в греческом образовано от ἱερός — „священный"; в др.-греческ. ἱερεύς значит жрец, совершающий жертвоприношение и предсказывающий по внутренностям жертвы; сюда же *архиерей* — из греческ. ἀρχιερεύς; в др.-греческ. ἀρχιερεύς — „верховный жрец, первосвященник".

Монах — из греческ. μοναχός; в греческом образовано от слова μόνος — „единственный", „один только", „один", „одинокий"; таким образом, первоначально греческ. μοναχός обозначало „отшельник", „уединившийся от других людей"; калькой греческ. μοναχος является древнерусское и позднейшее *инокъ* — „монах", где корень *ин-* имеет значение „один"; ср. *ин* в том же значении „один" в слове *инорогъ* = единорог, *иноходъ* (иноходец)—... „конская побежка, в которой лошадь заносит обе ноги одного бока вместе, в то время как в рыси ноги движутся обе разом, крест-накрест"... Ср. также суффикс единичности *-ин-* в таких словах, как *хворостина* от *хворост, соломина* от *солома* и т.п.

Греческий корень *мон-* мы находим в ряде заимствованных в позднейшее время из Западной Европы слов вроде *монокль, моноплан, монография* и др.

К греческим заимствованиям из области религиозной терминологии относится и ряд других слов; так, например: *идол* — из греческ. εἴδωλον; в древнегреческом слове εἴδωλον имело значение „изображение", „образ", „приведение", „призрак", „тень умершего". Корень этого слова тот же, что в глаголе εἶδον (аорист от ὁράω = „вижу"), в существительном εἶδος — „вид", „наружность"; древнейшая форма этого греческого корня *Feιδ*; это тот же корень, что в латинск. *videre* „видеть", в ст.-сл видѣти, русск. *видеть* и пр. Уже в греческом языке в христианскую эпоху слово εἴδωλον получило значение „изображение языческого бога". В новогреческих диалектах (например, понтийских) оно получило значение „дьявол". Слово *идол* широко распространено во всех восточнославянских языках как в значении собственно „идол", так и в других; так, в белорусском языке *идолка* — „чертовка", в украинском *идол* — „дьявол", в русском *идол* — бранное слово. Ср. также в русском былевом эпосе *Идолище поганое*.

Диавол — из греческ. διάβολος; в др.-греческ. διάβολος значит „клеветник", διαβολή — „клевета", „злословие" „ненависть", διαβάλλω —

„клевещу", „ссорю", „делаю ненавистным"; в христианское время слово διάβολος становится одним из эвфемистических названий „злого духа"; ср. ст.-сл. непрнязнь — „дьявол". Это понимание дьявола, как сеющего ссоры и ненависть среди людей, ненавистника рода человеческого, продолжает существовать и в древнерусском языке, хотя и не поддерживается этимологическим составом и этимологическими связями слова, как в греческом языке; так, в письме Владимира Мономаха к Олегу Святославовичу читаем: *„дьяволъ* бо не хоче(тъ) добра роду человѣчскому, сваживаеть (= ссорит) ны."

Ангелъ (Остром. ев.: аньгелъ) — из греческ. ἄγγελος (γγ — читается по-гречески, как *нг*); в греческ. ἄγγελος связано с глаголом ἀγγέλω — „извещаю", с существительным ἀγγελία — „весть"; ἄγγελος первоначально значит „вѣстник, посол", потом „вестник бога", „ангел". От той же основы *евангелие*, др.-русск. *евангелие* из греческ. εὐαγγέλιον с приставкой εὐ— „благо", т. е. „благовестие", „благовествование".

Отметим ещё как слова греческого происхождения *алътарь* — „алтарь", *клирос, амвон, аналой* и т. д., обозначающие части христианского храма, предметы церковного обихода и пр.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

К ВОПРОСУ О СКАНДИНАВСКОМ „ВЛИЯНИИ" НА ДРЕВНЕРУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

753. Скандинавские заимствования в древнерусский язык шли двумя путями: во-первых, через скандинавских (норманских) купцов, которые издавна вели торговлю на территории восточных славян с греками и арабами; во-вторых, через великокняжеских дружинников, которые в конце IX в. оказались на территории восточных славян. Роли их придавалось обычно в русской и иностранной научной литературе исключительное значение: именно варягам приписывалось даже образование русского государства. Исторические и лингвистические данные решительно опровергают такое толкование роли варягов-скандинавов в развитии древнерусского общества и уделяют им в этом процессе весьма скромное место. Бесспорно, что среди древнерусской знати были лица скандинавского происхождения — потомки дружинников Рюриковичей. Но столь же бесспорно, что уже с первых лет пребывания скандинавов на Руси они начинают неудержимо ассимилироваться местному славянскому населению, оставляя свой язык, свои имена, религию и пр. Мы уже видели, например, что государственным языком при первом Рюриковиче (Олеге), утвердившемся в Киеве, становится церковнославянский язык; это с бесспорностью свидетельствует о том, что господствующим элементом в Киеве был славянский и что с этим приходилось считаться государственной власти.

754. Славянское государство в Поднепровье и народ, населявший это государство, был известен грекам задолго до прихода Рюриковичей в Киев, под названием *Рῶς* (т. е. Русь); так, византийские

источники говорят о набеге Руси на Константинополь в 860 г. Любопытно, что скандинавы, ассимилируясь местному населению, также стали называть себя Русью, т. е. русскими. Ещё раньше скандинавские купцы, которыми киевские славянские князья пользовались в качестве послов, как людьми бывалыми и знающими языки, выдавали себя за русских; так в 839 г. ко двору Людовика Благочестивого вместе с греческими послами прибыли послы, именовавшие себя Русью, т. е. русскими, от царя Руси *Chacanus*, т. е. *кагана*[1]. Эти послы показались франкам подозрительными; после проверки оказалось, что они скандинавы-шведы. И впоследствии, уже при первых Рюриковичах, в качестве представителей славянской Руси часто выступают скандинавы. Так, имена всех послов, подписавших договор Олега с Византией,— скандинавские; среди имён послов и купцов, подписавших договор Игоря, много скандинавских имён. То обстоятельство, что варяги, стали причислять себя к Руси, стремились отожествить себя с Русью, а также то обстоятельство, что скандинавы выступали часто как представители Руси, привело к тому, что у греков представление о Руси связалось с представлением о скандинавах. Это тем более могло случиться, что восточных славян они искони называли Σκλαβένοι, т. е. *славяне*. Отсюда у греков возникло неправильное противопоставление Руси и славян и даже русского и славянского языков. Так, Константин Багрянородный (середина X в.), приводя „русские" и славянские названия днепровских порогов, в качестве русских названий приводит скандинавские, а в качестве славянских — древнерусские. Это недоразумение с термином „Русь" вошло потом и в научную литературу, служа „обоснованием" нелепой легенды о скандинавском происхождении Руси. Интенсивность славянизации киевской, скандинавской по происхождению, знати очень ярко выразилась, между прочим, в том, что скандинавы стали очень быстро менять свои имена на славянские (уже с первой половины X в.). Так, воевода Игоря, крупнейший вельможа своего времени, *Свенелд* носит скандинавское имя, а его сын *Мстиша*, т. е. *Мстислав*ъ,— славянское.

755. Любопытно также, что скандинавы (точнее — их потомки), прежде чем отказаться от „веры своих отцов" в пользу византийского христианства, отказываются от неё в пользу местного славянского язычества. Так, „Повесть временных лет" под 980 годом сообщает, что Владимир, одолев своих братьев и начав править единодержавно в Киевском государстве, пытался государственно организовать в Киеве и Новгороде местный славянский языческий культ:

„И нача княжити Володимеръ въ Киевѣ единъ, и постави кумиры на холму внѣ двора теремнаго (т. е. не для собственного, а для публичного употребления): Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь. И жряху имъ, наричюще я богы, и привожаху сыны своя и дъщери, и жряху бѣсомъ и оскверняху землю требами своими".

---

[1] Киевские великие князья даже в XI в. в подражание владетелям Хазарии величались каганами (см. ниже § 769).

756. Правда, иные норманисты пытались и этих Владимировых богов (по крайней мере часть из них) разъяснить, как скандинавских по происхождению, а самый поступок Владимира объясняли, как стремление его навязать киевлянам свой варяжский религиозный культ. В частности, даже Перуна считали божеством, заимствованным от скандинавов, ссылаясь на скандинавск. (др.-исландск.) *Fiǫrgyn* — „бог и богиня, которые стоят в особой связи с божеством грома". Однако независимо от объяснения происхождения слова „Перун", которое остаётся ещё неясным, самое слово, как и его мифологическое содержание, никак не могло быть занесено варягами-скандинавами, потому что слово *Перун* является общеславянским, и скандинавы, несомненно, уже застали его в киевском Поднепровье, когда попали туда во второй половине IX в. Ср. при др.-русск. *Перун*: украинск. *перун* — „гром", русск. диалектн. *перун* — „болезнь, таинственная сила, нелёгкая": „схвати тебя перуном", белорусск. *перун, пярун* — „гром", „молния", „вихрь", чешск., польск. *perun, piorun* — „гром", „громовая стрела". Сохранилось это слово в названиях лиц и растений также и в южнославянских языках. Исконно славянскими являются, несомненно, и названия *Стрибога* и *Дажьбога*. В слове *Дажьбогъ* в первой части *дажь* (< *dāgi̯-*) мы имеем тот же корень, что и в литовск. *degù* — „горю", *dãgas, dagà* — „жатва", прусск. *dagis* — „лето"; др.-индийск. *dâhati* — „горит", *dãhas* — „зной", „жар", готск. *dags* — „день", совр. немецк. *Tag* — „день", албанск. *djeg* — „зажигаю", „сжигаю", ирландск. *daig* — „огонь".

Таким образом, в представлении Дажьбога соединялось представление о боге-солнце — огне — дне, о боге плодородия („жатва, лето"), изобилия плодов земных, богатства. Вот почему в „Слове о полку Игореве" русские, когда они характеризуются с точки зрения их достатка, обилия, богатства („жизни"), которое разрушают княжеские усобицы, называются *дажьбожими внуками:* „Тогда при Олзѣ Гориславличи сѣяшется и растяшеть усобицами, погыбашеть *жизнь Даждьбожа внука*" (*жизнь* в древнерусском — „имущество", „достаток", „богатство"). В слове *Стрибог* в первой части *стри-* имеем тот же корень, что и в слове *стрѣла*. Стрибог был богом ветра и представлялся в образе стрелы, символизировавшей быстроту ветра; связь стрелы и ветра выступает ещё в „Слове о полку Игореве": „се вѣтри, стрибожи внуци, вѣютъ съ моря стрѣлами на храбрыя плъкы Игоревы". И Стрибог и Дажьбог попали, конечно, в „Слово о полку Игореве" из восточнославянских народных мифологических представлений, а не из религиозного культа княжеской верхушки. Что касается бога Хорса (Хърсъ), то объяснение его как исконно славянского названия никак не удаётся, но, во всяком случае, обращаться за объяснением названия *Хърсъ* к скандинавским материалам не приходится; они тут ничему не помогают, слово *Хърсъ* скорее ведёт нас на восток к иранск. авест. *hvare* — „солнце" и др. (*Хорс* — бог солнца). Названия *Симарьгла* и *Мокошь* — не разъяснены; никакого отношения ни к каким скандинавским мифологическим представлениям, ни к скандинавским словам они решительно не имеют. Таким образом, в целом Владимировы

боги — местные божества, культ которых скандинавские завоеватели застали у восточных славян и на которых они поменяли своих „родных" скандинавских богов.

757. В стремлении скандинавов отождествить себя с Русью выражается начальный этап процесса их ассимиляции местному населению. Скандинавы быстро ассимилировались местному населению вовсе не потому, что они были немногочисленны по сравнению с массой местного славянского населения и, так сказать, тонули в древнерусском море (да и было их не так уж мало). Чисто количественные отношения не играли здесь (как и в других аналогичных случаях) сколько-нибудь решающей роли. Мы знаем, например, что норманские бароны (из французской Нормандии, говорившие по-французски), завоевавшие Англию во второй половине XI в., в течение столетий сохраняли свой язык в завоёванной стране. Иной была предшествующая история этих самых норманнов во Франции. Они были скандинавами по происхождению, в первой половине X в. они завоевали некоторые прибрежные районы на севере Франции, которые и получили впоследствии название Нормандии; обосновавшись здесь, эти норманны-скандинавы очень быстро потеряли свой язык и „обычаи предков" и превратились в самых настоящих французов и, завоёвывая Англию в XI в., выступали уже как французы, носители французского языка и культуры. Мы видим, таким образом, что судьба скандинавов в Древней Руси была сходна с судьбой их норманских собратий во Франции и отлична от их же судьбы, когда они уже в качестве французов завоевали Англию.

758. Главной причиной быстрого обрусения скандинавской знати и их дружинников было то обстоятельство, что скандинавы застали в Новгороде и Киеве более высокие и развитые общественные отношения, чем это было на их родине. Они принуждены были приноравливаться к этим общественным отношениям. К. Маркс и Ф. Энгельс в „Немецкой идеологии" указывают на тот отмеченный повсюду факт, что в эпоху после переселения народов даже завоеватели очень скоро перенимали язык, образование и нравы завоёванных народов [1]; Ф. Энгельс в „Анти-Дюринге" говорит, что „...в огромном большинстве случаев при прочных завоеваниях дикий победитель принужден приноравливаться к тому высшему „экономическому положению", какое он находит в завоеванной стране; покоренный им народ ассимилирует его себе и часто заставляет даже принять свой язык" [2]. Так случилось и со скандинавами, пришедшими в Киевскую Русь в IX в. в качестве дружинников и купцов. Вот почему скандинавское влияние на древнерусский язык проявилось в очень малой степени. Вот почему нелепо приписывать скандинавам создание русской государственности.

759. Если бы варяги-скандинавы действительно сыграли значительную роль в образовании государства у восточных славян, то мы могли бы ожидать в составе древнерусских государственных терминов, на-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IV, стр. 64.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 185.

пример в названиях лиц феодальной иерархии, те или иные скандинавские по происхождению слова. Правда, некоторые лингвистически неосведомлённые историки-норманисты находили такие слова, производя даже слово *князь* от шведского *конунг*. Но эти утверждения совершенно неверны. Слово *князь* — это слово общеславянское; если бы мы даже стали объяснять русское *князь* из шведского *конунг*, то как мы должны бы были поступать с соответствующими словами у сербов, у болгар, у чехов и у других славян, у которых на заре их истории не было своих собственных варягов-скандинавов, могущих преподнести им „со стороны" и князей, и их название? Но и по чисто фонетическим соображениям русск. *князь* (кънѧзь) невыводимо из скандинавск. *конунг (konungr);* скандинавск. *konungr* могло бы дать по-древнерусски лишь *конунгъ* или *кънугъ*. Выше (§ 44 и сл.) мы видели, что анализом слова *князь* в славянских языках как раз доказывается, что государство у восточных славян развилось в процессе внутреннего развития восточнославянского общества, а не привнесено извне варягами или кем-нибудь другим. Ни в какой мере не является скандинавским по происхождению и термин *боярин*; этот термин скорее всего тюрко-хазарский по происхождению (см. ниже). Да и вообще скандинавских элементов в терминах древнерусской государственности пока не отмечено. Зато из среды скандинавских по происхождению князей и скандинавской знати в древнерусский язык вошли некоторые названия для княжеской челяди, что понятно. Сюда относится, например, др. -русск. *тиун* или *тивун* — из сканд. *thiōn*. Это слово в древнерусском обозначало княжеского или боярского приближённого управителя; в переводных с греческого текстах слово *тиун* иногда переводило греческ. δοῦλος — „раб", иногда греческ. εὐνοῦχος — „евнух", „имеющий надзор за жёнами, обычно оскоплённый"; значение *тивун'а*, как княжеского должностного лица, управителя, раскрывается, например, в таком тексте (Ипат., под 1154 г.): „Ростиславъ, спрятавъ (=похоронив) тѣло его (Вячеслава) и ѣха на Ярославль дворъ, и съзва мужа отца своего Вячеславли и *тивуны* и ключникы, каза нести имѣнье отца своего передъ ся и порты и золото и серебро." *Тиунами* назывались также княжеские и боярские управители (надсмотрщики, приказчики) в сёлах, они пользовались очень дурной славой: ср. у Даниила Заточника (XV в.): „Не держи села близъ княжа села: *тиун* бо его яко огнь трепетицею накладенъ". Слово *тивун* сохранялось до революции в белорусском языке в форме *цивун* (с закономерным изменением *ти* в *ци* на белорусской почве) в значении: „сельский старшина в господском имении, надсматривающий над работами", т. е. помещичий надсмотрщик — прямой потомок древнерусского княжеского или боярского тивуна.

760. Приведём ещё несколько примеров скандинавизмов, проникших в древнерусский язык из скандинавской княжеско-дружинной среды: др.-русск. *гридь* — „княжеский вооружённый слуга", „телохранитель", по-скандинавски *gridh* — „убежище", „безопасность", *gridh-madhr* — „служитель". Др.-русск. *ябетник, ябедник* — княжеское доверенное лицо с полицейскими или судебными функциями; позднее,

повидимому, с XVI в. развивается значение „клеветник", „доносчик" (совр. *ябеда*), из скандинавск. *aembœt* — „служба, должность", совр. немецк. *Amt*. *Кнут* — из скандинавск. *knutr* — „узел", „сук", „нарост", вначале обозначало, вероятно, верёвку, плеть с узлами для выполнения экзекуций; кнут заходил по спинам древнерусских смердов и трудового люда вообще в руках тех же княжеских и боярских надсмотрщиков, тиунов; его название одного с ними скандинавского происхождения. Белорусское присловье, напоминающее по содержанию приведённое выше присловье Даниила Заточника, весьма прозаически раскрывая образ тиуна у Даниила („огнь трепетицею накладенъ"), устанавливает теснейшую связь между тивуном и плетью: *бояцца не цивуна, а яго бизуна* (плети).

761. Из среды скандинавов проникли в древнерусский язык некоторые имена. Остановимся на именах *Олег* и *Ольга*. В основе имени *Олег*, др.-русск. *Ольгъ*, лежит скандинавское имя *Helgi* или *Helgu*; *ь* вторично развилось как вставной звук на древнерусской почве, так как сочетание звуков *lg*, дающее закрытый слог, не могло быть терпимо в древнерусском до падения глухих. Начальное *h* в *Helgu* в языке тех скандинавов, с которыми имели дело восточные славяне, стремилось к нулю, исчезало. Поэтому русские воспринимали имя *Helgu*, как *Ельгъ*, причём начальное *е* изменялось у них в *о*; таким образом, из *Ельгъ* получилось *Ольгъ*, а с падением глухих — *Олег*. Аналогично имя *Ольга* получилось из скандинавского *Helga* через промежуточную ступень *Ельга*.

Торговая деятельность скандинавов на территории восточных славян имела бóльшее значение в истории русской лексики. Она обогатила древнерусский язык несколькими хозяйственными, в частности водными, терминами. Укажем некоторые из них: др.-русск. *якорь* — из скандинавск. (шведск.) *ankare* — „якорь"; др.-русск. *яскъ, аскъ* — „сосуд", „корзина", совр. *ящик*; украинск. *ящик* — „сосуд для масла — из скандинавского *asker, askr* — „небольшое судно", „небольшой сосуд"; *крюк* — из скандинавск. *krōkr* — „крюк"; *ларь* — „большой ящик", „закром", „род сундука", *ларец, ларчик, ларёк* — из скандинавск. *larr* — „лавка, магазин", шведск. *lår* — „ящик", „шкатулка".

762. Повидимому, через посредство скандинавских купцов в древнерусский язык вошло греческое слово χελάνδιον в форме *олядь*. Если скандинавы восприняли греческ. χελάνδι(ον) в свой язык в виде *helandi*, то скандинавское *helandi* на древнерусской почве должно было бы закономерно дать *олядь* (с заменой *he* > *о* как в *Helga* > *Ольга*, см. выше). Непосредственно из греческ. χελάνδιον др.-русск. *олядь* получиться не могло, так как было бы совершенно необъяснимо исчезновение греческ. χ. Др.-русск. *олядь* — „род судна", как раз и обозначает тот же предмет, что и греческ. χελάνδιον. О возможности скандинавского посредства вообще, помимо общих исторических соображений, можно судить, например, по названиям местностей: древнейшее древнерусское название константинопольской гавани *Суд* есть не что иное, как скандинавск. *Sund* — „пролив" (*sund* > *sǫdъ* > *судъ*).

763. В заключение следует отметить, что скандинавы-варяги сохранились в памяти русского народа только, как купцы-менялы; ср. русск. диалектн. *варяг* — скупщик всячины по деревням, маяк, тархан, орёл; или кулак, маклак, перекупщик; или офеня, коробейник, щепетильник, меняющий мелочной товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь и пр. (В. Даль, Толковый словарь, под словом *варяг*).

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

О ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

764. Восточно-славянские племена (по крайней мере северные, например, новгородские словене) уже в глубокой древности соседили с прибалтийско-финскими племенами. Об этом соседстве и о совместных связях словен, кривичей и некоторых прибалтийско-финских племён с „заморскими" варягами-скандинавами сообщает наша летопись, в частности в легенде о призвании варяжских князей.

На большую древность соседства прибалтийских финнов и восточных славян указывает и звуковая форма, в которой существуют в русском языке некоторые прибалтийско-финские по происхождению топонимические названия; так, например, прибалт.-финское название реки *Lauka* сохранилось в русском в виде *Луга*: финск. дифтонг ***ау*** трактуется здесь также, как и инд.-евр. ***ау*** (resp. ***оу***) в исконных славянских словах; проживающая теперь в устьи реки Луги прибалт.-финская народность *Inkeri* (произносится почти как *ingeri*) ранее проживала на гораздо более обширной территории; её названием обозначалась раньше целая область: *Ингерманландия* (германское название этой области);в русском языке ***г*** перед ***е*** в названии этой народности трактуется так же, как и в исконно славянских словах, т. е. изменяется в ***ж***, отсюда название *ижера* и далее, с изменением ***е*** в ***о*** на русской почве перед твёрдым согласным после исконно мягкого,— *ижора*. Ср. такую же трактовку ***г*** перед передним гласным в прибалт.-финском по происхождению названии озера *Селижар* (иначе *Селигер*, в I Новг. летописи: *Серегъръ*) и р. *Селижаровка*. Ещё в древнерусскую эпоху, когда не только существовали глухие гласные, но ***ъ*** имел ещё характер ***й***, заимствовано прибалт.-финское по происхождению название реки *Мста* (др.-русск. *Мъста*) из прибалт.-финск. *musta* — „чёрная".

765. Несмотря на очень древнее соседство прибалтийско-финских и северных восточнославянских племён, количество прибалтийско-финских заимствованных слов в древнерусском языке сравнительно ничтожно. Это объясняется тем, что для языкового влияния одних племён или народностей на другие вовсе не достаточно только соседства, каким бы это соседство ни было древним. Для этого необходимо, чтобы у влияющих соседей был более высокий уровень общественного развития, более высокая культура. А у прибалтийско-финских народностей по сравнению с древнерусским обществом этого как раз и не было. Русские (новгородцы, псковичи, полочане), быстро освоив византий-

скую цивилизацию, сами явились, как мы увидим ниже, распространителями её в прибалтийско-финских областях. Вот почему картина взаимодействия лексики прибалтийско-финских языков и лексики древнерусского языка получается совершенно иная, чем картина взаимодействия лексики греческого и древнерусского языков, очерченная нами выше, и не только по количеству слов, но и по их содержанию.

766. К древнейшим заимствованиям из прибалтийско-финских языков в древнерусский принадлежат те, в которых прибалтийско-финское сочетание *tolt*, *tort* (resp. *talt*, *tart*) даёт по-древнерусски полногласные формы (т. е. *torot*, *tolot*). К ним принадлежат следующие слова:

Коломище — „кладбище", „могильник", ср. суоми *kalmisto* — то же, эстонск. *kalmistu* — „кладбище", „погост", олон. (род. пад.) *kolmisto* — „кладбище", образовано от суоми и пр. *kalmu* — „смерть", „могила". Финская основа оформлена др.-русск. суффиксом *-ище* (ср. „кладбище"). Слово *коломище*, как кажется, не засвидетельствовано в современных русских диалектах, оно известно лишь из русской письменности XVI в. Так, новгородский архиепископ Макарий в 1534 г. пишет в упрёк жителям Вотской пятины: „Мертвых, деи, своих они кладутъ въ селѣхъ по курганам и по *коломищемъ*..., а къ церквамъ деи, на погосты... не возятъ". Отсюда мы заключаем, что архиепископ противопоставлял *коломище* православным церковным *кладбищам*, и что у населения новгородской Вотской пятины погребения в коломищах существовали как пережиток глубокой ещё языческой старины.

Соломя — в диалектах на севере: „морской пролив", „пролив между островами" (олонецк., петрозаводск.). Это слово засвидетельствовано в памятниках письменности уже с XIV в. Оно является прибалт.-финск. заимствованием. Ср. олон. *salmi* — „морской пролив", залив, вепск. *sȧum* — „морской залив", карельск. *salmi*, суоми *salmi* — „то же", эстонск. *sal'm* — „маленький пролив между двумя островами". Более поздним заимствованием является олон. *салма* — залив на озере.

Мереда (во владимирском диалекте „рыболовный снаряд") — из прибалт.-финск. Ср. суоми *merta*, карельск. *merda*, вепск. *merd* эстонск. *mȏrd*.

Корогод (диалектн.) — „хоровод " — из прибалт.-финск. *kargat*, множеств. число от *karg* — „танец, пляска", т. е. „пляски", „танцы". Ср. финск. *karg* — „пляска" и вепск. *karg* — „пляска", эстонск. *karg* — „прыжок", „бег". *Хоровод* из *корогод* получилось в силу так называемого „народного осмысления" к словам *хор* и *водить*. Существуют в диалектах и промежуточные формы *коровод*, где осмыслению подверглась лишь вторая часть слова, и *хорогод*, где подверглась осмыслению лишь первая часть, Конечное слабое *т* в прибалт.-финск. *kargat* произносится на слух очень близко к русск. *д*.

767. К древнерусским заимствованиям из прибалтийско-финских языков принадлежат ещё следующие слова:

Ногата — денежная единица в древней Руси равная $^1/_{20}$ гривны. Слово это, как и названия некоторых других денежных единиц, по своему происхождению является названием звериной шкурки, меха. В основе этого слова лежит прибалт.-финск. слово, сохранённое в суоми *nahka* — кожа, „шкура", „мех", эстонск. *nahk* — то же, ливск. *nag* — то же. Древнерусское *ногата* есть передача либо прибалт.-финск. им. множ. суоми *nahat*, эстонск. *nahad*, либо прибалт.-финск. партитивного падежа, употребляющегося при числительных, при счёте, например *nahγata* (*ногата*); *о* из чужого неударенного *а* получилось, как и обычно, на древнерусской почве.

Пърть — „паруса" — из прибалт.-финск. Ср. суоми *purje* — „парус", эстонск. *purje* — то же; в древнерусск. *и* закономерно передано через *ъ*, а *je* через *ть*, которое произносилось как дифтонг *ie*; форма *пъртъ* на древнерусской почве была осознана, как им. мн. числа от ед. *пъря*, *пря*, которое и встречается в одном из памятников. Слово *пъртъ* уже в древнерусскую эпоху выходит из употребления; по крайней мере в некоторых списках „Повести временных лет" оно зачёркивается и заменяется заимствованным из греческого словом *парус*.

Наряду с заимствованиями из прибалтийско-финских языков в древнерусский следует отметить и заимствования из древнерусского в прибалтийско-финские языки.

Эти заимствования относятся к различным областям словаря; некоторые из них относятся к очень древнему периоду (до образования полногласия). Тут и названия некоторых орудий производства:

суоми *värttänä*, карельск. *värttinä*, эстонск. *värten* — „веретено".

суоми *sirppi*, вепск. *sirp*, эстонск. *sirp*, ливск. *sirp* — „серп" (<сьрпъ).

Названия разных предметов домашнего обихода:

суоми *lusikka*, карельск. *luzikka*, эстонск. *luzik(as)* — „ложка" (<лъжька); суоми *kazukka*, эстонск. *kazuk(as)* — „кожух".

Тут и термины жилища:

суоми *akkuna* — „окно" (др.-русск. „окъно"), эстонск. *aken*, суоми *päts*, эстонск. päts-*ahi* — „печь."

И различные другие названия:

суоми *papi* — „боб", суоми *turku*, эстонск. *turg*, ливск. *tərg* — „торг" (< търгъ); суоми *tavara*, карельск. *tavara* — „товар".

Особенно любопытны заимствованные термины христианской цивилизации:

суоми *raamattu* — „священное писание", „письменность", „книга", эстонск. *raamat* — „книга", „текст", „письмо"; ливск. *rāmd* — книга, „письмо", „письменность" — из др.-русск. *грамота*;

суоми *risti*, карельск. *risti*, вепск. *rist*, эстонск. *rist* — „крест" (<крьстъ);

суоми *pakana*, карельск., эстонск. *pagan* — „язычник“ („поганъ“ >„поган“);

суоми *piessa*, карельск. *biessa*, олон. *biessu* — „бес“ (<бѣсъ), и др.

Эти заимствования показывают, что русские (полочане, новгородцы, псковичи), едва усвоив христианство, выступили его распространителями в Прибалтике.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ТЮРКСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

768. Связи восточных славян с тюркскими народностями восходят к эпохе ещё до возникновения государства Рюриковичей. Они оставили значительный след в лексике древнерусского языка. В первую очередь здесь следует упомянуть связи с Хазарией. В IX в., а может быть и ранее, некоторые восточнославянские области входили в сферу влияния или даже в состав Хазарии. „Повесть временных лет“ под 859 г. сообщает, что „Козари имаху (дань) на полянѣхъ и на сѣверѣхъ и на Вятичѣхъ“. Начало хазарской дани летопись относит к временам, непосредственно следующим за жизнью легендарных основателей Киева — Кия, Щека и Хорива. По точному смыслу чтения Лаврентьевского списка „Повести временных лет“, сами эти три брата, имена которых на славянской почве необъяснимы, оказываются хазарского происхождения: на вопрос Аскольда и Дира: „чии се градокъ?“ — Киевляне ответили: „была суть 3 братья: Кии, Щекъ, Хоривъ, иже сдѣлаша градокось, и изгибоша, и мы сѣдимъ, платяче дань родомъ ихъ (т. е. родичам, от слова *родъ* в значении „родич“) Козаромъ“. Ещё в X в. в Хазарии считали славянское Приднепровье входящим в состав Хазарской державы, хотя в это время власть Хазарии здесь могла быть только номинальной. Так, царь Хазарии Иосиф в числе народов, входящих в его царство упоминает, между прочим, вятичей, северян и славян (очевидно, других славян, кроме вятичей и северян, например полян; ср. летописное известие о трёх племенах, плативших дань хазарам). В X в. Киев считался в Хазарии хазарским, т. е. принадлежащим хазарам городом. Это видно из сохранившегося письма одного хазарского еврея, который сообщает, что царь Русии *Helgu* или *Halgu* (т. е. *Олег*) по подстрекательству греческого царя Романа напал на хазарский город *Самбараю* и взял его воровским образом. Мы знаем по летописи, что Олег взял воровским образом *Киев*, который по сообщению Константина Багрянородного носил ещё и название Σαμβατας (Самбатас). Самбатас считают хазарским названием Киева в связи с тем, что и в других названиях хазарских городов встречается в начале элемент *сам-* (например, *Самкерц*), который, возможно, по-хазарски значил „город“. Очитка или описка ***т*** вместо ***р*** и обратно вполне возможна,

так как в еврейском алфавите эти буквы сходны и различаются лишь незначительно. Торговые сношения между Русью и хазарами были очень оживлёнными; в 945 г. в Киеве отмечается квартал *Козаря бесѣда,* в котором, повидимому, проживали хазарские купцы. На основе экономических и политических связей Хазарии с Киевом возникали и связи в области культуры и мировоззрения. С конца VIII и начала IX в. господствующей религией в Хазарии была объявлена иудейская религия; из Хазарии проникала иудейская религия и в Киев; известно, что во второй половине X в. наряду с магометанством и христианством претендентом на религиозное господство в Киеве выступало и иудейство. На прениях о вере при Владимире (в „Повести временных лет" под 986 г.) выступают и „жидове козарьстии", т. е. хазарские евреи. Даже в первой половине XI в. иудейство выступало опасным соперником христианства, что, между прочим, вызвало появление „Слова о законе и благодати" Илариона.

769. В VIII—IX вв. у приднепровских славян формировалось и укреплялось классовое общество и создавалась политическая организация. При том значении, которое имела для этих славян могущественная Хазария, вполне понятно, почему князья Руси именовали себя титулом хазарского владетеля, а именно титулом *кагана.* Титул *каган,* как титул именно главы Хазарии, был, несомненно, известен на Руси; это видно из летописного свидетельства о разгроме хазар Святославом (в „Повести временных лет" под 965 г.): „Иде Святославъ на Козары; слышавше же Козари, изидоша противу съ княземъ своимъ *каганомъ,* и съступишася битися, и бывши брани, одолѣ Святославъ Козаромъ и градъ ихъ Бѣлу Вежю взя" [1].

Имеются известия, что уже с первой половины IX в. русские князья именовались титулом *каган.* Так, в анналах Бертинского монастыря сообщается о прибытии в 839 г. ко двору Людовика Благочестивого греческого посольства, с которым прибыли также послы, называвшие себя Русью; прибыли они от имени их царя хакана (*chacanus*). Арабский географ Ибн-Роста (около 903 г.) приводит, между прочим, название Руси, именуя царя Русов титулом *хâгâн Râs.* Иларион в своём „Слове о законе и благодати" величает князя Владимира „Великим *каганом* нашея земля". Наконец, автор „Слова о полку Игореве" старое время, время Ярослава и Олега, называет *коганьим временем:* „стараго времени Ярославля, Ольгова, *коганя...*"

770. Не нужно думать, что слово *каган* было первым названием для главы государства, известным восточным славянам, и что оно потому было заимствовано в древнерусский язык, что государственные отношения у восточных славян были н а с а ж д е н ы хазарами. Э т о-

[1] Отметим попутно, что город, взятый Святославом, называвшийся по-хазарски *Саркел* (= белый дом), назван не по-хазарски (т. е. Саркел), а в переводе на русский язык; это даёт косвенное указание на знание русскими хазарского языка и на значительное освоение ими хазарских местных названий. Аналогичный пример можно привести из Новгородской летописи, где эстонский город *Оденпэ* называется также посредством перевода *Медвежья Голова.*

го не было. Государственные отношения вырастали у восточных славян в процессе внутреннего развития общества, а не насаждались извне. Основным термином для главы государства у восточных славян был термин *князь*, унаследованный из общеславянского языка и имевший там, как мы знаем (см. § 44 и сл.), значение родового или племенного старшины. Географ Ибн-Хордадбег (середина IX в.) приводит титул царя „склябиев" — *g'naz*; господство этого термина подтверждается всей традицией древнерусской письменности. Заимствование термина *каган* нужно понимать таким образом, что, достигнув значительного политического могущества, князья Руси перестали удовлетворяться доморощенным титулом *князь* и присвоили себе для того, чтобы подчеркнуть свою власть и своё величие как государей титул правителя одной из могущественнейших держав того времени — Хазарии, титул кагана. Заимствование титула *каган* русскими князьями свидетельствует о том, что уже в первой половине IX в., когда этот титул впервые упоминается в наших источниках применительно к русским князьям, государственные отношения у русских достигли высокого развития. Это было задолго до мнимого образования русского государства норманнами-скандинавами (уже в 839 г. русские князья назывались каганами). Это тем более понятно, что в Хазарии кагану отдавали величайшие, чуть ли не божеские почести. Он находился в постоянном затворничестве в своём дворце. Доступ к нему имели только высшие сановники государства. Они входили к нему только босыми, держа в руках кусок зажжённого дерева для очищения. Народу он показывался очень редко; встречные должны были падать перед ним ниц и могли подниматься только тогда, когда он скроется из виду. Титул кагана, который был символом величайшей власти, русские князья и приняли в целях возвеличения своей власти.

Слово *каган* — тюркского происхождения, впервые засвидетельствовано в VII в. в применении к аварскому кагану (*chaganus*); в северно-тюркских языках оно звучит *kaγan*, стяжённой формой этого слова является слово *хан* (с исчезновением гортанного *γ* между гласными).

По распространённому мнению, словом тюркского происхождения является и слово *боярин*ъ. Слово *боярин* засвидетельствовано в славянских языках в двух формах: *болярин*ъ и *боярин*ъ. Первая форма — южнославянская: ст.-сл. болѧре — „знатные", „благородные", болгарск. *боляр*, *болярин* — „вельможа, „господин", „барин", „богатый", сербск. *бољар* — „*боярин*", „вельможа", „благородный". Древнерусской формой нашего слова является *боярин* (без *л'*), откуда в дальнейшем стяжённое *барин*; форма *болярин* встречается и в древнерусской письменности, но как церковнославянизм. В основе нашего слова лежит тюркское ***baj*** (бай) — „богатый", „знатный", „достаточный хозяин", в совр. „кулак", осложнённое формантом ***-ar***; сравните в Коканде *bajar* — „вельможа", „знатный": В славянских языках заимствованное тюркское слово было подведено под тип слов на ***-ин;*** мн. число-*е*: *бояринъ — бояре*. В южнославянских языках слово было заимство-

вано от тюркских болгар (булгар), пришедших в придунайские области из Поволжья. Эти тюркские болгары сыграли известную роль в образовании первого болгарского царства, передав и своё имя болгарам-славянам. Здесь слово *боярин* подверглось влиянию слова *болии*, откуда и получилось *боляринъ* (с *л'*).

771. Ряд тюркских слов проник в древнерусский язык ещё до татарского нашествия из языка печенегов, половцев и других тюркских племён. Русским приходилось вести в X—XII вв. непрестанную борьбу с нападениями тюркских кочевников, но сношения с ними не ограничивались только войной. Так, в середине X в. Константин Багрянородный отмечает, что Русь и печенеги торговали между собой, Русь покупала у печенегов скот; летописью отмечаются браки между представителями половецких и древнерусских княжеских семейств. Тюрки в довольно значительном количестве поступали на службу к древнерусским князьям, оседали на жительство в Киеве и других городах. В связи с этим некоторые названия предметов обихода, одежды и другие названия проникали из тюркских языков в древнерусский. Одним из таких заимствований является, например, слово *клобук*. Слово *клобук* имело различные значения; в переводных текстах (XIV в.) оно передавало греческ. *κίδαρις*, которое в древнегреческом обозначало высокую остроконечную шапку персидских царей, тиару. Древнерусский клобук — это высокая остроконечная шапка тюркского покроя; такие шапки носили князья, не снимая их даже в церкви. Изображения таких шапок мы находим в „Изборнике" Святослава 1073 г. на рисунке семейства великого князя Святослава Ярославича. Впоследствии, ещё в древнерусский период, слово *клобук* получает специальное значение монашеского клобука. Может показаться странным, что тюркское по происхождению слово получает значение специально монашеского головного убора; скорее в этом специальном значении мы ожидали бы, например, греческое слово; но монастыри, как учреждения далеко не только религиозные, не были отгорожены от „мира", от городского быта и его влияния. К тому же среди монахов, например, Киево-Печерского монастыря были и лица тюркского происхождения; так, „Повесть временных лет" сообщает под 1074 г. о монахе Михале Тольбековиче, отчество которого подразумевает имя *Тольбек, Тольбег* — с тюркским *бек, бег* во второй части. Как сообщается в житии Феодосия, как раз монахи Печерского монастыря в числе других рукодельных работ занимались изготовлением клобуков: „и рукама своима дѣлахуть дѣло: ово ли копытьца плетущи и клобукы, и ина ручьная дѣла строяще".

772. Ряд тюркских слов вошёл в древнерусский литературный язык; так, например, встречаем тюркские по происхождению слова в „Слове о полку Игореве". Для освещения характера тюркизмов в древнерусском литературном языке приведём соответствующий материал из „Слова".

Яруга — „влъци грозу въсрожатъ по *яругамъ*"; „пути имь вѣдоми, *яругы* имь знаеми, луци у нихъ напряжени"; „наступи на землю половецкую (Святослав); притопта хлъми и *яругы*". Слово

яруга значит „овраг, ущелье“, из тюркского *jar* — „крутой, обрывистый берег“, „овраг“, „ущелье“, *jarek* — „щель“, „трещина“, „расселина“, *jarug* — „щель, трещина“.

Орьтъма — „покрывало“; *Япончица* — „верхнее платье, плащ“. *Орьтъмами* и *япончицами* и кожухы начашя мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и всякыми узорочьи половѣцкыми“. *Орьтъма* — из тюркск. *ortma* — „покрывало“; *япончица* — уменьш. от *япончa*, из тюркск. *japonca* — „дождевой плащ“.

Хорюговь — „знамя, хоругвь“: „Чрьленъ стягъ, бѣла хорюговь, чрьлена чолка, сребрено стружие храброму Свѧтъславличю“. Через тюркское посредство из монгольск. *horoŋ'go* — „знамя“. Отсюда же ст.-сл. хорѫгы, род. пад. хорѫгъве — „знамя“. Возможно, что древнерусское *хоруговь* в значении церковной *хоругви* — церковнославянизм. В *хорюговь* не ясно сочетание ***рю,*** ожидали бы ***ру*** (из ****rǫ***) в соответствии с ст.-сл. ρѫ и монг. *roп.*

Кощей — „раб“, „пленник“, „слуга“: „Ту Игорь князь высѣдѣ из сѣдла злата, а въ сѣдло *кощиево*“. „Аже бы ты быдъ, то была бы чага по ногатѣ, а *кощей* по резанѣ“. „Стрѣляи, господине, Кончака, поганого *кощея*, за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича“; из тюркск. *кошчы* от *кош* в смысле „кочевой поезд“, следовательно, первоначальное значение „состоящий при поезде“, „обозный“, отсюда — „конюх“, „работник, взятый в плен“ > *кошчы* — раб, слуга. Слово применялось и в качестве обидного прозвища (ср. *кощей* о половецком хане Кончаке; седло *кощиево* противополагается золотому княжескому седлу). *Чага* — „рабыня“, тоже слово, повидимому, тюркского происхождения; *быля* — „знатный“, „вельможа“: „А уже не вижду власти сильнаго и богатаго и многовоя брата моего Ярослава съ Черниговьскими *бьлями*“.

Бесспорно, что существовали и обратные заимствования из древнерусского языка в языке печенегов, половцев-куманов и других тюркских народностей, с которыми восточные славяне имели взаимодействия с древнейших времён. Но этим вопросом языковеды мало занимались. С другой стороны, и сведения наши о языке этих народностей крайне ограничены.

Укажем всё же на др.-русск. слово *сало*, отмеченное в древнеармянском описании хазарской трапезы. В словаре половецкого языка *Codex cumanicus* (XIII в.) отмечены древнерусские слова *изба*, *печь* и др. Из древнерусского языка слово *ногата* заимствовано половцами: ср. их слово *nagt* — „монета“.

ПРИМЕЧАНИЯ

К § 3 и 4.

Здесь говорится о разобщении различных русских земель в XIII—XIV вв. Результатом этого разобщения, вызванного указанными здесь историческими причинами, был распад единой древнерусской (или древневосточнославянской) народности, сложившейся на базе восточнославянского племенного союза, который состоял из племён, говоривших на близкородственных восточнославянских племенных диалектах.

То обстоятельство, что труд Л. П. Якубинского был написан задолго до появления гениального труда И. В. Сталина, не дало возможности автору полностью вскрыть условия распадения единого древнерусского языка и образования современных восточнославянских языков. К историческим судьбам языка древнерусской народности, распавшейся и лёгшей в основу трёх различных восточнославянских народностей, которые развились затем в нации с самостоятельными языками, применимо следующее указание И. В. Сталина: „Бывают и обратные процессы, когда единый язык народности, не ставшей ещё нацией в силу отсутствия необходимых экономических условий развития, терпит крах вследствие государственного распада этой народности, а местные диалекты, не успевшие ещё перемолоться в едином языке, — отживают и дают начало образованию отдельных самостоятельных языков“ [1].

К § 35—36.

Язык, по указанию И. В. Сталина, коренным образом отличается от надстройки; он „...живёт несравненно дольше, чем любой базис и любая надстройка“ [2]. Поэтому развитие структуры языка не зависит от развития общественно-экономических отношений, от смены общественных формаций. Но взаимоотношения различных языков и диалектов в их историческом развитии не могут быть поняты вне истории общества, говорящего на соответствующих языках или диалектах. Эти взаимоотношения различны в различные исторические эпохи, в процессе развития „...от языков родовых к языкам племенным, от языков племенных к языкам народностей и от языков народностей к языкам национальным“ [3]. Поэтому при изучении взаимоотношений различных языков и диалектов необходимо обращаться к развитию и смене общественных формаций. Однако автор при этом слишком непосредственно и прямолинейно связывает развитие языка с развитием общества, впадая в вульгарный социологизм, что было отмечено в вводной статье акад. В. В. Виноградова.

---

[1] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1952, стр. 44.

[2] Там же, стр. 9.

[3] Там же, стр. 12.

К § 54.

Говоря о родстве славянских языков, необходимо иметь в виду то значение изучения этого родства для раскрытия общих законов развития языка, на которое указывает И. В. Сталин: „Н. Я. Марр высокомерно третирует всякую попытку изучения групп (семей) языков, как проявление теории „праязыка". А между тем нельзя отрицать, что языковое родство, например, таких наций, как славянские, не подлежит сомнению, что изучение языкового родства этих наций могло бы принести языкознанию большую пользу в деле изучения законов развития языка. Я уже не говорю, что теория „праязыка" не имеет к этому делу никакого отношения" [1].

К § 55—56.

К приведённым здесь указаниям Ф. Энгельса необходимо добавить указание И. В. Сталина на общенародный характер любого языка во все эпохи его развития.

К § 87—90.

Излагаемая здесь группировка древневосточнославянских племенных наречий (т. е. деление их на три группы) принадлежит акад. А. А. Шахматову (см. его „Введение в курс истории русского языка", ч. I, П., 1916). Это деление является весьма спорным, поскольку, во-первых, не доказано в отношении всех черт, характеризующих отдельные группы, что они действительно являются древними, а во-вторых, не каждая из приводимых черт действительно характеризует всю данную группу и отличает её от всех остальных групп. Так, не доказан древний характер аканья. Есть известные основания думать, что оно возникло сравнительно поздно, уже после падения глухих. Если это так, оно не могло характеризовать древнего наречия вятичей. Не доказан для древнейшего исторического времени и фрикативный характер *г* в части восточно славянских наречий, хотя он в целом и более вероятен для древнейшей эпохи, чем аканье. Действительно же древнее явление цоканье, характеризовавшее северную группу, было распространено не во всех говорах северной группы. Так, некоторые говоры Суздальской земли заведомо в древности не цокали.

Следует иметь в виду, что в настоящее время, мы не знаем ни одной заведомо древней диалектной черты восточнославянских языков, возникновение которой можно было бы отнести к эпохе племенных диалектов.

Следует также иметь в виду, что после Шахматова делались и иные попытки определения древнейшей группировки восточнославянских племенных наречий. Так, Н. С. Трубецкой выдвигал гипотезу о наличии не трёх, а двух групп (объединяя восточную и южную группы): N. S. Trubetzkoi, Einiges über die russische Lautentwicklung und die Auflösung der gemeinrussischen Spracheinheit, Zeitschrift für slavische Philologie, I, 1925, 3—4.

Гипотезу Н. Трубецкого, как опирающуюся на недостаточные основания, подверг критике А. М. Селищев (см. его статью „Критические замечания о реконструкции древнейшей судьбы русских диалектов", „Slavia", VII, 1).

Со времени работ А. А. Шахматова накоплен большой археологический материал, позволяющий точнее определить границы различных восточнославянских племён и их взаимоотношения. Установлена, например, археологическая близость древних племён радимичей, вятичей и северян. Опровергнуто в археологическом отношении предполагавшееся Шахматовым западнославянское происхождение радимичей и дреговичей. Но многое ещё и до сих пор остаётся спорным (например, вопрос о племенной принадлежности восточнославянского населения на Дону и Северном Кавказе). Однако во всех деталях продуманной новой группировки восточнославянских племён ещё не создано, вследствие чего и до последнего времени археологи и историки часто опираются на положения

[1] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1952, стр. 33—34.

А. А. Шахматова. Следует, кроме того, иметь в виду, что в археологических работах, опубликованных до лингвистической дискуссии и появления гениального труда И. В. Сталина „Марксизм и вопросы языкознания", во многих случаях отражались воззрения Н. Я. Марра и его „учеников". Из литературы, посвящённой восточнославянским племенам в археологическом отношении, см. Ю. Готье, Железный век в восточной Европе, 1930; А. В. Арциховский, Курганы вятичей, 1930; Б. Д. Греков, Киевская Русь, 1945; Б. А. Рыбаков, Поляне и северяне, „Советская этнография", 1947, № VI — VII; его же, Радзімічы, Працы Археалогічной камісіі Белорусской академии наук, т. III, 1932; П. Н. Третьяков, Северные восточнославянские племена. Материалы и исследования по археологии СССР, вып. 6, 1941; его же, Расселение древнерусских племён по археологическим данным, „Советская археология" 1939, № IV; его же, Восточнославянские племена, 1948.

К § 111.

Здесь говорится об этимологии слова *печать*. Приводимые здесь соображения являются весьма спорными. Следует, впрочем, иметь в виду, что этимология этого слова до сих пор ещё удовлетворительно не разъяснена.

К § 121—133.

Здесь говорится о роли латинского языка в Западной Европе в эпоху средневековья. Поскольку вопрос об этой роли рассматривается в связи с вопросом о возникновении самостоятельной письменности у славян и о распространении старославянского книжного языка, существенно обратить внимание на глубокое различие (при некоторых чертах сходства) между той ролью, какую играл латинский язык в Западной Европе, и ролью, какую играл церковнославянский (в основе старославянский) язык в славянских странах, в частности на Руси. На различие этой роли обратил внимание ещё наш первый учёный, М. В. Ломоносов [1]. Старославянский язык сыграл огромную роль в обогащении русского языка именно потому, что это был язык чрезвычайно близкий к русскому языку в своём грамматическом строе и основном словарном фонде, а эта близость является результатом того, что в X—XI вв. все славянские языки были чрезвычайно близки друг к другу, и, следовательно, близко было к русскому языку того времени и то живое южнославянское наречие, на основе которого в первую очередь оформлялся старославянский язык. Старославянский язык легко понимался представителями всех древних славянских народностей. Латинский язык столь близок к живым западноевропейским языкам эпохи средневековья не был. Даже принадлежащие к одной с ним группе романские языки бо́льшей частью существенно отличались от него, вследствие чего представители различных романских (а тем более германских и иных) народностей латыни без специального обучения не понимали.

К § 151.

Здесь говорится о близости македонских диалектов к болгарским, причём речь здесь идёт о формировании книжного старославянского языка. Следует заметить, что в современном состоянии македонский язык, хотя он и близок к болгарскому, следует рассматривать как особый национальный язык. Он имеет свои литературные нормы.

К § 156.

Здесь говорится о возникновении и закреплении славянской письменности в результате деятельности Константина (Кирилла) и Мефодия и их помощников. Следует сказать, что уже давно некоторыми учёными выдвигалось предположение, согласно которому оригинальная письменность у славян существовала задолго до деятельности Кирилла и Мефодия. Выдвигалось также предположение, что

[1] См. его сочинение „О пользе книг церковных в Российском Языке".

первоначальный очаг возникновения славянской письменности (именно-глаголического письма) следует искать не на Балканах, а на Руси. Эта точка зрения поддерживается некоторыми советскими учёными и в самое последнее время[1]. Однако это предположение является спорным.

Есть все основания думать, что могущественное и высоко культурное государство антов располагало какими-то формами письменности. Но каковы они были, пока мы сказать не можем. Те же попытки, которые делались в направлении признания за глаголическим письмом письма восточнославянского происхождения, а также в направлении сопоставления знаков, находимых в Причерноморье на различных предметах материальной культуры, с буквами глаголицы, научной почвы под собой не имеют, некоторые же носят просто фантастический характер.

К § 171.

Признание языка дошедших до нас в составе „Повести временных лет" договоров русских князей с греками в основе своей языком церковнославянским и последующий вывод о том, что в X в. на Руси принят был в качестве литературного языка церковнославянский, является весьма спорным. Нам не известно, подлинник или какой-то список с этих договоров послужил протографом для составителя „Повести временных лет" (есть основания думать, что составитель использовал какой-то список). Акад. С. П. Обнорский, основываясь на различиях в языке разных договоров, полагает, что перевод договора 911 г. был сделан болгарином и на болгарский язык, но выправлен русским книжником, перевод договора 944 г.— русским книжником на русский церковнославянский книжный язык того времени[2].

К § 177.

Здесь говорится о скандинавском элементе в составе правящей верхушки Киевского государства.

Следует иметь в виду, что большая часть дореволюционных русских историков образование Русского государства в целом, под влиянием летописной традиции, а также под влиянием работ немецких и скандинавских учёных, ставила в зависимость от появления на Руси скандинавского элемента — варягов, к которым причислялись и первые русские князья. Теория скандинавского источника русской государственности основывается на двух не вполне ясных и к тому же тенденциозных летописных известиях. Древнерусское общество во всех слоях своих было в действительности восточнославянским. Самое название *Русь* искусственно было связано с варягами — выходцами из Скандинавий. В действительности же термин *Русь* издавна применялся к части (именно южной) восточнославянских земель и её населению. Правда, в составе русских княжеских дружин встречаются варяги — выходцы из Скандинавии, о чём свидетельствуют их сохранившиеся в летописи имена. Но скандинавских дружинников в эпоху раннего средневековья мы находим повсюду, в том числе и в Византии, и, конечно, эти дружинники не сыграли никакой существенной роли в образовании Русского государства. Норманская теория, т. е. теория скандинавского происхождения древнерусского государства и государственной власти на Руси, в настоящее время решительно отвергнута советской исторической наукой[3].

---

[1] См., например, П. Я. Черных, Происхождение русского литературного языка и письма, М., 1950; А. С. Львов, К вопросу о происхождении русской письменности, „Русский язык в школе", 1951, № 6.

[2] См. С. П. Обнорский, Язык договоров русских с греками, „Язык и мышление", VI — VII, 1936.

[3] См. М. Н. Тихомиров, Происхождение названий „Русь" и „Русская земля", „Советская этнография", VI — VII, М. — Л., 1947; А. Н. Насонов, „Русская земля" и образование территории древнерусского государства, М., 1951.

К § 178.

В качестве доказательства того, что в X в. на Руси использовался церковнославянский литературный язык, приводится надпись на монете Владимира в южнославянской огласовке. Но следует иметь в виду, что Владимир, имевший тесные связи с Болгарией и боровшийся совместно с ней против Византии, мог просто чеканить монету в Болгарии, какое предположение вообще в науке высказывалось.

К § 202.

Здесь говорится, что старославянским носовым гласным в древнерусском языке соответствовали *ѫ* и *ѧ* после мягкого согласного. Некоторые лингвисты полагают, что старославянскому и общеславянскому носовому *е* соответствовало в древнерусском языке древнейшей исторической эпохи (XI — XII вв.) ещё не *ѧ* после мягкого согласного, но звук, близкий к *ѧ*, несколько более передний (типа *ä*), согласные же перед ним ещё не смягчались (см. подробнее Л. Л. Васильев, С каким звуком могла ассоциироваться буква ѧ в сознании писцов некоторых древнейших русских памятников (Р. Ф. В., т. 69, 1913).

К § 203.

Здесь говорится, может быть, о соответствии древнерусского *ъл* старославянским ль и лъ. Наличие в сочетании с плавным лишь редуцированного заднего ряда *(ъ)* объясняется велярным характером твёрдого *л* в положении перед согласным. Это *л* воздействовало на предшествующий редуцированный переднего ряда *ь*, если он здесь некогда являлся, и последний смещался в результате этого в задний ряд, т. е. изменялся в *ъ* (ср. литовск. *vil̃kas*, др.-русск. *вълкъ* — литовскому *i* в общеславянском языке соответствует *ь*). Сочетание *ьл* между согласными наблюдается в древнерусских памятниках лишь в тех случаях, если этому сочетанию предшествует шипящий согласный, например *жьлтъ*.

К § 205.

Здесь говорится о дифтонгическом и узком произношении восточнославянского *ѣ*, в то время как старославянское и древнеболгарское *ѣ* было монофтонгом и звуком широким. Следует заметить, что, монофтонгический характер древневосточнославянского *ѣ* является спорным, возможно, что и старославянское *ѣ* носило дифтонгический характер, будучи в то же время широким гласным (типа *i̯ä*). Есть основание думать, что общеславянское *ѣ* было широким долгим гласным и что, следовательно, узкий характер древневосточнославянского *ѣ* развился позднее, хотя и в доисторическую ещё эпоху.

Здесь же приводятся примеры на написание в древнерусских памятниках *е* вместо старославянского *ѣ* в неполногласных сочетаниях, но ничего не говорится о полногласии и его развитии в восточнославянской области. Далее, в § 211, в числе русизмов, встречающихся в Остромировом евангелии и Святославовом изборнике 1073 г., приводятся полногласные формы, но опять-таки о самом полногласии ничего не говорится, и даже неясно, относятся ли здесь примеры с полногласием к лексическим или фонетическим русизмам.

Полногласие представляет собой весьма важное фонетическое явление, развившееся некогда в восточнославянской области. Оно состоит в том, что в сочетаниях *or, ol, er, el* между согласными ещё в доисторическую эпоху. после плавного развивался второй гласный, такой же как перед плавным. Впоследствии различие полногласных и так называемых неполногласных форм, развившихся в южнославянских языках, а также в чешском, характеризует в русском языке лексические пласты различного происхождения.

К § 209.

Здесь говорится о случаях соответствия старославянского шт древнерусскому *щ*, но ничего не сказано ни о качестве, ни о происхождении последнего. Оно произносилось, повидимому, как сочетание *шч* (это произношение и теперь сохранилось в некоторых говорах). Развилось же оно из доисторических сочетаний *скj*, *стj* и *ск* перед гласными переднего ряда. Сочетания *кj*, а также *к* перед гласными переднего ряда во всех славянских языках, сочетание же *тj* специально в восточнославянской области ещё в доисторическую эпоху давали *ч*. Предшествующий свистящий согласный *с* в результате ассимиляции последующему шипящему дал шипящий *ш*, и таким образом получилось сочетание *шч*.

К § 221.

Здесь говорится о случаях сохранения глаголицы у хорватов в церковном употреблении. Следует заметить, что глаголица использовалась и как светское письмо (на ней печатали газеты) в хорватских колониях в Италии.

К § 240.

Здесь говорится о церковнославянском языке как о древнейшем письменном языке на Руси. Такая точка зрения, восходящая к воззрениям старых русских лингвистов, акад. А. А. Шахматова и др., в настоящее время не разделяется представителями советского языкознания. Акад. С. П. Обнорский, не отрицая последующего развития русского литературного языка под воздействием старославянского, выдвинул и обосновал теорию самобытного возникновения литературного языка на Руси. Этот язык сложился, по мнению С. П. Обнорского, на Руси ещё в дохристианские времена и ярко отражается в некоторых памятниках более поздней эпохи, писанных уже после принятия Русью христианства (см. С. П. Обнорский, О языке „Русской правды". „Известия Академии наук СССР", отд. общественных наук, 1939; „Очерки по истории русского литературного языка старшей поры", М. — Л., 1946).

К § 246.

Здесь приводятся церковнославянизмы, наблюдающиеся в русских говорах. Спорным является старославянское происхождение владимирского *просятки* „поросята". Эта форма могла развиться не из *прасятки*, как думает автор, а из *поросятки* в результате редукции до нуля гласного второго предударного слога в соседстве с сонорными. Такая редукция в говорах широко распространена, притом не только в акающих, но и в окающих. Владимирские же говоры в большей своей части принадлежат, как правило, к говорам с неполным оканьем.

К § 247.

Здесь говорится об изменении *ъ* в *а* после *ч* (*ǯ*), развившегося из *к* под влиянием этого *ъ*. Возможно, что в *а* в этих условиях изменяется ещё не *ъ*, а то *ē*, из которого развилось в общеславянском языке *ъ*.

К § 253.

Здесь говорится о двояком источнике славянского *ъ*. Говоря о *ъ* дифтонгического происхождения, следует сказать, что дифтонги *oi* и *ai* на славянской почве дали один и тот же результат (*ъ*) в виду того, что *â* и *o* на славянской почве вообще совпали в одном звуке.

Здесь же говорится об *i* во флексии из дифтонга *-oî*. Следует заметить, что нормально и во флексии из дифтонга *-oî* развивается *ъ* (*ě*); *i* вместо ожидаемого *ъ* развивается из этого дифтонга лишь на конце слова и притом лишь в особых случаях, пока ещё не выясненных. Выдвигалось пред-

положение, что развитие из дифтонга *-oi* на конце слова в одних случаях *-ъ*, в других *-i* обусловлено особыми акцентными отношениями (ударением, интонацией)

К § 265.

Наличие в общеславянском языке сочетаний типа *ra*, *la* удостоверяется наличием сочетаний *ra*, *la*, *ro*, *lo* в соответствующих случаях в других индоевропейских языках (если там эти корни засвидетельствованы). Ср. например, славянск, *братъ* (*братрь*)— др.-инд. bhrā́tā. Общеславянские сочетания типа *tort*, из которых развилось, с одной стороны, восточнославянское полногласие, а с другой южнославянские и чешские сочетания типа *trat*, удостоверяются наличием сочетаний типа *tort* (или *tart*) в других индоевропейских языках. Ср., например, русск. *город*. ст.-сл. градъ, литовск. *gar̃das* —„загородка", немецк. *Garten* — „сад".

К § 273.

Здесь говорится, что общеславянское ударение было такое, как сейчас в сербском языке. Это не вполне точно. В современном сербском языке различается музыкальным качеством лишь ударный слог; в общеславянском же языке, как говорит сам автор, свою музыкальную характеристику имел каждый слог. Впрочем, некоторыми лингвистами положение о наличии в общеславянском языке музыкальных различий во всех слогах как ударных, так и безударных, в настоящее время оспаривается.

К § 285.

В этом параграфе говорится о чередовании *у — я* в русском языке, отражающем общеславянское чередование *ǫ* и *ę*. Вместо *я* точнее было бы сказать *'а* после мягких согласных.

К § 297.

Здесь говорится об изменении в древнепсковском диалекте сочетаний *tl*, *dl*, в *kl*, *gl*. На основании изложения автора можно думать, что древнепсковский диалект никогда не знал общей для всей восточнославянской области утраты *т*, *д* перед *л*.

Соответствующее явление разными исследователями объяснялось по-разному. Н. М. Каринский („Язык Пскова и его области в XV в.",СПБ, 1909) полагал, что *т* и *д* перед *л* и здесь были некогда утрачены, но затем восстановлены по аналогии под влиянием родственных форм (например, *ведлъ* под влиянием *веду* и т. п.) и лишь в дальнейшем *т*, *д* в этих сочетаниях в результате диссимиляции изменились в *к*, *г*. Потому-то форма с *к*, *г* и наблюдается в таких корнях, от которых имеются и формы с *т*, *д* (в иных фонетических условиях).

А. А. Шахматов („Очерк древнейшего периода истории русского языка, П., 1915, § 181 и 501), указывая на форму *Жерегло* (название пролива, соединяющего Псковское озеро с Чудским — „отъ жерегла" в Псковском акте второй половины XVII в.), возражает против разъяснения форм с *кл*, *гл* как новообразований, возникших в результате действия аналогии, и видит в этих сочетаниях результат древнего влияния западнославянского (польского) языка, сохранившего сочетания *tl*, *dl*. Древней особенностью северной части древневосточнославянских наречий считает сохранение сочетаний *tl*, *dl*, с переходом их затем в *kl*, *ql*, также Н. С. Трубецкой (Einiges über die russische Lautentwicklung, Zeitschrift für slavische Philologie, I, 1925, 3—4). Но А. М. Селищев, полемизируя с Трубецким („Критические замечания о реконструкции древнейшей судьбы русских диалектов", „Slavia", VII, 1), вновь возвращается к теории позднего и аналогического происхождения соответствующих сочетаний.

К § 301.

Автор говорит о затруднительности точного определения характера *ѣ* в общеславянском языке и выдвигает предположение о различном его произношении в разных диалектах общеславянского языка. Больше основания, однако, думать, что в ранний период славянской общности *ѣ* носило определённый характер, о б щ и й для всего общеславянского языка, причём было открытым, т. е. представляло собой звук типа *ä*.

К § 302.

Здесь говорится о дифтонгическом характере общеславянского *ѣ*. Следует заметить, что скорее дифтонгическое произношение *ѣ*, наблюдающееся в отдельных диалектах различных славянских языков, могло развиться из первоначально недифтонгического, чем наоборот. Долгие гласные (*ѣ* первоначально было гласным долгим) очень легко теряют однородность артикуляции и дифтонгизируются.

К § 315.

Автор следует здесь положению акад. А. А. Шахматова, согласно которому редуцированные гласные особенно рано теряются в первом слоге слова. Если встать на эту точку зрения, следовало бы добавить, что утрата особенно легко происходит в начальном слоге непосредственно перед ударным слогом. Но в действительности, повидимому, наиболее ранние случаи утраты слабых редуцированных определяются отношениями к другим формам того же корня. Наиболее рано, частью даже ещё в XI в., теряются слабые редуцированные в корневом слоге в тех случаях, когда нет форм, образованных от того же корня, содержащих редуцированные в сильном положении. Таким образом, особенно рано теряются редуцированные в таких случаях, как *кѣто, кънязь*, но дольше сохраняются в таких случаях, как *сѣна* (род. пад. ед. ч.), поскольку имеется форма *сѣнъ*. Случаи, где такая ранняя утрата наблюдается, действительно большей частью падают на начальный слог слова непосредственно перед ударным слогом. Но это фонетическое положение представляет собой сопутствующее обстоятельство, а не причину. Предположение об изложенной здесь причине ранней утраты редуцированных было выдвинуто акад. Ф. Ф. Фортунатовым и затем развито И. А. Фалёвым[1].

К § 317.

Приводимые здесь примеры на утрату конечного безударного *-и* могут объясняться иначе, не фонетическим путём, по крайней мере в части случаев. Так, окончание 2-го л. ед. ч. настоящего времени в живом древнерусском языке, как и в других славянских (кроме старославянского), по мнению некоторых лингвистов, было *-шь*, а не *-ши*. Окончание *-шь* находится в более точном соответствии с формами других индоевропейских языков. Утрата *-и* в окончании повелительного наклонения может объясняться влиянием форм нетематических глаголов, где на конце было *-ь* (например, *дажь*).

Среди случаев сохранения конечного безударного *-и*, по мнению автора, аналогических, не упомянут такой важный случай, охватывающий огромное количество примеров, как им. пад. мн. ч. (*кóни* и т. д.). Этот случай указывает на то, что вообще безударное *-и* на конце слова у нас сохранялось.

К § 331.

Здесь говорится об изменении в диалектах *в* в *ў*. Следует заметить, что в начале слова перед согласным наблюдается обычно в соответствующих диалектах *у* слоговое, а не *ў*. Неслоговое начальное *ў* возможно лишь в тех случаях, если данное слово тесно примыкает к предшествующему, причём последнее оканчивается на гласный звук (например, *ушлá ўперёд*).

[1] См. И. А. Ф а л ё в, О редуцированных гласных в древнерусском языке, „Язык и литература", т. II, вып. I., Л., 1927.

К § 334.

Предположение о двух эпохах изменения *е* > *о* является спорным. Тот факт, что изменение *е* в *о* после шипящих охватывает более широкую территорию, не является доказательством большей древности явления. Не является её доказательством и отражение в древнейших памятниках *о* вместо *е* лишь после шипящих. Случаи написания *о* вместо *е* не после шипящих и в позднейших памятниках единичны, поскольку, ввиду отсутствия особого знака для обозначения *о* после мягких согласных, эту функцию после изменения *е* > *о* выполняла буква *е*.

К § 335.

Изменение *е* > *о* на конце слова, повидимому, не носило фонетического характера, а было обусловлено морфологическими отношениями. Подавляющее большинство случаев конечного *-е* в древнерусском языке было ограничено определённой морфологической категорией — окончаниями мягкой разновидности основ на *-о*. В твёрдой разновидности того же склонения в окончании было *-о*. Под влиянием форм твёрдой разновидности *о* могло установиться и в формах мягкой разновидности (т. е., например, *жильё* под влиянием таких форм, как *село*). Изменение *е* > *о*, происходящее перед твёрдым согласным, представляет собой, повидимому, результат ассимиляции гласного последующему согласному. В таком случае фонетический переход *е* > *о* на конце слова был бы непонятен.

Говоря об изменении *е* > *о*, следует иметь в виду, что есть русские говоры (например, некоторые рязанские, тульские), сохраняющие *е* перед твёрдыми согласными, т. е. такие говоры, где произносят, например, *береза* (а не *берёза*).

К § 356.

Здесь говорится о том, к какому источнику восходит гласный *и* после твёрдых согласных. Следует иметь в виду, что к дифтонгу *ei* может восходить лишь такое *и*, которое находится после мягких согласных и таких согласных, которые в древности были мягкими.

К § 358.

Здесь говорится, что конечное *-oi* даёт *-и*. Следует заметить, что дифтонг *-oi* и на конце слова мог давать в общеславянском языке обычный результат *-ъ*: *-и* получалось из *-oi* на конце слова лишь в части случаев. Условия развития на конце слова из одного и того же дифтонга в одних случаях *ъ*, в других случаях *-и* до сих пор ещё окончательно не выяснены. Выдвигалось предположение, что это различие обусловлено различием интонации конечного слога, но относительно того, какая именно интонация приводила к какому гласному, выдвигались различные предположения.

К § 362.

Противопоставление твёрдых и мягких согласных в древнерусском языке, по мнению некоторых лингвистов, в начале исторической эпохи только намечалось. Так называемые согласные вторичного смягчения, т. е. все согласные, кроме заднеязычных, которые смягчались раньше, смягчавшиеся без перехода в звук иной артикуляции в положении перед гласными переднего ряда, в начале исторической эпохи только устанавливались (подробнее см. Л. Л. Васильев, С каким звуком могла ассоциироваться буква ѧ в сознании писцов некоторых древнейших русских памятников, Р. Ф. В., т. 69, 1913; Н. Дурново, Смягчённые согласные в Архангельском евангелии 1092 г., Slavia, II).

К § 364.

Автор употребляет здесь термин „фонема“ просто в значении „звук речи“.

К § 365.

Здесь говорится, что мягкий вариант склонения испытал на себе влияние твёрдого. Можно подумать, что речь идёт об исконном, изначальном влиянии. Между тем следует иметь в виду, что хотя начало этого воздействия отражается уже в памятниках XI в., воздействие это распространяется постепенно на протяжении истории русского языка. Кроме того, следует иметь в виду, что в некоторых говорах наблюдается воздействие обратного характера, а именно твёрдый вариант изменяется под влиянием мягкого. Так, например, в поморских говорах мы находим в дат. и местн. пад. ед. ч. *избы*, а порой и *изби*, под влиянием типа *земли*.

К § 369.

Здесь следует сделать те же замечания, что и к § 365. Воздействие твёрдой разновидности на мягкую хотя и начинается уже в эпоху написания древнейших памятников, но сначала представлено незначительным количеством примеров, постепенно распространяясь в дальнейшем. При этом и здесь, как в склонении на *-а* по говорам, наблюдается и обратное воздействие мягкой разновидности на твёрдую. Так, например, в поморских, олонецких и некоторых других говорах в местном падеже существительных типа *стол* является окончание *-и* (*на столи*).

К § 370.

Склонение существительных с основой на согласные начало разрушаться в древнерусском языке очень рано. При этом различные основы на согласные терялись не одновременно. Очень рано, повидимому, перестали принадлежать к этому склонению существительные с основой на *-с*. Приводимые здесь остатки этого типа (*небеса* и т. д.) обусловлены влиянием книжного старославянского языка. Доказательством раннего разрушения основ на *-с* является тот факт, что в словообразовании *-с* сохранилось главным образом лишь в словах книжного происхождения (ср. *словесный*, но *словечко*, *пословицы*, *дословный* и т. д.).

К § 378.

Здесь говорится об исчезновении в славянском языке основ на гласные звуки в результате различных фонетических и морфологических процессов, причём приводятся в качестве образца формы единственного числа склонения на *-а*. Необходимо заметить, что большинство приводимых форм изменилось в силу определённых фонетических процессов. Нефонетическим является здесь лишь изменение формы родительного падежа *-ās* > *ы*. Фонетическое изменение конечного *ās* > *ы* предполагал А. Мейе (см. „Общеславянский язык" § 164 и 464), но это предположение им совершенно необосновано.

К § 388.

Здесь говорится о развитии более позднего внешнефлективного склонения из более древнего внутрифлективного, причём на основании сказанного здесь можно подумать, что внутрифлективное склонение является первичной формой индоевропейского склонения. Но следует иметь в виду, что сами чередования, образующие основу внутрифлективного склонения, если не целиком, то во всяком случае в огромном большинстве случаев, повидимому, некогда возникли фонетическим путём, когда-то их не было, причём первоначально различные чередующиеся звуки являлись в различных фонетических условиях, и лишь затем они стали возможны в одних и тех же фонетических условиях, стали показателями определённых морфологических категорий.

К § 395.

Здесь приводится одно из объяснений (и, надо сказать, весьма вероятное) формы им. пад. мн. ч. имён несреднего рода (*города* и т. п.). Существуют и другие объяснения. Так, некоторые лингвисты считают, что эти формы по

происхождению являются именами собирательными единственного числа женского рода: при существительных собирательных в качестве подлежащих глагольное сказуемое в древнерусском языке стояло обычно во множественном числе, вследствие чего эти формы могли быть восприняты как множественное число. Следует иметь в виду, что распространение формы на *-а* у имён несреднего рода и притом у обозначающих непарные предметы, относится к довольно позднему времени (начиная с XV в.), а широкое распространение этих форм падает на ещё более позднее время.

К § 399.

Примером превратившегося в наречие древнего винительного падежа обстоятельства времени может служить *вечор* (ср. у Пушкина; „*Вечор*, ты помнишь, вьюга злилась...").

Здесь же приводится пример беспредложного употребления винительного падежа в значении направления в одной былине. Но этот пример может быть понят и иначе. В некоторых говорах, повидимому, именно там, где *в* в древности носило билабиальный характер, оно, находясь в начале слова перед согласным, артикулируется очень слабо и имеет тенденцию исчезать. Таким образом, здесь отсутствие предлога *в* может быть результатом действия фонетических причин.

К § 408.

Предположение о вытеснении в русском литературном языке конструкции беспредложного дательного конструкцией предложного винительного под влиянием новгородских традиций является весьма спорным. Развитие предложных конструкций на месте древних беспредложных наблюдается в различных русских говорах, и не следует ведущую роль в этом развитии приписывать специально Новгороду. Сравнивая Синодальный список Новгородской летописи с другими древнерусскими летописями в первую очередь с Лаврентьевской, следует иметь в виду, что летописи эти представляют различный материал, складывавшийся в разное время и в разных условиях.

К § 423.

Здесь говорится о развитии категории род.-вин. пад. для выражения одушевлённости, но не сказано, почему именно родительный падеж был использован в качестве формы, отличающей падеж объекта от падежа субъекта. Можно думать, что это произошло вследствии близости некоторых функций родительного падежа к функциям винительного. Так, издавна родительный падеж употреблялся для выражения объекта, лишь часть которого подвергается воздействию (например, *выпити вина*). Это употребление родительного падежа свойственно и другим индоевропейским языкам, что указывает на его древность. Родительный же падеж использовался в славянских языках, так же как и в балтийских (подобно тому, как он и теперь используется в русском языке), для выражения отрицания, в то время как при утверждении употребляется винительный падеж (ср. „Я взял *эту книгу*."—„Я не брал *этой книги*").

К § 425.

Такая форма им. пад. мн. ч., как *татаре*, для современного языка, по крайней мере литературного, является уже архаизмом.

К § 426.

Исследуя развитие категории род.-вин. пад. для выражения одушевлённости, необходимо обратить внимание на синтаксическое окружение этой формы, и прежде всего на роль предлога. Следует заметить, что поскольку наличие предлога и так указывает на то, что данное существительное выражает объект, а не субъект действия, старая форма винительного падежа, сов-

падающая с именительным, дольше держится в сочетании с предлогом. Ср., например: „Се кнaзя убихомъ рускаго — поимемъ жену его вольгу за кнaзь нашь за малъ“ (Лавр. летопись).

К § 434—435.

Рассматривая местоимённые формы, автор противопоставляет формы языков так называемых „низших обществ“ формам развитых языков. В этом противопоставлении отразились в известной мере те стадиальные представления о развитии грамматического строя, которые в период господства в языкознании марровских воззрений свойственны были многим лингвистам и не примыкавшим непосредственно к „школе“ Н. Я. Марра. Такие представления отражаются и в работах части зарубежных лингвистов и этнографов (например, в работах известного французского этнолога Леви-Брюля, который широко пользовался понятием „низшие общества“ и положениями которого во многих случаях пользовался Н. Я. Марр). Следует иметь в виду, что развитие грамматического строя в различных языках идёт весьма сложными и своеобразными путями. Представление о „примитивности“ грамматического строя некоторых языков, об отражении в нём каких-то ранних этапов развития строя языка очень часто основывается просто на недостаточном знакомстве со строем этих языков.

К § 450.

Здесь говорится, что препозитивно употребляемое указательное местоимение *тъ* должно было терять *ъ* в сочетании с существительным, начальный слог которого содержал гласный полного образования, вследствие чего оно не годилось для выражения указательного местоимения. Но следует иметь в виду, что односложное слово, даже в случае ослабленного ударения на этом единственном слоге должно было прояснить *ъ*, почему и в этом случае должна была развиться форма *то* (ср. противительный союз *но* из *нъ*).

К § 451.

То в примере из былины *„ён берąт то тот колпак“* может объясняться и иначе, не из *тъ*. Возможно, что здесь просто использована указательная частица *то*, по происхождению форма среднего рода ед. ч. местоимения.

К § 453.

Здесь говорится об обобщении частицы в форме *то* в диалектах, лёгших в основу литературного языка. Следует иметь в виду, что такое обобщение имело место также в южновеликорусских диалектах, в частности в курско-орловском диалекте, представляющем, по указанию И. В. Сталина, основу русского национального языка.

К § 470.

Здесь говорится, что личное местоимение *онъ* употреблялось в древнерусском языке и в значении указательного. Поскольку сам автор в предыдущем параграфе совершенно правильно говорит лишь о местоимениях первых двух лиц, лучше было бы и здесь говорить об указательном местоимении *онъ*, лишь впоследствии стабилизировавшемся как личное.

К § 471.

Рассуждения о том, что личные местоимения 1-го и 2-го лица являются по происхождению указательными, весьма спорны.

К § 480.

Здесь говорится о том, что категория определения и затем прилагательных развивается в языке лишь по мере того, как говорящие научаются воспроизводить те или иные свойства предметов. Здесь слишком примитивно

представлена связь в развитии их языка, сознания и производства. Конечно, язык и сознание развиваются по мере того, как развивается человеческое общество, по мере того, как совершенствуется производство. Но именно развитие грамматического строя, как уже было сказано, идёт очень сложными путями и нельзя так непосредственно связывать его с развитием производства.

К § 499.

Здесь не выяснены причины изменения форм числительного *дъва*. Это числительное в древности склонялось, как видно из приводимой здесь парадигмы, по образцу двойственного числа указательных местоимений. Дальнейшие изменения этого числительного, а также числительных *три, четыре*, тесно связаны с падением двойственного числа. Форма *дъву* > *ду*, первоначально выступавшая лишь в качестве род. пад., становится затем основой всех косвенных падежей. Окончания же к этой основе с падением двойственного числа присоединяются для большинства падежей по типу множественного числа указательных местоимений. Числительные *три*, *четыре* сближаются по типу с числительным *дъва*. Ранее эти числительные склонялись по образцу существительных: *три* по образцу основ на *-i* (типа *путь, кость*), *четыре* по образцу основ на согласные (типа *камы, слово, мати*).

К § 508.

Сочетания типа *пятьдесять*, в которых склонялась лишь первая часть, представляют собой по существу синтаксические сочетания счётного существительного *пять* с зависящей от него формой род. пад. мн. ч. счётного существительного *десять*.

К § 509.

Не совсем ясно, что имеет в виду автор, когда говорит, что „формы двойственного числа вышли из употребления, как и категория двойственного числа". Ведь мы должны говорить об особой категории лишь в том случае, если она материально выражена.

К § 511.

Автор считает, что формы 3-го лица без окончания со славянской точки зрения являются более архаичными, чем форма с окончанием *-тъ* — *-ть*. Для форм типа старославянского *-тъ* это в какой то мере возможно, верно. Но что касается до форм с окончанием *-ть*, то они строго соответствуют формам с окончанием *-ti*, наблюдающимся в других индоевропейских языках (например, в санскрите; ср. *bhárati* — „он несёт", *bháranti* — „они несут"). Автор ничего не говорит здесь о различных первичных и вторичных личных окончаниях. Первичные окончания характеризовали настоящее время, вторичные — прошедшие времена (имперфект, аорист). Отсутствие окончания в 3-м лице, возможно, объясняется воздействием форм с вторичными окончаниями на формы с первичными окончаниями (вторичное окончание в 3-м л. было *-t*).

К § 516.

Здесь не совсем точно определены видовые значения тех индоевропейских форм, которые в историческую эпоху в различных европейских языках выступают как формы времени. Аорист выражал первоначально, повидимому, действие недлительное, мгновенное, перфект — состояние, являющееся результатом законченного действия (а не само законченное действие). Говоря о сходстве древних индоевропейских форм со славянскими видами, следовало сказать, что между теми и другими существует определённое различие. Старые индоевропейские виды обозначали длительность или недлительность самого действия, славянские виды — отношение действия к его пределу (само действие, выраженное совершенным видом глагола, может быть и длительным).

К § 517—519.

Здесь говорится о том, что некогда в индоевропейском языке (повидимому, имеется в виду общеиндоевропейский язык — основа или же скорее индоевропейский грамматический строй, так как автор, повидимому, высказывается против первоначального единого индоевропейского языка) существовала развитая категория вида, выраженная внутренней флексией. Следует иметь в виду, что хотя внутренняя флексия широко использовалась некогда как морфологическое средство выражения видовых различий, но сама она в качестве такого средства не первоначальна. Различия корневых гласных, которые в данном случае используются, вначале, повидимому, были обусловлены фонетическим положением и лишь впоследствии перестали быть обусловлены фонетически и морфологизовались.

Вообще же весь путь развития от внутрифлективного к внешнефлективному глагольному строю в славянских языках изложен здесь слишком схематически и во многих деталях должен быть пересмотрен.

Не вполне удачно употреблено здесь понятие стадии применительно к различным этапам развития видовых и временных категорий.

К § 525.

Здесь следовало в большей степени остановиться на раскрытии различных слоёв в славянской категории вида — на древнем слое различий, связанных с теми видовыми категориями, которые свойственны были древнему индоевропейскому грамматическому строю, и на новом слое различий совершенного и несовершенного видов. На наличие в нашем виде двух различных категорий указал ещё А. А. Потебня (см. „Из записок по русской грамматике", т. IV), хотя он и не смог ещё полностью разобраться во всей последовательности развития этих категорий.

К § 529.

Приводимые здесь примеры на то, что присоединение приставки в древнерусском языке ещё не переводит глагол в совершенный вид, не являются вполне удачными, так как здесь взяты глагольные основы кратного значения (главным образом, кратные глаголы движения или же глаголы многократные), сочетание которых с приставками не даёт совершенного вида и в современном языке (ср. современное *приносить, убивать*). Удачнее был бы следующий пример, который приводит Г. К. Ульянов: „нарекошася полочане, рѣчькы ради, яже *вътечеть* въ Двину" (см. „Значения глагольных основ в литовско-славянском языке, т. II).

К § 547.

Здесь автор отступает от общепринятого понимания категории залога. Обычно различия переходных и непереходных глаголов не рассматривают как различия залога, если они формально не выражены. Но переходные глаголы могут быть подразделены на различные залоги, если в них структурно выражаются различные отношения действия к субъекту и объекту.

К § 617.

Здесь автор говорит о различии речи жителей городских центров древней Руси (в первую очередь Киева) и жителей сельских местностей, причём сам же признаёт, что установить, в чём состояли эти различия, ему не удалось. Этих различий никоим образом не следует преувеличивать. О них усиленно говорили некоторые лингвисты в период господства в языкознании воззрений Н. Я. Марра и его учеников, но эти рассуждения никогда не могли быть подкреплены фактическим материалом. И это вполне понятно. Мы должны помнить указание И. В. Сталина, что „...везде на всех этапах развития

язык, как средство общения людей в обществе, был общим и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от социального положения" [1].

К § 624.

Здесь приводится известная параллель между той ролью, какую сыграл у нас старославянский книжный язык, и ролью латинского книжного языка в средневековой Европе. Следует сказать, что параллель здесь весьма приблизительная. Старославянский (церковнославянский) язык, действительно, сыграл в своё время прогрессивную роль в развитии нашей культуры. Следует при этом иметь в виду, что этот язык, сложившийся на основе близко родственного русскому наречия, был понятен нашим предкам, а поэтому сыграл в развитии нашего языка несравненно бо́льшую роль, чем латинский язык в Западной Европе. Это прекрасно понимал ещё Ломоносов (см. его рассуждения о значении „славенского" (т. е. старославянского) языка для нас и о тех препятствиях к развитию национальных языков в тех странах, где было принято католичество и где церковная служба отправлялась на латинском языке, в его известном сочинении „О пользе книг церковных в Российском Языке"). Правда, ниже, в § 635, Л. П. Якубинский как будто останавливается на различиях в роли латинского языка на Западе и церковно-славянского языка у нас, но и здесь он отдаёт предпочтение латыни перед церковнославянским, что никоим образом не может быть принято.

К § 641.

Здесь говорится об употреблении формы разговорной речи *мъриль* в надписи на Тмутороканском камне 1068 г. Не совсем ясно, что именно хотел в данном случае сказать автор. Возможно, он считает, что в XI в. живой формой прошедшего времени был только перфект, но для этого нет достаточных оснований. К тому же употребление перфекта в данном случае соответствует его древнему значению. Впрочем, возможно, что автор считает принадлежащей лишь разговорной речи форму перфекта без связки. Такие формы, действительно, рано получают распространение именно в русской разговорной речи.

К § 681.

Здесь говорится, что древнерусский литературный язык существовал в XI — XIV вв. как особый, отличный от церковнославянского, литературный язык. Различного содержания памятники, действительно, в древней Руси значительно разнились по языку. Но следует иметь в виду, что если с одной стороны, живой русский язык непрерывно оказывал воздействие на книжный церковнославянский язык, то, с другой стороны, этот последний оказывал сильное воздействие на живой разговорный язык и на язык тех памятников, которые ближе стояли к разговорному языку. И вряд ли можно говорить о двух литературных языках (как в силу взаимной близости русского и старославянского языков, так и в силу того, что между памятниками, писанными старославянским языком, и памятниками, ближе стоящими к живому языку, существует ряд весьма сложных переходов). Скорее следует говорить лишь о двух формах одного и того же древнерусского литературного языка.

К § 692.

Автор рассматривает *братьи* в сочетании *з братьи* в Лаврентьевской летописи как старославянскую форму им. пад. мн. ч. с и вместо а. Но не именительный ли это падеж единственного числа? Тогда форма и является одновременно и старославянской, и русской формой.

---

[1] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1952, стр. 12.

К § 709.

Ссылаясь на устное сообщение Л. В. Щербы, автор утверждает, что в лужицком языке формы аориста, вышедшие из употребления в живой речи, сохранились в народной поэзии. Если действительно таково было наблюдение Л. В. Щербы, оно относится, вероятно, лишь к тому говору, который он наблюдал. Исследователи в целом для лужицкого языка отмечают сохранение как аориста, так и имперфекта (см. А. М. Селищев, Славянское языкознание, т. 1, 1940, стр. 253).

К § 716.

Здесь говорится о наличии в нашем древнем литературном языке церковнославянской формы *благословение* при полном отсутствии русской формы *бологословение*. Следует заметить, что в наших древних памятниках употребляется также более близкая к живому языку форма *благословление*, хотя и неполногласная, но с так называемым *л* epentheticum после губного, отсутствующим в старославянском языке.

К § 725.

Автор считает, что в названии бога *дажь богъ ж* происходит из *г*, а в таком случае оснований для написания церковнославянского *жд* в „Слове о полку Игореве" нет. А. Мейе производит эту форму из сочетания имени *богъ* с повелительным наклонением от глагола *дати* (см. „Общеславянский язык", 1951, § 577). Если эта этимология верна, то *жд* здесь оправдано. Л. П. Якубинский придерживается другой этимологии этого слова (см. § 756).

К § 741—742.

Здесь несколько преувеличены отсутствие твёрдых норм и роль колебаний между разными формами в древнерусском языке.

К § 747.

Здесь говорится о той эпохе, когда греческое υ „произносилось ещё, как *ju*". Следует заметить, что греческое υ некогда произносилось не как *ju*, а как *ü*. Позднее, но не ранее X в. н. э., оно изменилось в *i*.

К § 766.

Здесь приводится диалектная форма *мереда*, заимствованная из финских языков. Ещё ближе к финскому источнику стоит известная в северных русских говорах форма *морда* в том же значении.

К § 772.

Следует сказать, что мнение о наличии русского слова *сало* в древнеармянском описании хазарской трапезы является весьма спорным и может быть основано на случайном созвучии этого русского слова с каким-то другим.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

В. В. Виноградов. Проф. Л. П. Якубинский как лингвист и его „История древнерусского языка" 3

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Русский язык как один из славянских языков

Глава первая. Русский, украинский и белорусский языки 43
Глава вторая. Славянские языки 47
Глава третья. Родство славянских языков 52
Глава четвёртая. Родство славянских языков (продолжение) 59
Глава пятая. К вопросу о происхождении праславянского племенного диалекта 63
Глава шестая. Восточнославянские племена 67

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Происхождение письменности у славян

Глава седьмая. Первобытное письмо у славян 71
Глава восьмая. Латинский язык в средневековой Европе 77
Глава девятая. Возникновение письменности и буквенного письма у славян 80

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Церковнославянский язык в Киевской Руси X—XI вв.

Глава десятая. Древнейшие письменные памятники Киевского государства 87
Глава одиннадцатая. Церковнославянский язык в княжеских канцеляриях Киевской Руси X—XI вв. 89
Глава двенадцатая. Церковнославянский язык в литературе Киевской Руси X—XI вв. 92
Глава тринадцатая. „Слово о законе и благодати" Илариона 95
Глава четырнадцатая. О древнерусском изводе церковнославянского языка 99
Глава пятнадцатая. Славянское письмо в Киевской Руси 104
Глава шестнадцатая. Роль церковнославянского языка в истории русского языка 111

ФОНЕТИКА И ГРАММАТИКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Фонетика

Глава первая. Некоторые звуковые явления общеславянского языка . . 121
Глава вторая. Общевосточнославянские звуковые явления 125
Глава третья. Древнерусские звуковые явления 139
Необходимое примечание к фонетике 157

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Грамматика

Глава первая. Из истории имени существительного 158
Глава вторая. Из истории местоимения 186
Глава третья. Из истории прилагательного 206
Глава четвёртая. Из истории числительного 219
Глава пятая. Из истории глагола 223
Глава шестая. Из истории предлогов и союзов 254
Глава седьмая. Замечание о сложноподчинённом предложении в древнерусском языке 266

ДРЕВНЕРУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Государственный язык древней Руси

Глава первая. О церковнославянизмах в древнерусском языке 273
Глава вторая. О языке древнерусских грамот 284
Глава третья. Церковнославянские элементы в языке древнерусских грамот 288
Глава четвёртая. О характере языка „Русской правды“ 290
Глава пятая. Об условной синтаксической конструкции 295

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Древнерусский литературный язык

Глава шестая. О происхождении древнерусского литературного языка . 299
Глава седьмая. Отражение изменений в развитии литературного языка древней Руси в „Повести временных лет“ 302
Глава восьмая. „Поучение“ Мономаха как памятник древнерусского литературного языка 309
Глава девятая. О языке „Слова о полку Игореве“ 320
Глава десятая. О некоторых особенностях русского литературного языка 328

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Иноземные элементы в древнерусском литературном языке

Глава одиннадцатая. Греческие слова в древнерусском языке 331
Глава двенадцатая. К вопросу о скандинавском „влиянии“ на древнерусский литературный язык 337
Глава тринадцатая. О прибалтийско-финских заимствованиях в древнерусском языке 343
Глава четырнадцатая. Тюркские элементы в древнерусском литературном языке 346

Примечания 351

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕ-РУССКОГО ЯЗЫКА